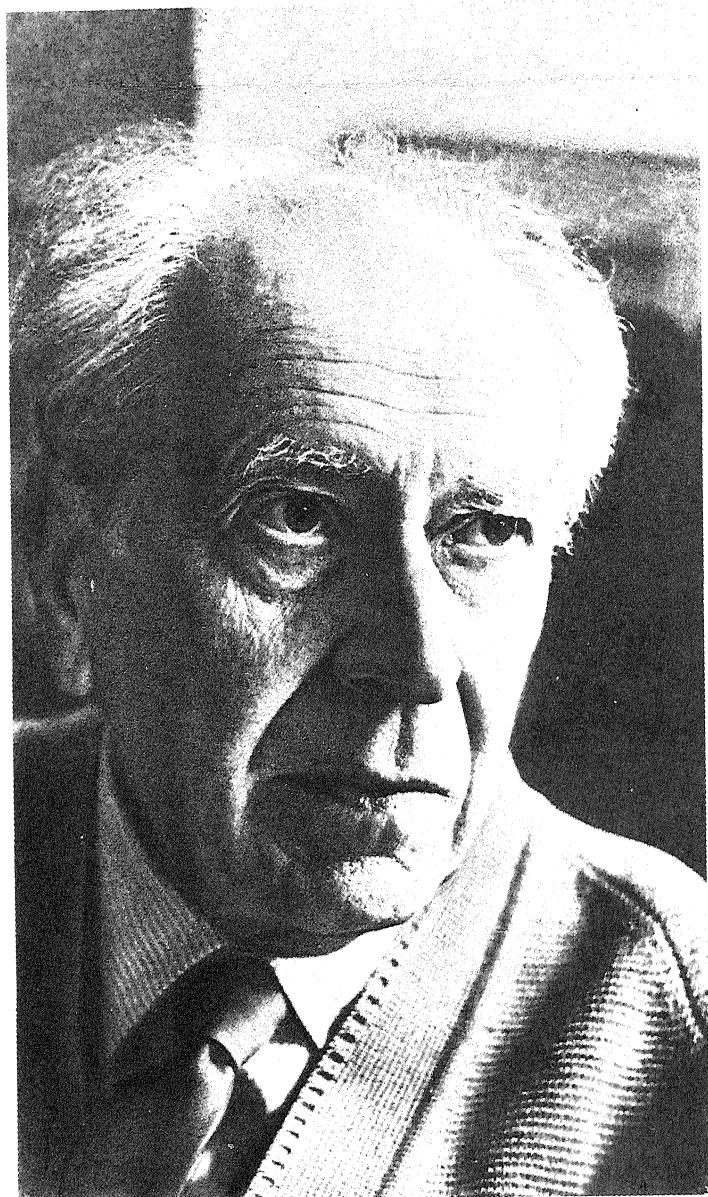




Селверенников
и помощник
почтмейстер

И. Мухомов



Д.С. ЛИХАЧЕВ

— ◀ Избранное ▶ —

”СЛОВО
О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ”
И КУЛЬТУРА
ЕГО ВРЕМЕНИ



Санкт-Петербург
Издательство
"LOGOS"
1998

ББК 83.3Р
Л65

Издание выпущено при финансовой поддержке
Администрации Санкт-Петербурга

Лихачев Д. С.

Л65 Избранное: «Слово о полку Игореве» и культура его времени; Работы последних лет.— СПб.: Издательство «Logos», 1998.— 528 с.
ISBN 5-87288-151-7

В настоящий том «Избранного» включена монография «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени» — всемирно известная работа Д. С. Лихачева, посвященная изучению знаменитого памятника древнерусской литературы, дополненная материалами и исследованиями последних лет.

Л $\frac{4603020101}{Г73(03)-98}$ без объявл.

ББК 83.3Р

Дмитрий Сергеевич Лихачев

Избранное

«Слово о полку Игореве» и культура его времени.
Работы последних лет

Редактор *Т. Шмакова*. Художественный редактор *В. Корнилов*.
Технический редактор *И. Буздалева*. Корректор *Г. Седова*

ЛР № 030078 от 20.08.96. Сдано в набор 07.05.97. Подписано в печать 20.08.98.
Формат 84×108¹/32. Бумага офсетная. Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Усл. п. л. 27,72. Тираж 1000 экз. Заказ № 65

Издательство «Logos». 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПП «Искусство России»,
Санкт-Петербург, Промышленная ул., 38/2

© Д. С. Лихачев, 1998
© Издательство «Logos», 1998
© В. Корнилов. Художественное
оформление, 1998

ISBN 5-87288-151-7

ОТ РЕДАКЦИИ

Правомерен вопрос: имеет ли смысл издавать монографическую работу о «Слове о полку Игореве», когда в недавно вышедших работах Словаря-справочника и энциклопедии «Слова о полку Игореве»¹ подведены, казалось бы, итоги исследований многих общих и частных проблем, касающихся изучения знаменитого памятника древней русской литературы?» На этот вопрос можно ответить только утвердительно.

Жанр энциклопедии при всем его удобстве для разного рода справочной работы никогда не заменит собой исследования, дающего картину того или иного целостного подхода к произведению. Точка зрения исследователя никогда не сможет

¹ Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»/Составитель В. Л. Виноградова. Под редакцией Б. Л. Богородского, Б. А. Ларина, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. Вып. 1: А—Г; вып. 2: Д—Копье; вып. 3: Корабль—Нынешний; вып. 4: О—П; вып. 5: Р—С; вып. 6: Т—Я и дополнения. М.: Л.: Наука, 1965—1984; Энциклопедия «Слова о полку Игореве»/Под редакцией Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева, С. А. Семячко, О. В. Творогова. Т. 1: А—В; т. 2: Г—И; т. 3: К—О; т. 4: П—Слово; т. 5: Слово Даниила Заточника—Я. Дополнения. Карты. Указатели. СПб, 1995.

быть полностью оценена при коротком изложении ее в энциклопедической статье, не позволяющей судить о весомости вклада исследователя в изучение памятника.

Наиболее существенную сторону научной работы представляют не столько отдельные наблюдения или открытия, сколько обобщения, возникающие, как правило, на стыке многих работ. Отдельные части в них, соединяясь, выстраивают значительные концепции, бросающие свет на культуру той или иной нации в ту или иную эпоху.

Работа Д. С. Лихачева «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени» — монографическое исследование, подводящее итоги многолетней работы автора над изучением одного из самых значимых произведений древней русской литературы. Первое издание книги вышло в свет в 1978 году. За истекшие двадцать лет появилось немало новых материалов и исследований, с их учетом в книгу внесены существенные изменения и дополнения. Предлагаем вниманию читателей 3-е издание книги, переработанное и дополненное.

Книга подготовлена в рамках проекта «Книжная культура России».

* * *



ПРЕДИСЛОВИЕ

Б

ольшинству читателей вся древнерусская литература известна только по одному памятнику — «Слову о полку Игореве». И «Слово» поэтому представляется одиноким, ни с чем не связанным произведением, сиротливо возвышающимся среди унылого однообразия княжеских свар, диких нравов и жесточайшей нищеты жизни. Эти представления поддерживаются традиционными мнениями о низком уровне культуры Древней Руси, при этом якобы косной и малоподвижной.

Все это глубоко ошибочно. Русь до Батыева завоевания была представлена великолепными памятниками зодчества, живописи, прикладного искусства, историческими произведениями и публицистическими сочинениями. Она не была отгорожена от других европейских стран, поддерживала тесные культурные связи с Византией, Болгарией, Сербией, Чехией, Моравией, Польшей, скандинавскими странами. Она была связана с Кавказом и степными народами. Ее культура не была отсталой или замкнутой в себе, отгороженной «китайской стеной» от внешнего культурного мира. Широкое распространение грамотности — это факт, доказанный сейчас многочисленными находками берестяных грамот в

Новгороде. Ее культура была единой на всей огромной территории от Ладоги и Белого моря на севере до черноморской Тмутарокани на юге, от Волги на востоке и до Карпат на западе. Брачные узы княжеских семей связывали их с Францией, Германией, Венгрией, Польшей, Скандинавией, Византией, с Кавказом и половецкой кочевой аристократией.

Культура домонгольской Руси была высокой и утонченной. На этом культурном фоне «Слово о полку Игореве» не кажется одиноким, исключительным памятником.

Основная цель этой книги — показать глубокие корни всей художественной и идейной системы «Слова о полку Игореве». Особую роль играют в данном случае внелитературные связи — связи с устной речью, с феодалской символикой, с историческими представлениями, наконец, просто с исторической действительностью и историческим прошлым Руси. Далеко не все из того, что писал автор о «Слове», вошло в эту книгу. Нет в ней полемики по частным вопросам, например, по поводу отдельных произвольных исправлений в «Слове». Автор стоит на той точке зрения, что «Слово» необходимо защищать не только от скептиков, но и от слишком вольного обращения с его текстом, дошедшим до нас в первом издании 1800 г. и в Екатерининской копии. «Слово» можно не только срубить на корню, но и подточить его отдельными исправлениями многочисленных «старателей», пытающихся добыть в нем «золотую руду» эффектных гипотез.

«Слово» — это многостолетний дуб, дуб могучий и раскидистый. Его ветви соединяются с кронами других роскошных деревьев великого сада русской поэзии XIX и XX вв., а его корни глубоко уходят в русскую почву. «Слово», как и всякое живое растение, нуждается в тщательном уходе, во внимательном отношении к нему — как ученых-специалистов, так и рядовых читателей. Только в детальном, кропотливом и высококвалифицированном на-

учном изучении раскрывается вся его художественная мудрость, вся его неповторимая, единственная и вместе с тем традиционная и «почвенная» красота.

* * *

В 3-е издание моей книги (первое издание вышло в 1978 г., второе издание — в 1985 г.) внесены существенные изменения и дополнения. Исключены полемические главы как потерявшие в настоящее время свой интерес для широкого читателя (главы, где я полемирую с итальянским ученым Анжело Данти, с английским ученым Джоном Феннелом, с русскими исследователями С. Н. Азбелевым, А. А. Зиминным и писателем О. Сулейменовым).

Вместе с тем в это издание книги включены новые главы, вошедшие в раздел «Работы последних лет»: «Новгородские черты в „Слове о полку Игореве“», «Предположение о диалогическом строении „Слова“», «„Идеологический фон“ литературного произведения (на примере „Слова о полку Игореве“»)», «Каким был автор „Слова о полку Игореве“». Глава «Княжеские певцы по свидетельству „Слова о полку Игореве“» печатается в новой редакции.

В остальные главы внесены частичные исправления и дополнения.

Более подробная библиография моих работ по «Слову о полку Игореве», составленная М. А. Салминой, вышла в свое время в серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР» (М.: Наука, 1989), а также в дополнении к этой библиографии: Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 50. СПб, 1996. С. 40—71.





«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Что сближает «Слово о полку Игореве» с литературой своего времени и что выделяет в ней? Указывают ли отдельные сближения с литературой XII в. на то, что «Слово» не могло быть порождено другой эпохой, а то, что выделяет «Слово» среди произведений его времени, не противоречит ли его обычной датировке?

А. С. Пушкин писал в своей статье «О ничтожестве литературы русской», изумляясь непреходящей красоте «Слова»: «...„Слово о полку Игореве“ возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности»¹. С тех пор прошло почти полтора столетия, «Слово» изучалось литературоведами, лингвистами, историками, было открыто много новых памятников древней русской литературы, изучен процесс литературного развития. Подтвердили ли все эти дальнейшие изучения мнение Пушкина об одиночестве «Слова»?

Я думаю, что слова Пушкина подтверждены в том, что перед нами произведение изумительное, «горная вершина». Мы ведь и до сих пор воспринимаем «Слово» как памятник гениальный. Но мнение Пушкина не подтверждено в том, что «Слово» одиноко. «Слово» возвышается, но не в пустыне, не на равнине, а среди горной цепи, где есть и памятники исторические, ораторские, житийные, где есть произведения, сходные по своему типу, где высказывались сходные патриотические идеи, возникали сходные темы. Более чем полутораве-

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. 2-е изд. Т. 7. М., 1958. С. 307.

ковое изучение «Слова» и всей древней русской литературы, в которой были открыты после Пушкина многие новые памятники, позволяет нам согласиться с тем, что было в свое время сказано Б. Д. Грековым: «Волнующая красота и удивляющая глубина „Слова“ — не чудо, а закономерность»¹.

Не буду касаться всех связей «Слова» с литературой его времени. В последние десятилетия особенно много сделано в этом направлении. Укажу хотя бы на те многочисленные параллели, которые были подысканы к отдельным местам и образам «Слова» в работах В. П. Адриановой-Перетц, Д. В. Айналова, Б. С. Ангелова, В. Л. Виноградовой, С. А. Высоккого, Св. Гординского, Н. К. Гудзия, Л. А. Дмитриева, Н. М. Дылевского, А. П. Евгеньевой, И. П. Еремина, К. Менгеса, Н. А. Мещерского, А. С. Орлова, А. В. Соловьева, В. И. Стеллецкого, Б. А. Рыбакова, О. В. Творогова, В. В. Колесова, Р. О. Якобсона и многих других².

В нашу задачу входит выделить те особенности «Слова», которые делают несомненной его средневековую природу.

* * *

Русская литература уже с древнейшего периода отличалась высоким патриотизмом, интересом к темам общественного и государственного строительства, неизменно развивающейся связью с народным творчеством. Она поставила в центр своих исканий человека, она ему служит, ему сочувствует, его изображает, в нем отражает национальные черты, в нем ищет идеалы.

¹ Греков Б. Д. Автор «Слова о полку Игореве» и его время // Историк-марксист, 1938, кн. 4. С. 10.

² Свод параллелей к отдельным местам «Слова» см. в кн.: Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л., 1968. Библиографические сведения о работах других упомянутых здесь авторов см. ниже в подстрочных примечаниях.

В русской литературе XI—XVI вв. не было поэзии, лирики как обособленных жанров, и поэтому вся литература проникнута особым лиризмом¹. Этот лиризм проникает в летописание, в исторические повести, в ораторские произведения. Характерно при этом, что лиризм имеет в древней русской литературе по преимуществу гражданские формы. Автор скорбит и тоскует не по поводу своих личных несчастий, он думает о своей родине, к ней по преимуществу обращает всю полноту своих личных чувств. Это лирика не личностного характера, хотя личность автора в ней и выражается призывами к спасению родины, к преодолению неурядиц в общественной жизни страны, острым выражением горя по поводу поражений или междоусобий князей.

Эта типичная особенность нашла в себе одно из самых ярких выражений в «Слове о полку Игореве». «Слово» посвящено теме защиты родины, оно лирично, исполнено тоски и скорби, гневного возмущения и страстного призыва. Оно эпично и лирично одновременно. Автор постоянно вмещивается в ход событий, о которых рассказывает. Он прерывает самого себя восклицаниями тоски и горя, как бы хочет остановить тревожный ход событий, сравнивает прошлое с настоящим, призывает князей-современников к активным действиям против врагов родины.

Совершенно прав И. П. Еремин, когда пишет, что автор «Слова» «действительно заполняет собою все произведение от начала до конца. Голос его отчетливо слышен везде: в каждом эпизоде, едва ли не в каждой фразе. Именно он, автор, вносит в „Слово“ и ту

¹ Об отсутствии в Древней Руси стихотворства и лирики, потребности в которых удовлетворялись по преимуществу фольклором, фольклорной лирической песнью, см.: Лихачев Д. С. Система литературных жанров Древней Руси / В кн.: Славянские литературы. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963 г. М., 1963. С. 47—70.

лирическую стихию, и тот горячий общественно-политический пафос, которые так характерны для этого произведения»¹.

Те же черты мы найдем во всех исторических повестях Древней Руси, но особенно характерны они для XII и XIII вв.— для «Слова о погибели Русской земли», для «Повести о разорении Рязани Батыем», для повестей о битве на Калке, о взятии Владимира татарами и многих других.

И. П. Еремин справедливо отмечает в «Слове о полку Игореве» многие приемы ораторского искусства. Это еще не служит, как мне кажется, доказательством принадлежности «Слова» к жанру ораторских произведений, но это ярко свидетельствует о пронизывающей «Слово» стихии устной речи. Эта стихия устной речи вообще характерна для древнерусской литературы, как бы еще не освободившейся от традиций устных художественных произведений, от традиций речевых выступлений и церковной проповеди, но вместе с тем теснейшим образом связана с той лирической стихией, о которой говорилось выше. Через ораторские обращения и ораторские восклицания передавалось авторское отношение к событиям, изображаемым в рассказе. Перед нами в «Слове», как и во многих других произведениях Древней Руси, рассказ, в котором автор чаще ощущает себя говорящим, чем пишущим, своих читателей — слушателями, а не читателями, свою тему — темой поучения, а не рассказа.

Автор «Слова» обращается к князьям-современникам и в целом, и по отдельности. По именам он обращается к двенадцати князьям, но в число его воображаемых слушателей входят все русские князья и, больше того, все его современники вообще. Это лирический призыв, широкая эпическая тема, разрешаемая лирически. Образ автора-наставника, образ читателей-слушателей, тема

¹ Еремин И. П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси / В кн.: «Слово о полку Игореве». Исследования и статьи. М.; Л., 1950. С. 111.

произведения, средства убеждения — все это как нельзя более характерно для древней русской литературы в целом.

* * *

Не случайно поводом для призыва князей к единению взято в «Слове» поражение русских князей. Только непониманием содержания «Слова» можно объяснить тот факт, что А. Мазон считал целью «Слова» обоснование законности территориальных притязаний Екатерины II на юге и западе России¹. Для такого рода притязаний скорее бы подошла тема победы, именно победа могла бы сослужить наилучшую службу для выражения лести... Для той шовинистической цели, которую предполагает А. Мазон в «Слове», толкуя его как произведение XVIII в., незачем было менять тему «Задонщины», повествующей о победе русского оружия, на тему поражения мелкого русского удельного князя Игоря Святославича от войск половцев. Для своего времени тема поражения была органически связана с призывом исправиться и постоять за Русскую землю. Вспомним церковные поучения XI—XIII вв. Они прикреплялись к несчастным общественным событиям — нашествиям иноплеменников, землетрясениям, недородам. Начиная от «Почения о казнях Божиих», помещенного в летописи под 1067 г., и кончая поучениями Серапиона Владимирского, все призывы церковных проповедников строились на примерах общественных несчастий. Не только церковные проповедники, но и летописцы стремились высказать хотя бы несколько слов поучения по поводу того или иного поражения русских войск, голода, недорода, пожара, землетрясения, разорения городов и сел половцами, а впоследствии татарами и т. д. Типична сама форма этих поучений: если они коротки — это восклицания, напоминающие

¹ Mazon A. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940. P. 160—163, 76—77 etc.

авторские отступления в «Слове о полку Игореве» («о горе и тоска!»; «тоска и туга!»; «о, велика скорбь бяше в людех!» и т. д.); если они пространны — это лирические призывы к современникам исправиться, стать на путь покаяния, активно сопротивляться злу.

Общественные несчастья служили нравоучительной основой и для житийной литературы. Убийство Бориса и Глеба, убийство Игоря Ольговича служили исходной темой для проповеди братолюбия, княжеского единения и княжеского послушания старшему.

Характерно, что не только церковная, но и чисто светская литература, светское нравоучение, политическая агитация находили себе повод в общественных несчастьях. Поражение обычно служило в Древней Руси стимулом для подъема общественного самосознания, для начала новых действий, реформ, введения новых установлений. Это была до известной степени реакция здорового, полного сил общественного организма, признак его жизнеспособности и уверенности в своем будущем. Вспомним всю реформаторскую деятельность Владимира Мономаха. Он стремился использовать уроки неурядиц и поражений для новых и новых обращений к русским князьям. Замечательно при этом, что проповедь политического единения, призывы к исправлению нравов или к новым военным действиям против врагов опирались на события только что совершившиеся, которые еще живо ощущались, не остыли, были перед глазами у всех, были полны эмоциональной силы. Этим во много раз увеличивалась действенность проповеди. В древней литературе XI—XIII вв. почти нет случая, чтобы основной нравоучительный толчок давался событием далекого прошлого. Нравоучение могло широко использовать воспоминания о прошлом (особенно когда нужно было сравнить печальное настоящее с цветущим прошлым, как, например, в «Слове о погибели Русской земли»), но тем не менее поводом для написания нравоучения прошлое не служило. Литературная тенденция была остро современна.

Почти все произведения древней русской литературы XI—XIII вв., посвященные реальным событиям, избирают эти события из живой современности, описывают события только что случившиеся. События далекого прошлого служат основанием только для новых компиляций, для новых редакций старых произведений, для сводов — летописных и хронографических. Вот почему самые события, изображенные в «Слове», служат до известной степени основанием для датировки столь публицистического произведения, как «Слово». «Слово о полку Игореве» и в этом отношении типично. Тема поражения, как основа для поучения, для призыва к единению, может быть избрана только для произведения, составленного тотчас же после этого поражения.

* * *

Обращает на себя внимание жанровая одиночество «Слова» среди памятников древнерусской литературы. Ни одна из гипотез, как бы она ни казалась убедительной, не привела полных аналогий жанру «Слова». Если «Слово» — светское ораторское произведение XII в., то других светских ораторских произведений XII в. пока еще не обнаружено. Если «Слово» — былина XII в., то и былин от этого времени до нас не дошло. Если это воинская повесть, то такого рода воинских повестей мы также не знаем.

Жанровая система древней русской литературы была довольно сложной. Основная часть жанров была заимствована русской литературой в X—XIII вв. из литературы византийской: в переводах и в произведениях, перенесенных на Русь из Болгарии. В этой перенесенной на Русь системе жанров были в основном церковные жанры: жанры произведений, необходимых для богослужения и для отправления церковной жизни — монастырской и приходской. Здесь должны быть отмечены различные руководства по богослужению, молитвы и жития святых различных типов; произведения, предна-

значавшиеся для благочестивого индивидуального чтения и т. д. Но, кроме того, были и сочинения более «светского» характера: разного рода естественнонаучные сочинения (шестодневны, бестиарии, алфавитарии), сочинения по всемирной истории (по ветхозаветной и римско-византийской), сочинения типа «эллинистического романа» («Александрия») и многие другие.

Разнообразие перешедших на Русь жанров поразительно. Однако вот на что следует обратить внимание. Перешедшие на Русь жанры по-разному продолжали здесь свою жизнь. Были жанры, которые существовали только вместе с перенесенными на Русь произведениями и самостоятельно здесь не развивались. И были другие, продолжавшие на Руси активное свое существование. В их рамках создавались новые произведения: например, жития русских святых, проповеди, поучения, реже молитвы и другие богослужебные тексты.

Кроме традиционной системы литературных жанров, существовала и другая традиционная жанровая система — фольклорная.

Фольклор в XI—XIII вв. был тесно связан с литературой, и его жанры были соединены с жанрами литературы. Те и другие составляли некое «двуединство» словесного искусства.

В средние века и в особенности в раннем средневековье фольклор распространен во всех слоях общества: и у крестьян, и у феодалов. Граница между литературой и фольклором в это время не столько социальная, сколько жанровая.

Есть жанры, которые требуют письменного оформления, и есть жанры, которые требуют устного исполнения. А поскольку грамотность была распространена не во всех слоях общества, то не столько фольклор, сколько литература была ограничена и социально. Фольклор же в период раннего феодализма этих социальных ограничений в целом не знал. Как известно, в новое и особенно новейшее время положение обратное: не ограничена социально литература, а социально ограничен фольклор.

Обе традиционные системы жанров — литературная и фольклорная — находились во взаимной связи. Отдельные потребности в словесном искусстве удовлетворялись только фольклором, другие — только литературой. Любовная лирика, развлекательные жанры были на Руси до XVII в. только в фольклоре. Церковные же и различные сложные исторические жанры были только в литературе.

Отсутствие в древней русской литературе от XI и до XVII в. любовной лирики, театра, ограниченность развлекательных сочинений, по-видимому, объясняется именно тем, что в фольклоре была уже высокая личная лирика, была сказка, были игры и представления скоморохов. А фольклор обслуживал всех.

Итак, в древней русской литературе ко времени создания «Слова о полку Игореве» существовали две традиционные системы жанров, тесно связанные друг с другом и взаимно друг друга дополнявшие. Однако, как бы ни была богата традиционная (двойная) система жанров, в XI—XIII вв. она оказалась все же недостаточной. Возникает новое историческое и патриотическое самосознание, которое требует новых жанровых форм для своего выражения.

В результате поисков новых жанров в русской литературе и, по-видимому, в фольклоре появляется много произведений, которые трудно отнести к какому-нибудь из прочно сложившихся традиционных жанров. Эти произведения стоят как бы вне их.

Ломка традиционных форм вообще была довольно обычной на Руси. В разные эпохи и в разных обстоятельствах стремление «начать все сначала» овладевало обществом. Дело в том, что новая явившаяся на Русь культура была хотя и очень высокой, создав первоклассную «интеллигенцию», но налегла тонким слоем — слоем хрупким, ломким. Вследствие этой хрупкости и ломкости образование новых форм, появление вне традиционных произведений было очень облегчено.

Вместе с тем все более или менее выдающиеся

произведения литературы, основанные на глубоких внутренних потребностях, часто вырываются за пределы традиционных форм. В самом деле, такое выдающееся произведение, как «Повесть временных лет», не укладывается в воспринятые на Руси из Византии и Болгарии жанровые рамки. «Повесть об ослеплении Василька Теробовальского» — это тоже произведение вне традиционных жанров. Ломают традиционные жанры произведения князя Владимира Мономаха: его «Поучение», его автобиография, его письмо к Олегу Святославичу. Вне традиционной жанровой системы находится «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Похвала» Роману Галицкому и многие другие замечательные произведения древней русской литературы XI—XIII вв.

Таким образом, для XI—XIII вв. характерно, что многие более или менее талантливые произведения отличаются младенческой неопределенностью форм.

Забегая несколько вперед, скажу, что неясность жанровой принадлежности «Слова о полку Игореве» — явление как раз этого порядка, типичное для литературы XI—XIII вв.

Следует предположить, что новые жанры или новые видоизменения старых жанров образовались в раннефеодальный период также и в фольклоре. Эти изменения нам очень мало известны, как мало известен и самый фольклор этого периода, очень слабо отразившийся в письменности XI—XIII вв.

Свидетельством появления новых жанров в эпическом творчестве является «Слово о полку Игореве».

Обратим внимание на одну черту общественного сознания раннефеодального общества, вызвавшего формирование новых жанров и в литературе, и в фольклоре.

Раннефеодальные государства были очень непрочными. Чтобы удержать единство, требовалась высокая общественная мораль, высокое чувство чести, верности, самоотверженности, высокое патриотическое самосозна-

ние и высокое развитие словесного искусства — жанров политической публицистики, жанров, воспевающих любовь к родной стране, жанров лиро-эпических. Единство государства, при недостаточности связей экономических и военных, не могло существовать без интенсивного развития патриотических качеств у феодалов и рядовых воинов. Вот почему развивается личностное начало в эпосе. Певец-исполнитель выражает свое личное отношение к рассказываемым событиям.

Для раннефеодальной литературы и для раннефеодального эпоса в равной степени характерны произведения, окрашенные чувством сильной личной привязанности к родной стране, недовольством существующим положением, особенно раздорами и вызванными этими раздорами военными поражениями. В раннефеодальном эпосе Франции типичны в этом отношении *chansons de geste*. Эпос становится лиричен и публицистичен. В нем отражаются симпатии к сильной королевской власти, осуждение своевольных поступков феодалов и вместе с тем похвала их чувству чести, их рыцарским добродетелям, скорбь по поводу вызванных их своевольством поражений.

Новые жанры по большей части образуются на стыке фольклора и литературы. Такие произведения, как «Слово о погибели Русской земли», «Моление Даниила Заточника», — полулитературные-полуфольклорные.

Возможно даже, что зарождение новых жанров происходит в устной форме, а потом уже закрепляется в литературе.

Типичным представляется образование нового жанра в «Молении Даниила Заточника». Скоморохи Древней Руси были близки к западноевропейским жонглерам и шпильманам. Близки были и их произведения. «Моление Даниила Заточника» было посвящено профессиональной скоморошьей теме. В нем скоморох Даниил выпрашивает «милость» у князя. Для этого он восхваляет сильную власть князя, его щедрость и одновременно стремится возбудить жалость к себе, расписывая свои

несчастья и пытаюсь рассмешить слушателей своим остроумием.

Другой тип произведения, гораздо более серьезного, но вышедшего из той же среды княжеских певцов, представляет собой «Слово о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» принадлежит к числу книжных отражений раннефеодального эпоса. Оно стоит в одном ряду с такими произведениями, как немецкая «Песнь о Нибелунгах», грузинский «Витязь в тигровой шкуре», армянский «Давид Сасунский» и т. д. Но особенно много общего в жанровом отношении у «Слова о полку Игореве» с «Песнью о Роланде».

Автор «Слова о полку Игореве» причисляет свое произведение к числу «трудных повестей», то есть к повествованиям о военных деяниях (ср. *chansons de geste*). «Слово» оплакивает поражение Игоря. Это поражение — результат безрассудного, безумно смелого похода небольшого войска князя Игоря в далекие степи — на неверных язычников, «паганых» (*paganus* — язычник). Трагичность поражения усугубляется тем, что войско идет навстречу неминуемой гибели, но не может вернуться из-за высокого чувства чести князя и его дружины.

Как и в «Песне о Роланде», где седобородый император Карл сочувствует Роланду и оплакивает его, хотя и осуждает, — в «Слове о полку Игореве» седой киевский князь Святослав оплакивает гибель Игорева войска, жалеет о судьбе Игоря и одновременно его осуждает.

Карл и Святослав символизируют собой национальное и государственное единство своих стран. Они мирно управляют своими странами, пока герои идут в поход.

В русских былинах образам Карла и Святослава соответствует образ киевского князя Владимира Красное Солнышко, при дворе которого живут богатыри, совершающие свои подвиги по защите Русской земли от врагов-язычников.

В «Слове о полку Игореве» вставлено (инкрусти-

ровано) другое произведение — «Плач Ярославны», — другое и в жанровом отношении, очень напоминающее западноевропейские песни о разлуке. Как и песни о разлуке (*chansons de toile*), плач Ярославны, жены князя Игоря, оплакивает разлуку с мужем, ушедшим в далекий поход на язычников.

В «Слове о полку Игореве», как и в *chansons de geste*, сильно сказывается авторское начало. Пока это авторское начало еще слито с началом исполнительским, не отделено от него. В «Слове» автор говорит о себе как об исполнителе своего произведения под аккомпанемент гуслей. Это авторско-исполнительское начало чрезвычайно важно для понимания особенностей жанра. Оно дает возможность лирически интерпретировать события, сопровождать рассказ горестными размышлениями, лирическими восклицаниями и отступлениями и обратиться к слушателям с призывом объединиться и стать на защиту Русской земли.

Лирическое начало пронизывает собой весь стиль «Слова о полку Игореве». В наиболее патетических местах автор дважды восклицает: «О русская земля, уже ты за холмом!». Дважды автор горестно восклицает, прерывая свой рассказ: «А Игореву войско не воскресить!». Для «Песни о Роланде», как известно, также характерны повторные тирады (*laises similaires*).

В «Слове о полку Игореве», как и в «Песне о Роланде», кажется, что поэт, пораженный горем, не может расстаться с этим горем, не может перейти к другой теме. Он как бы останавливает свой рассказ, предаваясь горестным размышлениям и воспоминаниям о таких же несчастьях в прошлом.

Между «Словом о полку Игореве» и «Песней о Роланде» есть и другие черты типологической близости: вещие сны, знамения, приметы, заботливое перечисление военной добычи и многое другое.

О близости «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» писали многие русские и советские ученые — Полевой, Погодин, Буслаев, Майков, Каллаш, Дашке-

вич, Дынник и Робинсон¹. Однако прямой генетической зависимости «Слова» от «Песни о Роланде» здесь нет. Есть только общность жанра, возникшего в сходных условиях раннефеодального общества.

Но между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде» есть и существенные отличия. Эти различия не менее важны, чем сходства, для истории раннефеодального эпоса Европы. «Слово о полку Игореве» создано вскоре после событий, по-видимому, через несколько лет, тогда как «Песнь о Роланде» формировалась столетиями. Во всяком случае, Оксфордская — наиболее ранняя — рукопись «Песни о Роланде» относится к XI в. и отстоит от событий поражения Роланда (778 г.) на три-четыре века. Это различие сказывается на приемах художественного обобщения в том и другом произведении.

Чудесный, сверхъестественный элемент в «Слове о полку Игореве» слабее, чем в «Песне о Роланде». Гиперболизация в «Слове о полку Игореве» не достигла такой сильной степени, как в «Песне о Роланде». Поэтому образ князя Святослава ближе к историческому князю Святославу, чем образ императора Карла в «Песне о Роланде» к историческому Карлу.

«Слово о полку Игореве» историчнее, ближе к историческим событиям, чем «Песнь о Роланде». Хотя тенденции гиперболизации и введения чудесного элемента ясны уже и в «Слове». Гиперболизированы мудрость и сила Святослава, гиперболизированы подвиги брата Игоря — Всеволода Буй Тура. Что же касается чудесного элемента, то в «Слове о полку Игореве» он все же интенсивно проникает в описания природы. Как и в «Песне о Роланде», природа сочувствует герою,

¹ Робинсон А. Н. «Слово о полку Игореве» и героический эпос средневековья // «Вестник АН СССР». 1976. № 4. С. 104—112. В этой статье вопрос о близости «Слова» и «Песни о Роланде» рассмотрен с наибольшей широтой в культурологическом аспекте; там же библиография вопроса.

предупреждает его об опасности, помогает ему. Это сочувствие природы русскому войску и предводителю похода сильно увеличивает трагичность и лиричность всего произведения.

Вместе с тем, поскольку «Слово о полку Игореве» ближе к животрепещущим событиям, которые послужили его темой, в нем сильнее сказывается, чем в «Песне о Роланде», публицистический элемент. В «Слове» сильнее, чем в «Песне о Роланде», осуждение князей-современников за их междоусобия и легкомысленную отвагу, сильнее звучит призыв объединиться и общими усилиями защитить Русскую землю от «поганных» — язычников. «Слово о полку Игореве» «злободневнее», чем «Песнь о Роланде».

Важное отличие «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» заложено как будто бы в различиях самих событий. Дело в том, что герой «Песни о Роланде» погибает, герой же «Слова о полку Игореве» бежит из плена. Поэтому «Слово о полку Игореве» заканчивается радостно — «славой» Игорю.

Однако наличие в «Слове о полку Игореве» элементов «славы» могло явиться не только результатом темы, событий, легших в основу произведения, но и особенностей русского жанра «трудных повестей».

В «Слове» соединены два фольклорных жанра — «слава» и «плач»: прославление князей с оплакиванием печальных событий. В самом «Слове» и «плачи», и «славы» упоминаются неоднократно. И в других произведениях Древней Руси мы можем заметить то же соединение «слав» в честь князей и «плача» по погибшим. Так, например, близкое по ряду признаков к «Слову о полку Игореве» — «Слово о гибели Русской земли» представляет собой соединение «плача» о гибнущей Русской земле со «славой» ее могучему прошлому.

Соединение в «Слове о полку Игореве» жанра «плачей» с жанром «слав» не противоречит тому, что «Слово о полку Игореве» как «трудная повесть» близка по своему жанру к *chansons de geste*. «Трудные повести», как и

chansons de geste, принадлежат к новому жанру, очевидно, соединившему при своем образовании два более древних жанра — «плачи» и «славы». «Трудные повести» оплакивали гибель героев, их поражение и восхваляли их рыцарские доблести, их верность и их честь.

«Слово о полку Игореве» — это книжное произведение, возникшее на основе устного. В «Слове» органически слиты фольклорные элементы с книжными. Характерно при этом следующее. Больше всего книжные элементы сказываются в начале «Слова». Как будто бы автор, начав писать, не мог еще освободиться от способов и приемов литературы. Он недостаточно еще оторвался от письменной традиции. Но по мере того как он писал, он все более и более увлекался устной формой. С середины он уже не пишет, а как бы записывает некое устное произведение. Последние части «Слова», особенно «плач Ярославны», почти лишены книжных элементов.

Мы не можем сейчас решить окончательно: было ли «Слово о полку Игореве» совершенно одиноко в жанровом отношении, как некая «трудная повесть», chansons de geste, или были и другие произведения того же жанра. Во всяком случае «Слово» представляло собой некое закономерное и характерное явление для литературы и для фольклора раннефеодального периода. Важно при этом отметить, что «Слово» — конгломерат жанров (ср. аналогичное явление в летописи, в житиях и пр.).

Попытаемся все же проанализировать жанровые связи «Слова» с народной поэзией. Связь «Слова» с произведениями устной народной поэзии яснее всего ощущается, как я уже сказал, в пределах двух жанров, чаще всего упоминаемых в «Слове»: плачей и песенных прославлений — «слав», хотя далеко не ограничивается ими. «Плачи» и «славы» автор «Слова» буквально приводит в своем произведении, им же он больше всего следует в своем изложении. Их эмоциональная противоположность дает ему тот обширный диапазон чувств

и смен настроений, который так характерен для «Слова» и который сам по себе отделяет его от произведений устной народной словесности, где каждое произведение подчинено в основном одному жанру и одному настроению.

Плачи автор «Слова» упоминает не менее пяти раз: плач Ярославны, плач жен русских воинов, павших в походе Игоря, плач матери Ростислава; плачи же имеет в виду автор «Слова» тогда, когда говорит о стонах Киева и Чернигова и всей Русской земли после похода Игоря. Дважды приводит автор «Слова» и самые плачи: плач Ярославны и плач русских жен. Многократно он отвлекается от повествования, прибегая к лирическим восклицаниям, столь характерным для плачей: «О, Русская земле! уже за шеломянемъ еси!»; «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»; «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?»; «А Игорева храбраго плъку не крѣсити!».

Близко к плачам и «золотое слово» Святослава, если принимать за золотое слово только тот текст «Слова», который заключается упоминанием Владимира Глебовича: «Туга и тоска сыну Глѣбову». «Золотое слово» «съ слезами смѣшено», и Святослав говорит его, обращаясь, как и Ярославна, к отсутствующим — к Игорю и Всеволоду Святославичам. Автор «Слова» как бы следует мысленно за полком Игоря и мысленно его оплакивает, прерывая свое повествование близкими к плачам лирическими отступлениями: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло!».

Близость «Слова» к плачам особенно сильна в плаче Ярославны. Автор «Слова» как бы цитирует плач Ярославны — приводит его в более или менее большом отрывке или сочиняет его за Ярославну, но в таких формах, которые действительно могли ей принадлежать.

Плач русских жен по воинам Игоря автор «Слова» передает не только как лирическое излияние, но старается воспроизвести перед воображением читателя и сопровождающее его языческое действо: «За нимъ кликну

Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ».

Не менее активно, чем «плачи», участвуют в «Слове» стоящие в нем на противоположном конце сложной шкалы поэтических настроений песенные «славы». С упоминания о славах, которые пел Боян, «Слово» начинается. Славой Игорю, Всеволоду, Владимиру и дружине «Слово» заключается. Ее поют Святославу немцы и венецици, греки и моравы. Слава звенит в Киеве, ее поют девицы на Дунае. Она вьется через море, пробегает пространство от Дуная до Киева. Отдельные отрывки из «слав» как бы звучат в «Слове»: и там, где автор говорит о Бояне, и там, где он слагает примерную песнь в честь похода Игоря. «Славы» то тут, то там слышатся в обращениях автора «Слова» к русским князьям, в диалоге Игоря с Донцом («Княже Игорю, не мало ти величия...»; «О, Донче! не мало ти величия...»). Наконец, они прямо приводятся в его заключительной части: «Солнце свѣтитя на небесѣ,— Игорь князь въ Руской земли».

Итак, «Слово» очень близко к народным «плачам» и «славам» (песенным прославлениям). И «плачи», и «славы» часто упоминаются в летописях XII—XIII вв. «Слово» близко к ним и по своей форме, и по своему содержанию, но в целом это, конечно, не «плач» и не «слава». Народная поэзия не допускает смешения жанров. Это произведение книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии.

Было ли книжное по своему характеру «Слово» единственным произведением, столь близким к народной поэзии, в частности к двум ее видам: к «плачам» и «славам»? Этот вопрос очень существен для решения вопроса о том, противоречит ли «Слово» своей эпохе по стилю и жанровым особенностям.

От времени, предшествующего «Слову», до нас не дошло ни одного произведения, которое хотя бы отчасти напоминало «Слово» по своей близости народной поэзии. Мы можем найти отдельные аналогии «Слову» в деталях,

но не в целом. Только после «Слова» мы найдем в древней русской литературе несколько произведений, в которых встретимся с тем же сочетанием плача и славы, с тем же дружинным духом, с тем же воинским характером, которые позволяют объединить их со «Словом» по жанровым признакам: «Похвалу Роману Мстиславичу Галицкому», читающуюся в Ипатьевской летописи под 1201 г., «Слово о погибели Русской земли» и «Похвалу роду рязанских князей», дошедшую до нас в составе повестей о Николе Заразском. Все эти три произведения обращены к прошлому, что составляет в них основу для сочетания плача и похвалы. Каждое из них сочетает книжное начало с духом народной поэзии «плачей» и «слав». Каждое из них тесно связано с дружинной средой и дружинным духом воинской чести.

«Похвала Роману Мстиславичу» — это прославление его и плач по нем. Это одновременно плач по былому могуществу Русской земли и слава ей. В текст этой «жалости и похвалы» введен краткий рассказ о траве евшан и половецком хане Отроке. Похвала посвящена Роману и одновременно Владимиру Мономаху. Ощущение жанровой близости «Слова о полку Игореве» и «Похвалы Роману Мстиславичу» было настолько велико, что оно позволяло даже некоторым исследователям видеть в «Похвале» отрывок, отделившийся от «Слова». Но «Похвала» и «Слово» имеют и существенное различие. Эти различия не жанрового характера. Они касаются лишь самой авторской манеры. Так, например, автор «Похвалы Роману» сравнивает его со львом и с крокодилом («Устремил бо ся бяше на поганья, яко и лев, сердит же бысть, яко и рысь, и губяше, яко и коркодил, и прехожаше землю их, яко и орел, храбор бо бе, яко и тур»). Автор «Слова о полку Игореве» постоянно прибегает к образам животного мира, но никогда не вводит в свое произведение иноземных зверей. Он реально представляет себе все то, о чем рассказывает и с чем сравнивает. Он прибегает только к образам русской природы, избегает всяких

сравнений, не прочувствованных им самим и не ясных для читателя.

При определении жанра «Слова» следует учитывать его церемониальность. Древняя русская литература, особенно в этот период, в XI—XIII вв., не знала произведений, предназначенных только для одиночного читателя. Она всегда была рассчитана на обряд, на чтение в тот или иной момент богослужения, бытового случая, — на чтение вслух, для всех или многих. Несомненно, что и «Слово» должно было для чего-то предназначаться: не исключена возможность, что это было ораторское произведение, предназначенное для какого-то светского церемониала, как это думал И. П. Еремин, но вероятнее, как об этом мы уже говорили, что были плач и слава, также имевшие точное обрядовое назначение. Приводимые И. П. Ереминым признаки ораторского жанра в «Слове»¹ распространены во многих произведениях этого периода и не принадлежащих к ораторскому жанру. Ораторские приемы встречаются в летописях и житиях, в хождениях и исторических повестях (особенно в повестях о княжеских преступлениях), так как литературные произведения очень часто были участниками торжеств и обрядов, требовали громкого произнесения.

Древнерусское язычество и «Слово»

Языческие элементы в «Слове о полку Игореве» выступают, как известно, очень сильно. Это обстоятельство всегда привлекало внимание исследователей, а у скептиков вызывало новые сомнения в подлинности «Слова». Большинство исследователей тем не менее объясняли это фольклорностью «Слова», другие в последнее время видели в этом характерное явление общеевропейского возрождения язычества в XII в. Аналогичное древнерусскому

¹ Еремин И. П. Литература Древней Руси (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 144—163.

возрождение язычества в XII в. в Западной Европе отмечают ряд исследователей (Seznec. La survivance des dieux antiques. London, 1940; Vries J. De Skaldenkenningen metmythologischen Inhoud. Haarlem, 1934). Р. О. Якобсон отмечает общее условие этого «возрождения»: язычество перестало быть опасным для христианства (The Puzzles of the Igor' Tale on the 150 th anniversary of its first edition. — Speculum, 1952, January, P. 57). В своей работе «О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период» (в кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973. С. 217 и след.) А. Н. Робинсон рассматривает древнерусские и половецкие пережитки язычества в «Слове» как явления архаические для XII в. и вместе с тем приписывает им реально-идеологическое значение. Я настаиваю на том, что пережитки эти были типичны для XII—XIII вв. (см. дальше изложение взглядов В. Л. Комаровича) и частично являлись для автора «Слова» явлениями эстетического порядка.

Действительно, «Слово о полку Игореве» выделяется среди других памятников древней русской литературы не только тем, что языческие боги упоминаются в нем относительно часто, но и отсутствием обычной для памятников древнерусской литературы враждебности к язычеству.

Тем не менее язычество «Слова» не только не противоречит нашим современным представлениям об истории русской религиозности и об отношении к язычеству в Древней Руси в XII в., но в известной мере подтверждает их. Особенное значение имеют в изучении этого вопроса работы Е. В. Аничкова¹ и В. Л. Комаровича².

¹ Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914 (см. главы: «Два взгляда на язычество у древнерусских книжников» и «Боги в „Слове о полку Игореве“ и новый взгляд древних книжников на язычество»).

² См.: Комарович В. Л. Культ Рода и Земли в княжеской среде XII в. / ТОДРЛ. Т. XVI. М.; Л., 1950. С. 84—104.

Обратим внимание на то обстоятельство, что в «Слове» очень часто говорится о «внуках» языческих богов: Боян «Велесов внуче», ветры «Стрибожи внуци», «жизнь Даждьбожа внука», «въ силахъ Даждьбожа внука». А. Мазон считает, что перед нами в данном случае типичное псевдоклассическое клише: Боян называется внуком Велеса, подобно тому как поэты XVIII в. назывались сыновьями Аполлона¹. Однако сын и внук — это совсем не одно и то же. Внук в данном случае, несомненно, имеет значение «потомка» (ср. «Хамови вѣнуци» — Изборник 1073 г.; «внуки святаго великаго князя Владимира»; «внучата великаго князя Святослава Ольговича Черниговского» — «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др.).

В «Слове» перед нами несомненные пережитки религии еще родового строя. Боги — это родоначальники. В. Л. Комаровичу удалось вполне убедительно показать, что культ Рода глубоко проник в сознание людей домонгольской Руси и в пережиточной форме сохранялся даже в политических представлениях и политической действительности XII—XIII вв. Культ родоначальника сказался, в частности, в элементах религиозного отношения к Олегу Вещему, воспринимавшемуся одно время как родоначальник русских князей², даже в политической системе «лествичного восхождения» князей и во многом другом. Исследование В. Л. Комаровича показывает целую систему представлений XII—XIII вв., связанную с этими пережитками культа Рода.

В «Слове о полку Игореве» эти пережитки также могут быть отмечены — не только в том, что люди и явления признаются потомством богов, но и в самой системе художественного обобщения. В самом деле, для

¹ Мазон А. *Le Slovo d'Igor*. P. 62. О слове «внук» см.: Лотман Ю. М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII—XIX вв. / В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962. С. 372—373.

² Повесть временных лет. Часть вторая. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950. С. 249—250.

чего в «Слове» даны большие отступления об Олеге Гориславиче (Святославиче) и Всеславе Полоцком¹ Многим из исследователей эти отступления казались совершенно непонятными: в них видели то вставки, то проявления неуместной придворной лести, разрывающей художественное единство произведения¹.

На самом деле, как это можно заключить из материалов исследования В. Л. Комаровича, эти отступления закономерны: князья Ольговичи характеризуются по их родоначальнику Олегу, Всеславичи — по их родоначальнику Всеславу Полоцкому². Перед нами единое представление о взаимоотношении предков и потомков, в котором элементы культа перекрещиваются с элементами политических воззрений, быта и художественного мышления.

Как показал Е. В. Аничков, в Древней Руси существовало два взгляда на происхождение языческих богов. Согласно первому взгляду, языческие боги — это бесы. Взгляд этот опирался на Библию, высказывания апостолов и отцов церкви. Языческие боги названы бесами во Второзаконии (82₁₆₋₁₇), в Псалмах (105₃₇), у апостола Павла (1-е Послание Коринфянам, 10₂₀). Взгляд этот усвоен был нашей древнейшей летописью в рассказе о варягах-мучениках и о крещении Руси, в рассказе летописи под 1067 г., и т. д. Этот взгляд требовал умолчания имен богов, упоминание которых считалось греховным. Е. В. Аничков обращает внимание на учение Иисуса Навина — «не вспоминайте имени богов их» (Иисус Навин, 23₇) — и на слова псалма «не упомяну имен их устами моими» (15₄), которые

¹ А. В. Соловьев считает, что часть, посвященная в «Слове» Всеславу Полоцкому, внесена автором «Слова» — придворным певцом Святослава Киевского; последний был женат на Марии Васильевне Полоцкой, правнучке Всеслава (см.: Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // Исторические записки, 25. М., 1948).

² См. подробнее: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1958. С. 130—131.

объясняют нежелание древнерусских книжников называть имена древнерусских богов и даже особую формулу древнерусских поучений, отмечающих, вслед за рано переведенной в славянской письменности проповедью Ефрема Сирина против вновь впадающих в язычество, что о последнем «срам» говорить¹.

Этот древнейший взгляд на язычество, как отмечает Е. В. Аничков, по мере успехов борьбы с язычеством сменяется более спокойным к нему отношением. Развивается второй взгляд на язычество: языческие боги не заключают в себе ничего сверхъестественного. Боги — это простые люди, которых потом обоготворило потомство. Еще в «Речи философа» сказано, что люди творили кумиры «во имяна мертвых человек, озем, бывшим царем, другом храбрым и вольхвом, и женам прелюбодейцам»².

Интересное рассуждение записано в «Повести временных лет» под 1114 г. Там сказано, что Сварог и Дажьбог сотворены кумирами во имя «бывшего царя» Феоста — Гефеста — родоначальника целого поколения богов-царей. Причем характерно, что отношение к этим богам-царям вовсе не отрицательное: они одобряются за то, что установили единобрачие. Взгляд на богов как на предков отражен в «Хождении богородицы по мукам». В этом произведении говорится, в частности, о том, что нечестивцы «богы назваша» «человеческа имена» — «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна»³. По-видимому, основанием к такому взгляду на языческих богов служили не только произведения переводной литературы, но и самый характер древнерусского язычества, в котором действительно были элементы культа предков, как это блестяще показано исследованием В. Л. Ко-

¹ Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. С. 107—109.

² Повесть временных лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950. С. 64.

³ Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка // Изв. ОРЯС. Т. X. [СПб.], 1861—1864. С. 553.

маровича и как это ясно из самого «Слова о полку Игореве» и его художественных обобщений.

Если это так, и «Слово» действительно придерживалось взгляда на языческих богов не как на бесов, а как на родоначальников, то понятно его спокойное отношение к языческим богам, отсутствие боязни называть языческих богов и их своеобразное поэтическое переосмысление.

Многобожие в отличие от монотеизма всегда отличалось терпимым отношением к «чужим» богам. В связи с этим отметим, что и див явно «чужой», а не русский бог, и «тѣмотороканьскій бльванъ». Под «тѣмотороканьским бльваномъ» в «Слове» скорее всего разумеется не маяк, не статуя, не столп или сосуд, а именно *идол*, что чаще всего и означало слово *болван*. Ведь клича с дерева какое-то языческое божество — див обращается к «чужим» странам: «велить послушати земли незнаемѣ (так чаще всего именовалась, даже и в «Слове», половецкая степь), Вльзѣ, и Поморию, и Посулюю, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ Тѣмотороканьскій бльванъ». Страна могла быть названа по главному божеству, которому в ней поклонялись и где стояли идолы (ср. многочисленные топонимы по названиям идолов: Перынь, Волоотово, Велесово и т. д.).

* * *

Авторы древнерусских литературных произведений обычно не скрывают своих намерений. Они ведут свое повествование для определенной цели, которую прямо сообщают читателю. Авторская тенденция по большей части явна и только в редких случаях скрыта за авторским изложением (в некоторых случаях так скрывалась, например в летописи, политическая тенденция). Это стремление открыто проводить определенную идею в своих произведениях отразилось, в частности, в описаниях природы.

Древняя русская литература чаще рассказывает, чем

описывает. Она чаще изображает события, чем состояния. Она не отвлекает явления от их отношения к главной цели повествования, не интересуется явлениями самими по себе, независимо от их отношения к человеку. Она антропоцентрична. Поэтому древняя русская литература знает очень мало описаний того, что находится в статическом состоянии, того, что не связано непосредственно с событиями или нуждами человека.

Так, например, древняя русская литература редко описывает памятники архитектуры, а если это и делает, то только для того, чтобы прославить князя-строителя или пожалеть об утраченной красоте погибшего памятника. Самое пространное описание архитектурных памятников читается в Ипатьевской летописи под 1259 г.: это описание города Холма, сожженного «от оканья бабы». Это описание преследовало двойную цель: оплакать красоту и богатство погибшего города и прославить его строителя Даниила Галицкого. Поэтому описание построено как рассказ о создании города, хотя помещен этот рассказ в месте, где полагалось бы говорить о его гибели. Русские авторы не создавали статичного описания самого по себе, и поэтому летописец Даниила Галицкого создал лирический рассказ о построении города и о его гибели. «Си же потом спишемъ о создании града, и украшение церкви, и оного погибели мнозе, яко всим сжалитися», — так заявляет летописец о цели своего повествования. Весь дальнейший рассказ о красоте погибшего города представляет собою повествование о его созидании. Следовательно, описывается действие, а не статичная картина. Это описание Холма — лучшее из описаний древнерусских архитектурных ансамблей, и оно часто использовалось в специальных работах искусствоведов.

И во всех остальных случаях о древнерусских архитектурных сооружениях говорится только в связи с их созиданием или с их гибелью — чаще в связи с последним, так как то, что сохранилось и что было перед глазами современников, с точки зрения древнерусских авторов, меньше нуждалось в описании. Так

было при описании взятия города Судомира и гибели его «великой» церкви или при описании взятия Владимира Залесского. Жалость и похвала красоте утраченного — вот к чему сводятся обычно короткие замечания об архитектуре. Строго говоря, это не описания, а похвалы, в которых есть элементы описания.

Так же точно и в описаниях природы. По существу, объективного, самоустраненного описания природы, статичного литературного пейзажа, статичной картины природы древняя русская литература не знает. В этом одно из коренных отличий отношения к природе древней русской литературы от новой. Приведу примеры.

«Явися звезда на востоце хвостатая, образом страшным, испущающе от себе луче великы, си же звезда наречается власатая; от видения же сея звезды страх обя вся человеки и ужась; хитреци же смотревше, тако рекоша: „Оже мятежь велик будеть в земли“; но Бог спасе своею волею, и не бысть ничтоже» (Ипат. лет., под 1265 г.).

«И бысть сеча силна, яко посветяше молонья, блестящеться оружье, и бе гроза велика и сеча силна и страшна» (Лавр. лет., под 1024 г.).

«Том же лете стоя все лето ведром и пригоре все жито, а на осень уби всю ярь мороз; еще же, за грехы наша, не то зло оставися, нъ паки на зиму ста вся зима теплом и дъжгемь, и гром бысть; и купляхом кадку малую по 7 кун. О, велика скърбрь бяше в людях и нужда» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1161 г.).

«На то же осень зело страшно бысть: гром и мълния, град же яко яблъков боле, месяца ноября в 7 день, в час 5 нощи» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1157 г.).

Приведенные четыре отрывка из летописей, хотя и носят сугубо прозаический, а не поэтический характер, тем не менее очень типичны для художественного отношения к природе в Древней Руси. Обратим внимание на то, что во всех четырех отрывках описываются явления природы в динамике, а не в статике, описы-

ваются действия природы, а не рисуются ее неподвижные картины; в них выражено авторское отношение в виде очень сильной лирической их окрашенности; явления природы в них имеют прямое отношение к людям. В первом из приведенных отрывков речь идет о тяжелых, но, к счастью, несбывшихся предзнаменованиях. Во втором выступает параллелизм в действиях людей и действиях природы: картина битвы соединена с картиною грозы. В третьем рассказывается о стихийных несчастьях. В четвертом рассказывается просто об удивительном явлении природы: поздней грозе и граде.

Кроме этих четырех типов отношения к природе, в древней русской литературе есть и пятый — редкий в летописи, но зато частый в церковно-учительном жанре: это раскрытие символического значения того или иного явления природы.

Типично для этого раскрытия символизма в природе знаменитое изображение весны в «Слове на Фомину неделю» Кирилла Туровского. Кирилл описывает весну и каждую деталь сопровождает разъяснением ее символического смысла: «Ныне небеса просветишася, темных облак яко вретища съвълекъша, и светлымь въздухом слава господню исповедають. Не си глаголю видимая небеса, нъ разумныя... Днесь весна красується оживляющи земное естество, и бурьнии ветри тихо повевающе плоды гобъзуютъ, и земля семена питающи зеленую траву ражаеть. Весна убо красная есть вера Христова... бурьнии ветри — грехотворнии помыслы... земля же естества нашего, аки семя слово Божие приемши и страхом его болящи присно, дух спасения ражаеть»¹. Не буду продолжать цитирование этой обширной символической картины весны. Приведенного вполне достаточно, чтобы судить об этой системе изображения природы — типично церковной и зависящей в конечном счете от византийской традиции.

¹ Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского / ТОДРА. Т. XIII. М.; Л., 1957. С. 416.

В отличие от большинства древнерусских литературных произведений, природа в «Слове о полку Игореве» занимает исключительно большое место, но если мы присмотримся к *системе* ее изображения, то заметим ее безусловную связь со своей эпохой. Природа в «Слове» описывается только в ее изменениях, в ее отношениях к человеку, она включена в самый ход событий, в «Слове» нет неподвижного литературного пейзажа, типичного для литературы нового времени. Природа участвует в событиях, то замедляя, то ускоряя ход событий. Она активно воздействует на людей, и описания ее явлений окрашены сильным лирическим чувством.

Все типы отношения природы к человеку, приведенные мною выше, встречаются в «Слове» в разнообразных и усложненных видах. Природа выступает с предзнаменованиями. Кроме предзнаменований «астрономических» (солнечное затмение), в «Слове» представлены предзнаменования по поведению зверей и птиц, в существовании которых в Древней Руси нет основания сомневаться (вспомним, как по вою волков в «Сказании о Мамаевом побоище» Дмитрий Волынец гадает о русской победе и слышит ночью — «гуси и лебеди крыльми плещуще») ¹.

Выступает природа и в поэтических параллелях к событиям человеческой жизни. Параллель битвы — грозы, которую мы видели в «Повести временных лет» под 1024 г. в описании Лиственской битвы, развернута в «Слове» с особенной подробностью. Нельзя думать, что в описании Лиственской битвы гроза — только исторический факт, а в «Слове» — только поэтическая параллель к битве. Факт и поэтическая параллель могли совмещаться. Во время Лиственской битвы гроза, несомненно, была, но ее упоминание было бы совершенно

¹ Повести о Куликовской битве. Издание подготовили М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. Серия «Литературные памятники». М., 1959. С. 64.

необязательно в летописи, если бы летописцу она не показалась многозначительной для описания битвы. Так же точно, если бы гроза и на самом деле была во время первой битвы с половцами Игоря Святославича, это не умалило бы поэтичности параллели. Так же точно сравнение людей с птицами и зверями — типичная черта средневековой литературы.

Таким образом, природа в «Слове о полку Игореве» изображается так, как это было принято в средневековой литературе. Она действует или «аккомпанирует» действию людей, она динамична, «события» природы параллельны событиям людской жизни, символичны. Статичного литературного пейзажа, типичного для нового времени, «Слово» не знает.

* * *

Типичной для средневековой русской литературы следует признать также особого рода конкретизацию абстрактных понятий в метафорических выражениях: «уже бо бѣды его пасеть птиць по дубию», «слава на суд приведе и на Канину зелену паполому постла», «уже пустыни силу прикрыла», «Игорь и Всеволодь уже лжу убудиста», «уже снесся хула на хвалу», «уже тресну нужда на волю», «веселие пониче», «тоска разлися по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускьи», «Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «за нимъ кликну карна, и жля поскочи по Руской земли» (если только «карна» и «жля» — не языческие боги), а также «истягну умь крѣпостию своею и поостри сердце своего мужествомъ», «жалость ему знамение заступи», «скача славию по мыслену древу, летая умомъ подь облакы, свивая славы оба полы сего времени».

Такую же своеобразную конкретизацию мы найдем в житийной и учительной литературе, в посланиях и у Даниила Заточника: «Огнь искушаетъ злато и сребро, а человек умомъ лжу отсекаетъ от истины» («Житие

Константина Философа») ¹; «Вострубим, братие, яко во златокованныя трубы, в разум ума своего» («Моление Даниила Заточника») ²; «Веде, яко не разумеешь, яко по Божии благодати ум твой быстро летаетъ» («Послание Никифора, митрополита киевского, к великому князю Володимиру, сыну Всеволожу, сына Ярославля», в списке XVI в. Московской синодальной библиотеки) ³; «аще кто слеп есть разумомъ, ли хром невериємъ, ли сух мнзех безаконийъ отчаяниємъ, ли расслаблен еретичьскимъ учениємъ — всех вода крещения съдравы творить» (Кирилл Туровский. Слово о расслабленном) ⁴; «богохульная словеса акы стрелы к камени пущающе съламахуся» (там же) ⁵; «окованы нищетою и железомъ» (Кирилл Туровский. Слово на Вознесение) ⁶; «взъем крест свой претерепиєм всякоя обиды; распнемься браньими к греху» (Кирилл Туровский. Слово в неделю цветную) ⁷ и т. д.

Метафорическую конкретизацию абстрактных понятий мы встречаем в самых различных жанрах; в летописи: в описании взятия татарами Судомира говорится об одном из жителей его — простом поляке, что он «защитився отчаянием акы твердым щитом», совершил подвиг, достойный памяти (Ипат. лет., под 1259 г.); в учительной проповеди — в «Слове о ленивых» — говорится о том, что ленивого «беда по голеням биет, а долг взашеи пихает; недостатки у него в дому сидят, а раны ему по плечам лежат; уныние

¹ Бодянский М. Кирилл и Мефодий / ЧОИДР. 1863. Кн. 2. С. 3.

² Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII—XIII вв. М., 1932. С. 4.

³ Русские достопамятности, издаваемые Обществом истории и древностей российских при Московском университете, ч. I. М., 1815. С. 70.

⁴ Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского / ТОДРА. Т. XV. М.; Л., 1958. С. 332.

⁵ Там же. С. 334.

⁶ Там же. С. 340—341.

⁷ Там же. Т. XIII. С. 411.

у него на главе, а посмех на бrade; помысл на устех, а скорбя на зубех; горесть на языке, печаль в гортани» и т. д.¹

Особый характер носят представления в древнеславянских литературах о местонахождении человеческих чувств и мыслей. Нельзя утверждать, что во всех случаях, но очень часто чувство находится там, на кого оно направлено. Оно имеет не личностный характер, имеет своим центром не печалящегося человека, а того или то, на что направлена печаль. При этом — и это обусловлено особенностью восприятия чувств — последнее как бы материализуется: тоска, туга, печаль могут течь и на довольно широком пространстве, быть «жирными», то есть густыми, вязкими.

Тоска и печаль могут одевать в темноту берег реки (каким стал берег Днепра после гибели князя Ростислава). Предполагаю, что и трава, и деревья никнут, клонятся долу не по собственному произволению, не потому, что они сами испытывают клонящую их книзу печаль, а потому, что на них распространяется печаль людей, думающих о поражении.

Несколько иное положение с городами, которые рады при возвращении Игоря, и странами, которые веселы. Здесь радуются люди, их населяющие. При поражении Игоря приуныли не сами по себе забралы, а люди, на них собирающиеся, ибо забралы — это места публичных сборищ.

Конкретизация носит весьма специфический характер. Она лишена какой бы то ни было описательности. Абстрактное понятие чаще всего «материализуется» с помощью глагола, означающего какие-либо действия: «вострубим в разум ума», «окованы нищетою», «тоска разлилася» и т. д. Иногда оно конкретизируется с помощью эпитета. Ближе к этой конкретизации стоит одушевление неодушевленных предметов и при-

¹ Пономарев А. И. Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. III. СПб., 1897. С. 93—94.

дание им абстрактных значений: «живые камни»¹ (ср. в «Слове» — «живыми шереширы стрѣляти»), «умная гора»² (ср. в «Слове» — «скача, славию, по мыслену древу»).

Меньше всего в «Слове» той христианской символики, которая столь типична для церковноучительной литературы. Здесь, конечно, сказался светский характер памятника. Эту церковную символику можно усматривать только в образе «мысленного древа», по которому растекалась мысль Бояна.

Вступление к «Слову»

Вступления к различного рода «словам», житиям, проповедям обычны в древнерусской литературе.

Во вступительной части «Слова на Фомину неделю» Кирилл, прежде чем приступить к теме своего повествования, выражает свои колебания, как и автор «Слова о полку Игореве»: «Велика учителя и мудра сказателя требует церкви на украшение праздника. Мы же нищи есмы словом и мутни умом, не имуще огня святого духа на слажение душеполезных словес; оба же любве дея сущая со мною братья мало нечто скажем о поновлении въскресения Христова»³. Замечательно, что перед нами в этих колебаниях не простое проявление авторской скромности, но и мысль о том, каким должен быть подлинный «сказатель», который бы украсил своею речью праздник — тему слова Кирилла.

¹ Григория, архиепископа российскийского, похвально иже в святых отца нашего Еуфимиа, патриарха Тръновского / В кн.: Kalužniacki Emil. Aus der panegyrischen Literatur der Südslaven. Wien, 1901. S. 29.

² Там же. С. 41.

³ Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского / ТОДРА. Т. XIII. С. 415.

Во вступительной части слова Кирилла «О слепце и о зависти» Кирилл подчеркивает, что он «творит» свою повесть словами Иоанна Богослова: «Нъ не от своего сердца сия изношо словеса — в души бо грешные ни дело добро, ни слово пользно ражається, — нъ творим повесть, въземлюще от святаго Евангелия, почтенана нам ныня от Иоана Феолога, самовидьця Христовых чудес»¹.

Во вступительной части «Слова на собор 318 отец» Кирилл выбирает задачу повествования, указывая, что его задача сходна с той, которую себе ставят летописцы и песнотворцы: «Яко же историци и ветия, рекше летописьци и песнотворци, прикланяють своя слухи в бывшая межю цесари рати и възпълчения, да украсять словесы и възвеличать мужьствовавъшая крепко по своему цесари и не давъших в брани плещю врагом, и тех славяще похвалами венчают, колми паче нам лепо есть и хвалу к хвале приложити храбром и великим воеводам Божиим»². Замечательно, что в этом вступлении есть даже лексические совпадения со вступлениями к «Слову»: «песнотворци», «лепо» и др.

Наиболее странной особенностью вступления к «Слову о полку Игореве» всегда представляется обращение автора к своему предшественнику — Бояну. Но в «Слове на Вознесение» у Кирилла есть и такое именно обращение к предшественнику. Кирилл, прося пророка Захарию прийти к нему на помощь и дать «начаток слову», обращает внимание на его немногосказательную, но прямую речь: «Приди ныня духомъ, священный пророче Захария, начаток слову дая нам от своих прориданий о възнесении на небеса Господа Бога и спаса нашего Исуса Христа! Не бо притчею, нъ явѣ показал еси нам, глаголя: „Се Бог нашъ грядеть в славу, от брани опълчения своего, и вси святии его с нимъ, и станета

¹ Еремий И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского / ТОДРА. Т. XV. С. 336.

² Там же. С. 344.

нозе его на горе Елеонъстѣй, пряму Иерусалиму на вѣсток. Хошем бо и прочее от тебе уведати“»¹.

Из приведенных примеров, взятых только из одного автора XII в.— Кирилла Туровского, видно, что все основные элементы введения к «Слову о полку Игореве» не составляют новшества: колебания в выборе стиля, обращение к предшественнику, противопоставление притчей («по замышлению») рассказу, «яве» показывающему (то есть «по былинам сего времени») и пр.

Единственно, чем введение к «Слову» выделяется среди всех остальных введений, это своим совершенно светским характером. Соответственно этому свои нюансы имеют в «Слове» и авторские колебания, и самый выбор предшественника, к которому обращено введение,— это не библейский пророк Захария, а светский певец Боян.

Перед нами и в этом, следовательно, выступает выдержанный светский характер памятника.

Отмечено было также сходство между вступлением к «Слову» и вступлением к «Хронике Манассии» — к той ее части, которая описывает Троянскую войну².

В предисловии к «Хронике» автор ее говорит, что он будет вести свое повествование «древняя словеса». В предисловии к «Троянской войне» автор пишет: «Сия аз вѣсхотев брань с'писати якоже писавшими прежде пишет ся». Он просит прощения («прощения прося»), что будет говорить другими словами, чем Гомер («глаголати не якоже Омир с'писует»), и т. д. Перед нами в данном случае светская параллель к вступительной части «Слова».

Наконец, самое главное: Боян имеется и в «Задонщине». Боян в «Задонщине» упоминается в аналогичном контексте вводных размышлений автора: «Но проразимся мыслию над землями и помянем первых лет

¹ Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского / ТОДРЛ. Т. XV. С. 340.

² Jakobson R. L'authenticité du Slovo / La Geste du prince Igor'. P. 292—293; The Puzzles of the Igor's tale...— Speculum, 1952. January. P. 62—63.

времена и похвалим вещего Бояна, гораздаго гудца в Киеве. Тот Боян воскладаше гораздыя своя персты на живыя струны и пояше князем руским славы»¹. Следовательно, ко времени создания «Задонщины» размышления автора о своем предшественнике-поэте не казались чем-то необычным.

* * *

«Слово о полку Игореве» не противоречит своей эпохе. Оно не опровергает сложившихся представлений о домонгольской Руси — о ее литературе и культуре в целом. Оно лишь расширяет эти представления. В своей литературной природе оно несет отдельные черты, специфические для русского средневековья. Однако не только в отдельных своих чертах, но и в целом «Слово о полку Игореве» типично для эстетических представлений своего времени. Во всем своем эстетическом строе оно подчинено, как мы убедимся в дальнейшем, стилистической формации XI—XIII вв.



«СЛОВО» И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ЭПОХИ

XI—XIII вв. в истории культуры Древней Руси принадлежат так называемому *стилю монументального историзма*. По существу, здесь можно говорить не просто о стиле, а о целой «эстетической формации» (понятие, введенное в науку югославским ученым Александром Флакером²). Этот стиль захватывает собой не

¹ Повести о Куликовской битве. С. 9 (реконструкция текста «Задонщины» В. Ф. Ржиги).

² Flaker Aleksandar. Stilske formacije. Zagreb, 1976; Flaker A. Stylistic Formation // Neohelicon, 1975. 1—2. С. 183—207.

только все искусства, но в какой-то мере подчиняет себе и естественнонаучные представления, поскольку наука и искусство не были еще четко разделены, а также все бытовые представления о прекрасном. Эта эстетическая формация была характерной не только для Руси этого времени, но распространялась и на ряд других стран: южнославянские и Византию в первую очередь, откуда она и явилась на Русь вместе с письменностью и христианским культом.

Стиль монументального историзма характеризуется прежде всего стремлением рассматривать предмет изображения с больших дистанций: пространственных, временных, иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее значимое и красивое представляется большим, монументальным, величественным. Стремясь видеть окружающее в рамках представлений этого стиля, летописцы, авторы житий, церковных слов смотрят на мир как бы с большой высоты или с большого удаления.

В этот период развито «панорамное зрение», стремление подчеркнуть огромность расстояний, сопрягать в изложении различные удаленные друг от друга географические пункты.

Эстетически ценно и значительно только то, что может быть представлено большим и мощным и что может быть воспринято с огромных расстояний. Вот почему в летописях действие перебрасывается из одного географического пункта в другой, находящийся на другом конце Русской земли. Рассказ о событии в Новгороде сменяется рассказом о событии во Владимире или в Киеве, далее упоминается событие в Смоленске или Галиче и т. п. Такая особенность летописного повествования создается не только потому, что в летописи обычно соединяются разные по своему географическому происхождению источники.

В том, что такого рода «панорамное зрение» при изображении исторических событий было эстетической реальностью, а не случайным следствием соединения различных летописных источников — киевских, новго-

родских, ростовских, владимирских и т. д., убеждает «Поучение» Владимира Мономаха. В своей автобиографии Мономах ведет повествование так же, как в летописи: соединяет в едином изложении различные географические пункты. Свою жизнь Мономах воспринимает в крайних географических пределах, до которых он доходил в походах, охотах и переездах. Он доходил до Чешского леса на западе, до Волги на востоке, углублялся в половецкую степь на юге, за Сулу, за Хорол, к Дону. Значительность своей жизни он подчеркивает дальностью своих походов, многочисленностью переездов. Он упоминает множество географических пунктов, где он бывал или до которых достигал в походах, и именно этим измеряет свой «труд», дело своей жизни.

Оценивая княжение умершего князя, летописец пишет: «...а се княже седение: мир держа с околными сторонами, с Ляхы и с Немци, с Литвою, одержа землю свою величеством олны по Тотары, а семо по Ляхы, по Литву» (Ипат. лет., под 1289 г.).

Автор «Слова о погибели Русской земли» говорит о ее былом благополучии опять-таки с высоты огромных дистанций: «Отселе до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы...» и т. д.

Приступая к проповеди, или к житию святого, или к историческому сочинению, авторы как бы испытывали необходимость окинуть взором всю землю. Так начинает Кирилл Туровский свое «Слово о расслабленном»: «Неизмерьна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина»¹. Так начинается и «Чтение» о Борисе и Глебе. Сама «Повесть временных лет» также открывается описанием самых общих судеб вселенной и дает превосходную по своей наглядности картину Русской земли. Автор «Повести» начинает это описание с водораздела великих русских рек — Валдайской возвы-

¹ Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского / ТОДРА. Т. XV. М.; Л., 1958. С. 331.

шенности, на которой помещался Оковьский лес, и далее ведет свое повествование по трем рекам: Днепру, Волхову и Волге, отмечая, в какие моря они впадают и куда можно проехать по этим морям. Знаменитое начало былины о Соловье Будимировиче сохраняет это же ощущение пространства:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския.

«Панорамное зрение» в широкой степени сказывается и в «Слове о полку Игореве». Помимо того, что повествование в «Слове» непрерывно переходит из одного географического пункта в другой, автор «Слова» все время охватывает многие географические пункты своими призывами, обращениями и историческими воспоминаниями. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю Русскую землю по окружности — ее самые крайние точки. Поражает и та «переключка», которую ведут мифические существа и действующие лица в «Слове». Див кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и Тмутороканскому болвану на Черном море. Ярославна плачет на самой высокой точке Путивля — на крепостной стене, над заливными лугами Сейма, обращаясь к солнцу, ветру, Днепру. Девы поют на Дунае, их голоса вьются через море до Киева. Каждое действие воспринимается как бы с огромной высоты. Благодаря этому битва Игоря с половцами приобретает всесветные размеры: черные тучи, символизирующие врагов Руси, идут от самого моря, хотят прикрыть четыре солнца. Дождь идет стрелами с Дона великого. Ветры веют стрелами с моря. Битва как бы наполняет собою всю степь.

Многие отвлеченные понятия воспринимались в эпоху монументального историзма в пространственном, ландшафтно-географическом аспекте. Это прежде всего ка-

сается такого важного феодального понятия, как слава. Слава того или иного князя имела прежде всего пространственное распространение. Она измерялась географическими пределами. Она могла достигать границ Русской земли или переходить за них, захватывая окружающие народы.

В летописи ареал этой славы не мыслился замкнутыми пределами только Русской земли. Слава князя очень часто воспринимается не как его личная слава, но также как и слава всей Русской земли в целом. Об этой всесветной славе говорят под разными годами летописцы. Под 1111 г. в Ипатьевской летописи говорится в следующих выражениях о возвращении Владимира Мономаха из победоносного похода на Дон: «...възвратишася Русьстии князи в свояси с славою великою к своим людем и ко всим странам далним, рекуще к греком и угром, и ляхом, и чехом, дондеже и до Рима проиде на слава Богу, всегда и ныня и присно во веки, аминь». Эта же всесветная слава Мономаха вспоминается и в его некрологической характеристике, помещенной в Лаврентьевской летописи под 1125 г. Умер Мономах, говорится там, «прослувый в победах, его имене трепетаху вся страны и по всем землям изиде слух его». О той же мировой славе русских князей говорится и в «Слове» Илариона, и в «Слове о погибели Русской земли», и в «Повести о разорении Рязани Батыем» — в «Похвале роду рязанских князей», и в «Молении Даниила Заточника», и в житии Довмонта Тимофея, и в житии Александра Невского: «...и от толе прослыся имя святаго во всех странах латынских и до моря Хупужьского и гор Араратских, и обону страну моря Варяжского, и даж и до самага того Великого Рима».

Нельзя думать, что перед нами бессознательный трафарет исторической литературы. Об этой всесветной русской чести и славе говорят князья дружине и князья между собой. Это понятие было не только в литературе — оно было в самой жизни, и именно из жизни,

из действительности проникло и в летопись, и в литературные произведения. В 1152 г. Изяслав Мстиславич говорил своей дружине: «Братья и дружино! Бог всегда Рускы земле и руских сынов в безчестьи не положил есть; на всех местех честь свою взимали суть. Ныне же, братье, ревнуимы тому вси, у сих землях и перед чюжими языки дай ны Бог честь свою взяти» (Ипат. лет.). Мстиславу Изяславичу говорили его братья: «тако буди, то есть нам на честь и всее Рускей земли» (Ипат. лет., под 1170 г.). Эти слова не придуманы летописцем. Летописцы относительно точно передавали в своих летописях действительно произнесенные речи. Следовательно, в самой жизни было отчетливое представление о славе и чести Русской земли среди других стран мира.

«Слово о полку Игореве» постоянно говорит о славе, и именно в этих широчайших географических размерах. От войска Романа и Мстислава дрогнула земля и многие страны — Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и половцы копя свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Князю Святославу Киевскому поют славу немцы и венецианцы, греки и моравы: «ту нѣмци и венецици, ту греци и морава поють славу Святъславлю». Они поют ее не в гриднице Святослава, как ошибочно думали некоторые исследователи «Слова», а в своих странах. Перед нами тот же образ всесветной славы русских князей, что и в «Слове» Илариона, в «Молении Даниила Заточника», в житиях Александра Невского и Довмонта Тимофея, в «Слове о погибели Русской земли» и в «Похвале роду рязанских князей».

Пространственные формы приобретают в «Слове» и такие понятия, как «тоска», «печаль», «грозы»: они «текут» по Русской земле, воспринимаются в крупных географических пределах почти как нечто материальное и ландшафтное. То же мы видим и в летописи, где печаль может охватывать города и княжества.

Летопись говорит, что после поражения на Калке «бысть плачь и туга в Руси и по всей земли, слышавшим

сию беду» (Лавр. лет., под 1223 г.), «и бысть вопль и въздыхание, и печаль по всем градом и по волостем» (Сузд. лет. по Акад. сп., под тем же годом). При нашествии татар в 1239 г. «тогда же бе пополох зол по всеи земли и сами не ведяху и где хто бежить» (Лавр. лет., под 1239 г.).

«Лютое томление бесурменьское», тоска, печаль всегда изображаются «в ширину», они распространяются «по всей земле» или перечисляются охваченные ими города и княжества. Они подчиняются пространственному восприятию. Ср. в «Слове»: «чръна земля... тугою възыдоша по Руской земли», «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «Жля поскочи по Руской земли», «а въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми», «тоска разлися по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи», «уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче». И т. д. Печаль, горе, хотя и растекаются по земле, тем не менее лишают людей простора. «Тоска», по древнерусским представлениям, — «теснота»; трудный же жизненный путь — это «тесный путь».

Представления летописи, «Слова о полку Игореве» и других древнерусских произведений XI—XIII вв. о печали, о тоске, туге или веселии, как о неких пространственных явлениях, распространяющихся вне человека, в природе, сами по себе глубоко архаичны. Они ведут свое начало еще от того времени, когда личность человека слабо отделялась от окружающего мира. Печаль, горе, веселие представлялись человеку охватывающими не только его, но и окружающий мир. Они казались существующими, как бы разлитыми в природе.

В период перехода к личностному сознанию стало обычным или даже обязательным обращаться в плаче к окружающей природе — горам, рекам, удолиям — с просьбой принять участие в горе, плаче совместно с человеком. «Горы и холмы возвеселитесь со мной», «солнце, горы, холмы и красные дерева плодовиые, плачите со мною». В «Повести о разорении Рязани Батыем» (вторая половина XIII — первая XIV в.) в

плаче Ингваря Ингоровича говорится: «О земля, о земля, о дубравы, поплачите со мною!» Эти обращения — знак того, что печаль и веселие стали отделяться от человека, но еще не порвали с самой природой своей традиционной связи.

Стиль монументального историзма определяет собой и представления о человеке. Человек — это микрокосмос. Это ясно выражено в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, в апокрифе «Сказание, како сотвори Бог Адама» и во многих других произведениях Древней Руси, переводных и оригинальных.

Все малое — как бы уменьшенная схема большого. Человек поэтому — это «малый мир». Жизнь человека — это «малая жизнь», малая по сравнению с большой и «настоящей» — вечной, которая предстоит ему за гробом.

Стремление увидеть в малом и преходящем большое и вечное — это способ восприятия мира, типичный для эпохи исторического монументализма. Отразилось это и в «Слове о полку Игореве».

В апокрифе «Сказание, како сотвори Бог Адама» говорится: Бог «взем земли горсть ото осьми частей: 1) от земли — тело, 2) от камня — кости, 3) от моря — кровь, 4) от солнца — очи, 5) от облака — мысли, 6) от света — свет, 7) от ветра — дыхание, 8) от огня — оттепла»¹ (тепло тела. — Д. Л.). Следовательно, мысли созданы «от облак». Отсюда мысль человеческая, как и его чувства, не прикреплена к телу, а свободно поднимается к небу — особенно тогда, когда человек думает о высоком. В «Шестодневе» мысль человека парит, летит с огромной скоростью, достигает неба. То же мы видим и в «Слове о полку Игореве»: «летая умом под облакы» — под теми именно облаками, из которых созданы человеческие мысли.

¹ Ср.: «Вопросы, от скольких частей создан бысть Адам» // В кн.: Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 439, 443—444.

На это обратила внимание В. П. Адрианова-Перетц в книге «„Слово о полку Игореве“ и памятники русской литературы XI—XIII вв.» (Л., 1968. С. 28—29 и др.).

В связи со свойством мысли перелетать на объект мысли на далекие расстояния, следует понимать и следующий текст обращения Святослава к Всеволоду Суздальскому в его «золотом слове»: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеца, отня злата стола поблюсти?» Переводится это обычно так: «Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, отцовский золотой престол побережь?» Сам Всеволод был князем в Суздале, а его отец Юрий Долгорукий был князем киевским. Но смысл этой фразы не в том, чтобы Всеволод явился на юге в Киеве беречь его военной силой. Такой призыв со стороны киевского князя Святослава был бы опасен для него самого на киевском столе. Предложение гораздо более нейтрально: «Не перелетишь ли ты мыслию (не помыслишь ли ты) побережь киевский стол, киевское княжество». Киевский Святослав призывает Всеволода *подумать* о Киеве. «Не мыслию ти прелетѣти» не может означать «не помыслишь ли ты». Мысль в данном случае явное существительное, а не глагол.

Полет мысли неоднократно подразумевается в «Слове». Например, в обращении к Роману и Мстиславу говорится: «храбрая мысль носить вашъ умъ на дѣло. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти». Храбрая мысль способна не только сама носиться, но и «носить умъ на дѣло». Различие между мыслью и умом состоит, очевидно, в том, что ум объединяет в себе все мысли, представляет собой как бы субстанцию мыслей.

«Мысленное дерево», по которому мысль Бояна растекается. Что это за «дерево»? Почему именно по дереву, а не по какому-либо другому объекту? Тут следует обратить внимание на то, что «дерево», «дерево» в

«Слове» упоминается не один раз, причем в таких обстоятельствах, когда мы были бы вправе ожидать множественное число скорее, чем единственное. «Боянь бо вѣщій, аще кому хотяше г҃ьснь творити, то растѣкашеться мыслию по древу, сѣрмы вѣлкомъ по земли, шизымъ орломъ подѣ облакы». Все мировое пространство, по которому передвигается мысль Бояна, делится, следовательно, на три сферы: землю, дерево и подоблачье — облака (в множественном числе). Дерево занимает промежуточное положение между землей и облаками. Это, конечно, не случайно: автор «Слова» очень точен в последовательности своих перечислений. Почему не по деревьям, а по одному «древу»? В следующем примере это «дерево», по которому «растекается» Боян, получает некоторое определение, близкое к первому примеру: «О Бояне, соловию старого времени! а бы ты сиа плѣкы ущекоталь, скача, славию, по мыслену древу, летая умоу подѣ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища вѣ тропу Трояню чресь поля на горы». Здесь снова Боян «свивает славу». Здесь снова мысль, песнь, слава Бояна движется в трех сферах пространства: верхнем, нижнем и среднем. Это последнее снова определено как дерево в единственном числе и имеет очень важный эпитет «мысленное». Что такое «мысленное дерево», пытались толковать в литературе о «Слове» очень многие. Это и дерево религиозных представлений, и дерево метафорическое. Одним словом, какое-то необыкновенное. Единственное, с чем никак нельзя согласиться, что «мыслену» надо исправлять на «мысию» и дерево, следовательно, считать реальным. «Мысь», то есть «мышь», выпадает из обычных ассоциаций «Слова» со звериным миром. Творчество Бояна может быть сравнено с полетом орла, сокола, пением соловья и полетом лебедей, но не со скоком мышей (тем более, что сказать о мыши, что она «скачет», вообще невозможно). Удовлетворимся тем, что дерево это какое-то необыкновенное. Далее в «Слове» говорится: «дивъ кличетъ врѣху древа, велить послушати

земли незнаемъ, Вльзъ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебъ, Тьмутороканьскыи бльвань». Клич дива слышен необыкновенно далеко: одновременно в различных странах, окружающих Русь. Если клич необыкновенен, то возникает мысль, что и дерево не совсем обыкновенно — высокое по крайней мере. И опять-таки оно в единственном числе. Подчеркнуто, что див кличет на верху древа. Поскольку говорится, что див кличет на вершине древа, логично было бы упомянуть (хотя эта логика и не совсем обязательна) — где находится это дерево, какое оно. Но оно не определяется — как всем известное.

Третье упоминание древа опять-таки в критической ситуации: русичи потерпели поражение: «Ту пирь докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилося». Трава упомянута здесь в собирательном смысле, трава как символ покрова всей земли (она также не раз упоминается в «Слове»), но почему «дерево», а не «древеса». Снова возникает предположение, что в «Слове» имеется в виду одно какое-то определенное «дерево». О дереве в единственном числе говорится в аналогичной, горестной ситуации (в связи со смертью юноши Ростислава): «Уныша цвѣты жалобю, и древо с тугою къ земли прѣклонилося». Перед этой последней цитатой еще раз упоминается «дерево», но единственное число его более оправдано: некое зеленое дерево укрывало Игоря во время его бегства: «О Донче! не мало ти величия, лелѣявшу князя на вльнахъ, стлавшу ему зельну траву на своихъ сребренныхъ брезѣхъ одѣвавшу его теплыми мѣглами подъ сѣнию зелену древу». Дерево здесь, очевидно, вполне обычное. Если же в остальных, приведенных нами примерах, «дерево» — единственное собирательное, то обращает на себя внимание то, что ни в приводимых примерах в «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“» В. Л. Виноградовой, ни в «Материалах» И. И. Срезневского этого единственного собирательного

в отношении «древа» не приведено. «Древо» «Слова о полку Игореве» остается загадкой. По-видимому, все же прав А. Н. Майков («„Слово о полку Игореве“». Несколько предварительных замечаний об этом памятнике // «Заря». 1870, январь. С. 127) и А. А. Потебня («Малорусская народная песня по списку XVI в.» / В кн.: «Слово о полку Игореве». Текст и примечания. Изд. 2-е. Харьков. С. 229), что в «Слове» в некоторых случаях упоминается языческое дерево жизни, притом неизменно сочувствующее русским. О языческом древе жизни имеется большая этнографическая и археологическая литература¹.

Монументализм XI—XIII вв. имеет одну резко своеобразную особенность, отличающую его от наших представлений о монументальном. Мы привыкли под монументальностью понимать не только все большое, но и инертное, тяжелое, неподвижное, устойчивое. Однако монументализм домонгольской Руси был связан с прямо противоположным: с быстротой передвижения в больших географических пространствах.

Монументализм домонгольской Руси — ее искусства, ее представлений о прекрасном — это прежде всего сила, а сила выражается не только в массе, но и в движении этой массы. Поэтому монументализм этот особый — динамичный. В широких географических пространствах герои произведений и их войско быстро передвигаются, совершают далекие переходы и сражаются вдали от родных мест. Даже оставаясь неподвижными, в церемониальных положениях, князья как бы управляют движением, происходящим вокруг них.

Летопись повествует о походах, битвах, переездах из одного княжества в другое. Все события русской истории происходят как бы в движении. Мономах пишет в автобиографии о том, что он «нестижды», то есть более ста раз, ездил из Чернигова в Киев, и ставит

¹ См.: Афанасьев А. А. «Древо жизни и лесные духи» / В кн.: Афанасьев А. А. Древо жизни. М., 1982. С. 214—227.

себе в заслугу быстроту своих передвижений (он гнался за Олегом «о двою коню»), многочисленность своих походов: «а всѣх путей (походов.— Д. Л.) 80 и 3 великих, а прока не испомню менших». Он отмечает, что ходить в походы он стал с 13-ти лет и что и в них не давал себе «упокоя» — «сам творилъ, что было надобѣ, весь нарядъ».

Тот же динамичный монументализм характерен и для зодчества этого времени. Это — зодчество для человека, находящегося в пути. Церкви ставятся как маяки на реках и дорогах, чтобы служить ориентирами в необъятных просторах его родины. Отметить храмом крутой берег реки на изгибе и тем дать как бы маяк для едущих по реке (храм Покрова на Нерли); отметить храмом низкий берег озера при выходе из него реки и тем дать возможность корабельщикам найти этот выход; отметить храмом многочисленные пригорки в равнинной земле, сделать храмы заметными в любую погоду с помощью золотого верха; подчинить патрональной святыне окружающую городскую застройку — все это главные задачи зодчих. И далеко не безразлично зодчим, как их постройки будут восприниматься в движении, при приближении к ним. Облик храма должен оставаться неизменным на любом расстоянии и легко узнаваться издали. И. Е. Забелин пишет о верхах русских зданий: «В строительном художестве вышина жилища... должна была выражать... первичное понятие о его красоте. Что было высоко, то необходимо само по себе было уже красиво»¹.

Для стилистической формации монументального историзма характерна связь города с окружающим пространством, своеобразный вынос города за пределы самого города, например, кольцо монастырей по горизонту за пределами Новгорода: Нередицкий, Михайло-Сковородский, Андрея на Ситке, Кириллов, Ковалев-

¹ Забелин И. Е. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. М., 1900. С. 29.

ский, Волотовский и т. д. Путников, приближающихся к Новгороду со стороны Ильмена, встречали огромные строения Юрьева монастыря на одной стороне Волхова и Рюрикова городища на другой. Плывущего же со стороны Ладоги встречал на изгибе Волхова Антониев монастырь. Сам Новгород распространял свою власть над всей Новгородской землей через свои отдельные «концы», которые начинались в городе, делили территорию города и уходили отсюда на все стороны света — в те «пятины», которыми Новгород владел. В самом же Новгороде доминировал надо всем пространством храм Софии, выше и авторитетнее которого не было в Новгороде вплоть до XIX в., начиная со времени его построения в начале XI в. То же мирное овладение пространством было характерно и для других церквей, контрастно возвышавшихся среди всей остальной городской застройки или среди полей, лесов и водных просторов. Именно поэтому у церквей были фасады, обращенные на все четыре стороны света. Храм ориентировался на окружающий мир, был кораблем, плывущим во вселенной. На восток был обращен алтарь, на запад — вход в него. Алтарем он встречал восход и воскресение, на западной стене его провожала смерть и изображался ад. Храм был «малой вселенной», как город — малой окружающей его страной. Архитектурные сооружения — это попытки освоить огромные пространства, подчинить себе окружающий ландшафт.

Такое же значение придавалось пространству и в быту. Победа над врагом — это обретение пространства. Повествуя о победах половцев, летописец пишет: «...а сим поганым и ругателем на семь свете приемшим веселье и просторонство» (Лавр. лет., под 1096 г.). Побеждая, враги распространяются по завоеванной земле: «Татарове же *россунушася* по земли» (Лавр. лет., под 1252 г.). Напротив того, поражение или пленение — это прежде всего потеря пространства. Пленение — это, кроме того, разлука: разлучаются односельчане, разлучаются братья, плененные разводятся в разные стороны. «Повесть вре-

менных лет» рассказывает под 1093 годом, как половцы разделили пленников между собой и как, ведомые в плен, они со слезами отвечали друг другу: «Аз бех сего города», а другие — «Яз сея вси» (то есть села). Под 1146 г. летопись рассказывает, как потерпевшие поражение «разлучишася друг от друга» (Ипат. лет.). Под 1262 г. говорится, что татары «дши (души — Д. Л.) крестьянския раздно ведоша» (Лавр. лет.).

Так же точно разлучаются в летописи и в «Слове» Игорь и Всеволод: «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы» («Слово»); в летописи они «разведени быша» и тоже разлучились. Характерно, что, каясь в плену, Игорь так говорит о последствиях своих междоусобных войн: «тогда бо не мало зло подъяша безвиннии хрестьяни, *отлучаеми* отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих» (Ипат. лет., под 1185 г.).

Если для нового времени с его личностным сознанием пленение — это прежде всего потеря личной свободы, то для раннеколлективистского сознания XI—XIII вв. пленение — это прежде всего разлука и одновременно потеря родины, увод в плен с общей родной земли.

Пространство находится в общем владении¹. Поэтому поражение — это потеря пространства, связанная с разлукой, а победа — обретение пространства, связанное с единением. Отсюда ясно, что призыв автора «Слова» к единению князей особенно выразительно для своего времени сочетается с призывом к походу на половцев, к победе над ними.

Быстрота передвижения — это символ власти над

¹ Под общим владением в крестьянском быту я понимаю общинное землевладение, в княжеском — общее владение Русской землей единым княжеским родом, восходящим к единому прадеду — Рюрику. Именно это сознание делало возможным передвижение князей из княжества в княжество путем «лествичного восхождения». Князь поэтому одновременно и связан со своим княжеством, и не связан с ним, переходя путем наследования с менее важного стола на более важный как «совладелец» Русской земли.

пространством, в котором князь передвигается. Быстрота похода — символ овладения пространством.

Могущество Романа Галицкого описывается в летописи прежде всего в образах движения: «...устремил бо ся бяше на поганья яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаще землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур» (Ипат. лет., под 1201 г.; ср. о нем же под 1252 г.: «изоострился на поганья, яко лев»).

Тот же динамичный монументализм очень характерен и для «Слова о полку Игореве». Действующие лица переносятся в нем с большой быстротой: постоянно в походе Игорь, парадируют в быстрой езде «кмети» — куряне, в быстрых переездах — Олег Гориславич и Всеслав Полоцкий; Всеслав, обернувшись волком, достигает за одну ночь Тмуторокани, слышит в Киеве колокольный звон из Полоцка. И т. д.

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, но его «золотое слово» обращено из Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям. Двигается не он, но зато движется все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет движением. То же и Ярослав Осмомысл: он высоко сидит в Галиче на своем златокванном столе, но его железные полки подпирают горы угорские, он мечет бремены чрез облака, рядит суды до самого Дуная, грозы его по землям текут и он отворяет врата Киеву. В таком же церемониальном положении изображен и Всеволод Суздальский, готовый вычерпать шлемами Дон, расплескать веслами Волгу, полететь к Киеву. Великий князь церемониально неподвижен, но он среди движения, как бы им руководит.

Эти церемониальные положения князей — типичная черта монументально-исторического стиля XI—XIII вв. Образ князя, высоко сидящего на престоле, подчеркивает еще одну дистанцию — дистанцию феодально-иерархическую между ним и остальными князьями.

Поэтизация средствами установления дистанций спо-

собна объяснить, почему автор «Слова» так героизирует в сущности слабого киевского князя Святослава. Важно, что он князь киевский, глава всех русских князей. Это возвышает его над всеми остальными князьями, делает его старым, мудрым и сильным. Он предстает перед читателями высоко «на горах» и высоко по своему феодальному положению, в ореоле иерархической дали.

Еще одна дистанция чрезвычайно характерна для стиля монументального историзма: это дистанция во времени, дистанция историческая.

Там, где в искусстве динамизм, там обычно вступает в силу и историческая тема, появляется обостренный интерес к истории. Движение в пространстве тесно связано законами стиля с движением во времени.

Огромный интерес к истории пронизывал собой изобразительное искусство и литературу XI—XIII вв. Религиозная живопись была по преимуществу религиозно-исторической. Новозаветные и ветхозаветные события и персонажи, события и персонажи церковной истории — основные сюжеты стенных росписей и икон. В литературе также главные темы распределяются вокруг священной, всемирной и русской истории. О преобладании исторических интересов в литературе свидетельствует и широкое развитие в Древней Руси летописания во главе с «Повестью временных лет».

Преобладание истории в стиле монументального историзма не только сюжетное и тематическое. Для того чтобы объект литературы стал в XI—XIII вв. поэтическим, был поэтически возвышенным, для этого нужна была дистанция не только пространственная и иерархическая, но и историческая. Событие и действующее лицо, представленное в ореоле истории, приобретали особенную внушительность. Это наиболее отчетливо видно во всех случаях изображения в литературе поражений русских. В рассказе о взятии Владимира татарами в 1237 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем: «...створися велико зло в Суждальской земли, яко же зло не было ни от крещенья, яко ж бысть ныне». В описании

взятия Киева Рюриком и Ольговичами в той же летописи под 1203 г. говорится сходно: «...и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенья над Киевом. Напасти были и взяття, не яко же ныне зло се стася». О битве на Калке говорится: «и бысть победа на вси князи рустии, ака же не бывала от начала Русьской земли никогда же» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.). Почти в тех же выражениях говорится о битве Игоря и в «Слове»: «То было в ты рати, и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!».

Мы можем довольно четко установить в «Слове» ту «временную дистанцию», которая требуется его автору, чтобы опоэтизировать современность: это приблизительно один век или чуть меньше. Для того чтобы опоэтизировать события, современные автору «Слова», он привлекает русскую историю XI в. События XII в. для этой цели не годятся, и они для этого нигде им не упоминаются. В самом деле, свои поэтические сопоставления автор «Слова о полку Игореве» делает с историей Олега Святославича и Всеслава Полоцкого, с битвой Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве, с гибелью в реке Стугне юноши князя Ростислава, с поединком Мстислава Тмутороканского и Редеди. Это все события XI в. Автор «Слова» вспоминает певца Бояна — также XI в. История XII в., предшествующая походу Игоря, как бы отсутствует в «Слове» — эстетически она не нужна.

В «Слове о полку Игореве» представления об истории были представлениями своего времени, и измерения этого исторического времени были не столько летописными, сколько эпическими. «Слово о полку Игореве» не называет точных дат тех или иных событий, что было обязательным для летописи, зато постоянно говорит о «дедах» и дедовской славе. Такое определение времени часто встречается в летописях.

Отцы и главным образом деды также очень часто упоминаются в проповедях, поучениях и житиях — особенно тогда, когда автор хотел выразить свое эмоцио-

нальное отношение к их потомкам, или тогда, когда он хотел сравнить деяния их потомков с деяниями отцов и дедов. Деды и прадеды — это всегда некоторое мерило добродетелей и славы внуков и правнуков.

Митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати», восхваляя Ярослава Мудрого, обращается к его предкам — славит его отца, деда и прадедов. Он говорит о его предках, «иже славятся ныне и слывут». Владимир Мономах вспоминает в «Поучении» о том, что было «при умных дедех наших, при добрых и при блаженных отцех наших».

Пример отцов и дедов, обычаи отцов и дедов, их наследие, слава отцов и дедов и, наконец, полуязыческая молитва «дедня и отняя»¹ постоянно упоминаются в летописи, особенно в критические моменты судьбы их потомков.

«Слово о полку Игореве» полно проявлениями этого культа предков — дедов и прадедов, но через головы отцов. Это и понятно, если принять во внимание характерную для этого времени «эстетику дистанций», требовавшую промежутка времени большего, чем его давало обращение к отцам и их славе.

В «Слове» постоянно говорится о дедах и внуках, о славе дедов и прадедов, об «Ольговом гнезде» (Олег — дед Игоря). Сам автор «Слова» — внук Бояна, ветры — «Стрибожи внуци», русское войско — «силы Дажьбожа внука», Ярослав Черниговский с подвластными ему войсками ковуев звонят в «прадѣдную славу», Изяслав Василькович притрепал славу деду своему Всеволоду Полоцкому: внуки последнего призываются понизить свои стяги — признать себя побежденными в междоусобных бранях и т. д. и т. п.

Не случайно поэтому и сами русские называются в «Слове» русичами, что вызывало иногда недоумение

¹ О культе предков в княжеской среде XI—XIII вв. см. преевостходное исследование В. Л. Комаровича «Культе Рода и Земли в княжеской среде XI—XIII вв.» (ТОДРАЛ. Т. XVI. М.; Л., 1960).

исследователей. Однако форма эта — русичи — характерна для племенных названий, подчеркивающая происхождение от легендарного предка: радимичи — потомки легендарного Радима, вятичи — потомки легендарного Вятки. В названии же русичи подчеркивается просто, что они «одного деда внуки», а дедом их назван Дажьбог. И в этом проявляется временная эстетизация, столь типичная для «Слова».

Стиль монументального историзма, властно подчинивший себе не только изобразительное искусство, зодчество и литературу в XI—XIII вв., но и все вообще эстетические представления, игравшие серьезную роль в феодальном быте, не ограничивался, само собой разумеется, только принципом эстетизации дистанций — пространственных, временных (исторических) и иерархических.

Историчность монументального стиля соединяется в нем со стремлением утвердить вечность. Вечность не противоречит движению. Это не неподвижность. Библейские события историчны и вечны одновременно. Христианские праздники существуют в данный момент священной истории и одновременно существуют в вечности. История и вечность составляют в средневековье некое диалектическое единство. В отношении эстетическом это единство осуществляется через церемониальность. Средневековая церемониальность и этикетность — это попытка эстетически утвердить вечное значение происходящего и заявить о значительности события.

Поэтому одной из существеннейших сторон монументально-исторического стиля была именно церемониальность.

Церемониальность находилась в прямом соответствии с монументальностью литературы. Она требовала репрезентативности, торжественности, крупных форм, рассчитанных на коллективного зрителя и слушателя. Она требовала не столько изображения действительности, сколько ее оформления, подчинения жизненных явлений торжественным и идеализированным формам.

Литература XI—XIII вв. была церемониальна по формам своего применения, по художественным средствам, к которым она прибегала, по темам, которые она для себя избирала.

В чисто эстетическом плане главный жанр литературы этого периода — ораторский. Ораторское выступление было в этот период частью церемониала — церковного и светского. Частью церковного церемониала были жития святых и сочинения гимнографические. Летописи не предназначались для церемониала, но они в известной мере были церемониальным освещением событий, отбором событий для увековечения их, который также представлял собой известный церемониал. В народном творчестве церемониальное значение имели славы и плачи. Одни предназначались для встреч князей, для их прославления при вокняжении, другие — для похорон и воспоминаний.

Не случайно в «Слове» так часто используются такие церемониальные формы народного творчества, как слава и плач. Боян поет славу старому Ярославу и храброму Мстиславу, он свивает славы «оба полы сего времени» и исполняет славу «княземъ» на своем струнном музыкальном инструменте. Выше уже говорилось, что в «Слове» иноземцы (немцы, венецианцы, греки и моравы) поют славу великому Святославу, говорится о плаче русских жен, о пении славы девицами на Дунае.

Описан или упомянут в «Слове» целый ряд церемониальных положений: обращение Игоря к войску, звон славы в Киеве: «Звенить слава въ Кыевѣ... стоять стязи в Путивлѣ». Как на параде, с оружием наизготовку проносятся в «Слове» «свѣдоми къмети» — куряне. Игорь вступает в золотое стремя — момент также церемониальный. После первой победы Игорю подносят трофеи — черлѣный стяг, белую хоругвь, черлѣную чолку, серебряное стружие. В церемониальном положении изображен «на борони» Яр Тур Всеволод. О пленении Игоря сообщено, как о церемониальном пересаживании из золотого княжеского седла в седло кощеево. В церемониальных по-

ложениях изображены в «Слове» Всеволод Суздальский, Ярослав Осмомысл на своем златокованом столе высоко в Галиче, а также окруженный на горах киевских боярами, подающими ему советы, Святослав Киевский.

Своеобразно церемониальное положение Всеслава Полоцкого — он добывает себе Киев — «девицу любу», скакнув на коне и дотронувшись стружием до золотого киевского стола, что напоминает сватовство к невесте в русской сказке (Иванушка скачет на коне и успевает снять кольцо с руки у царевны, сидящей высоко в тереме).

Церемониален плач Ярославны. Она плачет открыто, при всех, на самом высоком месте своего Путивля — на городских забралах, откуда открывается простор Посеймья.

Наконец, завершается «Слово» торжественной церемонией въезда Игоря в Киев и пением ему славы в разных концах Русской земли.

Монументальность и церемониальность всегда связаны с традиционностью. Церемониальность традиционна по самой своей сути. Чем дальше в глубь времени уходят обряд или церемония, тем они торжественнее. Поэтому церемониальные одежды всегда старинные, а церемониальные формы держатся десятилетиями и веками.

Монументальность, особенно монументальность историческая, должна быть поэтому традиционна. Все три особенности (монументальность, историчность, традиционность) поддерживают друг друга.

Монументализму свойственна особая лаконичность, краткость. В произведениях монументального стиля обычно мало орнаментики — монументальность требует выразительности при немногословии. Это касается, например, характеристик людей и населения той или иной местности. В летописи такая лаконичность и «геральдичность» в характеристиках постоянна. Владимирцы говорят о ростовцах: «то суть наши холопи каменъници» (Лавр. лет., под 1175 г.). Об ольговичах и половцах говорится в

летописи, что они «скори бяху на кровопролитъе» (Ипат. лет., под 1151 г.), «перяславци же дерзи суще» (Лавр. лет., под 1169 г.), «смоляне дерзи к боеви» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1216 г.) и т. д.

То же самое видим мы и в «Слове». Вспомните «свѣдомых кметей» — курян, Ольгово храброе гнездо, храбрые полки Игоря, железные полки Ярослава Осмомысла и пр.

Особую роль в церемониальном, монументальном стиле литературы играли афоризмы, приписываемые обычно каким-то древним мудрецам или просто вкладываемые в чьи-то уста: «Яко инде глаголетъ: „Скырт река злу игру сыгра гражаном“, тако и Днестр злу игру сыгра Угром» (Ипат. лет., под 1229 г.), «Выйде Филя, древле прегордый, надеяся объяти землю, по-требити море, со многими Угры, рекшу ему: „един камень много горныцев избиваетъ“, а другое слово ему рекшу прегордо: „острый мечю, борзый коню — многая Руси“» (Ипат. лет., под 1217 г.), «О, леств зла есть! якоже Омир пишетъ, да обличена же зла есть, кто в ней ходить, конецъ зол приметъ; о злее зла зло есть» (Ипат. лет., под 1234 г.), «якоже премудрый хронограф списа: „якоже доброденья в веки светяться“» (Ипат. лет., под 1257 г.). Ср. в «Слове»: «рекоста бо брать брату: „Се мое, а то мое же“», «Рекъ Боянь... „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кроме головы“», «Тому вѣщей Боянь и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути“».

Одна из сторон церемониальности — полнота в перечислении всего того, что участвует в церемонии. Эта полнота преследует цели не столько информационные, сколько украшающие и напоминающие присутствующим о том, что входит в церемонию.

Церемония — это некий процесс, некое длительное, разворачивающееся в пространстве и во времени действо, действо, которое может быть заранее известно не только распорядителю церемонией, но и присутствующим. Осо-

бенно важны поэтому в церемонии последовательность в демонстрации неких равных и соподчиненных членов. В летописи описывается татарское нашествие. Татары пришли на Рязань, требуя у рязанских князей «десятины во всем: в князех, и в людех, и в конех — десятое в белых, десятое в вороных, десятое в бурых, десятое в рыжих, десятое в пегих» (Сuzд. лет. по Акад. сп., под 1237 г.).

Такое же перечисление и в «Слове». «Чрълень стягъ, бѣла хорюговъ, чрълена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславичю». Или: «дивь... велить послушати — земли незнаемѣ, Вльзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню», «Орьтъмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити», «съ черниговскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ реугы, и съ ольберы».

С точки же зрения стилистического требования полноты, столь характерного для монументально-исторического стиля, необходимо сопоставить эти перечисления со стремлением в «золотом слове» Святослава обратиться ко всем русским князьям поименно. Если практически достаточно было бы просто призвать всех русских князей, как единое сообщество, не перечисляя каждого, выступить в объединенный поход против половцев, то чтобы придать обращениям церемониальность, необходима была именно их «полнота»: обращение к каждому из князей лично. Князь киевский Святослав обращается к князьям, соблюдая феодальный этикет.

Весьма важно отметить, что перечисления в «Слове» падают на те объекты, которые требуют именно церемониальности: дань, добыча, народы и племена («черниговские были»: «съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ реугы, и съ ольберы»), покоренные страны («Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела»), народы, поющие славу Святославу («ту нѣмцы и венедици, ту греци и морава»).

В средние века выделены определенные категории жизненных явлений, которые признаются эстетически ценными и откуда по преимуществу черпается поэти-

ческая образность. Иерархическое устройство общества отразилось в установленной в нем иерархии эстетических ценностей. В литературе эстетически ценно прежде всего все то, что связано с высшим светским слоем феодального общества. Два княжеских дела считались в этот период наиважнейшими: война и охота. Именно о своих «путях» (то есть походах) и «ловах» (то есть охотах) рассказывает в своем «Поучении» Владимир Мономах. Те же два княжеских дела как наиважнейшие подчеркиваются и в летописи.

Красиво оружие воина, красиво все, что связано с боевым конем, красива княжеская охота — особенно соколиная. И даже тогда, когда нужно подчеркнуть величие дела церковного подвижника, он сравнивается с воином, его дело объявляется воинским делом и сам он — «воин Христов». «Красота воину оружие и кораблю ветрила», — говорится в «Слове некоего калугера о чь[тении] [к]ниг»¹, включенном в «Изборник» 1076 г. (л. 2 об.). В том же Изборнике с оружием сравнивается молитва («велико оружие молитва», л. 229), с оружием же сравнивается человеческое тело: «оружье бо наше есть тело, а душа — храбъръ» («храбъръ» — богатырь, л. 240).

Образ воина, подобно Всеволоду Буй Туру «стоящего на борони», — это также по-своему эстетически канонизированное представление о красоте. И опять-таки оно находит себе подтверждение в том же Изборнике: «любит князь воина стояштя и борющагося с врагы» (л. 216).

Все вышеприведенные цитаты взяты из статей сугубо церковного содержания, но эстетическим идеалом для каждого из монахов остается все же светский идеал воина, именно образ воина стоит впереди церковного подвижника.

¹ Изборник 1076 года. Издание подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965. С. 151.

О красоте оружия воинов неоднократно пишет и летопись, редко отвлекающаяся от строго деловитого изложения и аскетически обнаженная от всякой образности: «блистахуся щити и оружници подобни солнцю» (Ипат. лет., под 1231 г.), «велику же полку бывшю его (Даниила Галицкого. — Д. Л.), устроен бо бе храбрыми людьми и светлым оружьем» (там же). Красоту оружия отмечает обычно и «Хронограф»: «якоже въставше солнце на златыа щиты и на оружиа, блистахуся горы от них»¹.

Феодосий Печерский говорит в своем «поучении о терпении и милостыни»: «...воину Христову лепо ли есть ленитися? Да или то они за тшую славу и изгибающую не помнят ни жены, ни детей, ни имениа. Да что мню имение, еже есть хуже всего, но и главы своея ни в что же помнят, дабы им не посрамленным быти»².

О способности воина забыть о своих ранах в бою пишет и летопись. Даниил Галицкий в битве на Калке «младенства ради и буести, не чюаше раны бывши на телеси его» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.). Князя Мстислав Мстиславич и «Володимер» Рюрикович, «укрепляя» своих новгородцев и смолян, говорили им: «забудем, брате, домов, жен и дети» (там же, под 1216 г.). Радость, заставляющая воина забыть в пылу битвы или после нее о своих ранах, неоднократно описывается в летописи и в других случаях. Ипатьевская летопись рассказывает о Романае Брянском под 1264 г., что когда он отдавал «милую свою дочь, именемь Олгу, за Володимера князя, сына Василькова», он на радостях забыл о своих ранах: «И в то веремя рать приде Литовьская на Романа; он же бися с ними

¹ Хронограф БАН, 45.13.4; см.: Истрин В. М. Хронограф Академии наук 45.13.4 / В кн.: Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете. Т. XIII. Одесса, 1905. С. 330.

² Памятники древнерусской церковно-учительской литературы. Под ред. А. И. Пономарева. Вып. I. СПб., 1894. С. 39.

и победы я, сам же ранен бысть и немало бо показа мужьство свое, и приеха во Брянскъ с победою и честию великою, и не мня ранен на телеси своемъ за радость».

Особенно близок идеалу воинской увлеченности сражением образ Всеволода Буй Тура. В пылу битвы он забывает свои раны и своих близких: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милья хоти, красныя Гльбовны, свычая и обычая?».

Церемониальность многих сторон «Слова о полку Игореве» не совсем ясна для нас сейчас. Большинство обычаев забылось. Например, почему плачет Ярославна на «забрале» — не был ли обычаем плач на городской стене по погибшим в далекой битве? Или, может быть, важнее то, что «забрала» эти находились на берегу реки Сейма? Ведь на берегу Днепра оплакивает мать своего сына Ростислава и в «Слове о полку Игореве», и в «Повести временных лет», под 1093 г. В «Слове» «готские красные девы» поют на берегу моря, плещет «лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону» дева обида, «дѣвици поють на Дунаи» и т. д. Не было ли обычаем петь и плакать именно на берегу? Не потому ли «Слово» подчеркивает, что поражение войск Игоря произошло на «брезѣ быстрой Каялы», то есть в месте скорби. Само название реки Каялы происходит от глагола «каяти» (Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. IX. М.; Л., 1954).

Битва, как известно, сравнивается в «Слове» с жатвой, и этот образ обычно сопоставляется с аналогичными образами народной поэзии. Однако образ этот существует и в книжности. Враги избивают людей, «аки на ниве класы пожинаху» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1216 г.), или о татарах: «а все людие секуще, аки траву» (там же, под 1238 г.).

Не случаен в летописи и противостоящий войне образ мирных пахарей, ратаев. Война — это прежде

всего гибель пахарей. В речи Владимира Мономаха на Любечском съезде, обращенной к князьям с призывом защитить Русскую землю от набегов половцев, читаем: «и половчин приехав ударить ѿ (смерда) стрелою, а кобылу его поиметь» (Лавр. лет., под 1103 г.).

Второй слой эстетических ценностей — охота, и при этом соколиная по преимуществу. Владимир Мономах начинает свою биографию со слов: «А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея и ловы с 13 лет» (Лавр. лет., под 1096 г.). Княжеский «труд» для Мономаха, как мы уже указывали, это «пути» и «ловы». Как одну из главных добродетелей князя называет охоту и Ипатьевская летопись. В ней под 1287 г. прославляется как охотник Владимир Василькович Вольнский: «Бяшетъ бо и сам ловечь добр, хоробор, николи же ко вепреви и ни к медведеве не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всяки зверь; тем же и прослул бяшетъ во всей земле, понеже дал бяшетъ ему Бог вазнь (удачу.— Д. Л.) не токмо и на одиных ловех, но и во всемъ, за его добро и правду». Впоследствии, уже в XVII в., царь Алексей Михайлович составляет чин соколиной охоты и пишет в нем: «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселием радостным, и веселит охотников сия птичьа добыча. Безмерна славна и хвальна кречатьа добыча. Удивительна же и утешительна и челига (самец кречета.— Д. Л.) кречатьа добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая переласка (особого рода перелет птицы дремлика.— Д. Л.) и добыча. Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лет». Составленный Алексеем Михайловичем «Урядник Соколичьего пути» — это не только уложение об охоте, это поэтический гимн красоте соколиной охоты. Вот почему в Древней Руси даже в сухое летописное изложение вторгается сравнение стрелцов с соколами: «приехавшим же соколомъ стрелцемъ, и не стерпевъшим же людемъ, избиша е и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.).

Восемь раз в «Слове» употребляется образ сокола по отношению к князьям и воинам, однако образами охоты «Слово» буквально пронизано. Природа в «Слове» — это по преимуществу та природа, которая увидена глазами охотника.

Стиль монументального историзма XI—XIII вв. далеко не исследован. Предстоит еще многое сделать для выявления его особенностей. Эти особенности лежат не только в эстетических принципах. Существуют, по видимому, и некоторые этические принципы, общие для произведений этого времени и тесно связанные с принципами эстетическими. Существует некоторое характерное для этого периода отношение между фольклором и литературой. Есть и известная эстетическая сосредоточенность на определенных темах, мотивах. Внимание людей этого времени выделяло в окружающем их мире однородный ряд фактов, как эстетически ценный.

В целом многие традиции, обычаи, привычки сливались с эстетическими принципами, становились характерными для этого периода признаками стиля, пронизывавшего не только все искусства, включая литературу, но и весь жизненный уклад XI—XIII вв. Перед нами не столько стиль, сколько «эстетическая формация» (термин А. Флакера).

Обращаясь к «Слову о полку Игореве», отметим его полную подчиненность принципам этого стиля. Если есть различия между «Словом» и летописью, житиями и другими произведениями этого периода, то различия эти обусловлены только различиями жанра.

* * *

Откуда же явилась стилистическая формация монументального историзма? Чем объяснить ее появление на Руси?

История человеческой культуры знает периоды особенно светлого взгляда на мир, периоды как бы удивления вселенной, когда восхищение окружающим ста-

новится своего рода чертой мировоззрения и эстетического восприятия мира. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового великого стиля в искусстве и в литературе. Человек открывает в мире какую-то новую, не замечавшуюся им ранее эстетическую или религиозную систему. Новое истолкование мира приносит и новое его открытие. Обнаруживаются связи и значения, ранее не замечавшиеся, обнаруживается какой-то новый ритм в мире, новая стилеформирующая доминанта, которые до глубины души удивляют человека. И это удивление перед тем, что все окружающее подчиняется новому мировоззрению, всегда бывает радостным.

Об оптимистическом характере первого (домонгольского) периода древнерусского христианства писали многие, — прежде всего Н. К. Никольский¹ и М. Д. Приселков². В качестве объяснения приводилось отсутствие в древнерусском христианстве аскетизма. Но это отсутствие аскетизма не может быть принято за объяснение, так как оно является, в общем, другой стороной того же самого. Объяснение лежит, как мне представляется, в изменении исторических условий.

Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь, как и некоторые другие европейские страны, миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству — язычеству, типичному именно для родового строя. В древнерусском язычестве гнезился страх перед могуществом природы — природы, враждебной человеку и властвующей над ним. Вместе с феодализмом и христианством пришло новое художественное познание мира, создавшее великий

¹ Никольский Н. К. О древнерусском христианстве // Русская мысль. 1913. Кн. 6. С. 12—14.

² Приселков М. Д. Борьба двух мировоззрений / Россия и Запад: Исторические сборники под ред. А. И. Заозерского. Т. 1. Пб., 1923. С. 36—56.

монументальный стиль домонгольского древнерусского искусства.

Доминантой нового художественного отношения человека к окружающей природе явилось открытие значительности человека и человечества в окружающем его мире. Всемирная история, изложенная так, как она рассказана в первом произведении русской литературы, обращенном к новопросвещенному народу — русским, — «Речь философа», вся говорила о значении людей, о смысле их существования и о центральном положении человека в окружающем его мире. Отныне стало аксиомой, что человек — центр вселенной и именно в нем смысл существования мира. Первые русские произведения полны восторга перед мудростью мироустройства, но мироустройство это не замкнуто в самом себе: природа служит человеку, она не враждебна ему и именно потому прекрасна. Она помогает человеку материальными благами, и через нее Бог открывает человеку заповеди поведения. Природа содержит в себе притчи, нравоучения. Это — второе Писание.

Вселенная вся обращена к человечеству, сочувственно участвуя в его судьбах. Именно такое, отнюдь не узкоязыческое, а скорее эстетическое истолкование природы и ее участия в человеческих событиях найдем мы и в «Слове о полку Игореве», и в проповеднической литературе XI—XIII вв.

Владимир Мономах пишет в «Поучении»: «Что есть человек, яко помниши ѿ? Велий еси, Господи, и чюдна дела твоя, никак же разум человеческ не может исповедати чудес твоих; — и паки речем: велий еси, Господи, и чюдна дела твоя, и благословено и хвално имя твое в веки по всей земли. Иже кто не похвалить, ни прославляеть силы твоя и твоих великих чудес и доброт, устроеньх на семь свете: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, и тма и свет, и земля на водах положена, Господи, твоим промыслом! Зверье разноличнии, и птица и рыбы украшено твоим промыслом, Господи! И сему чуду

дивуемся, како от персти создав человека, како образи различнии в человечьскихъ лицихъ, — аще и весь мир совокупить, не вси в один образ, но кьи же своимъ лиць образом, по Божиимъ мудрости. И сему ся подивуемы, како птица небесныя из ирья идуть, и первее, в наши руже, и не ставятся на одной земли, но и сильныя и худыя идуть по всемъ землямъ, Божиимъ повелениемъ, да наполнятся леси и поля. Все же то дал Бог на угодые человекомъ, на снеть, на веселье. Велика, Господи, милость твоя на нас, иже та угодыя створил еси человека дея грешна. И ты же птице небесныя умудрены тобою Господи; егда повелиши, то вспоють, и человекы веселять тебе; и егда же не повелиши имъ, языкъ же имеюще онемеють»¹.

В цитированномъ месте «Почения» сказалося влияние «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского².

Само по себе это знаменательно: на столетие раньше Болгария пережила то же «удивление миромъ», которое было затемъ столь характерно и для Руси, она раньше Руси прошла тотъ же путь къ новому восприятию мира, опытъ ее оказался для Руси особенно ценнымъ.

Мономахъ пользуется не только «Шестодневомъ» Иоанна экзарха Болгарского, но и цитатами изъ псалтири. Однако в сочетании с собственными наблюдениями надъ русской природой этотъ восторгъ приобретаетъ у Мономаха особенно личный характеръ. Это не обнаженная литературная традиция: это традиция прикровенная, используемая для выражения вполне искреннего чувства.

Церковная и нецерковная литература домонгольской поры полна и другими приглашениями читателей «подивиться», или «почудиться», окружающейъ природе, мудрости мироустройства. Этотъ общехристианский мотив

¹ Повесть временныхъ лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950. С. 156.

² Лихачевъ Д. С. Етическата система на Владимиръ Мономахъ / Език и литература, 1966. Кн. 4. С. 10 и след.

становится особенно характерным именно в первые века древнерусской культуры.

Под влиянием этого «открытия» окружающего мира человек как бы расправил плечи, мир представился ему огромным, он потерял страх перед миром. Напротив, человек стремится теперь подчинить себе обширное окружающее пространство. Русь, объединенная в феодальное государство, одно из самых больших в тогдашней Европе, манит человека к далеким переездам и даже переселениям. Отсюда динамичный монументализм мироощущения. Человек открывает дальние страны, куда устремляли его большие русские реки и сношения с которыми облегчились теперь благодаря общей религии.

Вместе с тем это был период открытия истории. В язычестве доминировал годовой круг праздников, оно не было связано с историей. Время замыкалось в годичный цикл смены сезонов: весны, лета, осени, зимы. Христианство принесло сведения о тысячелетних изменениях в судьбах многих народов мира. Представление о старине как о некоей единой эпохе, где происходит все героическое, сменилось взглядом на историю, в которой все совершается в определенные года «от сотворения мира». Разбивка событий в летописи на годы — погодные записи — явилась одним из радостных открытий этого времени, и не случайно хронологические отметки, начинающиеся словами «в лето такое-то», стали обязательной формой рассказа о прошлом. История получала определенный мировоззренческий смысл и объединяла собой все человечество.

На пути такого антропоцентризма менялись и отношения между художником и его созданием, между зрителем и объектом искусства. И это новое отношение уводило даже от канонически признанного церковью.

Бог прославляется нашими делами. «И кто не удивится, възлюблении, яко Богу прославится нашими делесы?» — говорит Феодосий в «Слове о терпении и

любви»¹. Но и Бог прославляет человека церквами, иконами и церковной службой. Отсюда, с одной стороны, приглушенность личностного начала в творчестве, ибо в человеческом творении прежде всего проявляется «бог вдохновенность» и «богосозданность», но отсюда же, с другой стороны, величие и монументальность произведений искусства, их прославляющий человека характер.

Вопреки постановлению седьмого вселенского собора, установившего чествование икон и креста «по подобию» — «ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному»², Феодосий Печерский утверждает, что храмы и изображения созданы в честь «нам» — людям. Он призывает «с страхом стати безмолвно при стене, гласы немълчны въспевающе к Вышнему, иже нас грешных сподобил входа церковнаго, не имеюще собе подъпоры стены, ни стълпа, еже нам суть на честь створена...» — и далее: «И в церкви более того есть: на честь бо нам стълпи суть и стены церковныя, а не на бещестие»³.

Сказав о стенах и столпах церкви, как о «чести», воздаваемой человеку, Феодосий переходит затем к каждому в церкви и снова подчеркивает обращенность и этого действия к человеку, к молящемуся. Аналогия с честью, воздаваемой человеку сооружениями водчества, несомненна. Храмы, их величие, богослужение — все это честь именно человеку. Для человека — клепание в била, призывающее его ко святой службе, для человека — пение церковное, для него и образы, и кадило, к нему обращенное, и чтение Евангелия и житий святых⁴.

Нечто подобное находим мы и у Илариона в его «Слове о Законе и Благодати».

¹ Еремин И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского // ТОДРЛ. Т. V. М.; Л., 1947. С. 174.

² Архиепископ Вениамин. Новая Скрижаль. Часть 1. 9-е изд. [Б. м., б. г.] С. 69.

³ Еремин И. П. Литературное наследие Феодосия Печерского. С. 177, 178—179.

⁴ Там же. С. 179.

В своем «Слове» Иларион обращается к умершему князю Владимиру с риторическим призывом встать из гроба и взглянуть на честь, которая ему оказана: «Отряси сон, взведи очи, да видиши какая ты чьсти Господь тамо сподобив, и на земли не безпамятна оставил сыном твоим». Перечисляя эту честь, Иларион указывает на потомство Владимира — его сыновей, на цветущее благоверие и на град Киев «величеством сияющь», на «церкви цветущии».

Обращаясь к Владимиру, Иларион говорит: «Вижь град иконами святых освещаем». Иконы, изображения святых «освещают» град¹.

Церковь Благовещения — это не только честь Богу и Владимиру, но и честь всем горожанам Киева. Восхваляя церковь Богородицы «дивну и славну всем округным странам, якоже не обрящется во всем полунощи земнем от востока до запада», Иларион сравнивает ее с архангелом Гавриилом, давшим целование Девине: «Да еже целование архангел даст Девине, будет и граду сему. К оной бо: радуйся обрадованная, Господь с тобою. К граду же: радуйся, благоверный граде, Господь с тобою!»².

Обращенность искусства к его создателям и ко всем людям в их честь стало идеологической доминантой в стилеформирующих тенденциях монументального искусства X—XIII вв. Отсюда импозантность, торжественность, церемониальность архитектурных форм. Отсюда же столь бережно охраняемая перешедшая к нам из Византии обращенность изображений к молящимся, «предстояние» изображений не только за людей, но перед людьми. Отсюда четырехфасадность церквей, обращенных на все стороны города. Отсюда же монументальный стиль литературы, ее торжественность и

¹ Müller L. Des Metropolitens Ilarion Lobrede. Wiesbaden, 1962. S. 126.

² Там же. S. 124.

парадность, строгая этикетность в выборе ситуаций и словесного выражения.

«Слово о полку Игореве» родилось в эпоху, когда политическая ситуация в Древней Руси крайне осложнилась и не могла уже вселять оптимизм. Однако стиль монументального историзма к этому времени укрепил свои корни, и он еще долго будет оказывать влияние на русскую литературу и искусство.

«Слово о полку Игореве» принадлежит к тому же стилю, к которому принадлежат «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет» и все другие летописи, жития Бориса и Глеба, «Слово о погибели Русской земли» и вся вообще литература и искусство домонгольской Руси.

Относительно исторических представлений автора «Слова» существуют две солидные работы¹.



ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» изумляет не только своей неувядаемой красотой, но и мудрой политической прозорливостью ее автора, мудрой оценкой им политических событий своего времени и независимостью его суждений. Вот почему законно поставить вопрос: откуда черпал автор «Слова» свои сведения, на какой почве вырастали его суждения, в чем автор был связан с «общественным

¹ Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971; Робинсон А. Н. Русская земля в «Слове о полку Игореве» / В кн.: Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья. XI—XIII вв. Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. С. 219—241.

мнением» своего времени, своей среды и в чем преодолевал его ограниченность, определяющуюся особенностями исторического и политического мышления своей эпохи?

* * *

Была ли русская история исключительным достоянием письменности?

Многочисленные данные говорят о том, что хранителем исторических воспоминаний был сам народ. В 1147 г. киевляне напоминают своему князю на вече об освобождении Всеслава Полоцкого из поруба, случившемся за 80 лет перед тем, и требуют извлечь для себя урок из того события и не оставлять в живых Игоря Ольговича. В 1148 г. новгородцы на вече говорят Изяславу: «Ты наш князь, ты наш Володимир, ты наш Мьстислав». Под Владимиром новгородцы, очевидно, разумели Владимира I Святославича, бывшего одно время новгородским князем (до своего вокняжения в Киеве), а под Мстиславом — новгородского князя Мстислава Владимировича, сына Владимира Мономаха. Следовательно, память об этих князьях была жива в Новгороде, в широких слоях новгородского населения.

Иногда князьями предпринимались походы из-за «обид» более чем вековой давности. Так, например, в 1178 г. новгородский князь Мстислав «пойде на Полтск на зятя своего на Всеслава: ходил бо бяше дед его на Новьгород и взял ерусалим церковный и сосуды служебные и погост один завел за Полтск. Мстислав же все то хотя оправити Новгородскую волость и обиду...» (Ипат. лет., под 1178 г.). Поход Всеслава относился к 1066 г., но в летописи о том, что Всеслав «завел за Полтск» один из новгородских погостов, ничего не было сказано: возможно, это помнили по преданию.

Несомненно, что народ помнил не только имена и не только самые события в общей форме. Исторические события больше, чем через столетие, могли вспоминаться

с такими подробностями, которые свидетельствуют о том, что в памяти народа сохранялись не исторические перечни, а живые и конкретные картины прошлого. Так, например, перед Липицкой битвой 1216 г. новгородцы говорили Мстиславу Мстиславичу Удалому: «Къняже! Не хотим измерети на коних, нъ яко отчи наши билися на Кулачьскѣй пеши» (Новг. I лет. по Синод. сп., под 1216 г.). Следовательно, в 1216 г. новгородские воины помнили, что в 1096 г., за 120 лет перед тем, предки их сражались с Мстиславом Владимировичем против Олега «Гориславица» пешими.

Многообразные виды исторической памяти народа могут отчасти быть восстановлены на основании «Повести временных лет». Воспоминания о прошлом извлечены здесь из пословиц и поговорок («беда аки в Родне», «погибоша аки обри», «пищанци волчьа хвоста бегают»), из легенд о происхождении городов, племен и княжеских династий (Киев, Переяславль; Рюрик, Радим, Вятко), из исторических рассказов, основанных на диалоге (рассказы о местах Ольги), из родовых преданий (Яна Вышатича) и из героических песен.

Поэтическое отношение к русской истории, несомненно, предшествовало летописному. Древнейшая летопись уже пользовалась историческими песнями. Это поэтическое восприятие русской истории было одновременно и дофеодальным, тогда как летописное, несомненно, было порождено феодализмом, знаменовало собой новую, высшую ступень исторического сознания.

В XI и XII вв. патриархально-поэтическое представление о русской истории в различных социальных слоях доминировало над летописным, да и сам летописец еще в начале XII в. в значительной степени поэтизировал и героизировал русское прошлое в духе устной исторической поэзии.

В 1097 г. киевляне послали ко Владимиру Мономаху со словами: «Молимся, княже, тебе и братома твоима, не мозете погубити Русьскыя земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и възмутъ

землю нашу, иже беша стяжали отци и деди ваши трудом великим и храбръствомъ, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хотите погубити землю Русьскую» (Лавр. лет.). В этих словах киевлян ясно ощущается идеализация «отцов и дедов», их «труда» и их «храбрства». Эта идеализация отнюдь не свидетельствует о какой-либо консервативности киевского населения, ее происхождение — поэтическое. Киевляне не раз напоминали своим князьям о героическом прошлом Руси и в других случаях. В этих представлениях широких масс киевского населения о русской истории чувствуется знакомство с нею на основании исторических песен в первую очередь. Не случайно в середине XI в. митрополит Иларион говорил, обращаясь к Ярославу, о его предках, «иже поминаются ныне и словут».

Едва ли эти поэтические представления о русском прошлом и самое знакомство с историческими песнями были распространены только среди трудовых слоев населения XI—XII вв. То же поэтическое представление о героическом прошлом русского народа находим мы и у Владимира Мономаха. В своем «Поучении к детям» он пишет: «... то бо были рати при умных дедех наших и при блаженных отцех наших» (Лавр. лет., под 1096 г.).

По-видимому, эти поэтические, героизирующие старых русских князей представления о русской истории были основаны на песнях, слагавшихся во славу того или иного деятеля русской истории. О песне, сложенной во славу Мстислава Удалого, прямо говорит, например, польский историк XV в. Ян Длугош — Русь сложила эту песнь в честь Мстислава тотчас же после его победы в 1209 г. над поляками и венграми под Галичем:

«О великий княже и победитель, Мстислав
Мстиславич!
О храбрый сокол, устрашающий храбрых
и сильных
и войска их, посланный Богом!

Пусть перестанут гордиться те, кто мнили,
победив тебя, себе присвоить победу,
ибо все они посрамлены и разбиты тобою,
великолепным и славным господином нашим»¹.

Как уже говорилось раньше, пением «славы» встречали в своем городе князей, возвращавшихся из победоносного похода. В этих «славах» перечислялись их подвиги, они становились со временем историческими песнями, сохраняя полностью свой характер прославлений.

В известной мере и для летописца начало русской истории, воспроизводимое им на основании тех же исторических песен — прославлений, было наполнено героизмом. Хвала и прославление отчетливо дают себя почувствовать в изображении первых русских князей — Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Напротив того, обращаясь к князьям — своим современникам, летописец уже не воздает им хвалы — он противопоставляет им прежних князей. Тем самым героизирующее и поэтическое отношение к прошлому превращается в критическое и учительное отношение к современности. Это героическое и учительное одновременно значение русской истории прямо подчеркнуто и в тех же выражениях, что и у киевлян в 1097 г., в предисловии к Начальному своду: «Вас молю, стадо Христово: с любовью приклоните ушеса ваша разумно! Како быша древнии князи и мужи их. И како отбараняху Руския земля и инья страны приимаху под ся: тии бо князи не сбирааху многа имения ни творимых вир, ни продажъ въскладааху на люди. Но оже будяше правая вира, а ту взимааше и дружине на оружие дая. А дружина его кормяахуся, воюючи инья страны, бьющеса: „Братие! Потягнем по своємь князи и по Руской земли“. Не жадаху: „Мало мне, княже, 200 гривен!“. Не кладяху

¹ Цитирую по переводу с латинского А. В. Соловьева (Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве» // Исторические записки, 25. [М.], 1948. С. 98).

на свои жены золотых обручей, но хожааху жены их в серебре. И расплодили были землю Рускую...» (Соф. I лет.).

Так из устной, народной истории Русской земли летопись заимствует не только факты, не только пользуется песнями как историческими источниками, но в некоторой степени заимствует из них освещение этих фактов, заимствует общее представление о русской истории, идеализируя времена далекого прошлого и ставя эти представления, эту идеализацию далекого прошлого на службу политическим задачам современности.

Дописьменные, дофеодальные представления о родной истории, отложившиеся в исторических песнях и преданиях IX—X вв., в эпоху феодальной раздробленности и развития письменности не отмирают. Они переходят в иную сферу сознания — становятся достоянием художественного творчества народа, при этом устного по преимуществу. Это поэтическое отношение к русской истории доживает и до нового времени в виде былин и исторических песен. И эти былины и исторические песни противостоят письменной истории уже не как донаучное отношение к историческим событиям — научному, а как собственно поэтическое — научному. В исторических песнях народа заключена была не только историческая, но и эстетическая ценность, которая делала их живучими и в XI, и в XII вв., и позднее. Дофеодальные представления об историческом прошлом родины переосмысляются в новой исторической обстановке XI—XII вв. как поэтические. Народное творчество XI—XII вв. сохраняет свою преемственность с IX—X вв. и вместе с тем продолжает развиваться, расти. Старые формы наполняются новым содержанием, становятся историческими по преимуществу. Песни в честь героев живых или недавно умерших, представлявшие собой славы, похвалы, теперь воспринимаются как песни о русской старине, противопоставляемой новому времени. В XI—XII вв. в народном творчестве появляется сильный элемент противопоставления старого, патриархально-дружинного времени новому, старых по-

рядков — новым. Восхваление героя превращается в восхваление русской старины. Старые князья становятся знаменем ушедшего прошлого, символом утрачиваемого единства. Идеализировалось не все прошлое как таковое, а только некоторые его стороны — те, что сохраняли свою актуальность в XI—XII вв.

В самом деле, если мы возьмем все исторические предания, отложившиеся в начальной части «Повести временных лет», мы отчетливо увидим в них восхищение «мудростью и хитростью» старых князей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Восхищение военными подвигами Святослава еще может смешиваться в этих исторических преданиях с упреками ему же в недостаточном «блюденнии» Русской земли. Поздние воспоминания об этих «старых» князьях неизменно сопровождаются настойчивой мыслью о них, как о создателях русского государства — единого и обширного. Из героев «мудрых и хитрых», ловко умевших обманывать врагов, из героев, установивших славу русского оружия по преимуществу, они становятся «умными дедами и отцами», защищавшими интересы не свои личные, но интересы родины, героями, создавшими русское государство.

То же новое качество фольклора в XII в. выступает не только в историческом эпосе. В самом деле, повышение поэтической, эстетической значимости фольклора ясно ощущается и в поэзии лирической, которой «Слово о полку Игореве» пользовалось в равной мере с поэзией эпической. В «Слове о полку Игореве» упоминаются языческие боги, говорится о природе, как о живом существе. Нельзя, однако, думать, что автор «Слова» верил в этих богов, что для него были действительны анимистические представления дохристианского периода, что он верил в конкретность языческих по своему происхождению образов. Автор «Слова» — христианин, старые же дохристианские верования приобрели для него новый поэтический смысл. Он одушевляет природу поэтически, а не религиозно.

Христианские представления для автора «Слова»

лежат вне поэзии. В ряде случаев, как мы увидим в дальнейшем, он отвергает христианскую трактовку событий, но отвергает ее не потому, что он чужд христианства, а потому, что поэзия связана для него еще пока с языческими, дофеодальными корнями. Языческие представления для него обладают эстетической ценностью, тогда как христианство для него еще не связано с поэзией, хотя сам он — несомненный христианин (Игору помогает бежать из плена Бог, Игорь по возвращении едет к Богородице Пирогощей и т. д.).

Мы можем предполагать, что имена языческих богов упоминались в народной поэзии XII в., как, отчасти, они упоминаются еще и в народной поэзии нового времени (XVIII—XIX вв.). Они были живы и в народной поэзии XII в., как об этом свидетельствует само «Слово о полку Игореве». Однако, конечно, в XII в. языческие боги не были уже предметами верования и поклонения, они были символами определенных явлений природы, стихий, широкими обобщающими образами, и только.

Подобно тому как языческие боги в фольклоре становятся поэтическими образами, так и старые песни эпохи патриархально-общинного строя в честь героев, возможно, входившие в состав того или иного ритуала, становятся явлениями исторической поэзии по преимуществу. Фольклор в XII в. еще традиционно сохраняет свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмысляет и изменяет свое содержание в новых общественных условиях феодального общества, приобретает новое качество. В нем усиливаются элементы поэтические, ослабевают элементы религиозные. Исторические воззрения, отложившиеся в старых эпических песнях, славы героям, вступившие в противоречие с новым историческим сознанием эпохи феодализма, лучше всего отразившимся в летописи, становятся достоянием народной поэзии. И подобно тому как упоминание языческих богов в «Слове о полку Игореве» не противоречило христианским воззрениям автора, так и поэтическое восприятие русской истории,

выросшее на почве дофеодалного исторического эпоса, могло сосуществовать рядом с новым историческим сознанием эпохи феодализма. Фольклор в «Слове» — это фольклор, еще традиционно сохраняющий свою связь с дофеодалным периодом исторического развития Руси, но переосмысленный и изменивший свое содержание в новых исторических условиях феодалного общества.

Итак, поэтическое восприятие мира автором «Слова о полку Игореве» было фольклорным. Так же точно и восприятие прошлого Руси, как мы увидим в дальнейшем, было у него поэтическим и фольклорным по преимуществу.

Несмотря на то, что отношение к русской истории было у автора «Слова» облечено в народно-поэтические формы, это не означает, что он во всех своих конкретных сведениях о русской истории пользовался только данными фольклора. Автор «Слова» не пассивно следовал за фольклором. Он творил свою историческую концепцию, но творил ее в рамках своего поэтического понимания. Источниками же его исторической осведомленности были и летопись, и исторический эпос. Автор «Слова» был знаком и с тем, и с другим. Он, безусловно, был человеком грамотным и начитанным, но вместе с тем он был наслышан в фольклоре, был проникнут его поэтическим отношением к прошлому. Автор «Слова о полку Игореве» пользуется историческими данными, почерпнутыми и из исторических песен, и из летописи. Его знакомство с русской историей не находится в зависимости только от какой-нибудь одной из этих форм исторической памяти.

Целый ряд признаков указывает на то, что автор «Слова» был знаком с «Повестью временных лет». Прежде всего отметим, что его исторические воспоминания все связаны с событиями, отмеченными в «Повести», и не выходят за ее пределы. Автор «Слова» упоминает события от Владимира «старого» до Владимира Мономаха. Мономах — последний из упоминаемых им князей прошлого. За ним, минуя всех русских князей

первой половины XII в., автор «Слова» упоминает только князей — своих современников. Автор «Слова» как будто бы не знает киевской летописи XII в., он не упоминает ни одного события русской истории первой половины XII в., но зато хорошо осведомлен о событиях XI в., получивших свое отражение в «Повести».

Эта хронологическая ограниченность исторического кругозора автора «Слова» пределами «Повести» сама по себе уже как будто бы говорит о том, что автор «Слова» пользовался именно «Повестью временных лет». Однако о том же говорит целый ряд мелких соответствий — в выборе выражений, в выборе упоминаемых деталей исторических событий, в их освещении и т. п., в сумме составляющих картину несомненного знакомства автора с «Повестью». Автор «Слова» как бы видит исторические события XI в. в освещении «Повести». В ряде случаев автор «Слова» отступает от освещения событий, которое дает «Повесть», но автор «Слова» именно отступает, отстраняется, отталкивается от объяснений «Повести», то есть в конечном счете исходит из нее.

В начале произведения автор «Слова» определяет хронологические пределы своего рассказа: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимира до нынѣшняго Игоря...» Такое определение в начале произведения хронологических пределов своего повествования типично для исторической литературы XI—XII вв. Его мы найдем в «Повести временных лет» под 852 г. и в предисловии к Начальному своду, сохранившемуся в новгородских летописях: «Мы же от начала Рускы земля до сего лета и все по ряду известно да скажем, от Михаила цесаря до Александра и Исакья» (Новг. I лет., по Комиссион. сп., предисловие).

Итак, автор «Слова» обещает вести свой рассказ «отъ стараго Владимира до нынѣшняго Игоря». Под «старым Владимиром» следует, несомненно, разуметь не Владимира Мономаха, как предполагали большинство исследователей, а Владимира I Святославича, так как именно этот последний только и может служить на-

чальною историческою вехою повествования «Слова». В самом деле, автор обещает начать свою «повесть» от «старого Владимирера» и ведет свое повествование от Владимира Святославича, а не от Владимира Мономаха, делая перерыв в упоминаемых событиях как раз после Владимира Мономаха, которого однажды упоминает как «Владимира, сына Всеволожа»¹. Об этом «старом», «первом Владимире» сказано в «Слове» и в дальнейшем: «того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевскимъ». И здесь, несомненно, имеется в виду Владимир I Святославич с его многочисленными походами. Этим многочисленным походам Владимира на внешних врагов Русской земли противопоставлено несогласие войска Давида выступить вместе с войском Рюрика против половцев в 1185 г.: «сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нѣ розно ся имѣ хоботы пашуть».

Таким образом, автор «Слова» вспоминает «старого Владимирера» только в связи с его далекими походами на врагов Русской земли. Это представление о Владимире соответствует основной идее автора, противопоставляющего и в других местах «Слова» единство Руси в отдаленном прошлом усобицам своего времени. Но это же представление о Владимире соответствует и летописному, и народному. Большинство лет княжения Владимира в «Повести временных лет» начинается с извещения о его походах:

«В лето 6489. Иде Володимер к ляхом и зая грады их, Перемышль, Червен и ины грады, иже суть и до сего дне под Русью. В сем же лете и вятичи победи, и възложи на ня дань от плуга, яко же и отець его имаше.

В лето 6490. Заратишася вятичи, и иде на ня Володимер, и победи я второе.

В лето 6491. Иде Володимер на ятвягы, и победи ятвягы, и взя землю их...

¹ Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». С. 73.

В лето 6492. Иде Володимер на радимичи...

В лето 6493. Иде Володимер на болгары с Добрынею с уем своим...

В лето 6496. Иде Володимер с вои на Корсунь...

В лето 6500. Иде Володимер на хорваты. Пришедшу бо ему с войны хорватския, и се печенези придоша по оной стороне от Сулы; Володимер же поиде противу им...» (Лавр. лет.).

Об этих далеких походах Владимира помнили и в XI, и в XII, и в XIII вв. Его походы были как бы мерилом дальности походов других русских князей. Под 1229 г. галицкий летописец записал о походе Даниила Романовича в Польшу: «Иный бо князь не входил бе в землю Лядську толь глубоко, проче Володимера великаго, иже бе землю крестил» (Ипат. лет., под 1229 г.). Под 1254 г. галицкий летописец отметил о походе Даниила в Чехию: «Данилови же князю хотящу, ово короля ради, ово славы хотя, не бе бо в земле Русцей первее, иже бе воевал землю Чешьску, ни Святослав хоробры, ни Володимер святыи» (Ипат. лет., под 1254 г.).

Уже в XVI в. составитель Никоновской летописи, расширивший повествование о княжении Владимира за счет былинных источников, сообщил дополнительные сведения о походах Владимира.

Таким образом, представления автора «Слова о полку Игореве» о Владимире были распространенными народными представлениями, в равной мере характерными и для летописцев, и для «песнотворцев».

Следующий после Владимира князь, о котором упоминает автор «Слова», — Ярослав Мудрый. О «старом Ярославе» автор «Слова» не говорит ничего конкретного. Он упоминает его в связи с тем, что ему, Ярославу, пел свои песни Боян, и упоминает о Ярославовой славе Новгорода. Ярослав, следовательно, для автора «Слова» не только киевский князь, но и новгородский: с ним связывает он начало новгородской славы, как в Новгороде связывали с ним начало новгородской независи-

мости. Это представление о Ярославе автор «Слова» не мог почерпнуть из «Повести временных лет», — оно взято им из народных представлений, при этом по преимуществу новгородских.

О Мстиславе Владимировиче Тмутороканском автор «Слова» говорит, как о князе, которому пел песню Боян: «пѣснь пояше... храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскими». Несомненно, что автор «Слова» знал об этих песнях Бояна из фольклорной традиции, однако некоторые совпадения с «Повестью временных лет», думается, также не случайны. Автор говорит «зареза», то есть употребляет то самое выражение, что и «Повесть» (ср. в «Повести», под 1022 г., рассказ о том, как Мстислав перед полками русских и касогов победил в поединке касожского князя Редедю, а затем «вынзе ножь и зареза Редедю»). Автор «Слова» говорит «предъ пълкы касожьскими» — и тем самым снова обращает внимание своего читателя на ту же деталь, на которую обратил внимание и летописец (ср. в «Повести»: «и ставшема обѣма полкома противу собѣ»).

Похоже на то, что автор «Слова» говорит о песне Бояна словами «Повести временных лет» не случайно: он поясняет менее известное более известным — тему песни Бояна словами «Повести». Здесь, следовательно, возможно переплетение двух параллельных источников: устного (восходящего к песням Бояна) и летописного.

Упоминает автор «Слова» и о другом тмутороканском князе — Романе Святославиче, сыне Святослава Ярославича Тмутороканского, также со ссылкой на Бояна, певшего песни ему, «красному Романови Святъславичю». Этот эпитет — «красный» — «Повести временных лет» неизвестен. Он, очевидно, принадлежит устному источнику. Эпитет «красный» «Повесть временных лет» прилагает только к брату Романа Святославича — Глебу («бе же Глеб... взором красен»), о Романе же «Повесть» упоминает всего два раза. Нет ничего удивительного в том, что красотой отличались оба брата Святославича,

но знать об этом автор «Слова» мог только из устного источника.

С полной очевидностью летописный источник выступает в двух упоминаниях «Слова»: о Борисе Вячеславиче — сыне князя Вячеслава Ярославича, и о Ростиславе Всеволодовиче, сыне Всеволода Ярославича.

О смерти Бориса Вячеславича «Слово» говорит: «Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла»... Летопись не говорит о том, когда произошла битва, в которой погиб Борис. Знал ли автор «Слова» из каких-то дополнительных источников, что битва произошла тогда, когда росла трава, послужившая ему «зеленой паполомой» (зеленым, а не черным, как обычно, погребальным покрывалом)? Я думаю, что никаких точных сведений о времени битвы у автора «Слова» не было. Это чисто поэтический образ. Вырос этот образ на основе фольклорных представлений о телах убитых, лежащих «на земле песте, на траве ковыле» («Повесть о разорении Рязани Батыем»), но, возможно, возбужденный ассоциацией под влиянием названия местности, где произошла битва, — на «Нежатиной Ниве» («Повесть временных лет», под 1078 г.).

Иное, историческое на этот раз, объяснение имеют слова «Слова о полку Игореве» о том, что Бориса Вячеславича «слава на судъ приведе».

Ту же трактовку смерти Бориса Вячеславича находим мы и в «Повести временных лет»: смерть Бориса Вячеславича поставлена в связь с его похвальбой перед битвой на Нежатиной Ниве в 1078 г.; «Рече же Олег (Святославич.— Д. Л.) к Борисови: „Не ходиве противу, не можеве стати противу четьрем князем, но посливе с молбою к стрыема своима“. И рече ему Борис: „Ты готова зри, аз им противен всем“; похвалився велми, не ведый яко Бог гордым противитя, смиренным дасть благодать, да не хвалитя сильный силою своею... Первого убиша Бориса, сына Вячеслава, похвалившагося велми». Итак, и в летописи, и в «Слове» смерть

Бориса Вячеславича рассматривается как возмездие за его похвалю. Не может быть сомнения в том, что эта связь не случайна: автор «Слова» и здесь свои исторические сведения черпал из «Повести временных лет». Однако связь эта объяснена различно: в «Повести временных лет» ей придана религиозная трактовка: «не ведый, яко Бог гордым противится»; в «Слове» же эта религиозная трактовка снята: «слава на судъ приведе». Не Бог, следовательно, приводит Бориса Вячеславича на суд, а сама «слава», персонифицированная с тою же художественною осторожностью, с какою персонифицированы в «Слове» «обида» («въстала обида... вступила дѣвою... всплескала лебедиными крылы»), «беда» («уже бо бѣды его пасеть птиць по дубию»), «тоска», «печаль» («тоска разлися... печаль жирна тече»), «лжа», «котора» («уже лжу убудиста которою, ту бяше успилъ отецъ ихъ Святъславъ...»), «веселие» («а веселие пониче»), «хула» и «хвала» («уже снесеса хула на хвалу»), «нужда» и «воля» («уже тресну нужда на волю»), грозы («грозы твоя по землямъ текутъ»). Это переосмысление летописной трактовки смерти Бориса Вячеславича не случайно. Ниже мы увидим, что оно имеет и другие параллели: автор «Слова» постоянно отходит от религиозной христианской точки зрения на события русской истории.

С летописью связано и упоминание о смерти «уноши» Ростислава: «Не тако ти, рече (говорит Игорь Донцу.— Д. Л.), рѣка Стугна; худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ устью, уношу князю Ростиславу затвори. Днѣпръ темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ. Уныша цвѣты жалобою и древо с тугою къ земле прѣклонилось». Этот эпизод и в «Повести временных лет» изложен с поэтическим чувством: «И бысть брань люта; побеже и Володимер с Ростиславом и вои его. И прибегоша к реце Стугне, и вбрде Володимер с Ростиславом, и нача утапати Ростислав пред очима Володимерима. И хоте похватити брата своего и мало

не утопе сам. И утопе Ростислав, сын Всеволожь. Володимер же пребред реку с малою дружиною... плакая по брате своем и по дружине своей; и иде Чернигову печален зело... Ростислава же искавше обретоша в реце; и взявше принесоша ѿ Киеву, и плакася по немъ мати его, и вси людье пожалиша си по немъ повелику, уности его ради. И собращася епископи и попове и черноризци, песни обычныя певше, положиша ѿ у церкви святаго Софьи у отца своего» (Лавр. лет., под 1093 г.). Автор «Слова» поэтически переосмыслил этот текст «Повести». В его кратких словах не забыты такие лирические детали летописного текста, как плач матери и юность князя, безвременно утонувшего в Стугне, но добавлены и новые, поэтически досмысленные: мать плачет на темном берегу Днепра (ср. «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы»; «се бо готьскыя красныя дѣвы възпѣша на брезѣ синему морю»), цветы унывают жалобю, и дерево с тоскою к земле преклонилось. Этот образ унывающих цветов и преклоняющагося дерева принадлежит также, несомненно, автору, а не взят им из каких-либо устных источников; ср. выше: «ничить трава жалоушами, а древо с туюю къ земли преклонилось», или «нѣ уже, княже Игорю, утрѣтъ солнцю свѣтъ» (ср. в описании плача матери по Ростиславе «темнѣ березѣ»), «а древо не бологомъ листвие срони». Здесь, следовательно, к летописной трактовке события добавлены народно-песенные детали, но детали эти принадлежат самому автору «Слова». Все эти поэтические добавления составлены в фольклорном духе, но они не свидетельствуют о существовании какой-то особой песни о гибели Ростислава, откуда они могли быть взяты: они принадлежат автору «Слова» и типичны для его поэтической манеры. Замечательна здесь и еще одна черта, уже отмеченная нами выше в словах автора «Слова» о Борисе Вячеславиче: автор «Слова» как бы не заметил все то в летописи, что имеет религиозный смысл,— о Ростиславе плачет его мать, но церковные похороны в святой Софии с пением

«обычных песен» - не нашли поэтического отклика в «Слове».

Вместе с тем автор «Слова» не считается и с церковным историческим источником, из которого в XII в. он мог почерпнуть сведения о гибели Ростислава, — с протографом «Киево-Печерского патерика». В Печерском монастыре осталась худая слава о Ростиславе. Это видно из жития Григория, включенного в «Патерик». Там рассказывалось о том, что Ростислав велел бросить Григория в воду и за это сам через некоторое время утонул в Стугне. Не знал ли автор «Слова» этой киево-печерской версии, или сознательно ее отбросил, — и то, и другое для него характерно: автор «Слова» здесь, как и в других местах своего произведения, стоит вне церковной исторической традиции.

Нельзя не видеть, какие жемчужины поэзии отобраны автором «Слова» в «Повести временных лет»: поединок Мстислава Владимировича с касожским князем Редедюю, трагическая смерть Бориса Вячеславича, трагическая безвременная смерть «уноши» Ростислава и оплакивание его матерью. Даже вне зависимости от умелого использования этих эпизодов в «Слове», от поэтической их доработки, самый выбор этих мест, в «Повести временных лет» мало заметных и эпизодических, но привлекательных по своему глубокому человеческому содержанию, говорит, что в лице автора «Слова» «Повесть временных лет» нашла внимательного и чуткого к ее жизненной красоте читателя.

Однако с наибольшей полнотой поэтическое понимание автором «Слова» текста «Повести временных лет» нашло себе выражение не в этих «случайных» упоминаниях, только «инкрустирующих» поэтический рассказ «Слова», а в образах двух зачинщиков феодальных смут, двух родоначальников самых беспокойных княжеских гнезд — Олега Гориславича и Всеслава Полоцкого.

Перед нами в «Слове» не только портреты двух этих князей, но в известной мере суммарные характе-

ристики их непокорных и суетливых потомков — ольговичей и всеславичей. В самом деле, по мысли автора, князья и княжества всегда являются носителями славы их родоначальников, предков, основоположников их независимости: черниговцы без щитов с одними засапожными ножами кликом полки побеждают, «звонячи въ прадѣдную славу». Изяслав Василькович позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, «притрепа славу дѣду своему Всеславу»: Ярославичи и все внуки Всеслава уже выскочили «изъ дѣдней славы»; Всеслав, захватив Новгород, «разшибе славу Ярославу» и т. д. Все это не пустые слова: с точки зрения автора «Слова», славу современных ему князей и княжеств устали «деды», следовательно, «деды» нынешних князей черниговских и полоцких — Олег Святославич и Всеслав Брючиславич — живы в деяниях своих потомков. Автор «Слова» не случайно дает характеристику именно этим князьям: он говорит о их злосчастной судьбе, чтобы призвать к миру и согласному действию против степи их беспокойных потомков. Представления о том, что сыновья и внуки продолжают политику отцов и дедов, были обычными в Древней Руси.

Характеристика Олега Гориславича предшествует сообщению о поражении Игоря. Поражение Игоря рассматривается как непосредственное следствие политики феодальных раздоров, начавшейся при Олеге. Рассказав об убоицах Олега, автор «Слова» переходит прямо к поражению Игоря: «То было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицей рати не слышано!», то есть те все несчастья были от тех ратей и тех походов, но эта рать Игоря превзошла своими последствиями убоицы Олега. Рассказу о Всеславе в «Слове» непосредственно предшествует обращение к потомкам Всеслава и их противникам Ярославичам.

В самом деле, как понять следующее место «Слова»: «Ярославе и вси внуце Всеслави! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славы. Вы бо своими крамолами начясте

наводити поганья на землю Рускую, на жизнь Всеславу. Которую бо бѣша насиліе отъ земли Половцкыи!».

О каком Ярославе здесь идет речь? Может быть, это Ярослав Всеволодович Черниговский, как думают одни комментаторы?¹ Или Ярослав Владимирович — внук Мстислава Владимировича, как думают другие?² Но эти Ярославы не только не воевали с полоцкими князьями, но не были даже их соседями. Поэтому М. Максимович³ предполагает, что здесь говорится о Ярославе Юрьевиче Пинском, который имел общие границы с полоцкими князьями и мог (!) вместе с ними воевать против половцев.

Однако из контекста «Слова» ясно, что речь идет не о войне Ярослава в союзе с полоцкими князьями против половцев, а о междоусобной войне. Автор «Слова» укоряет обе стороны за «которые». Войны против «поганых» автор «Слова» мог только приветствовать. Автор «Слова» звал русских князей выступить против половцев и в равной мере против литовских племен, нападавших на Русь.

Но о междоусобной войне Ярослава Юрьевича с полоцкими князьями ничего не известно. Да если бы и было известно, — это было бы слишком мелким эпизодом для того исторического обобщения, которое дает автор «Слова». Ведь речь идет о «которых», а не о «которе», о разорении «жизни Всеслава». Совсем неточно определяет Ярослава А. В. Соловьев в своей, в общем превосходной, работе «Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“». Он пишет: «Сле-

¹ Вяземский П. Замечания на «Слово о полку Игореве». СПб., 1875; Исследования о вариантах. СПб., 1887.

² Огоновський О. «Слово о полку Игореве» — поетичний пам'ятник руської письменності XII в. Львів, 1876; Буслев Ф. Историческая хрестоматия древнерусской литературы. М., 1861, стб. 611.

³ Песнь о походе Игоря // «Украинец». 1859. Кн. I. С. 109, примеч. 38.

дующее обращение — „Ярославе и вси внуци Всеслави“ — опять называет неизвестного нам князя, происхождение которого трудно установить. Многие комментаторы полагают, что это Ярослав Юрьевич Турово-Пинский, участник похода 1184 г. на половцев (правнук Святополка Изяславича); другие считают, что это опять упоминается Ярослав Всеволодович Черниговский. Но нам кажется, что по всему контексту („Ярославе и вси внуци Всеслави... уже бо выскочисте изъ дѣдней славы“) здесь имеется в виду еще какой-то полоцкий князь, один из многих правнуков вещего Всеслава. Они своими крамолами (раздоры между Васильковичами, Глебовичами и Борисовичами) начали наводить поганых на землю Русскую, на жизнь Всеславу, т. е. половцев на русское полоцкое княжество, на богатство и наследство Всеслава. Полагаем, что тут намек на события 1180 г., когда раздоры между линиями полоцких князей вызвали приход Игоря северского к Друцку вместе с ханами Кончаком и Кобяком, бывшими тогда его союзниками»¹. Однако по всему контексту ясно, что здесь в «Слове» имеется в виду какое-то крупное историческое явление. Какое же?

Я предполагаю, что в слове «Ярославе» при его прочтении издателями вкралась ошибка. В этом слове издатели неправильно прочли выносное «л», которое можно читать и за выносной слог «ли». Читать следует не «Ярославе», а «Ярослави»: «Ярослави и вси внуце Всеслави!», или: «Ярослави вси внуце и Всеслави!» Примеров неумения первых издателей правильно читать выносные буквы и окончания слов, а также делить текст на слова можно было бы привести много. В том же месте, с которого мы начали обсуждение вопроса о «Ярославе», издатели прочли «вонзить» вместо «вонзите», «понизить» вместо «понизите».

¹ Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве»... С. 84.

Перед нами призыв прекратить вековые «которые» ярославичей и полоцких всеславичей.

Родовое гнездо полоцких князей противостоит в сознании людей XII в. потомству Ярослава Мудрого. Летопись противопоставляет полоцких князей другим русским князьям, называя последних ярославичами. Под 1128 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем рассказ о причинах вражды полоцких князей с ярославичами. Это известное повествование о Рогнеде и Владимире. Заключается рассказ Лаврентьевской летописи следующими словами: «И оттоле мечь взимають роговоложи внуци противу ярославлим внуком». Через 50 с лишним лет автор «Слова» имел право говорить не о «Рогволожих внуках», а о «внуках Всеславлих», но «Ярославли внуки» остались все те же.

В самом деле, полоцкие князья представляли собой особую линию русских князей, едва ли не первыми начавших процесс феодального дробления Руси. Особая жизнь Полоцкого княжества была утверждена еще при Владимире.

Владимир «воздвиг» отчину Рогнеде и сыну своему от Рогнеды — Изяславу в Полоцке. Рогнеда была дочерью полоцкого князя Рогволода. Полоцкие князья, чуждавшиеся потомства Владимира, сами себя считали Рогволодовыми внуками — по женской линии. И отчину свою вели не от пожалования Владимира, а по линии наследования от Рогволода. Автор «Слова» не называет полоцких князей «Рогволожими внуками», и это не случайно. От Изяслава Полоцкая земля досталась Брячиславу, а от последнего Всеславу, чтобы потом пойти в раздел сыновьям последнего. Все полоцкие князья были потомками Всеслава. Их автор «Слова» и называет «Всеславлими внуками». Их он противопоставляет потомству Ярослава, но не потомству Владимира, так как и те, и другие были его потомством. Характерно, что полоцких князей автор «Слова» называет внуками Всеслава, а не внуками Рогволода, как летопись под 1125 г. Рогволодовичами называли

полоцких князей в местных, областнических целях те, кто видел в них не потомков Владимира I Святославича, а обособленную линию князей, шедшую по женской линии от неродственного князя Рогволода. Автор «Слова» называет их Всеславичами, то есть признает их родственность всем русским князьям через Владимира I Святославича; он не признает особой, женской генеалогической линии полоцких князей через Рогнеду к Рогволоду. И в этом отношении он последователен в своем взгляде на полоцких князей, стоит не на местной полоцкой, а на общерусской точке зрения.

Итак, в этом месте «Слова» речь идет не о какой-то мелкой вражде одного из русских Ярославов 80-х годов XII в. с полоцкими князьями, вражде настолько мелкой, что она даже не была отмечена летописью и только предполагается комментаторами «Слова», а о большом длительном историческом явлении: о длительной вражде полоцких князей со всеми остальными русскими князьями. Автор «Слова» говорит о многих «котогах», о разорении жизни Всеславлей, о том, что эти «котогы» наводили «поганных» (литовцев) на землю Русскую и Полоцкую, и обращается ко всему потомству Всеслава.

И летопись, и «Слово о полку Игореве» точно отражают исторические события. Усобицы полоцких князей, стремившихся обособиться от Киева, с киевскими князьями, безуспешно пытавшимися восстановить зависимость Полоцка от Киева, действительно наполняют своим шумом и XI, и XII в. В этой междоусобной войне автор «Слова» считает побежденными обе стороны, победителями же оказываются «поганные» — половцы и литовцы. Эта мысль выражена автором с необыкновенным блеском: «Ярослави вси внуце и Всеслави! Уже понизите стязи свои (как символ поражения, — признайте себя побежденными. — Д. Л.), вонзите свои мечи верезени (в междоусобных войнах. — Д. Л.). Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ (междоусобицы

вас обеславили.— Д. Л.). Вы бо своими крамолами начясте наводите поганья на землю Рускую, на жизнь Всеславию. Которою бо бѣше насилие от земли Половецкыи!».

Вот почему автор «Слова», подобно летописцу, и обращается в дальнейшем, в большом отступлении, к истокам этой великой вражды, охватившей всех русских и всех полоцких князей, — к истории родоначальника нынешних Всеславичей — Всеслава Брячиславича Полоцкого.

Автор «Слова» — средневековый мыслитель. Он, как и летописцы, стремится доискаться первопричины, начала событий: «откуда есть пошла» вражда.

Интерес к тому, что мы сейчас назвали бы поводом событий, весьма характерен для средневековья.

Под 1375 г. в летописи Авраамки мы находим особую статью «О войне и о брани, иже бе под Тферью». В ней говорится о приезде в Тверь Некомата «с бессерманьскою лестью от Мамаю», как о причине последующих событий. Летописец заключает свой рассказ следующим замечанием: «Се же писах того ради, понеже огонь загореся от того». Аналогично этому и в Симеоновской летописи (как и в некоторых других) вслед за рассказом о том, как в 1433 г. на свадьбе Василия II Софья Витовтовна сняла пояс с Василия Косого, мы находим следующее заключение: «Се же пишем того ради, понеже много зла с того ся почало»¹. Городские волнения в Новгороде в 1418 г. описаны в Новгородской IV летописи как следствие простой уличной ссоры между «человеком неким Степанко» и боярином Данилом Ивановичем Божиным внуком. Характерно, что и городские власти Новгорода, занявшись расследованием этих социальных волнений, во время которых жители в воинских доспехах вступали в настоящее сражение, решили прежде всего выяснить «вещи сия начало», то есть обратились к расследованию той мелкой уличной ссоры, от которой, по их мнению, все и началось.

¹ ПСРЛ. Т. XI, 1889. С. 99; Т. XVIII, 1913. С. 172.

История Всеслава Полоцкого — это, конечно, не уличный эпизод. Но ее значение для автора «Слова» то же, что и история с поясом Софьи Витовтовны или приезда в Тверь Некомата, — это первопричина, это «вещи сия начало».

Интерес к началу длительной истории вражды полоцких князей для автора «Слова» поддерживается еще характерной для XII в. «родовой» точкой зрения на события русской истории.

Каждый представитель того или иного княжеского рода для XII в. является вместе с тем представителем и политических традиций этого рода, «славы» рода или родоначальника.

Принимая выводы относительно толкования этого места «Слова о полку Игореве», где, с моей точки зрения, говорится о вражде Ярославичей и Всеславичей, изложенные мною в «Комментарии историческом и географическом» к «Слову»¹, Б. А. Рыбаков дополняет их следующими соображениями: «В тексте первого издания 1800 г. стоит „Ярославе и всии внуце Всеслави“ (первое изд., с. 34. — Д. Л.). И исследователи долго отыскивали того Ярослава, к которому могло быть отнесено это обращение. Предлагали и Ярослава Черниговского... и Ярослава Владимировича (адресата Даниила Заточника. — Д. Л.), и незначительного Ярослава Пинского, но это никак не могло объяснить главной мысли автора, стержня всей поэмы, заключенной в этом абзаце: „Распри позволяли половцам торжествовать над нами“. Ведь длительные раздоры полоцких князей, происходившие где-то на краю земли, остальных русских княжеств не касались, а уж к половецким набегам и вторжениям вообще никакого отношения не имели. Если бы речь шла только о недружном гнезде полоцких князей и каком-то Ярославе, который почему-то всех их уравнивал своей персоной, то упоминание о половцах осталось без объяснений.

¹ См.: Слово о полку Игореве. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950. С. 450—452.

Следует обратить внимание на то, что данный абзац подводил итог своеобразному обзору всей Руси, от Карпат до Волги и от степи до Западной Двины; в обзоре говорилось обо всех князьях, и все они, кроме полоцких (у которых были свои враги-язычники — литовцы), призывались поэтом к войне с половцами. В этом смысле „земля Русская“ уравнивалась с „жизнью Всеславию“, но если оставить текст первого издания, то останутся и непримиримые смысловые противоречия.

Выход был найден Д. С. Лихачевым, предложившим в 1950 г. читать „Ярослави (внуки) и вси внуци Всеслави...“ Аргументация Д. С. Лихачева настолько убедительна и новое чтение настолько логически связывает весь абзац в единое целое, что можно не только принять все это чтение, но и основывать на нем ряд выводов.

Итак, соединительное звено между обзором русских княжеств 1185 г. и временами „дедней славы“ содержит главную мысль поэмы: порицание обеим ветвям „Володимирова племени“ — Ярославичам и Всеславичам — за крамолы и которы, позволяющие „поганым“ нападать на Русь. Этим звеном читатель уже подготовлен к рассмотрению какой-то более ранней эпохи, которая, с одной стороны, была временем дедней славы, а с другой — временем первых усобиц, первоистокom княжских крамол»¹. Напомню, что затем в «Слове» идет рассмотрение событий, связанных с «первыми князьями» в «первую годину» Руси.

В Олеге «Гориславиче» и во Всеславе Полоцком автором «Слова» обобщены два крупнейших исторических явления: усобицы Ольговичей и Мономаховичей и усобицы Всеславичей и Ярославичей. Вот почему характеристики этих князей занимают такое большое место в «Слове». Ограниченный в средствах художе-

¹ Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 441—442.

ственного обобщения законами художественного творчества средневековья, замкнутого в кругу исторических фактов весьма узкого ряда, автор «Слова» прибег к характеристикам родоначальников тех князей, обобщающую характеристику которых он собирался дать.

Таким образом, характеристики Олега и Всеслава занимают строго определенное и важное место в идейной композиции «Слова». Это не случайные вставки и не лирические «отступления». Они находятся в органической связи с историческими воззрениями автора «Слова» (к этому вопросу мы еще вернемся). Тем более интересно будет проследить исторические источники этих характеристик.

Обратимся прежде всего к характеристике Всеслава; она целиком согласуется с теми фактами, которые сообщает о нем «Повесть временных лет». Факты «Повести временных лет» осмыслены в «Слове» поэтически. Из них автор «Слова» строит не только поэтический образ Всеслава, но одновременно дает и историческую оценку его деятельности. Эта историческая оценка, умело согласованная со всей идейной структурой «Слова», поражает вместе с тем глубоким пониманием русской истории.

«На седьмомъ вѣцѣ Трояни врьже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу». В дальнейшем там, где я буду говорить о периодизации русской истории автором «Слова», я подробно остановлюсь на вопросе о том, что означает выражение «на седьмомъ вѣцѣ Трояни». Здесь же, забегаая несколько вперед, упомяну только, что оно находится в тесной связи с представлениями о Всеславе как о кудеснике и в общих чертах означает «напоследок языческих времен». Дальше говорится о кратковременном пребывании Всеслава на киевском столе, и это позволяет нам видеть, вслед за другими исследователями, в девице ему «любой» — Киев. Опершись на восставших в 1068 г. киевлян, чтобы взойти на киевский стол, Всеслав действительно играл своей судьбою — «кинул жребий». Он был в равной мере чужд восставшим

горожанам и феодальной княжеской верхушке Руси. Он не имел реальной опоры ни в одном классе общества; оказавшись вознесенным из «поруба» на киевский стол, где он смог удержаться всего семь месяцев («дотчеся стружиемъ злата стола киевскаго»), он только воспользовался случаем — «скакнул» к киевскому столу.

«Повесть временных лет» не говорит об активном стремлении Всеслава стать киевским князем. Стремление это может быть предположено лишь по всей ситуации: для заключенного в поруб Всеслава его согласие возглавить восстание было единственным и при этом блестящим выходом из заключения.

Это-то стремление к киевскому столу и приписано Всеславу автором: «тѣй клюками подпрѣ ся о кони и скочи къ граду Киеву».

Этим выражением «скочи» подчеркнута, что Всеслав незаконно захватил киевский стол (ср.: «бе бо прежде того пискуп Асаф во Угровьску, иже скочи на стол митрополичь, и за то свержен бысть стола своего»; Ипат. лет., под 1223 г.). Однако на каких коней оперся Всеслав, чтобы занять киевский стол? Это не могли быть кони его войска, его дружины или его собственные: Всеслав сидел в порубе, в заключении, и не имел ни коней, ни конного войска, ему не надо было и подступать к Киеву с конями — он был в Киеве. Ответ на этот вопрос дает «Повесть временных лет»: Всеслав пришел к киевскому княжению в результате восстания киевлян, потребовавших у Изяслава коней и оружия: «Дай... княже, оружие и кони». Этим-то требованием киевлян дать коней и воспользовался Всеслав. Благодаря ему он оказался на киевском столе.

Вот как излагает те же события Б. Д. Греков: «Вече хотело создать новую армию из той части населения, которая не имела ни оружия, ни коней, т. е. из массы городского и сельского простого люда. Изяслав отказался исполнить требование веча, и это послужило поводом к восстанию народных масс в Киеве... Освобожденный Всеслав стал киевским князем по

воле веча»¹. Несомненно, что Всеслав дал киевлянам и оружие, и коней. Они были в распоряжении Изяслава, иначе народ и не стал бы их требовать у князя, но Изяслав боялся выдать их киевской «чади», опасаясь восстания. Придя к власти, Всеслав не мог не удовлетворить этих требований киевлян. Следовательно, выражение «подперъ ся о кони» следует понимать так же, как «подперъ горы угорскыи своими желѣзными плъки» или «ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!». Всеслав подперся конями так же, как Всеволод стреляет живыми шерещирами и Изяслав Василькович «звонит» своими «острыми мечи», мечами своей дружины, о «шеломы литовьскыя». Отсюда ясно, что и «подперся клюками» означает «подперся хитростями», «коварством», «своею догадливостью» (кстати сказать, из всех предположенных комментаторами значений слова «клюка» только это — «хитрость» — и зарегистрировано памятниками древней русской письменности).

Нам нет смысла углубляться в детали и выяснять, почему вопрос о конях стоял так остро в 1068 г. Для нас важно лишь то, что Всеслав пришел к власти, дав киевлянам оружие и коней. Следовательно, Всеславу приписана в «Слове» активная роль в своем освобождении. В «Повести временных лет» освобождение Всеслава объясняется не «клюками» Всеслава, а его благочестием и силою креста: «Се же Бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я ѿ [его]; тем же наведе Бог поганья, сего же яве избави крест честный. В день бо Въздвиженья Всеслав, вздохнув, рече: „О кресте честный! понеже к тебе веровах, избави мя от рва сего“. Бог же показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не преступають честнаго креста, целовавше его; аще ли преступить кто, то и zde приметъ казнь и на придущемъ веце казнь вечную», и т. д. Автор «Слова» держится лишь фактической

¹ Греков Б. Д. Киевская Русь. М.; Л., 1944. С. 288.

стороны «Повести», но не ее истолкований. Он снимает здесь, как и в других местах, религиозные истолкования «Повести». Следующая затем фраза «Слова» также непонятна без текста «Повести временных лет»: «скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мгыль». Прежде всего неясно, от кого — «отъ нихъ»? В предшествующей фразе речь шла о Киеве и о киевском столе¹, но не о людях. Однако о людях шла речь в «Повести временных лет»: «Поиде Изяслав с Болеславом на Всеслава; Всеслав же поиде противу. И приде Белугороду Всеслав, и бывши ноши, утаивъся кыян бежа из Белагорода Полотьску». Следовательно, «они» — это «кияне» «Повести временных лет». Так же точно «синяя мгла» — это мгла ночи, а не «синее облако», как предполагали некоторые комментаторы. «Слово» в своей фактической стороне совпадает здесь с «Повестью», но поэтически по-иному осмысляет исторические факты: Всеслав «лютым зверем» ночью бежит от киевлян из Белгорода, скрывшись от них в «синей мгле» — конечно, ночи.

Вторично сравнивает автор «Слова» бегство Всеслава с бегством зверя: «скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ».

Всеславу действительно пришлось бежать из Новгорода — «съ Дудутокъ» (согласно Н. М. Карамзину — монастырь под Новгородом), но о бегстве этом именно к Немиге нет сведений в «Повести временных лет». Нет в «Повести временных лет» и сведений о Дудутках: здесь, возможно, сказалось непосредственное, или «устное», знакомство автора «Слова» с топографией Новгорода.

Быстрота передвижения Всеслава, его «неприкаянность» — черты его реальной биографии. Вот что пишет

¹ Вряд ли автор «Слова» настолько различал и ставил в один ряд Киев и киевский стол, что мог упомянуть именно о них в словах «отъ нихъ», слишком неточно соединенных для этого в целом изумительно точного в выборе выражений произведения.

о нем В. В. Мавродин: «Надо отметить, что Всеслав действительно колесил по всей Руси, с боем отстаивая свои права, отбиваясь от нападавших, стремясь захватить города и волости, отбить свою „отчину“. Бегство, „порубы“, кратковременный успех в Киеве, когда восстание выносит его на гребень волны, снова бегство, неудачи и т. п. — вот жизненный путь Всеслава, которого автор „Слова о полку Игореве“ сравнивает с не находящим себе места и покоя рыскающим волком. За образным выражением, мифической оболочкой скрывается реальное, конкретное содержание, подлинная жизнь Всеслава»¹. Есть и еще одно свидетельство реальной быстроты передвижений Всеслава. Мономах говорит в своем «Починении», что он гнался за Всеславом (в 1078 г.) со своими черниговцами «о двою коню» (то есть с поводными конями), но тот оказался еще быстрее: Мономах его не нагнал.

На Немиге Всеслав потерпел поражение, и это поражение было действительно ужасным: «И совокупшася обои на Немизе, месяца марта в 3 день; и бяше снег велик, и поидоша противу себе. И бысть сеча зла, и мнози падоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежа».

Весь дальнейший текст «Слова» о Всеславе представляет собою размышление о его злосчастной судьбе. Всеслав изображен здесь и с осуждением, и с теплотой лирического чувства: неприкаянный князь, мечущийся как затравленный зверь, хитрый, «вещий», но несчастный неудачник: перед нами исключительно яркий образ князя-вотчинника, князя периода феодальной раздробленности Руси.

«Всеслав князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше (то есть властвовал над судьбой других людей, даже князей. — Д. Л.), а самъ въ ночь вълкомъ рыскаше (не зная пристанища; как в 1068 г., когда он ночью

¹ Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940. С. 167.

бежал из Белгорода.— Д. Л.): изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влькомъ путь прерыскаше. Тому (то есть для Всеслава.— Д. Л.) въ Полотьскѣ позвониша заутреннюю рано у святаго Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ (в заключении.— Д. Л.) звонъ слыша. Аще и вѣща душа въ дрѣвѣ тѣлѣ (хоть и „вещая“ — колдовская душа была у него в храбром теле.— Д. Л.), нъ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и прѣвое пригѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути“».

Во всей этой характеристике Всеслава только одна деталь заставляет искать какого-то иного источника, кроме «Повести временных лет»: это упоминание о пребывании Всеслава в Тмуторокани. «Повесть временных лет» молчит об этом, такие сведения могли быть как раз в песнях Бояна, воспевшего ряд тмутороканских князей: Мстислава Владимировича, Романа Святославича — сына Святослава Ярославича Тмутороканского.

Однако хотя в своей фактической основе сведения о Всеславе в целом совпадают с «Повестью временных лет», но общий, я бы сказал нравственный, смысл характеристики этого беспокойного князя в «Повести временных лет» отсутствует в «Слове». Религиозное объяснение освобождения Всеслава из «поруба» заменено в «Слове» другим, в котором Всеславу приписана активная роль.

Откуда все это взялось в «Слове»? Можно думать, что характеристика Всеслава и всей его деятельности подсказана автору «Слова» Бояном: она совпадает в своей общей оценке с той «припевкой», которую сказал Боян о Всеславе и которая тут же приведена в «Слове» как заключительная сентенция: «Тому вѣщей Боянъ и прѣвое пригѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути“».

Итак, Всеслав — зачинатель усобиц Ярославичей и

полоцких князей (согласно с летописью, именно по поводу Всеслава летописец помещает под 1068 г. большое нравоучение об усобицах), он скор на кровопролитие, это князь-кудесник (согласно с летописью — «носит язвено», «родился от волхования», гиперболически быстро передвигается), он неудачник (постоянно спасается бегством, однажды бежит ночью).

Вся эта характеристика Всеслава сходна в «Слове о полку Игореве» и в «Повести временных лет».

Остается только один вопрос, что означает в «Слове» упоминание того, что этот князь-кудесник, князь-неудачник, действует «на седьмомъ вѣцѣ Трояни»?

Еще раз «века Трояна» упоминаются в «Слове» в контексте своеобразной периодизации русской истории, даваемой автором «Слова». Эта периодизация представляет собою только плод поэтического обобщения автора «Слова», в ней нет четких и логических, и хронологических рубежей, больше того — она брошена автором «Слова», весьма возможно, случайно, попутно, и оставлена им во всей ее поэтической незавершенности. Однако она отражает непосредственные и живые впечатления автора от русской истории. Ее ценность, может быть, как раз и состоит в той непосредственности, с которой она высказана. «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олгови, Ольга Святъславличя...» — эту фразу начинают в «Слове» размышления по поводу прошлого Руси, навеянные поражением Игоря. Поражение Игоря осмысливается автором «Слова» в исторической перспективе, как непосредственное продолжение и следствие времени «полков» (междоусобных походов) Олега Святославича, которым предшествовали два других периода: «вечи Трояни» и «лета Ярославля».

Под «летами Ярославлими», без сомнения, автор «Слова» имеет в виду годы княжения Ярослава Мудрого, а может быть, также и годы княжения его сыновей Ярославичей. Во всяком случае, в конце «Слова» автор называет Бояна (а может быть, и некоего «Ходына»)

песнотворцем «старого времени Ярослава» и «хотью» (любимцем) Олега Святославича, по всем же другим признакам Боян жил во времена сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Следовательно, «время Ярослава» захватывало и годы княжения его непосредственных потомков — продолжателей его дела.

Что же за период следует видеть в определении автора «Слова» «въчи (то есть века) Трояни» и кто такой этот Троян, чьим именем определяются какие-то века русской истории, предшествующие векам Ярослава Мудрого? Предположений о том, кто такой этот Троян, было в исследовательской литературе немало. Исследователи исходили при этом главным образом из попыток разгадать этимологически происхождение слова «Троян» и этим путем объясняли два-три места в «Слове», оставляя без удовлетворительного объяснения остальные. Между тем, чтобы разгадать, что такое этот «Троян» «Слова», необходимо учесть все те оттенки значения, какие имеет слово «Троян» во всех случаях его употребления в «Слове».

Слово «Троян» употреблено в «Слове о полку Игореве» четыре раза: первый раз там, где говорится о поэтическом вдохновении Бояна («рища въ тропу Трояню» наряду с «скача, славлю, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба пола сего времени»); второй раз (в разбираемом нами случае) — для обозначения целого периода русской истории, предшествовавшего годам Ярослава («были въчи Трояни»); третий раз для обозначения всей русской земли в целом: «въстала обида въ силахъ Дажьдбожа внука (в русских войсках.— Д. Л.), вступила дѣвою на землю Трояню», четвертый раз опять-таки для обозначения какого-то периода времени, когда действовал князь-кудесник Всеслав «на седьмомъ (по-видимому, на последнем.— Д. Л.) вѣцѣ Трояни». Во всех этих значениях слово Троян может быть удовлетворительно объяснено только в том случае, если мы допустим, что под Трояном следует разуметь какое-то русское языческое божество.

Троян, как древнерусский бог, в памятниках письменности XII в. зарегистрирован в «Хождении Богородицы по мукам» в списке XII в., изд. И. И. Срезневского: «Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша» или: «И да быша разумели многии человеци, и в прельсть велику не внидутъ, мняще богы многы: Перуна, и Хорса, Дья и Трояна»¹.

В самом деле, что означает в свете этого понимания Трояна выражение «Слова» «рища въ тропу Трояню»? Вряд ли эту «тропу» следует искать в каких-то конкретных, географически точно определяемых тропах, дорогах, валах или памятниках зодчества. Поэтическая манера Бояна последовательно описана в «Слове» абстрактными, отвлеченными чертами: Боян скачет по воображаемому дереву, летает умом под облаками (следовательно, не по реальным облакам), он растекается мыслию по дереву (следовательно — опять-таки по воображаемому дереву), серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Он рыщет, следовательно, не по каким-то конкретным путям, а по путям божественным: ведь Боян — внук бога Велеса, и не потому только, очевидно, что Велес — «покровитель поэзии», а потому, что сам Боян — «вещий», то есть кудесник, имеет отношение к богам.

Так же точно Русская земля могла быть названа землей Трояна только в том случае, если Троян был русским божеством. Именно в этом же смысле русский народ называется в «Слове» «Дажьбожим внуком».

Вот почему и несколько веков русской истории, предшествовавших времени Ярослава, веков языческих, дохристианских, названы веками Трояна — веками языческой Руси, а годы Всеслава Полоцкого — последнего «вещего» князя, князя-оборотня, названы «седьмым (то есть последним) веком Трояна». Князь-кудесник и неудачник действует «напоследок языческих времен», когда

¹ Срезневский И. И. Древние памятники русского языка и письма // Изв. ОРЯС. Т. X [СПб.], 1861—1864. С. 551—578.

сила язычества иссякла. Он представитель доживающего язычества (значение «седьмого» как последнего определяется средневековыми представлениями о числе семь: семь дней творения, семь тысяч лет существования мира, семь дней недели, семь человеческих возрастов и т. д.).

Итак, расшифровать поэтическую периодизацию русской истории в «Слове» («были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярослава, были плѣци Олговы») следует так: были языческие времена, времена бога Трояна; затем наступило Ярославово время (годы княжения Ярослава Мудрого и, возможно, его наследников, Ярославичей); наконец настали междоусобия Олега Святославича. Это периодизация не логическая, а поэтическая. Перед нами не четко отграниченные хронологические пределы, а поэтические образы целых периодов; времена Трояна вторгаются в годы Ярославовы; Всеслав Полоцкий действует напоследок языческих времен, следовательно, это даже не периоды, это обобщение крупных исторических явлений — древнерусского язычества, единства Руси в христианской державе Ярослава и княжеских усобиц, — но мыслимых в приблизительной хронологической последовательности. Вот почему не нашлось в этой поэтической периодизации места и для княжения Владимира «старого», принадлежащего двум периодам — дохристианскому и христианскому.

Почему же, однако, по представлениям автора «Слова», Всеслав Полоцкий действует «напоследок языческих времен»? Какая связь между Всеславом и древнерусским язычеством?

Здесь дело, конечно, не только в том, что Всеслав Полоцкий, согласно летописи, родился «от волхвования», всю жизнь носил на главе «язвено» и, согласно «Слову», рыскал волком, — иными словами, был причастен чародейству (С. М. Соловьев назвал его «князем-чародеем»). Одной личной причастности чародейству было бы, пожалуй, недостаточно, чтобы утверждать историческую связь Всеслава Полоцкого с эпохой язычества.

Дело в ином: Всеслав Полоцкий действует в обста-

новке восстаний смердов, поднявшихся в Киеве, в Новгороде, на Белоозере, — восстаний, сомкнувшихся с движением волхвов, с реакцией древнерусского язычества. Всеслав воспользовался этими восстаниями и этой реакцией язычества в своих целях. Восстания эти не следует рассматривать как крестьянские движения в чистом виде. Это были столкновения двух укладов — дофеодального, пронизанного переживаниями родового строя, тесно сросшегося с древнерусским язычеством, и феодального.

Всеслав действовал «напоследок языческих времен», в обстановке реакции древнерусского язычества и старого, дофеодального уклада. Это определение, данное автором «Слова», поражает нас своею историческою точностью.

Связь Всеслава Полоцкого с движением смердов и с реакцией язычества выявлена в работе Н. Н. Воронина «Восстание смердов в XI в.»¹. Напомним те из наблюдений этой работы, которые кажутся нам убедительными.

Полоцкая земля, по сравнению с Киевом, была более отсталой, с более прочно сохранившимся язычеством. Полоцкие князья («Рогволожи внуки») принадлежали к местной знати и дорожили своими местными связями². Сам Всеслав никогда не пытался противопоставить себя вечу, и в этом «преимущественно, кажется, и состояла особенная сила Всеслава, несмотря на многие неудачи и несчастья»³.

¹ Исторический журнал, 1940, № 2.

² Данилевич В. Очерк истории Полоцкой земли до конца XVI ст. // Киевские университетские известия. Т. 61. С. 65, 80; Леонардов Д. С. Князь Всеслав Полоцкий и его время // Полоцко-Витебск. старина. Витебск, 1913, вып. 3. С. 127—133; Пассек В. Княжеская и докняжеская Русь // ЧОИДР. Т. III. М., 1870. С. 47—48; Алексеев Л. В. Полоцкая земля. М., 1966.

³ Беляев И. Д. Рассказы из Русской истории. М., 1872. Кн. IV. История Полотска. С. 315—316.

Его борьба против Новгорода имеет антицерковный характер. Он грабит в Новгороде Софию и опирается в борьбе против Новгорода на население его периферии — «вожан»¹.

Восстание киевлян 1068 г., благодаря которому Всеслав захватил в Киеве власть, также было отчасти связано с активизацией язычества.

Еще А. А. Шахматов обратил внимание² на то, что первый из собранных под 1071 г. рассказов о волхвах на самом деле относится к 1068 г. или к какому-то из лет перед тем (к 1064 г.). Волхв угрожал «преступанием земель». Об этом самом «преступании земель» говорило посольство киевского веча к Святославу и Всеволоду: «...мы же зло створили есмы, князя своего прогнавши, и се ведеть на ны землю Лядскую, а поидете в град отца своего. Аще ли не хочета, то нам неволя зажегши город свой и ступити в Грецкую землю».

Итак, Всеслав в самом деле действует «напоследок языческих времен». Здесь, как и во многих других местах, «Слово» поражает точностью своих исторических упоминаний.

Если характеристика Всеслава дана в «Слове» в свете несчастной судьбы его и его потомства «Всеславичей» («уже понизите стязи свои», то есть признайте себя побежденными в междоусобных битвах; «вонзите свои мечи верезени») и смягчена поэтом чувством жалости, то характеристика другого князя-крамольника — Олега «Гориславича» — дана по преимуществу в освещении последствий его усобиц для всего русского народа и поэтому вызывает меньше авторского сочувствия. Характеризуется даже не он сам как личность, а его деятельность и последствия этой деятельности. Его «усобицы» рассматриваются как целая эпоха в жизни русского народа: «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плъци Олговы, Ольга Святъславлича».

¹ Шахматов А. А. Разыскания... С. 628.

² Там же. С. 457.

Олега автор «Слова о полку Игореве» вспоминает, однако, не только потому, что он был родоначальником черниговских Ольговичей. Именно он, Олег, положил начало сложному узлу усобиц, связанных с вотчинным правом Древней Руси.

Вместе с тем, половецкие симпатии Олега положили начало специфической половецкой политике Ольговичей¹.

Вся характеристика разрушительной деятельности Олега построена на противопоставлении ее созидательному труду земледельцев и ремесленников. Этот мотив присутствует и в характеристике Всеслава Полоцкого: там описание битвы на Немиге все основано на противопоставлении ее жатве: «На Немизѣ снопы стелють головами, молотять чеши харалужными, на тоуѣ животь кладуть, вѣють душу отъ тѣла». Тот же самый образ созидательного труда, противопоставленного бессмысленности и пагубности усобиц, доминирует и в характеристике Олега: «Олеги мечемь крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше», «тогда при Олзѣ Гориславичи сѣяшеться и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука», и, наконец, поразительный по своей художественной выразительности образ: «Тогда (то есть при Олеге «Гориславиче». — Д. Л.) по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче...» Именно этот образ мирно пахущего пахаря, заботе о котором должны быть посвящены усилия князей, ради которого они должны сражаться с половцами, применен в «Повести временных лет» для аналогичного упрека корыстолюбивым князьям и при этом в аналогичной исторической обстановке. «Оже то начнетъ орати смерд, — говорил главный противник Олега Владимир Мономах в 1103 г., призывая к объединенному походу на половцев, — и приехав половчин ударить ѿ (его) стрелою, а лошадь его поиметь, а в

¹ Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. С. 192.

село его ехав иметь жену его, и дети его, и все его именье».

Автор «Слова о полку Игореве» считал дело Мономаха неудавшимся по вине Олега, что он и отметил, избрав для этого образ, примененный самим Мономахом, чем указал на то, что надежды Мономаха обереечь мирный труд ратая не сбылись.

Главным объектом для показа безрассудной деятельности Олега сделана битва на Нежатиной Ниве 1078 г. Эта битва сопоставлена с битвой Игоря («съ тоя же Каялы...»). Автор говорит о жертвах этой битвы: Борисе Вячеславиче и Изяславе Ярославиче. Впечатление от смерти этих князей усилено погребальными образами: Борису Вячеславичу «слава... зелену паполому (то есть зеленое погребальное покрывало — траву. — Д. Л.) постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Изяслава же Ярославича его сын Святополк приказывает отвезти к Софии Киевской «между угорьскими иноходьци».

Малозначительный князь Борис Вячеславич упомянут не потому, что он «защищал черниговские интересы», как думает А. В. Соловьев¹, а потому, что гибель его в битве на Нежатиной Ниве, наряду со смертью его противника Изяслава, ярко иллюстрировала мысль автора о бессмысленности междоусобных столкновений: обе стороны понесли жертвы в битве на Нежатиной Ниве; об обеих этих жертвах автор «Слова» говорит с одинаковым сожалением, не отдавая предпочтения ни черниговской, ни киевской стороне.

Здесь выражена та же мысль, о которой мы уже говорили выше, там, где разбирали рассказ «Слова» о борьбе Ярославичей и Всеславичей: в междоусобных битвах всегда терпят поражение обе стороны.

Наконец, нельзя не остановиться на одном месте «Слова»: «Се бо готьскыя красныя дѣквы...».

Мысль о мести за хана Шарукана могла еще жить

¹ Соловьев А. В. Политический крутозор автора «Слова о полку Игореве». С. 75.

в надеждах половцев в 1185 г. Это доказывается следующим местом Ипатьевской летописи, под 1185 г. После поражения Игоря Святославича хан Кончак говорит хану Гзе: «Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братиа наша и великий князь нашъ Боняк». Мечь за Боняка, о которой говорит Кончак, это и есть мечь за Шарукана, так как Боняк и Шарукан потерпели поражение в одной и той же битве 1106 г.: «том же лете прииде Боняк и Шарукань старый и ини князи мнози, и стаща около Лубна. Святополк же, и Володимер, и Олег, Святослав, Мьстислав, Вячьслав, Ярополк, идоша на половце к Лубну; в 6 час дне бродишася черес Сулу и кликоша (в Лавр. лет. — «кликнуша». — Д. Л.) на не. Половци же вжасошася от страха, не възмогоша и стяга поставити, но побегоша хватаячи конии, а друзии пеши побегоша; наши же начаша сеци я, а другыя руками имати. И гнаша я до Хорола; убиша же Тааза Бонякова брата, а угре яша и братию его (в Лавр. лет. — «а Сугра яша и брата его». — Д. Л.), а Шарукань одва утече» (Ипат. лет., под 1106 г.).

Почему же, однако, готы, половцы (и их хан Кончак) лелеют мысль о мести именно за Шарукана? Ведь не один Шарукан терпел поражения от русских?

Мечь за Шарукана, которую лелеют «на брезѣ синему морю» готские красные девы, упомянута в «Слове» отнюдь не случайно. Шарукан был дедом хана Кончака. Мечь за деда, как и слава дедовская, была естественной в представлениях того времени. Шарукан потерпел жестокое поражение от Владимира Мономаха. Его сына Отрока Владимир Мономах загнал на Кавказ за Железные Ворота. Внук Шарукана и сын Отрока — хан Кончак — впервые смог отомстить за бесславие своего деда и своего отца.

Добиваясь мести за своего отца и деда, Кончак стремился действовать не против черниговских князей, а против Киева. После разгрома войск Игоря Святославича на Каяле, когда Гза (Кза) уговаривал Кончака идти на северские княжества (см. цитированное место

Ипатьевской летописи), Кончак отказался, направляясь к Киеву и Переяславлю. Вот чем объясняется и выражение «Слова» о том, что готские девы «лелѣють мечь Шароканю». Поражение Игоря еще не было мезтью за Шарукана. Это поражение только открывало ворота на Русскую землю, создавало возможность движения Кончака на Переяславль и Киев. Вот почему только после поражения Игоря хан начинает «лелеять» мечь за своего деда. Направление усилий Кончака именно против Переяславля и Киева неоднократно выражалось и в прошлом. В 1184 г. Кончак Отрокович делает попытку заключить союз с Ярославом Всеволодовичем, чтобы идти на Киев. Этот союз не состоялся благодаря энергичному вмешательству Святослава. Таково же направление его походов 1174 и 1179 гг.

Знакомство русских с историческими воспоминаниями половцев подтверждается летописной статьей 1200 г. Ипатьевской летописи, где говорится на основании этих половецких песен и о хане Отроке — сыне этого самого Шарукана, и о сыне Отрока — хане Кончаке — противнике Игоря.

* * *

Итак, автор «Слова о полку Игореве» в своих исторических сведениях пользуется разнообразными источниками: он пользуется «Повестью временных лет» — в редакции, близкой новгородским летописям, он пользуется дошедшими до него песнями Бояна — певца второй половины XI в., любимца Олега Святославича, воспевавшего в своих песнях и своих современников (Романа Святославича, умершего в 1078, Всеслава Полоцкого, умершего в 1101 г.), и князей прошлого (Ярослава Мудрого и Мстислава Владимировича). Он пользуется, наконец, историческими воспоминаниями врагов Руси — половцев. Возможно, что автор «Слова» привлекал и еще какие-то устные источники. Но в использовании всех этих источников автор «Слова» проявил большую самостоятель-

ность. В отличие от «Повести», он не констатирует событий, а осмысляет их, размышляет над ними, оценивает их и дает характеристики князьям, исходя при этом из своих политических и нравственных представлений. Он опускает религиозное осмысление событий (в объяснении смерти Бориса Вячеславича или освобождении из поруба Всеслава Полоцкого). Он делает выводы из своих характеристик — о бесплодности направленных на междоусобную борьбу усилий князей. События прошлого привлечены им для объяснения событий настоящего. Характеристика Олега дана им для характеристики современных ему Ольговичей; характеристика Всеслава — для характеристики Всеславичей. В этом сказались средневековые представления о родовой преемственности политики русских князей, а может быть, и реальные стремления русских князей вести свою политику в пределах своей родовой линии, наследовать «путь» отцов и дедов.

Подытоживая характеристику обращения автора «Слова о полку Игореве» к историческому прошлому Руси, отметим прежде всего следующее. Автор «Слова о полку Игореве» не историк и не летописец, он не стремится хотя бы в какой-либо мере дать представление о русской истории в целом. Он предполагает знание русской истории в самом читателе. И вместе с тем его отношение к событиям современности в высшей степени исторично. События похода Игоря он воспринимает в глубокой исторической перспективе. Современная ему Русь не отделена от русской истории. Он не ищет причин усобиц в прошлом, но он воспринимает эти усобицы как непосредственное продолжение усобиц Все-слава и Олега. Ольговичи для него прежде всего потомки Олега «Гориславича». Всеслав Полоцкий для автора «Слова» связан с предшествующим языческим временем; он — родоначальник современных автору беспокойных Всеславичей, определивший их политику. Автор «Слова» поэтически выделяет в русской истории наиболее лирические эпизоды и поэтически же обобщает целые исторические периоды. Он настолько трезвый и про-

никновенный художник, что ясно представляет даже то, чему он не был свидетелем, и поэтому воображает, как восприняли современные ему события готы. Хотя поэт и преобладает в авторе «Слова» над историком, но его поэтическое миропонимание исторично. Его восприятие современных ему событий обрамлено историей нескольких столетий.

Совпадает ли отношение автора «Слова о полку Игореве» к русской истории с отношением к ней в фольклоре? Ответу на этот вопрос мешает неопределенность самого термина «фольклор» для XI—XII вв. Но если принять за некую условную «мерку» фольклора упоминаемого в «Слове» песнотворца Бояна, то мы легко убедимся в том, что автор «Слова» стоит значительно выше Бояна в понимании исторического смысла событий русской истории.

Боян принадлежит к числу тех «витий»-песнотворцев, о которых говорит в своем «Слове на собор святых отец» Кирилл Туровский. Боян «воспевает» князей, он сочиняет им «славы» — «старому Ярославу, храброму Мстиславу... красному Романови Святъславличю». Струны его «сами (собой) княземъ славу рокотаху». В воспроизведении автора «Слова» эти песни поражают своею бравадностью: «Не буря соколы занесе чресь поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому»; «Комони ржуть за Сулою — звенить слава в Киевѣ; трубы трубят въ Новѣградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ!»

Очевидно, Боян и не был подлинно народным поэтом. По-видимому, это был поэт придворный¹. В отличие от Бояна, автор «Слова» не только воздает хвалы князьям. Он взвешивает и расценивает их деятельность не с точки зрения их личных качеств (удаль, храбрость и т. д.), а с точки зрения оценки всей их деятельности для общенародного блага.

¹ Эта точка зрения высказана И. У. Будовницем: Идейное содержание «Слова о полку Игореве» // Изв. АН СССР. Серия истории и философии. 1950. № 2. С. 154—156.

Замечательно, что, в отличие от слишком прямолинейного деления летописцем деятелей русской истории на добрых и злых, автор «Слова» воспринимает их с гораздо большою сложностью; он не только осуждает Всеслава Полоцкого, но и опечален его судьбой. Таково же отношение автора и к своим современникам — к Игорю Святославичу. Было ли отношение автора «Слова» к своим героям таким же, как и в фольклоре, сказать трудно. Во всяком случае, оно сложнее того отношения, которое представлено и Бояном, и летописью. Но вот что в авторе «Слова», во всяком случае, было выше, чем в историческом эпосе его времени: для него русская история обладает периодами, он сознательно делит ее на эпохи, перед ним ясная историческая перспектива. Его исторические представления об усобицах не могли сложиться на основе фольклора. Фольклор, исторический эпос, игнорирует усобицы. Эпос рисует героические картины борьбы с внешними врагами Руси: так он отразился и в «Повести временных лет», так он дошел до нас и в современных нам былинах. Но ни тут, ни там нет изображения усобиц: в «Повести» усобицы никогда не описываются на основе фольклорных данных; в современном же эпосе полоса усобиц не отразилась. Эта особенность русского эпоса была четко отмечена Н. Г. Чернышевским: «...Сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями, если только были со времени Ярослава какие-нибудь провинциальные стремления... распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между князьями... но не следствием стремления самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным распоряжениям князей»¹.

¹ Чернышевский Н. Г. Рецензия на книгу «Областные учреждения России в XVII в. Соч. Б. Чичерина. М., 1856» / Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1947. С. 570.

Какой художественный и идейный смысл имеют в «Слове» упоминания событий прошлого?

Рассматривая каждое явление современности в исторической перспективе, автор «Слова» тем самым обобщает его. Историзм — это одна из форм художественного обобщения в древней русской литературе. Каждое отдельное явление действительности представляет собою для автора «Слова» часть исторической действительности. Перед нами «обобщение жизни в отдельном ее явлении», но обобщение, типичное для XII в., а не для XX в.

Автора «Слова» интересует то, что выходит за пределы того или иного конкретного жизненного факта. Изображенные в «Слове» события перерастают те непосредственные факты, которые ему приходилось наблюдать эмпирически.

Упоминаемые автором «Слова» события русской истории все полны ассоциаций с событиями, современными автору. Их автор вспоминает не случайно. Они составляют ту историческую атмосферу, в которой действуют современные автору князья, в которой рождаются энергичные сопоставления прошлого с настоящим, сильные исторические образы, которые сгущают атмосферу историчности, так сильно ощущаемую в «Слове».

В первые годы открытия и изучения «Слова» весь этот смысл исторических упоминаний «Слова» был неясен; только теперь, когда историческое прошлое получает все более и более ясное освещение, становятся понятными не только отдельные упоминания «Слова», но даже отдельные выражения. Каждое слово в «Слове о полку Игореве» весомо, полнозначно, имеет глубокий исторический смысл, каждое его упоминание, каждый факт приведен не в поэтической беспорядочности, а со строгим выбором и с большой лаконичностью. Исторический комментарий к «Слову», раскрытие его исторических параллелей, сопоставлений, исторического значения тех или иных выражений и мыслей автора «Слова» открывает в «Слове» все большие и большие примеры

поэтической точности и исторической содержательности. Точность его исторических и политических указаний — это одна из важных особенностей поэтики «Слова». Автор «Слова», воссоздавая прошлое или обращаясь к настоящему, не домысливает его, а воспроизводит путем отбора реальных деталей. Его поэтическое воображение всегда имеет реальную основу, опирается на конкретные детали. Он может гиперболизировать ту или иную черту в своем герое, но не придумать ее. Поэтическое видение его по-своему исторично. За его намеками и недомолвками по большей части кроются факты. Поэтому «Слово» представляет драгоценный материал как исторический источник, но еще больший материал дает «Слово» для изучения исторического мышления своей эпохи как памятник истории общественной мысли. В своих обобщениях автор «Слова» не создает новых фактов, не измышляет их — он лишь отбирает такие жизненные факты, по которым лучше всего, с его точки зрения, можно судить об исторических явлениях в целом.

Автор «Слова» не прибегает к вымыслу, как к сознательному приему творчества. Вымысел проникает в его творчество помимо его воли, из народных сказаний и верований. В этом отношении его творчество идет теми же путями, какими оно идет у всякого древнерусского книжника.

Выше мы видели разнообразные исторические источники, которыми пользовался автор «Слова о полку Игореве» в своем творческом осмыслении событий прошлого. Нам предстоит рассмотреть наиболее сложный вопрос исторического мировоззрения автора «Слова»: оценку им событий ему современных. Здесь также были своеобразные источники. Автор «Слова» не мог быть очевидцем всех описанных им фактов своей современности, и нам предстоит рассмотреть, в какой передаче мог он познакомиться с этими фактами.

Феодализм выработал своеобразный кодекс морали — понятия о дружинной и княжеской чести и славе. Война и отчасти охота служили той ареной, на которой

происходило «искание славы и чести». «Показать мужество» свое и тем добыть себе славы, чести, хвалы было основной заботой князя и его дружины. Не уронить свою честь, не упустить своего, не уронить «отчей» и «дедней» славы, не потерять свою отчину и дедину, ревниво оберегать свою дружинную репутацию — все это заслоняло перед князьями в XII—XIII вв. большие государственные темы¹. Под влиянием этих забот выработался кодекс дружинной морали, дружинных правил поведения, перед которыми нередко тема родины отступала на задний план. Этот кодекс норм дружинного поведения выработал в эпоху феодализма свою терминологию: «Взять свою честь и славу» (ср.: «И ту ночь стоявше князи поидоша разно... победивше сильнии полки и взявше свою честь и славу», — Новг. IV лет., под 1216 г.; «а возмем до конца свою славу и честь», — Лавр. лет., под 1186 г.); «не погубить честь» («не погубим чести князя своего», — Ипат. лет., под 1231 г.); «возложить честь» («Глеб же слышав рад бысть, аже на него честь воскладывають», — Ипат. лет. под 1175 г.); «положить честь» («той же приа с любовью и положи на немь честь велику», — Ипат. лет., под 1183 г.); «честить» («яко же и брат твой Изяслав честил Вячеслава», — Ипат. лет., под 1149 г.); «показать мужество свое» («Данил... млад сы показа мужьство свое», — Ипат. лет., под 1213 г.; «яко от Бога мужьство ему показавшу», — Ипат. лет., под 1257 г.; «он же (Роман Брянский. — Д. Л.) бися с ними и победи я, сам же ранен бысть и не мало бо показа мужьство свое», — Ипат. лет., под 1264 г.); «сотворить похвалу» («Мьстислав же великую похвалу створи Данилови, и дары ему дать велики

¹ О древнерусских понятиях «честь» и «слава» имеется следующая работа: Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах Киевского периода // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 198. Труды по знаковым системам, т. 3. Тарту, 1967. С. 100—112. Ю. М. Лотман предлагает строго различать эти понятия. Не вдаваясь здесь в оценку правильности этого разделения и противопоставления, отмечу только, что в данном нашем рассуждении оно нам не нужно.

и конь свой борзый сивый», — Ипат. лет., под 1213 г.); «дать похвалу» («и мужи отни похвалу ему даша велику зане мужьскы створи», — Лавр. лет., под 1149 г.), а с другой стороны: «погубить честь» («Василкови же молвищу ему: „Не погубимъ чести князя своего, яко рать си не можетъ града сего прияти“»; «бе бо мужь крепок и храбор», — Ипат. лет., под 1231 г.); «добыть сорома» («поеди, княже, прочь; аже ли добудем сорома?», — Ипат. лет., под 1149 г.); «взять сором» («а Кондрат поеха восвояси, вземь собе сором велик», — Ипат. лет., под 1287 г.); «возложить сором» и «сложить с себя сором» («Болеслав же рече Володимерови: „Уведайся с нимъ, велик бо сором возложил на тя; а сложи с себе сором свой“», — Ипат. лет., под 1279 г.); «мстить своего сорома» («а яз пойду в половци, мьстив сорома своего», — Ипат. лет., под 1213 г.; ср. также: «приими всю власть его за сором свой», — Ипат. лет., под 1225 г.) и т. д. и т. п.

Можно смело сказать, что вся деятельность русских князей и русских воинов проходила в обстановке общественных и исторических откликов на нее современников и потомков. Князья постоянно считаются с тем, как на их деятельность взглянут современники и потомки, как будут оценены их поступки. Князья стремятся «пореэновать» своим отцам и дедам, «добрые славы добыти», ищут себе «чести и славы».

Существенное значение при этом имеют самые представления о том, что считалось достойным этой «чести и славы». Ищут славы и достойны ее в глазах современников по преимуществу ратники, воины. Славы не ищут и не получают ее лица духовные, представители церкви, но наряду с князьями ее могут получить и рядовые ратники. Так, например, при осаде Судомира татарами во-лынский летописец отмечает подвиг простого воина («не боярин, ни доброго роду, но прост сын человек») и его подвиг называет достойным памяти: «створи дело памяти достойно» (Ипат. лет., под 1261 г.). Там же отмечен подвиг сына боярского Раха, и снова говорится: «створиста

дело достойно памяти» (Ипат. лет., под 1282 г.). О смерти этого Раха и некоего прусина летописец замечает: «сии же умроста мужественем сердцемъ, оставлеша по себе славу последнему веку» (там же).

Молва о подвигах, слава (как известность) облекались в Древней Руси во вполне конкретную форму славы — хвалебной песни. В пении славы выражалось общественное признание. Вот почему киевляне, освободив Всеслава Полоцкого в 1068 г. из поруба и провозгласив его князем, привели на княжеский двор и «прославиша» (Лавр. лет.). В этом пении «славы» выражалось признание его заслуг — может быть, тем более необходимое, что Всеслав был освобожден из заключения и нуждался в гласной реабилитации. Славу поют князьям и по возвращении из победоносных походов. Тогда народ выходил навстречу князьям и пел славу им перед воротами города.

Дружинные представления о чести и славе отчетливо дают себя чувствовать в «Слове о полку Игореве». «Слово» буквально напоено этими понятиями.

Все русские князья, русские воины, города и княжества выступают в «Слове» в ореоле славы или хулы. В ореоле славы «сведомых кѣметей» выступают куряне; их главная забота искать «себе чти, а князю славу». В ореоле славы выступают черниговцы: «тии бо бес щитовъ съ засапожники кликомъ плѣкы побѣждають, звонячи въ прадѣдную славу». Автор «Слова» передает о курянах, черниговцах и других не какой-либо конкретный факт, а как бы народную молву о них, народную славу.

Вот почему иногда автор «Слова» лишь напоминает ту или иную характеристику в форме вопроса, как всем известную: «Не ваю ли вои значеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкають акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?» — говорит автор «Слова» о дружине Рюрика и Давыда Ростиславичей. Мы бы сказали теперь, что это вопрос «риторический»: он лишь напоминает о той славе, которой пользовалась дружина Рюрика и Давыда.

В аспекте народной молвы оценивается и поражение Игоря: «уже снесся хула на хвалу...».

Давая характеристики русским князьям, автор «Слова» вспоминает прежде всего о их славе. Перед нами в «Слове» как бы проходит общественная молва о каждом из русских князей и о их дружинах.

Давая несколько гиперболические отзывы о русских князьях, автор «Слова» делает это, как бы пересказывая молву о них: «Великий княже Всеволоде!.. Ты бо можещи Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!»; «Галичкы Осмомыслѣ Ярославле!.. Грозы твоя по землямъ текутъ, отворяещи Киеву врата, стрѣляещи съ отня злата стола салтъани за землями»; «Ярославли вси внуце и Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ» и т. д.

В этих характеристиках русских князей отчетливо чувствуется и общерусская народная слава (ср.: «грозы твоя по землямъ текутъ» или «уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ»).

Такой же славой обладают и отдельные города (Новгород славен «слагою Ярослава») и земли (им передают свою славу местные дружины; например, Курскому княжеству — «куряне» — «свѣдоми къмети»; Черниговскому — «черниговские были, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольберы», побеждающие кликом без щитов с одними засапожниками своих врагов, «звонячи въ прадѣдную славу», и т. д.).

Автор «Слова» нередко оценивает события с точки зрения той славы, которая распространяется по Руси об этих событиях. Подобно тому, как летописец, на основании той же народной молвы, оценивает исторические события с точки зрения их небывалости (ср. в Ипат. лет., под 1094 г.: «не бе сего слышано во днех первых в земле русской»; ср. в Лавр. лет., под 1203 г.: «взят бысть Кыев Рюриком и Олговичи и всюю Половецьюкою землею и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не

было от крещенья над Киевом. Напасти были и взяты не якоже ныне зло се сстася»), — автор «Слова» пишет о поражении Игоря: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!».

Поисками славы отчасти объясняет автор «Слова» и самый поход Игоря. Собираясь на половцев, Игорь и Всеволод сказали: «Мужаймѣся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ». В ночь перед битвой русичи Игоря перегородили своими черлеными щитами великие поля, «ищучи себѣ чти, а князю славы». Именно так понимает побудительные причины к походу Игоря и Святослав Киевский: «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати». Поисками личной славы объясняют поход Игоря и Всеволода также и бояре Святослава Киевского: «Се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомъ Дону».

Понятия чести и славы звучат в «Слове» и тогда, когда они прямо не упоминаются. Игорь говорит дружине: «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти» или «хощу бо, — рече, — копие приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону». И здесь речь идет, следовательно, о добывании личной славы.

Неоднократно упоминается в «Слове» и дедняя слава — слава родовая, княжеская: Изяслав Василькович «притрепа славу дѣду своему Всеславу», Ярославичи и «все внуки Всеслава» уже «высочисте изъ дѣдней славы»; Всеслав Полоцкий расшиб славу Ярослава — славу новгородскую.

Наконец, в «Слове о полку Игореве» неоднократно упоминается и о пении той самой славы — хвалебной песни, в которой конкретизировалось понятие славы абстрактной. Самый оборот, которым в «Слове» говорится о песнях Бояна («Боян бо вѣщій, аще кому хотяше гѣснь творити»), говорит о том, что песни эти были песнями хвалебными — славами («они же сами княземъ славу рокотаху»), посвященными тому или

иному герою и их подвигам («которые дотечаше, та преди пѣснь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пѣлки касожьскими, красному Романови Святъславличю»).

Здесь понятие славы как известности и славы как хвалебной песни поэтически слиты, но в «Слове» имеются и упоминания пения «слав», в реальности которых нет оснований сомневаться.

При возвращении Игоря из плена ему поют славу «девици» «на Дунай». Сам автор «Слова» заключает свое произведение традиционной славой князьям и дружине: «Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: „Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу“. Здравии князи и дружина, побарая за христьяны на поганья пѣлки! Княземъ слава а дружинѣ! Аминь».

Одним словом, автор «Слова о полку Игореве» воспроизводит современные ему события, оценивает их и дает характеристики князьям — своим современникам — на основании народной молвы, славы.

Только ли на основании «молвы» и «славы» были известны автору «Слова» обстоятельства похода Игоря Святославича? Исследователи неоднократно отмечали близкое знакомство автора «Слова» с походом Игоря и обстоятельствами его бегства. Автор «Слова» как бы видит и слышит события, его зарисовки удивительно конкретны. Поэтому некоторые из исследователей (как, например, Н. В. Шарлемань) считали автора участником похода Игоря и предполагали даже, что он был с ним в плену, а другие (как, например, М. Д. Приселков) считали, что автор «Слова» был близок к Игорю, слышал его рассказы и на основании их создал свое повествование. С уверенностью ответить на вопрос о причинах точной осведомленности автора об обстоятельствах и деталях похода Игоря вряд ли удастся. Мы хотим, однако, обратить внимание на другое: не было ли в распоряжении автора «Слова» каких-то песенных источников о событиях ему современных? Наше пред-

положение строится на следующем наблюдении. Между прозаическим рассказом Ипатьевской летописи о походе Игоря и поэтическим повествованием «Слова», несмотря на все их жанровое отличие, наблюдается много общего в деталях. Детали эти, однако, таковы, что нельзя думать, будто в «Слове» они заимствованы из летописи или в летописи они заимствованы из «Слова». В основе обоих лежит, по-видимому, общий источник. Общность этих деталей не может быть, однако, объяснена и одинаковой осведомленностью в событиях. Сходство лежит в интерпретации явно поэтической. Эти элементы поэтической интерпретации событий похода Игоря присутствуют в прозаическом рассказе Ипатьевской летописи, будучи вкраплены в этот рассказ как инородные тела. И именно в этих поэтических элементах рассказа Ипатьевской летописи замечается близость к «Слову о полку Игореве».

Перечислим вкратце те элементы поэтической интерпретации событий рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря, которые находят себе соответствие в «Слове о полку Игореве».

И в летописи, и в «Слове» отмечено «золотое слово», сказанное Святославом Всеволодовичем Киевским после известия о поражении Игоря. Содержание «слова» Святослава Киевского передано, в общем, сходно. И тут, и там Святослав упрекает Игоря в безрасудстве юности. Очевидно, что «золотое слово» Святослава — не домысел летописца и не выдумка автора «Слова о полку Игореве», а реальный факт. Характерно, однако, другое, — в чем нетрудно заметить общность интерпретации «золотого слова» Святослава: и тут, и там отмечены слезы, которые пролил Святослав, пронося свое «слово». «Тогда великий Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено» («Слово о полку Игореве») — в летописи же Святослав «вельми воздохнув, утер слез своих и рече...»

Но особенно ярко совпадение «Слова» и Ипатьевской летописи в рассказе о разговоре между собой

ханов Кончака и Гзы (Кзы — по летописи). Можно быть уверенным в том, что ни летописец, ни автор «Слова» не были свидетелями этого разговора. Разговор Гзы и Кончака — чисто литературный (или фольклорный) прием оживления действия. Вряд ли летописец или автор «Слова» могли знать о каком-то конкретном разговоре этих двух ханов. Для летописи такие измышления, «литературные» разговоры, вводимые для оживления действия, — чрезвычайная редкость; они обычно переносятся летописцем из фольклора (ср. разговоры Ольги с послами древлян в «Повести временных лет»). По-видимому, диалог Кончака и Гзы также взят в Ипатьевской летописи из фольклора; как и в «Слове», оба хана спорят между собой: «и бысть у них котора, молвяшеть бо Кончакъ: „Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братья наша, и великий князь наш Боняк“; а Кза молвяшеть: „Пойдемъ на Семь, где ся остале жены и дети, готов нам полон собран, емлем же городы без опаса“; и тако разделишася надвое». Не было ли одним из общих источников «Слова» и летописи какое-то фольклорное произведение, где рассказывалось о Гзе и Кончаке и о их споре? Диалог Гзы с Кончаком не мог попасть в летопись из «Слова», ни в «Слово» из летописи: и тут, и там они трактуют разные темы, спор идет о разном, но по характеру своему он очень близок и не имеет ближайших аналогий в киевской летописи XII в.; один как бы является продолжением другого.

Если, действительно, диалог Гзы и Кончака в летописи и в «Слове» навеян каким-то фольклорным произведением, то это бы объяснило одну важную деталь в «Слове»: там говорится о мести за Шарукана. Откуда это стремление половцев отомстить за Шарукана стало известно автору «Слова»? А между тем об этой же мести за Шарукана говорит Кончак Гзе в летописи: «Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братья наша, и великий князь наш Боняк». Мы уже говорили выше, что поражение, о котором говорит здесь Кончак,

имело место в 1106 г. В этом 1106 г. потерпел поражение не только Боняк, но и Шарукан, месть которого «лелеют» красные готские девы на берегу синего моря. В этих словах автора «Слова о полку Игореве» прямое указание на фольклор: готские девы не только «лелеют» месть за Шарукана, но и «поют» время Бусово. Отражение половецких песен о Боняке (деде Кончака) и о хане Отроке (отце Кончака) отчетливо усматривается в летописи под 1097 г.¹, под 1151 г., под 1201 г. Нет ничего удивительного и в том, что особая половецкая песня была сложена и о их потомке — хане Кончаке, при этом тотчас же по совершении событий.

Нельзя не обратить внимания и на другие признаки близости рассказа летописи к рассказу «Слова». И «Слово», и летопись отмечают любовь Игоря к брату своему Всеволоду. И «Слово», и летопись отмечают грусть и смятение в городах после поражения Игоря, дают сходные характеристики Всеволоду. Все эти совпадения отнюдь не случайны. Это совпадения в интерпретации событий, в выборе деталей. Любовь братьев не удивительна в жизни, но только один раз за весь киевский период она отмечена в летописи. Не удивительны и слезы сожаления, «оброненные» старшим киевским князем вместе со словами сожаления по поводу поражения одного из младших киевских князей, но и здесь только один раз они отмечены в летописи за все это, отнюдь не сентиментальное время.

Нет, однако, оснований видеть здесь какие-либо заимствования или влияния одного повествования на другое. Как мне кажется, здесь дело в другом: и летопись, и «Слово» — оба зависят от молвы о событиях, от славы о них. События «устроились» в молве о них и через эту молву отразились и тут, и там. В этой молве отразились,

¹ Приселков М. Д. Летописание Западной Украины и Белоруссии // Учен. зап. ЛГУ. Серия Исторические науки, вып. 7. Л., 1941. С. 10—11.

возможно, и какие-то обрывки фольклора — половецкого или русского. Во всяком случае, сама «молва» была на грани фольклора, как на грани фольклора была и «слава» князей.

Каково, однако, отношение самого автора «Слова» к понятию «слава», «честь», к народной молве?

Отметим прежде всего, что автор «Слова» отнюдь не чуждается этих понятий, они находят сочувствие в его суждениях. Автор «Слова» постоянно апеллирует к славе того или иного князя. Однако это сочувствие автора «Слова» этим понятиям распространяется далеко не на все их стороны. В тех случаях, когда понятие «славы» ограничено узкими рамками феодального отношения к ней, автор «Слова» относится к ней резко отрицательно. Автор «Слова», безусловно, отрицательно оценивает все случаи поисков личной славы. Святослав Киевский, чье «золотое слово» совпадает с мыслями самого автора «Слова» до полной иногда неразличимости, упрекает Игоря и Всеволода именно за то, что они искали славы для себя. «Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлти, а себѣ славы искати». Эти поиски личной княжеской славы противоречат понятию «чести» Святослава и автора «Слова». Вслед за только что приведенными словами Святослав говорит: «Нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». С точки зрения феодальной морали, Игорь и Всеволод отнюдь не нарушили представления о «чести» князей. «Честь» свою они уронили в глазах Святослава и автора «Слова» только потому, что в поисках личной славы они предали интересы Русской земли.

Осуждает автор «Слова» и Бориса Вячеславича за поиски личной славы: «Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе». Это узкое феодальное «искание славы» глубоко чуждо автору «Слова». Однако во всех случаях, где речь идет о «славе» в более широком значении, автор «Слова» сочувственно говорит о ней. Понятия чести и славы перерастают в «Слове» свою феодальную ограниченность. Для автора эти понятия, с их ярко

выраженным сословным оттенком значения, приобретают значение национальное. Честь и слава родины, русского оружия, князя как представителя русской земли волнуют автора «Слова» прежде всего.

Свое мнение автор «Слова» не противопоставляет общественному мнению. Напротив, он постоянно опирается на это общественное мнение. Но это общественное мнение для него выкристаллизовывается в его лучших представителях. Он выделяет в нем наиболее передовые идеи, вкладывает в узко феодальные понятия более широкое содержание. Он пользуется понятиями эпохи, но эти понятия видоизменяет, выделяя в них наиболее общее содержание. Так, например, понятие «обида» узко феодальное здесь, в «Слове», выходит за рамки своей сословной ограниченности. После поражения Игоря «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука». «Силы» — войска (ср. «нача приступати Володимерко с силою своею», Лавр. лет., под 1149 г.). Войска «Дажьбожа внука» — это, несомненно, все русское войско. «Обида» русского войска есть «обида» всей Русской земли. Этот термин употреблен автором вне его обычной сословной, феодальной ограниченности.

Князь Святослав (или автор «Слова») призывает Рюрика и Давыда Ростиславичей вступить в золотое стремя, то есть выступить в поход «за обиду сего времени» — не какого-либо из князей, а обиду общую, обиду этого (нашего) времени. Здесь также термин «обида» выходит за рамки сословной, феодальной ограниченности.

Так же точно не в обычном летописном, а в более широком значении употребляет автор «Слова о полку Игореве» и понятие «хвала»: «уже снесся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю».

Наконец, самое важное из политических понятий XII в. — понятие Русской земли — не ограничивается для автора «Слова» пределами Киевского княжества, как это было типичным для политических представлений

периода феодальной раздробленности¹. Он включает сюда Владимиро-Суздальское княжество и Владимиро-Волыньское, Новгород Великий и Тмуторокань. Последнее особенно интересно: автор «Слова» включает в число русских земель и те, политическая самостоятельность которых была утрачена ко второй половине XII в. Так, например, река Дон, на которой находились кочевья половцев, но где имелись и многочисленные русские поселения, для автора «Слова» — русская река. Дон зовет князя Игоря «на победу». Донец помогает Игорю во время его бегства. Славу Игорю Святославичу по его возвращении в Киев поют девицы «на Дунаи», где действительно имелись русские поселения. Там же слышен и плач Ярославны.

Неясен только один вопрос: включает ли автор «Слова о полку Игореве» Полоцкое княжество в число русских земель. Слова автора из его обращения к Ярославичам и Всеславичам прекратить раздоры: «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганья на землю Рускую, на жизнь Всеславию» могут быть поняты по-разному. Можно понимать «на землю Рускую, на жизнь Всеславию» и как грамматическое сочинение (в таком случае «жизнь Всеславию» не есть Русская земля), и как грамматическое подчинение (в таком случае «жизнь Всеславию» входит в состав Русской земли); по видимому, следует здесь видеть последнее: автор «Слова» ведь противопоставляет полоцких князей не князьям русским, а только Ярославичам; кроме того, автор «Слова» обращается к полоцким князьям с призывом к защите Русской земли наряду со всеми русскими князьями, он обращается с призывом прекратить их «которые» с Ярославичами и т. д. Следовательно, Полоцкая земля для автора «Слова» — земля Русская.

То же представление о Русской земле как о едином

¹ Ср. «иде в Русь архиепископ Нифонт с лучшими мужи» (Новг. I лет., под 1135 г.); «бежащю же Святославу из Новагорода идущю в Русь к брату» (Лавр. лет., под 1141 г.).

большом целом отчетливо дает себя знать и в тех случаях, когда автор говорит об обороне ее границ. Южные враги Руси — половцы — для него главные враги, но не единственные. Защита русских границ воспринимается им как одно целое: он говорит о победах Всеволода Суздальского на Волге, то есть над волжскими болгарами, о войне полоцких князей против литовцев, о «воротах» Галицкой земли на Дунае, против подвластных Византии дунайских стран.

Автор «Слова о полку Игореве» мыслит понятиями XII в., но вскрывает в этих понятиях наиболее передовое содержание.

Идея единства Русской земли слагается им из представлений, свойственных эпохе феодальной раздробленности. Автор «Слова» не отрицает, например, феодальных отношений, но в этих феодальных отношениях он постоянно настаивает на необходимости соблюдения подчиняющихся обязательств феодалов, а не на их правах самостоятельности. Он подчеркивает послушание Игоря и Всеволода по отношению к их «отцу» Святославу и осуждает их за это. Он призывает к феодальной верности киевскому князю Святославу, но не во имя соблюдения феодальных принципов, а во имя интересов всей Русской земли в целом.

Вопреки исторической действительности, слабого киевского князя Святослава Всеволодовича автор «Слова» рисует могущественным и «грозным». На самом деле Святослав «грозным» не был: он владел только Киевом, деля свою власть с Рюриком, обладавшим остальными киевскими городами. Святослав был одним из слабейших князей, когда-либо княживших в Киеве.

Не следует думать, что перед нами обычная придворная лесть. Автор «Слова» выдвигает киевского князя в первые ряды русских князей потому только, что Киев все еще мыслится им как центр Русской земли — если не реальный, то во всяком случае идеальный. Он не видит возможности нового центра Руси на северо-востоке. Киевский князь для автора «Слова» — по-прежнему глава

всех русских князей. Автор «Слова» видит в строгом и безусловном выполнении феодальных обязательств по отношению к слабеющему золотому киевскому столу одно из противоядий против феодальных усобиц, одно из средств сохранения единства Руси. Он наделяет Святослава идеальными свойствами главы русских князей: он «грозный» и «великий». Слово «великий», часто употреблявшееся по отношению к главному из князей, как раз в это время перешло в титул князей владимирских: название «великого князя» присвоил себе Всеволод Большое Гнездо, претендуя на старейшинство среди всех русских князей. Слово же «грозный» и «гроза» очень часто сопутствовало до XVII в. официальному титулованию старейших русских князей, хотя само в титул и не перешло (оно стало только прозвищем, при этом подчеркивающим положительные качества сильной власти, — Ивана III и Ивана IV). Слово «гроза» как синоним силы и могущества княжеской власти часто употреблялось в XIII в. («Демьян же одинако крепляшеся, грозы его (князя. — Д. Л.) не убояся», — Ипат. лет., под 1229 г.; князь Даниил Романович в Орде «живота не чаеть и грозы приходять», — Ипат. лет., под 1250 г.; «тобою есмь... грозен (силен. — Д. Л.) был», — Ипат. лет., под 1287 г.; «горожаном грозу подавая», — Ипат. лет., под 1291 г., и т. д.; ср. в самом «Слове о полку Игореве» о Ярославле Осмомысле: «грозы его по землямъ текутъ»).

Итак, для автора «Слова» «грозный» киевский князь — представление идеальное, а не реальное. При этом, что особенно интересно, для автора «Слова» дороги все притязания русских князей на Киев. Нет сомнений в том, что он считает Святослава, силу которого он гиперболизирует, законным киевским князем. И вместе с тем, игнорируя вотчинное право на Киев Святослава Всеволодовича, он пишет, обращаясь к Всеволоду Большое Гнездо — князю, принадлежавшему ко враждебной Ольговичу Святославу Мономахъей линии русских князей: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?.. Аже бы ты былъ

(в Киеве! — Д. Л.), то была бы чага по ногатъ, а кощей по резантъ». В этом обращении к Всеволоду все неприемлемо для Святослава, и все обличает в авторе «Слова» человека, занимающего свою независимую, а отнюдь не «придворную» позицию: 1) титулование Всеволода «великим князем», 2) признание киевского стола «отним» столом Всеволода и 3) призыв прийти на юг. Каким образом может это совместиться с позицией автора как сторонника Ольговичей? Суть здесь, очевидно, в том, что новая политика Всеволода — отчуждения от южно-русских дел — казалась автору опаснее, чем его вмешательство в борьбу за киевский стол. Всеволод, в отличие от своего отца Юрия Долгорукого, стремился утвердиться на северо-востоке, заменить гегемонию Киева гегемонией Владимира Залесского, отказался от притязаний на Киев, пытаясь из своего Владимира руководить делами Руси. Автору «Слова» эта позиция Всеволода казалась не общерусской, — местной, замкнутой, а потому и опасной.

Аналогичным образом автору «Слова» казалась опасной слишком местная политика Ярослава Галицкого, и он подчеркивает его могущество, его власть над самим Киевом: «отворяеши Киеву врата», — говорит он о Ярославе Галицком. Слова, казалось бы, несовместимые с представлениями о могуществе Святослава Киевского, слова невозможные в устах «придворного поэта» Ольговичей, но простые и понятные для человека, страдающего за Киев как за центр Русской земли, стремящегося привлечь к нему внимание замкнувшихся в местных интересах князей.

Знание глубочайших исторических явлений, происходивших в Галицкой земле и Владимиро-Суздальской, при этом поразительно. От автора «Слова» не ускользнуло то, что стало ясным для позднейших историков. Он усмотрел опасность для единства Руси именно в том, что и владимирские, и галицкие князья перестали интересоваться Киевом как центром Руси.

Однако автор «Слова» не мог еще оторваться от представлений о Киеве как о единственном центре Руси.

Он страстный сторонник идеи единства Руси, но единство это он еще понимает в устоявшихся представлениях XII в. Он уже видит значение сильной княжеской власти, но права первого князя на Руси еще обосновывает необходимостью строгого выполнения права феодального, подчеркивая в нем подчиняющие линии, права сюзерена, а не вассала. Он уже видит и признает силу владими́ро-суздальского князя, но предпочитает его видеть на юге — в Киеве.

Из привычных представлений своего времени автор «Слова» берет те, которые нужны ему как стороннику идеи единства Руси. Выработка совершенно новых политических представлений была делом будущего. Автор «Слова о полку Игореве» мыслит представлениями XII в., вкладывая в эти представления передовое для своего времени содержание.

Те же представления о Киеве как о центре Русской земли пронизывают собою все изложение «Слова». Поразительна, например, точность выбора выражений в характеристике последствий поражения Игоря: «а вьстона бо, братие, Киевъ туюю, а Черниговъ напастями». Черниговская земля действительно подверглась «напастям», реальным несчастьям, Киев же и Киевщина непосредственному разорению не подверглись; «туга» — тоска, печаль — за всю Русскую землю распространялись здесь как в центре Руси; Киев страдает, следовательно, не собственными несчастьями, а несчастьями всей Русской земли.

Роль Киева как центра Русской земли особенно отчетливо выступает в заключительной части «Слова о полку Игореве». Согласно летописи, Игорь по возвращении из плена в Новгород Северский едет в Чернигов, а затем уже из Чернигова отправляется в Киев к Святославу Всеволодовичу. Но «Слово о полку Игореве» не упоминает ни о его пребывании в Новгороде Северском, ни о его пребывании в Чернигове. Игорь — русский князь прежде всего, важно его возвращение в Киев, а не в Новгород Северский. Славу ему поют не

в Новгороде или Путивле, а на Дунае — в отдаленных русских поселениях, отрезанных от остальной Руси половецами, ибо радость по поводу его возвращения общерусская, а не какая-либо местная. Возвращение Игоря встречает отклик во всех русских селениях, даже и тех, которые были заброшены на крайний юго-запад. При этом пение девиц на Дунае достигает именно Киева.

Итак, единство Русской земли мыслится автором «Слова» с центром в Киеве. Это единство возглавляется киевским князем, рисующимся ему в чертах сильного и «грозного» князя.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор «Слова» в разных князьях рисует собирательный образ сильного, могущественного князя — сильного войском («многовоего»), сильного судом («суды рядя до Дуная»), вселяющего страх пограничным с Русью странам («ты бо можещи Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти»; «подперъ горы угорскыи своими желъзными плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота»), распространяющего свою власть на громадную территорию с центром в Киеве («аще бы ты былъ...» на юге.— Д. Л.), а не только в своем уделе, славного в других странах («ту нѣмци и венецици, ту греци и морава поють славу Святъславлю»).

Перед нами образ князя, воплощающего собой идею сильной княжеской власти. Эта идея сильной княжеской власти, с помощью которой должно осуществиться единство Русской земли, только еще рождалась в XII в.

Впоследствии этот же самый образ «грозного» великого князя создает «Слово о погибели Русской земли». Он отразится в «Житии Александра Невского», в «Молении Даниила Заточника» и в других произведениях XIII в. Не будет только стоять за этим образом «грозного» великого князя — Киева как центра Руси. Перемещение центра Руси на северо-восток и падение значения киевского стола станет слишком явным.

Однако автор «Слова» сумел наблюсти идею сильной

княжеской власти в ее жизненном осуществлении на том самом северо-востоке Руси, чьих притязаний стать новым центром Русской земли он еще не хотел признавать.

Сильная княжеская власть едва только начинала возникать, ей еще предстояло развиться в будущем, однако автор «Слова» уже установил ее характерность, уловил в ней зерна будущего.

Конечно, идея сильной княжеской власти не слилась у автора «Слова» с идеей единовластия. Для этого еще не было реальной исторической почвы. Автор «Слова» видит своего сильного и могущественного русского великого князя действующим совместно со всеми остальными князьями, но в подчеркивании подчиняющихся линий феодальной власти нельзя не видеть некоторых намеков на идею единовластия киевского князя.

Таким образом, единство Руси мыслится автором «Слова» не в виде прекраснородушного идеала союзных отношений всех русских князей на основе их доброй воли и не в виде летописной идеи необходимости соблюдения добрых родственных отношений (все князья — «братья», — «единого деда внуки»), и не в виде будущих идей единовластия, а в виде союза русских князей, на основе строгого выполнения феодальных обязательств по отношению к сильному и «грозному» киевскому князю.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор «Слова» исходит из их реальных возможностей, оценивает те их качества, которые позволяют им быть действительно полезными в обороне Руси. И в данном случае автор «Слова» выступает как реальный политик. По существу, в «Слове» предложен целый очерк современного автору политического состояния Руси.

Обратимся к этому очерку и посмотрим, как оценены в «Слове» политические перспективы каждого из упомянутых в нем русских князей.

По существу, самая низкая оценка политических возможностей выпала в «Слове о полку Игореве» на

долю его героя — Игоря Святославича Новгород-Северского.

В образе Игоря Святославича подчеркнуто, что исторические события сильнее, чем его характер. Его поступки обусловлены в большей мере заблуждениями эпохи, чем его личными свойствами. Сам по себе Игорь Святославич не плох и не хорош: скорее даже хорош, чем плох, но его деяния плохи, и это потому, что над ним господствуют предрассудки и заблуждения эпохи. Тем самым на первый план в «Слове» выступает общее и историческое над индивидуальным и временным. Игорь Святославич — сын эпохи. Это князь своего времени: храбрый, мужественный, в известной мере любящий родину, но безрассудный и недалководный, заботящийся о своей чести больше, чем о чести родины.

На примере похода Игоря и его неудачи автор показывает несчастные последствия отсутствия единения. Игорь терпит поражение только потому, что пошел в поход один. Он действует по формуле «мы себе, а ты себе». Слова Святослава Киевского, обращенные к Игорю Святославичу, характеризуют в известной мере и отношение к нему автора «Слова». Святослав говорит, обращаясь к Игорю и Всеволоду: «О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ?.. Нѣ рекосте: „мужаймѣся сами: преднюю славу сами похитимѣ, а заднюю си сами подѣлимѣ!“ А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколь въ мытехъ бываетъ, высоко птицѣ възбиваетъ: не дасть гнѣзда своего въ обиду. Нѣ се зло — княже ми непособие: наниче ся години обратиша».

По существу, весь рассказ в «Слове» о походе Игоря выдержан в этих чертах его характеристики Святославом: безрассудный Игорь идет в поход, не смотря на то, что поход этот с самого начала обречен

на успех. Он идет, несмотря на все неблагоприятные «знамения». Главной, хотя и не единственной движущей силой его при этом является стремление к личной славе. Игорь говорит: «Братие и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои бръзья комони, да позримъ синего Дону», и еще: «Хошу бо, рече, копие приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, русици, хошу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону»¹. Желание личной славы «заступает ему знамение». Ничто не останавливает Игоря на его роковом пути.

Осуждение Игоря явно чувствуется еще в одном месте «Слова о полку Игореве», по другому поводу. Сравнивая битву Игоревых войска и половцев с пиром, автор «Слова» говорит: «... ту кроваваго вина не доста: ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». Автор «Слова» неизменно точен в выборе выражений. Слово «сваты» употреблено им в отношении половцев далеко не случайно². Предводитель половецких сил хан Кончак был действительно «сватом» Игоря. Сын Игоря был помолвлен с дочерью Кончака еще раньше. Свадьба состоялась в плену. Владимир вернулся из плена с «дитятею» и уже по возвращении из плена был венчан по церковному обряду.

Однако половцы были «сватами» русских князей далеко не в одном случае. Олег «Гориславич» был женат на дочери хана Асалуца. Святополк Изяславич Киевский был женат на дочери Тугорхана. Юрий Долгорукий был женат на дочери хана Аепы, внучке хана Осеня. Сын Мономаха Андрей Добрый был женат на дочери Тугорхана; Рюрик Ростиславич — на дочери

¹ Ср. похвальбу Игоря и Всеволода в рассказе Лаврентьевской летописи о походе Игоря: «... сами поидоша о собе рекуше: „мы есмы ци не князи же? поидем, ты же себе хвалы добудем“» (Лавр. лет., под 1186 г.).

² На это обстоятельство обратил мое внимание в частной беседе И. У. Будовиц.

хана Беглюка. Внучка хана Кончака была выдана замуж за Ярослава Всеволодовича.

Как видим, обращаясь с призывом к русским князьям, направляя им в первую очередь свой призыв встать на защиту Руси, автор «Слова о полку Игореве» имел право назвать с горьким чувством врагов Руси — половцев — «сватами».

Осуждение женитьб на половчанках проглядывает еще в одном месте «Слова»: в числе жертв похода 1185 г. киевские бояре называют Святославу Всеволодовичу только «два солнца» — Игоря и Всеволода — «и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ». Олег — это сын Игоря, родившийся в 1175 г., Святослав — его племянник, князь Рыльский. Не назван Владимир — старший сын Игоря, несомненный участник похода Игоря (он назван в летописи). А. В. Соловьев, впервые внимательно изучивший все упоминания князей в «Слове», заподозрил в этом пропуске ошибку переписчика¹. Однако двойственное число («съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ») устраняет возможность механического пропуска переписчика. Перед нами, по-видимому, сознательный пропуск, объясняемый тем, что в Киеве знали о женитьбе Владимира на Кончаковне в плену и, следовательно, не могли рассматривать его как жертву похода. Вряд ли было бы уместно говорить о Владимире как о померкшем месяце в то самое время, когда в ставке Кончака ему пелась свадебная слава. Однако, несмотря ни на что, возвращение Владимира в Киев радует автора «Слова» так же, как и возвращение Игоря: «Слово» заключается славой Игорю, Всеволоду и Владимиру.

Итак, на всем протяжении «Слова о полку Игореве» автор относится к Игорю с неизменным сочувствием. Но, сочувствуя Игорю, он осуждает его поступок, и это осуждение, как мы видели, прямо влагается им в уста Святослава Киевского и подчеркивается всеми

¹ Соловьев А. В. Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». С. 74.

историческими параллелями, которые он приводит в «Слове». Его позиция — во всяком случае, не позиция придворного Игоря Святославича, как и не придворного Святослава Всеволодовича. И в этом случае он независим в своих суждениях.

Никаких конкретных указаний на какие-либо особенности новгород-северского княжения «Слово» не дает. Перед нами только сама яркая личность новгород-северского князя. Все остальные русские князья охарактеризованы в «Слове» в конкретных чертах их княжений. В каждом из них подчеркнуты черты, типичные для их княжений в целом.

Так, например, в своих присущих только черниговско-северским княжениям чертах выступает курский князь Всеволод и черниговский Ярослав.

В «Слове» отмечена такая деталь, как наличие в Северной земле сильного «земского боярства» — местной родовой знати и мелких феодалов. Автор «Слова» говорит о курских «кметях»¹ и о черниговских «былях» — «ревугах», «ольберах», «топчаках», «шельбирах», «татранах»². Судя по этим названиям, это знать тюркского происхождения, что было также характерно для Чернигова³.

¹ Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. С. 146. Ср. также характеристику «кмелей», которую дает В. В. Мавродин в другом месте своей работы: «Кмети — мелкие зажиточные хозяйчики, превращающиеся или уже превратившиеся в феодалов. У западных славян термин „кмет“ означает служилого однодворца, в Сербии — начальника, старосту, на Украине — зажиточного крестьянина. Но даже если не все кметы уже стали феодалами, то путь один — к служилому люду, землевладельцу, феодалу типа позднейшего „комонства“, „всадников“, мельчайшего дворянства. Поэтому кметы, генетически связанные с земским мельчайшим боярством, стремясь к укреплению своей власти и обогащению, пытаются добиться этого, опираясь на князя и входя в его дружину. Так по крайней мере было в Северной земле» (там же, с. 154).

² Там же. С. 146.

³ Там же. С. 148—149.

С этой местной знатью, как пишет В. В. Мавродин, вынуждены считаться северские князья, в связи с чем и было весьма уместным упоминание в «Слове» этих «былей» и «кметей» рядом с князьями курским и черниговским.

Одно из центральных мест в «Слове» занимает «золотое слово» Святослава Киевского, продолженное обращением самого автора «Слова» к русским князьям. Здесь важно то, что автор «Слова» обращается ко всем русским князьям. Если он и не перечисляет их всех, то, во всяком случае, он обращается к князьям, сидевшим и на востоке, и на западе: к князьям владимиристо-суздальским, полоцким, галицким и т. д. Всех их автор «Слова» считает причастными общему русскому делу — защите южных границ Руси.

Последовательность, в которой автор «Слова» обращается к русским князьям, едва ли случайна. В ней нет ни местничества, ни родовой точки зрения. Он не учитывает родственных отношений или степени важности княжеств. Ему ничего не стоит обратиться сперва к племяннику, а потом к дяде (к Владимиру Глебовичу, а потом к Всеволоду Суздальскому), к Ольговичам вперемешку с Мономаховичами, к смоленским князьям (Рюрику и Давыду Ростиславичам) прежде, чем к Ярославу Осмомыслу.

Вряд ли возможно установить здесь какую-либо последовательность. Скорее всего, последовательность здесь живая, непосредственная, лишенная особых расчетов и этикета. Он обращается прежде всего к тем князьям, чьего участия в будущем походе он больше всего добивается, от кого прежде всего ждет отклика. При всем величии своего патриотического воодушевления автор «Слова» прежде всего реалист в политике.

Автор «Слова» по-разному оценивает политические перспективы русских княжеств. Он не рассматривает их ни под пессимистическим, ни под оптимистическим углом зрения. Отмечая растущую силу Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской земель, он одновре-

менно с горькой иронией дает совет полоцким князьям: «понижите стязи свои, вонзите мечи свои вережени». Действительно, «Западной Руси готовилась судьба пойти материалом на строение нового политического здания — великого княжества Литовского, войти в состав „земли Литовской“ в тесном смысле слова»¹.

Прежде всего автор «Слова» обращается к Всеволоду Юрьевичу Суздальскому. Он отмечает, что Всеволод замкнулся в политических интересах только своего княжества: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?» — и этим верно отмечен поворот в политике владимирских князей, наступивший во второй половине XII в. В отличие от Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский порывает с Киевом, за обладание которым боролся его отец, и уходит к себе на север. Здесь на севере Андрей делает ряд попыток обосновать новый центр Руси. Политику Андрея решительно продолжил его брат Всеволод. «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити» — в этих словах автора «Слова» подчеркнута и многочисленность войска Всеволода, и его успешная борьба с волжскими болгарами (1183 и 1186 гг.).

Наконец, полны исторического значения и заключительные слова обращения к Всеволоду: «Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти, удалыми сыны Глѣбовы», под которыми, очевидно, подразумеваются сыновья Глеба Ростиславича Рязанского, которых Всеволод держал в своей власти.

Обращаясь к Рюрику и Давыду Ростиславичам, автор отмечает лишь одну их характерную особенность — их храбрую дружину, закаленную в боях. Так оно, очевидно, и было. Рюрик и Давыд провели беспокойную жизнь. Рюрик неоднократно появлялся на киевском столе, захватывая его военной силой. Не раз ходил Рюрик и на половцев, только недавно, в 1183 г. и в 1184 г., нанеся

¹ Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 2, вып. 1. М., 1939. С. 45.

половцам жестокие поражения: в 1183 г. на реке Хирии, а в 1184 г. на Хороле вместе со Святославом Киевским. Ходил Рюрик на половцев и в 1185 г. Эти войны с половцами, очевидно, и имеет в виду автор «Слова», когда пишет: «Не ваю ли храбрая дружина рыкають акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?».

Обращаясь к Ярославу Осмомыслу Галицкому, автор «Слова» верно отмечает его силу: наряду с княжеством Владимиро-Суздальским, Галицкое княжество было явно на подъеме своего могущества. Ослабление Киева и Чернигова в XII в. шло параллельно росту могущества княжеств Владимиро-Суздальского и Галицкого.

Автор «Слова» называет престол, на котором сидит Ярослав Осмомысл, «златокованным», и это не случайно. Здесь, как и во многих других случаях, поражает исключительная точность и многозначность подбираемых им выражений. Термины «злаченный» или «златокованный» всегда употребляются в точном смысле. Так, например, шлемы дружины Рюрика и Давыда Ростиславичей названы «злаченными». Шлемы никогда не делались из сплошного золота — слишком мягкого и слишком тяжелого для шлема материала. Термин «золотой» может в равной степени означать и «золоченый», и сделанный из сплошного золота. Княжеский стол в Киеве назван «золотым». Он золотой прежде всего по своему значению, а может быть, и потому, что реальный стол в Киеве был золотым или золоченым. Зато стол Галицкий назван «златокованным», сделанным из сплошного золота, и этим подчеркивается только одна материальная сторона: богатство престола, а следовательно, и богатство Галича. Действительно, из всех княжеств Руси XII в. Галицкое было самым богатым вследствие выгодного для Галича перемещения в XII в. соединявших север и юг Европы торговых путей из Поднепровья, где их прервали половцы, на запад — в безопасные районы Галицкого княжества. Усиление в XII в. галицких городов было вызвано их увеличившимся торговым значением. Еще отец Ярослава Осмомысла Владимирко

широко действовал подкупом, вызывая этим раздражение киевлян (Ипат. лет., под 1144 г.).

Не случайно и другое выражение автора «Слова», употребленное им в отношении Ярослава Осмомысла Галицкого: «высоко сѣдиши на ...столѣ». Действительно кремль Галича, где находилась и резиденция Ярослава Осмомысла, был расположен на высоком холме¹.

«Слово» отмечает также подчиненность ему всех русских земель до самого Дуная: «суды ряда до Дуная». «Рядить суды», или «ряды править», — одно из главных княжеских дел. Ср. в Лаврентьевской летописи, под 1206 г.: Константин Всеволодович въехал в Новгород на княжение, сел на столе в Софии («короновался»), оттуда пришел в свою обитель (то есть в свой дворец), отпустил новгородцев с честью «и потомъ поча ряды правити», то есть после этого стал управлять Новгородом. В 1151 г. престарелый киевский князь Вячеслав, желая разделить княжение с Изяславом Мстиславичем, послал ему сказать: «...яз есмь стар, а всех рядов не могу уже рядити, но будеве оба Киеве...» (Ипат. лет., под 1151 г.). В 1154 г. тот же престарелый Вячеслав говорит приехавшему в Киев Ростиславу: «Сыну! Се уже в старости есмь, а рядов всех не могу рядити; а, сыну, даю тебе, якоже брат твой держал и рядил, тако же и тебе даю... а се полк мой и дружина моя, ты ряди». Из этих примеров ясно, что слова «суды ряда до Дуная» в широком смысле означают «управляя землями до самого Дуная».

Заслуживает внимания и другое. В «Слове» подчеркнуто, что Ярослав совершает все свои деяния, не ходя в походы, сидя на своем престоле. Он «подперъ горы угорскыи», затворяет «Дунаю ворота», с престола мечет «бремены чрезъ облакы», отворяет «Киеву врата», стреляет «съ отня злата стола салтъани за землями».

¹ Пастернак Я. Галицька катедра у Крилосі. Выдбитка із «Зап. наук. ім. Шевченка. У Львові» (1937). Ср.: Его же. Старый Галич. Л., 1944.

Объяснение этой характеристики Ярослава Осмомысла, совершающего все свои богатырские деяния, сидя на отнем златокованом престоле, счастливо сохранила нам летопись: в некрологической статье, посвященной Ярославу Осмомыслу под 1187 г., сказано: «бе же князь мудр и речен языком, и богобоин, и честен в землях и славен полкы: где бо бяшетъ ему обида, сам не ходяшетъ полкы своими, но посылашетъ я́ с воеводами; бе бо ростроил землю свою» (Ипат. лет., под 1187 г.).

Следующий затем призыв обращен к «буй-Роману и Мстиславу». Буй-Роман — Роман Мстиславович. Это ясно из перечисления его побед над литвой, ятвягами, деремелой и половцами. Из Романов, современников автора, только Роман Мстиславич Галицкий ходил на все эти народы. Именно для его войска было характерно и латинское вооружение: «суть бо у ваю желъзными паробци (или „паворози“ — завязки. — Д. Л.) подъ шелома латиньскими». Но кто такой Мстислав, по всему судя близкий к Роману, деливший его победы? Это мог быть Мстислав Ярославич Пересопницкий и Мстислав Всеволодович Городенский.

Затем автор «Слова» обращается к Инъгварю и Всеволоду и ко «всем трем Мстиславичам». Инъгварь и Всеволод — это сыновья Ярослава Изяславича Луцкого; но кто такие «и вси три Мстиславичи»? По-видимому, это какая-то другая группа князей. Нельзя считать, как это делают обычно, что это тот же Инъгварь, Всеволод и их неназванный брат Мстислав. Против такого понимания говорит само грамматическое построение этой фразы, в которой автор «Слова» обращается к ним: «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи». Кроме того, Инъгварь и Всеволод имели не одного, а еще двух братьев (кроме Мстислава — еще и Изяслава, умершего в 1196 г.). Следовательно, их не трое, а четверо и о них нельзя было сказать «вси три». Кроме того, они не Мстиславичи, а Ярославичи (дети Ярослава Изяславича Луцкого). Мстиславичами они вряд ли могли быть названы по прадеду — Мстиславу Владимировичу.

Здесь, несомненно, имеются в виду единственные в ту пору на Руси три брата — сыновья Мстислава Изяславича — Роман, Святослав и Всеволод¹. Все эти три Мстиславича, как и Инъгварь и Всеволод, были князьями волынскими — вот почему они объединены в едином обращении к ним. Они не названы по имени, так как автор «Слова» уже назвал только что выше одного из них — Романа. В этом месте он повторяет свое обращение к Роману, объединяя его со всеми его волынскими братьями. Он говорит «и вси три Мстиславичи», подчеркивая этим, что речь перед тем шла только об одном Мстиславиче, а теперь идет о всех. Повторение это вполне естественно: автор «Слова» обращается к волынским князьям Инъгварю и Всеволоду и объединяет свое обращение к ним с обращением ко всем другим волынским князьям: «Инъгварь и Всеволодь и вси три Мстиславичи» — здесь перечислены все волынские князья.

Мстиславичи эти были по матери полуполяками — внуками польского короля Болеслава Кривоустого. Вот почему в обращении к ним автор «Слова» говорит: «...кое ваши златыи шеломы и сулицы ляцкыи и щиты?».

Конечно, это и не простой намек на полупольское происхождение Мстиславичей. Гораздо вероятнее, что автор «Слова», имея в виду полупольское происхождение Мстиславичей, имеет здесь в виду и ту военную помощь, которую получали волынские князья из Польши. Ведь именно это было важно подчеркнуть автору «Слова о

¹ Кроме этих трех сыновей Мстислава Изяславича, был еще Владимир, но он умер значительно раньше. Год смерти Святослава точно не известен. В генеалогических таблицах ошибочно указывается год смерти Святослава — 1171 (у С. М. Соловьева, М. С. Грушевского и их предшественников), однако в Ипатьевской летописи Святослав Мстиславич упоминается под 1173 г. (о том, что год смерти Святослава неизвестен, говорит и М. С. Грушевский (Исторія України — Руси. Т. II. Л., 1905. С. 366). Мысль о том, что под «тремя Мстиславичами» разумеются три сына Мстислава Изяславича, подсказана мне Ив. М. Кудрявцевым.

полку Игореве», взывая к их военной мощи. «Польские силы не раз помогают воыньским князьям в их борьбе против киевских или галицких князей,— пишет А. Е. Пресняков.— Еще в 80-х годах XI в. Владислав-Герман поддерживает Ярополка Изяславича против Всеволода Ярославича Киевского, а в 90-х годах Болеслав Кривоустый подымается на помощь Ярославу Святополчичу против Мономаха. Изяслав Мстиславич в борьбе с Юрием Долгоруким и Владимирком Галицким ищет союза польских князей, женив сына на сестре Казимира Справедливого и выдав дочь за его брата Мешка Старого. И этот воыньско-польский союз держится в течение трех поколений, продолжаясь при Мстиславе Изяславиче и Романе Мстиславиче. Мстислав в неудачные годы уходит „в ляхи“, во время борьбы за Киев „снимается (совещается.— Д. Л.) с ляхи“. Часто обращается к ним за помощью и Роман как в борьбе за Киев, так и в первых же покушениях своих на Галицкое княжество»¹.

Отношения Воыни с Польшей были сложнее, чем простая помощь Польши воыньским князьям. В их основе в конечном счете лежали притязания польских королей на Воынь, но для нас важно, что польско-воыньские отношения не прошли мимо наблюдательного глаза автора «Слова». Пока его интересует только военная помощь воыньских князей и их польских союзников против половцев.

Дойдя в своем обращении ко всем русским князьям до князей полоцких, автор «Слова» ограничивается в отношении их лишь призывом прекратить раздоры с остальными русскими князьями. Он отмечает слабость полоцких князей в обороне их собственных границ от литовцев и поэтому, может быть, не рискует их отвлечь от своих собственных дел делами половецкими. Положение на границах Полоцкой земли с литовцами автор «Слова» сравнивает с положением южных границ Руси

¹ Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 2, вып. 1. С. 23—24.

с половцами: «Уже бо Сула (пограничная река на юге.— Д. Л.) не течеть сребренными струями къ граду Переяславию, и Двина (пограничная река на западе.— Д. Л.) болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подь кликомъ поганыхъ (литовцев.— Д. Л.)». С горечью отмечает автор «Слова», что только один Изяслав Василькович (князь по летописям неизвестный) оказал сопротивление литовцам, но при этом сам потерпел поражение, «притрепав» тем самым военную славу своего прародителя Всеслава Полоцкого: «Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу дѣду своему Все-славу, а самъ подь чрълеными щиты на кровавъ травѣ притрепанъ литовскими мечи...».

Обращает на себя внимание отсутствие призыва к Новгороду Великому. На первый взгляд это кажется странным, но на самом деле это показывает в авторе «Слова» реального политика. Это не означает, что автор «Слова» считал Новгород вне пределов Русской земли. Выражение «расшибе славу Ярославу» показывает, что автор «Слова» вводил Новгород в круг русских исторических традиций и, следовательно, не исключал его из числа русских городов. Автор «Слова» потому не обращается с призывом к Новгороду, что там не к кому было обращаться. Во главе Новгорода стоял не князь, который худо ли хорошо ли, но все же мог быть в XII в. представителем общерусских интересов, а боярская олигархия, которая была связана только со своей землей и для которой общерусские интересы были чужды. Обращаться к ней было бесполезно, и автор «Слова» не сделал этого. Ни разу еще новгородские войска не участвовали в XII в. в общерусских походах. Узкоместные интересы преобладали в среде новгородского боярства и купечества. Отсюда можно заключить, что обращения автора «Слова» не были только литературной формой, за которой скрывалась ни к кому конкретно не обращаемая пропаганда единства Руси. Автор «Слова» обращался к конкретным князьям с призывом

к конкретному походу и конкретному союзу против степи.

Однако литература не только исходила из действительности — в ряде случаев (а в «Слове о полку Игореве» особенно) она возвышалась над этой действительностью. Единство Руси в период ее феодальной раздробленности в известной мере продолжало существовать. Раздробленность не была тотальной, полной. В осуществлении единства литература, как и другие формы идеологического воздействия, играла вполне реальную активную роль. Дело в том, что, несмотря на раздробленность и несмотря на узкоместную политику отдельных князей, ни один из этих последних не решался объявлять раздробление Руси принципом своей политики. Каждый из русских князей в провозглашаемых им (пусть даже лицемерно) официальных мотивах своих действий стоял за единство Русской земли. Если понятие Руси в летописях XII в. (но не в других жанрах) в устах князей и летописцев и могло иногда относиться только к княжествам Южной Руси, то все же одновременно существовало и более широкое понятие Руси, охватывавшее все русские области, не исключая и Новгорода. Автор «Слова о полку Игореве», обращаясь ко всем русским князьям, рассчитывал именно на это общерусское идейное единство, так как на него опирались в своей политике многие киевские князья, начиная с Владимира Мономаха и кончая Святославом, отнюдь не радовавшимся по поводу поражения Игоря, а оплакивавшим его, согласно рассказу Ипатьевской летописи и «Слову о полку Игореве» (в летописи Святослав «утер слез своих и рече...»). В «Слове» Святослав «изрони злато слово слезами смѣшено»).

А. Н. Робинсон придерживается прямо противоположной точки зрения: он считает, что обращение автора «Слова» к русским князьям было только литературной формой, за которой не скрывалось ничего реального. Иначе говоря, реальный политический смысл этого обращения отсутствовал. Доказывает это А. Н. Робинсон тонким анализом политической обстановки в каждом княжестве:

нигде не было смысла выступать в поход за Русскую землю, а некоторым из князей поражение Игоря было даже выгодно (в частности, Святославу Киевскому). А. Н. Робинсон так подытоживает свой анализ исторической обстановки: «Призыв „Слова“ к князьям не имел и не мог иметь никаких политических последствий...» и далее: «Всякие попытки рассматривать содержание „Слова“ без учета этих исторических обстоятельств были бы антиисторическими»¹. Однако нельзя рассчитывать, что все русские князья знали точно свои выгоды. Нельзя также думать, что князья во всем поступали только согласно своим выгодам. Невозможно считать, наконец, что, обращаясь к русским князьям, автор «Слова» так же точно, как и современный исследователь политической обстановки 80-х годов XII в., рассматривал эту обстановку. Автор «Слова» мог рассчитывать на некоторый идеализм, или, вернее, патриотизм, русских князей. Ведь весь смысл «Слова» — в призыве к князьям отказаться от своих эгоистических расчетов, пожертвовать ими, встав на защиту родины.

Очень интересно употребление в «Слове» политической терминологии именно конца XII — начала XIII вв.: слово «господин» по отношению к князю. «Слово» называет «господами» Рюрика и Давыда Ростиславичей и Ярослава Осмомысла Галицкого: «Вступита, господина, въ злата стремь за обиду сего времени...», «Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощя...».

Обращение к князю «господин» впервые стало употребляться на северо-востоке Руси, там, где складывалась новая сильная княжеская власть, начиная с середины 70-х годов XII в. (то есть за десять лет до написания «Слова»). Оно начинает употребляться сперва только в среде горожан и сельского населения. До того этот термин «гос-

¹ Робинсон А. Н. О закономерностях развития восточнославянского и европейского эпоса в раннефеодальный период / В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973. С. 192 и 193.

подин» применялся лишь в области владельческих отношений: так называли владельца холопов, хозяина закупов (в «Русской Правде»). В политической жизни в отношении князя термин «господин» впервые встречается в речах жителей владими́ро-суздальских городов, обращенных к владими́рскому князю. Так называют Михаила Юрьевича суздальцы и ростовцы (горожане) в 1176 и 1177 г.; так называют Всеволода Юрьевича владими́рцы (опять-таки горожане) в 1177 г.; так называют его же и в других случаях. В 1180 г., по-видимому, впервые, этот термин переходит в уста князей-вассалов, в их обращении к своему главе, и опять-таки во Владимиро-Суздальском княжестве. Так называли Всеволода Юрьевича владими́ро-суздальского, своего феодального главу, рязанские князья Всеволод и Владимир Глебовичи: «Ты господин, ты отец, — говорили через послов Всеволоду рязанские князья, — брат наю (наш. — Д. Л.) старейший Роман уимае волости у наю (нас. — Д. Л.), слушая тестя своего Святослава, а к тебе крест целовал и переступил» (Ипат. лет.). По-видимому, новые отношения безусловного подчинения, сложившиеся на северо-востоке между владими́ро-суздальским князем и подручными ему рязанскими князьями, потребовали для своего определения и нового термина, в котором уже отменено всякое «родственное смягчение» политических понятий, столь характерное для старой традиционной феодальной терминологии — «отец», «сын», «брат». Поэтому-то слово «господин» и стало употребляться вместо слова «отец» или рядом с ним в пору усиления княжеской власти.

Этот новый политический термин — «господин» (вместо «отец»), — отразивший на северо-востоке рост феодального главы над стоящими ниже его на лестнице феодального подчинения князьями, начинает употребляться не только одними рязанскими князьями по отношению к Всеволоду Юрьевичу, но и в другом центре борьбы за сильную княжескую власть — в Галичине. Всего десять лет спустя, в 1190 г., сын Ярослава Осмомысла — Владимир Галицкий в своей просьбе ко Всеволоду Суздаль-

скому прибеж к аналогичному обращению: «Отце господине! Удержи Галич подо мной, а яз Божий и твой есмь со всим Галичем, а в твоей воле есмь всегда» (Ипат. лет.). Энергия этого нового политического термина поддержана в этой просьбе необычною степенью покорности, на которую соглашается Владимир: «яз Божий и твой».

Употребление слова «господин» по отношению к князю имеет совершенно точную хронологию. Оно употребляется с 70-х годов XII в. и в течение XIII в. (оно типично для «Моления Даниила Заточника»). Впоследствии, в XIV—XV вв., оно вытесняется словом «государь»: князю станут говорить «государь», но не «господин». Это слово встретится только в «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище», но как заимствование из «Слова о полку Игореве» (в первом произведении — прямо, а во втором — через первое).

Принимая новый термин «господин», автор «Слова», очевидно, принимал и новое отношение к княжеской власти. Не случайно он так преувеличивает могущество князей, называет некоторых из них «великими» и «грозными» (Святослава Всеволодовича), говорит о «грозе» Святослава и Ярослава Осмомысла.

* * *

Подведем итоги. Автор «Слова» — человек широкой исторической осведомленности. Он внимательный читатель «Повести временных лет» и вместе с тем наслышан в народной исторической поэзии. Он имеет свои отчетливые представления о русской истории, хотя эти представления и являются представлениями поэта, а не историка, при этом поэта XII столетия. Его суждения о русской истории — плод поэтического восприятия этой истории, но поэтического восприятия, проникнутого историзмом в пределах, доступных его эпохе. Русская история имеет для него ясно представляемые черты своего собственного бытия. По крайней мере три периода, три сменяющих друг друга образа исторических

эпох намечаются в его поэтическом сознании: время Трояна, время Ярослава и время Олега Гориславича.

Современность имеет для автора «Слова» свои корни в историческом прошлом. Для автора она — естественное продолжение эпохи усобиц Олега Гориславича. Он ищет корни политики современных ему князей-крамольников в походах Олега.

В своих исторических воззрениях автор «Слова» зависит от летописи, фольклора и народной молвы, но его исторические воззрения выше и летописных, и фольклорных, и тех, что были представлены молвой. От летописцев автора «Слова» отделяет огромная сила исторического обобщения. Он обобщает историю в конкретных поэтических образах. От «песнотворцев» его отделяет критическая оценка прошлого и настоящего. Однако он берет свои сведения и из летописи, и из фольклора, и из устной народной памяти. Он развивает отдельные мысли летописца и проникается духом народного поэтического творчества.

Свои суждения автор «Слова» не отделяет от общественного мнения. На это общественное мнение он постоянно опирается в своих оценках происходящего. Выразителем общественного мнения он себя и признает, стремясь передать свою оценку событий как оценку общенародную. Но при этом общественное мнение, которое он выражает, является общественным мнением лучших русских людей его времени.

Автор «Слова» в нормах феодального поведения, в кодексе дружинной морали, в идеологии верхов феодального общества находит лучшие стороны и стремится переосмыслить феодальные понятия. Он наполняет своим, патриотическим содержанием понятия «чести», «славы», «хвалы» и «хулы».

Автор «Слова» — сторонник сильной княжеской власти во имя обуздания произвола мелких князей, во имя единства Русской земли. Все «Слово» проникнуто единым патриотическим настроением и единой патриотической идеей — идеей единства Русской земли. При-

зывом к этому единству и к твердой обороне Руси от «поганых», по существу, оно и является. Автор «Слова» и в этом явился человеком своего времени, глашатаем мнения лучших своих современников. Он творит идеи, потребность в которых живо ощущалась в его время. Он — око и ум народа. Он высказывает то, что должно быть высказано. Вот почему автор «Слова» неразрывен и со своей эпохой, его породившей.

Его подлинным героем является русский народ и Русская земля. Образ Русской земли центральный в «Слове». Автор представляет ее себе в широкой исторической перспективе, в образах ратных подвигов и мирного созидательного труда. Его произведение своими призывами к единению устремлено к будущему, полному для него светлых надежд, оно рисует картины печального настоящего и ищет корни этого настоящего в прошлом. Оно полно веры в будущее, скорби о настоящем, гордости прошлым и мудрого раздумья и над прошлым, и над настоящим, и над будущим, слитыми для него в едином образе Русской земли.

Кем был автор «Слова о полку Игореве»? Он мог быть приближенным Игоря Святославича: он ему сочувствует. Он мог быть и приближенным Святослава Киевского: он сочувствует также и ему. Он мог быть черниговцем и киевлянином. Он мог быть дружинником: дружинными понятиями он пользуется постоянно. Однако в своих политических воззрениях он не был ни «придворным», ни защитником местных тенденций, ни дружинником. Он занимал свою независимую патриотическую позицию. Его произведение — горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского населения.

* * *

Достиг ли призыв автора «Слова» тех, кому он предназначался? Можно предполагать, что в известной мере — да. Игорь Святославич отказывается от своих оди-

ночных действий против половцев. В 1191 г. он организует целую коалицию против половцев. В походе, кроме Игоря Святославича, участвовали: Всеволод Святославич, Мстислав и Владимир Святославичи, сыновья Святослава Всеволодовича Киевского, Ростислав Ярославич, сын Ярослава Всеволодовича, и сын Олега Святославича — Давид. Поход этот был неудачен, но самая организация его в таких масштабах, думается, не случайна.

Однако подлинный смысл призыва автора «Слова», может быть, заключался не в попытке организовать тот или иной поход, а в более широкой и смелой задаче — объединить общественное мнение против феодальных раздоров князей, заклеить в общественном мнении вредные феодальные представления, мобилизовать общественное мнение против поисков князьями личной славы, личной чести и мщенья или личных обид. Задачей «Слова» было не только военное, но и идейное сплочение русских людей вокруг мысли о единстве Русской земли. Вот почему автор «Слова» так часто и так настойчиво к этому общественному мнению апеллирует. Эта задача была рассчитана не на год и не на два. В отличие от призыва к организации военного похода против половцев, она могла охватить своим мобилизующим влиянием целый период русской истории — вплоть до татаро-монгольского нашествия.



ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА И «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

История Ипатьевской летописи — важнейшей для изучения летописания XII в. — почти не исследована. Этому мешала и необычная сложность состава этого летописного свода конца XIII в., и отсутствие параллельных текстов. В общих чертах состав Ипатьевской летопи-

си указан А. А. Шахматовым и несколько уточнен М. Д. Приселковым. В первой своей части это Киевский свод 1199 г. Рюрика Ростиславича, на который наложен Владимирско-Суздальский свод 30-х гг. XIII в. и Галицко-Волынская летопись конца XIII в. В Киевском своде 1199 г. отчетливо выделяется Черниговская летопись — как предполагает М. Д. Приселков, Игоря Святославича, героя «Слова о полку Игореве», ставшего черниговским князем после смерти Ярослава Всеволодовича в 1198 г. «Указанными четырьмя летописными памятниками — Киевским сводом, доведенным до 1198 г., Черниговским, Галицко-Волынским, доведенным до конца XIII в., и Владимирским полихроном начала XIV в. исчерпывается, как кажется, число источников Ипатьевской летописи»¹.

В сложном по своему составу своде 1199 г. особый интерес представляют для нас семейные и личные княжеские летописцы, обнаруженные в нем внимательным наблюдением М. Д. Приселкова². В скудных записях этих летописцев отмечены главным образом события семейной и личной жизни князей: рождение детей, браки, смерти, монашеские постриги, перемены княжения и изредка походы. Насколько предшествующее летописание общерусское было обширным по теме и исполнению, настолько это княжеское летописание оказалось узким по содержанию и несложным по выполнению. Однако в летописании княжеском — личном и семейном — имеется и положительная сторона: это интенсивность исторического самосознания, сознание исторической ценности личной деятельности, стремление сохранить для потомства частности собственной биографии. Нас поражает сейчас

¹ Шахматов А. А. Обзорение русских летописных сводов XIV—XV вв. Л., 1938. Следует учесть, что существование Владимирского полихрона М. Д. Приселков отрицает и относит Владимирско-Суздальские известия Ипатьевской летописи к Владимирско-Суздальскому своду 30-х годов XIII в.

² Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. С. 49 и сл.

распространенность этой заботы об историческом отображении собственной деятельности. И это новое явление, снижая общую тему летописания как летописания всей страны, было тем не менее закономерно и в известной мере целесообразно связано с общей децентрализацией русской жизни XII в., с углублением процесса феодализации.

Из семейных и родовых княжеских летописцев в Ипатьевской летописи мы должны прежде всего отметить семейную хронику Ростиславичей — братьев киевского князя Рюрика Ростиславича, заботливо включенную в Киевский свод Рюрика Ростиславича 1199 г. его составителем — игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем. Здесь были отмечены описания смерти и некрологи следующих князей: Святослава Ростиславича (под 1172 г.), Мстислава Ростиславича (под 1178 г.), Романа Ростиславича (под 1180 г.) и Давыда Ростиславича (под 1198 г.). «Некрологи ничего не сообщают о фактической стороне биографии умершего князя, о местных делах и отношениях, — пишет М. Д. Приселков, — а главным образом рисуют похвальные (всегда шаблонные) черты этих князей, как и полагается в некрологах»¹.

Значительно больше упорства в собирании сведений и в ведении записей ощущается в родовом летописце Игоря Святославича. Подробности семейных дел Игоря Святославича отмечены в Ипатьевской летописи последовательно и без пропусков.

Под 1151 г. отмечено рождение Игоря Святославича. Под 1173 г. отмечено рождение у Игоря сына Владимира; под 1176 г. — рождение сына Олега, под 1177 г. — рождение сына Святослава. Под 1188 и 1190 гг. отмечены браки детей Игоря и т. д. К 1198 г. относится последнее известие этого летописца — о смерти Ярослава Всеволодовича Черниговского и о вокняжении в Чернигове «благоверного князя Игоря Святославича».

¹ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. С. 49 и сл.

Из родственников Игоря Святославича особо отмечены в его летописце события жизни его брата Всеволода, идеализированного «Словом о полку Игореве» («буй-тур»). Проникновение сведений о нем в Ипатьевскую летопись именно из летописца Игоря доказывается тем, что дважды летописец поясняет его как «Игорева брата». Так пояснен он под 1180 г. и под 1196 г., где отмечена смерть «брата Игоря» Всеволода Святославича и дан краткий некролог его: «во Олговичех всех удалее рожаемь, и воспитаемь, и возрастом, и всею добротою, и мужьственною доблестью, и любовь имеяше ко всем»¹. Некролог совпадает в общих чертах с общеизвестной характеристикой его в «Слове о полку Игореве». Отмечена в летописце Игоря и судьба Владимира Галицкого — сына Ярослава Осмомысла. Этого Владимира Ипатьевская летопись дважды отмечает как «шюрина» Игоря. Владимир, рассорившись с отцом, нигде не находил себе приюта, пока его не удержал у себя Игорь и не помирил с отцом.

Летописец Игоря Святославича включил в себя как составную часть летописец отца Игоря — Святослава Ольговича и летописец брата Игоря — Олега Святославича. Летописец Святослава Ольговича резко отличается от летописца Игоря Святославича своею большею подробностью, что может быть отчасти объяснено тем, что Святослав Ольгович был одно время великим князем Киевским. Сторонник Святослава Ольговича явно чувствуется в летописной статье в 1146 г. Изяслав Давыдович идет на Святослава походом «похвалився». Сам Святослав отправляется против него «възря на Бога [и] на святую Богородицю, изииде в сретение ему в день четверток, месяца генваря в 16 день, бе же в ть день положение веригам святого апостола Петра; и тако Бог и сила животворящаго хреста погна я». Интересно, что в сообщении этом точно указано время; в другой записи 1146 г. пере-

¹ Ипат. лет., под 1196 г. Все летописные цитаты далее по этой летописи.

даются мысли Святослава Ольговича: «Святославу же бы из головы, любов иже [любо же] дати жену и дети и дружину на полон, любо голову свою сложити».

Личный летописец Святослава виден и в сообщении 1147 г. о смерти дядьки Святослава — Петра Ильича: «И бысть к велику дни на вербницу, и ту преставися добрый старечь Петр Ильичь, иже бе отца его мужь, уже бо от старости не можаше ни на конь всести, бе ему лет 90».

Под следующим, 1148 г., находится чисто семейная дата: «В то же время Ростислав Смоленский проси дщери у Святослава у Ольговича за Романа, сына своего, Смоленску; и ведена бысть из Новагорода, в неделю по водохрещях, месяца геньваря в 9 день». Под 1149 г. снова отмечено семейное событие Святослава Ольговича: «И ту к нему [к Юрию Долгорукому] приеха Святослав Ольговичь, на Спасошь [Спасов] день; и ту Святослав позва ѝ к собе на обед, и ту обедавшє разъехашася. Въ утри же днь в неделю рано, въсходящю слнцю, родися у Святослава Ольговича дчи, нарекоша в крещение имя ей Марья».

Под 1149 г. отмечен перенос тела брата Святослава Игоря в усыпальницу черниговских князей — собор Спаса.

Семейные сведения Святослава Ольговича даны и под 1165 г., и под 1166 г. (дважды).

Все эти и иные известия летописца Святослава Ольговича были включены в летописец его сына Игоря Святославича, что видно из того, что они подверглись соответствующей обработке. Так, например, к известию летописца Святослава Ольговича о княжеском съезде 1159 г. в Лутаве было добавлено и имя Игоря: «И сняшася в Лутаве Изяслав и Святослав Ольговичь и сын его Олег, *Игорь*, и Всеволодимиричь Святослав и бысть любовь велика». Ясно, что в данном случае мы имеем дело с позднейшим добавлением, а не с реальным фактом, так как Игорю в год съезда было всего лишь 8 лет и принимать в нем участие он не мог. В состав летописца Игоря Свя-

тославича входил, кроме летописца его отца Святослава Ольговича, и летописец его брата Олега Святославича. Наличие особого летописца Олега Святославича доказываетя тем, что в ряде его известий Игорь Святославич определен как брат Олега (1170 г. — «Олег Святославичь, Игорь брат его»; 1179 г. — «потом же Игорь [брат] его седе в Новегороде Северьскомь» и т. д.) и рядом сведений личного характера: о рождении у Олега сына Святослава (1167), о смерти его жены (1167 г.) и о победе его над Боняком (1167 г.).

Таким образом, в составе Ипатьевской летописи явственно различается обширный родовой летописец Игоря Святославича, включивший в свой состав семейные летописцы его родственников. Летописец этот — самый обширный из всех личных, семейных и родовых летописцев, сохранившихся в составе русских летописей XII—XV вв.

* * *

Отрицая существование отдельной и систематической Черниговской летописи, М. Д. Приселков¹ обращает внимание на то, что «Летописец Святослава Ольговича, может быть, в пору его княжения в Чернигове, делал попытки выходить из рамок личного Летописца этого князя, превращаться в Черниговское летописание»². Доказательством этого стремления «Летописца Святослава Ольговича» стать «Летописцем» Чернигова М. Д. Приселков считает включение в его состав «Повести об убиении» брата Святослава — Игоря Ольговича. И действительно, «Повесть об убиении Игоря Ольговича» явственно обнаруживает в своей основе три отдельных рассказа, один из которых, выдержанный в житийных тонах, был тесно связан своим возникновением с Святославом Ольговичем, выдвинувшим убийство Игоря как главное обвинение против своих противников —

¹ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 50.

² Там же. С. 51.

Мономаховичей. Для целей этой борьбы Святослав делает попытку канонизации Игоря, торжественно переносит его тело (в летописи «мощи») в Чернигов в церковь Спаса и заказывает его житие, внешне подражающее житию Бориса и Глеба. Кажется бесспорным, что оно было включено в его летопись.

Однако «Летописец Святослава Ольговича» включил в свой состав не только родовые известия Ольговичей: «...начиная с 1120 г. (1120, 1123, 1140, 1142, 1143 и др.) встречаем ряд известий, касающихся черниговских князей и епископов, упоминания о которых не могли входить в задачу Летописца Святослава Ольговича как семейного или личного Летописца этого князя. Тогда нельзя не принять в соображение, что эти черниговские известия, выходящие за рамки Летописца Святослава Ольговича, кратки и приведены без точных дат, как позднейшие припоминания, т. е. подтверждают наше предположение о том, что Летописец Святослава Ольговича во время княжения его в Чернигове пытался до известной меры превратиться в черниговское летописание»¹.

Однако если уже «Летописец Святослава Ольговича» делал попытки включения в свой состав летописания Чернигова, пытался выйти из пределов летописания только семейного, то можем ли мы предположить, что летописец его сына Игоря Святославича, включивший и летописец отца Игоря, и «летописец» брата Олега, оставался в узких пределах родового княжеского летописца? В самом деле, уже самая форма больших воинских повестей, входивших в состав летописца Игоря (таких, как рассказ Ипатьевской летописи о походе 1185 г.), исключает предположение о том, что летописец Игоря строго держался рамок родовых известий.

Внимательное наблюдение за текстом Ипатьевской летописи показывает, что именно летописец Игоря, а не свод 1199 г., как думает М. Д. Приселков, включил в

¹ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 51.

свой состав летописание Переяславля Русского. В самом деле, сличение текстов обоих летописных рассказов о походе Игоря Святославича 1185 г. на половцев обнаруживает, что в основе рассказа Ипатьевской летописи, то есть в конечном счете летописца Игоря Святославича, лежит изложение Переяславской летописи¹.

Кроме того, сличение записей, вошедших в состав Ипатьевской летописи из Переяславского летописца с соответствующими известиями Лаврентьевской летописи, включенными туда из того же Переяславского летописца, ясно говорят, что переяславские записи подвергались основательной переработке еще в летописании Ольговичей, упразднившим наиболее неблагоприятные для Ольговичей моменты.

Переяславль Русский, или Южный, входил как часть в наследство Всеволода Ярославича и прочно удерживался во владениях этой отрасли княжеского рода. Несколько раз Переяславль Русский переходил от Мономаховичей к Мстиславичам и обратно, пока не достался сыну Юрия Долгорукого — Глебу. В 1169 г. там сел двенадцатилетний сын Глеба — Владимир. Владимирско-суздальские князья прочно удерживали Переяславль Русский в сфере своего влияния как оплот их политики на юге Руси. Сами князья пограничного со степью Переяславля вели упорную и многолетнюю войну со степными кочевниками и были заинтересованы в прекращении губительных междоусобных войн Мономаховичей и Ольговичей, хотя по большей части становились на сторону первых, осуждая недостаток военных талантов Ольговичей черниговских и их обычное пользование половецкою помощью.

Резкая критика Ольговичей была снята в Ипатьевской летописи, свидетельствуя тем самым, что «Летописец» Переяславля Русского, доведенный до 1187 г. — года смерти переяславского князя Владимира Глебовича,

¹ См. об этом: Орлов А. С. «Слово о полку Игореве». М.; Л., 1938. С. 164; Приселков М. Д. «Слово о полку Игореве» как исторический источник // Историк-марксист. 1938. № 6.

был затем использован не в своде Рюрика Ростиславича, а в предшествующем ему летописании Ольговичей — в летописце Игоря Святославича.

Рассмотрим этот материал, доказывающий использование «Летописца» Переяславля Русского именно в летописании Ольговичей.

Под 1136 г. в Ипатьевской летописи заметно смягчение враждебного отношения к Ольговичам «Летописца» Переяславля Русского; пропущен ряд неблагоприятных известий об Ольговичах, сохранившихся в Лаврентьевской: «В то же лето почаша с Олговичи рать имети... и многы пакости створиша», и дальше: «И паки крамола бысть в них немала: шедши бо ти же Олговичи с Половци...»

Под 1138 г. пропущено в Ипатьевской летописи сохранившееся в Лаврентьевской из «Летописца» Переяславля Русского другое известие о крамолах Ольговичей: «Того же лета послаша Олговичи по Половци... и всхоте (Андрей Боголюбский.— Д. Л.) лишитися Переяславля и тако бысть пагуба посулцем ово от Половецъ, ово же от своих посадник, и тако уведевше Олговичи, яко Андрееви не бысть помощи от братье и лестными словесы, акы бес печали и створиша...» Отсутствует под 1138 г. определение количества половцев — «множество», поведенных Олговичами, и упоминание об их намерении идти к Киеву.

Под тем же 1138 г. в перечислении войск, собранных против Ольговичей Ярополком, отсутствуют «кыяне».

Под 1139 г. частично пропущен, частично переработан текст, резко направленный против Ольговичей в изображении начала княжения Всеволода Ольговича.

Под 1140 г. пропущен текст «Летописца» Переяславля Русского, враждебный Всеволоду Ольговичу: «Седе Олговичъ в Кыеве и нача замышляти на Володимериче и на Мстиславиче, надеяся силе своей, и хоте сам всю землю держати с своею братиею, искаше под Ростиславом Смолиньска, и под Изяславом Володимеря» (Лавр. лет., под 1139 г.).

Под 1141 г. пропущено заявление новгородцев, отказавшихся принять Ольговичей: «а мы Ольговича не хотим» (Лавр. лет., под 1141 г.).

Под 1142 г. пропущена порочная мотивировка действий Игоря Ольговича, которого Ольговичи стремились изобразить святым: «враг же роду хрестьянску дьявол ражже сердце Игореву Ольговичю» (Лавр. лет., под 1142 г.).

Под 1146 г. внесена фактическая поправка в известие о Святославе Ольговиче — отце Игоря Святославича. По «Летописцу» Переяславля Русского Святослав вбегает с остатками дружины в *Новгород Северский* (Лавр. лет., под 1146 г.); в Ипатьевской же летописи Святослав вбегает в *Чернигов* «с малом дружины». Затем Святослав посылает «по своим братьям», ведет переговоры с Владимиром и Изяславом и только после этого: «а сам еха Курьску уставливать людей, и оттуда Новгороду приде» (Ипат. лет.).

Также переработано в Ипатьевской летописи и сообщение «Летописца» Переяславля Русского о приходе сына Юрия Долгорукого Ростислава Гюргевича, рассорившегося с отцом, к Изяславу. В «Летописце» Переяславля Русского главной причиной прихода Ростислава выставляется нежелание его соединиться с Ольговичами: «В то же лето поиде Ростислав Гюргевичь и — Суждаля с дружиною своею в помочь Ольговичем на Изяслава Мстиславича, послан от отца своего. И здумав Ростислав с дружиною своею река: „любю си ся на мя отцю гневати. Не иду с ворогом своим: то суть были ворози и деду моему и строем моим, но поидем, дружино моя, к Изяславу, то ми есть сердце свое, ти ти дасть ны волость“» (Лавр. лет., под 1148 г.). В Ипатьевской летописи всякое упоминание вражды Ростислава и Ольговичей снято, оставлены лишь корыстные расчеты самого Ростислава. Ростислав говорит: «отець мя переобидил и волости ми не дал; и пришел есмь нарек Бога и тебе, зане ты еси старей нас в Володимирих внуцех, а за Рускую землю хочю страдати, и подде тебе ездити».

Ряд исправлений и вставок в «Летописец» Переяславля Русского имеется в Ипатьевской летописи под 1151 г.

Так, например, при перечислении погибших в битве на Руту добавлено: «и ту убиша Володимира князя Давыдовича Черниговьского, доброго и кроткого...». Явно разбивает текст вставка в «Летописец» Переяславля Русского из «Летописца Святослава Ольговича» (отца Игоря Святославича) к словам Переяславского летописца: «Дюрдй же остави сына своего Глеба в Городци, а сам иде Суждалю» (Лавр. лет.) прибавлено: «из Городка. Гюрги же туда иде на Новъгород на Северьский к Святославу Олговичю, он же прият ѝ с честью великою, и повозы да ему» (Ипат. лет.). Только после этого вновь повторено в виде разъяснения: «и поиде Гюрги Суждалю». Немного ниже вновь вставка текста из «Летописца Святослава Ольговича»: «Том же лете яша Поло(т)чане Рагъволода Борисовича князя своего, и послаша Меньску, и ту ѝ держаша у велице нужи, а Глебовича к себе уведоша; ѝ прислашася Полотьчане к Святославу Олговичю с любовью, яко имети (его. — Д. Л.) отцемь себе и ходити в послушаньи его, и на том целоваша хрест...» (Ипат. лет.).

Внимательному пересмотру подверглись в Ипатьевской летописи все сведения «Летописца» Переяславля Русского о внешних сношениях Святослава Ольговича. Так, например, в сообщении о совещании Изяслава с Святославом Ольговичем 1154 г. добавлено: «яко же бы Изяславу у Киеве седети, а Святославу у Чернигове» (Ипат. лет.). Основательно пересмотрены и отношения Святослава Ольговича к Юрию Долгорукому. Ср. вставку под следующим, 1155 г.: «Тогда же Дюрги иде на снем с Изяславом Давыдовичем и с Святославом с Олговичем; и ту сняшася в Лутавы. Тогда же Гюрги вѣда Изяславу Корческ, а Святославу Олговичю Мозырь, и ту уладивься с нима иде...» (там же).

Под 1159 г. в Ипатьевской пропущен неудобный в летописании Ольговичей рассказ о том, как черниговский епископ Антоний выбросил на съедение псам тело умер-

шего в Чернигове киевского митрополита Константина — противника Климента Смолятича, на чьей стороне находились черниговские Ольговичи и черниговская епископия.

Дальнейшее изложение летописания Ольговичей в меньшей мере пользуется «Летописцем» Переяславля Русского, заменяя его своим изложением, в котором последовательно проводится точка зрения гражданского мира между представителями различных княжеских родов. Так, например, под 1161 г. с точки зрения Святослава Ольговича подробно изложена история его ссоры с сыном Олегом, ложный донос, речи доносчиков и вынужденная измена Святослава князю Ростиславу: «И тако нужею поведесе Святослав от Ростиславли любви к Изяславу». Затем в описании союзного похода Изяслава на Ростислава отмечено: «а Святослав не иде и-Щернигова» (Ипат. лет.). Немного ниже снова подчеркнута миролюбивая политика Святослава: «Святослав же слаше и-Щернигова к Изяславу, веля ему мир взяти» (там же). Ссора Андрея Боголюбского с епископом Леоном (1162 г.) относительно соблюдения постных дней описана с сочувствием к Леону. Леон бежит в Чернигов к Святославу Ольговичу: «Святослав же утешив добре пусти к Киеву к Ростиславу».

Число примеров тенденциозной переработки «Летописца» Переяславля Русского в Ипатьевской летописи и тенденциозного, в пользу Ольговичей, изложения легко могло бы быть увеличено. Приведенный материал ясно доказывает, что «Летописец» Переяславля Русского был включен первоначально в состав летописания Ольговичей, а не в летописный свод Ростиславичей 1200 г.

«Летописец Переяславля Русского кончается некрологом Переяславскому князю Владимиру Глебовичу под 1187 г. Следовательно, включение его в состав летописи Ольговичей могло произойти не ранее этого времени, но не могло произойти и значительно позднее, так как обработка повести о походе Игоря Святославича в 1185 г. хранит следы свежей памяти о несчастных событиях Иго-

рева поражения. Время включения «Летописца» Переяславля Русского в летописание Ольговичей определяется последней записью в нем, касающейся вокняжения Игоря Святославича в Чернигове в 1198 г. Таким образом, «Летописец» Переяславля Русского был включен в состав летописания Ольговичей между 1187 и 1198 гг. Предполагаем, что вокняжение Игоря Святославича в Чернигове побудило его озаботиться составлением не личного княжеского летописца, а обширного общерусского летописного свода, куда вошли «Летописцы» Святослава Ольговича (отца Игоря), Олега Святославича (брата Игоря), Святослава Всеволодовича Киевского, житие Игоря Ольговича, повесть о походе Игоря Святославича 1185 г. и, главное, — «Летопись» Переяславля Русского (Летописец Владимира Глебовича). Тем самым опровергается мнение М. Д. Приселкова о том, что «Летописец княжеский Переяславля Русского был взят в качестве одного из дополнительных источников при составлении того Киевского свода, который теперь составляет первую часть Ипатьевской Летописи»¹.

Если таков состав летописного свода Игоря Святославича, тогда нам станут ясными основные, ведущие идеи его, разительным образом совпадающие с общей политической практикой Игоря Святославича и Святослава Всеволодовича Киевского, клонившейся, в противоположность предшествующей политике Ольговичей, к активному наступлению против половцев и к примирению княжеской вражды. Какова же была политическая позиция Игоря Святославича?

* * *

В 1173—1180 гг. на Киевском столе попеременно, прогоняя друг друга, сидят: Рюрик Ростиславич, Ярослав Изяславич Луцкий, Святослав Всеволодович Чернигов-

¹ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 67.

ский, Роман Ростиславич, Святослав Всеволодович, Рюрик Ростиславич. С 70-х же гг. начинается новая волна половецких набегов — «рать без перерыва». Натиск половеццев разбивается об ответные наступательные походы русских князей. Однако после ряда поражений половцы объединяются под властью хана Кончака. Половецкие войска получают великолепную организацию и хорошее вооружение. В их армии появляются и катапульты, и баллисты, и «греческий» («живой») огонь, колоссальные передвигавшиеся «на возу высоком» луки-«самострелы», тетиву которых натягивало более 50-ти человек.

Под влиянием усилившихся в 70-е и 80-е гг. XII в. набегов половеццев идея необходимости объединения Руси вспыхнула с новой силой. Идеи единения находили себе дорогу к реальной политической жизни, несмотря на утрату единства экономических интересов, поддерживавших в XI в. объединительную политику Киева, несмотря на то, что углубление процесса феодализации привело к общей децентрализации когда-то единого Киевского государства.

В 80-х гг. XII в. возникает мираж объединения перед окончательным распадением Руси на ряд отдельных земель-княжеств, связь которых в единое целое фактически не могла уже осуществиться. На юге Руси состоялось соглашение Ростиславичей и Ольговичей. Святослав Всеволодович получает «старейшинство и Киев» и 13 лет сидит на Киевском столе в почетной роли слабосильного патриарха¹.

Новое соотношение сил принесло прежде всего перелом в политике Ольговичей, постоянно пользовавшихся половецкой помощью в своих походах на соседние русские княжества² и теперь ставших искать союза с Ростиславичами и Мономаховичами. В этом переломе политики Ольговичей значительную роль сыграл Игорь

¹ Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 1, 1938. С. 239.

² См. об этом подробно в работе В. В. Мавродина «Очерки истории Левобережной Украины» (Л., 1940. С. 210—211).

Святославич. В самом деле, еще в 1180 г. половцы деятельно помогали Игорю Святославичу Новгород-Северскому. Во время военного розмирья Святослава Всеволодовича Черниговского со Всеволодом Суздальским Игорь и брат его Ярослав оставались в Чернигове беречь его от Ростиславичей. Не видя ниоткуда нападения, Игорь и Ярослав сами решили напасть на смоленских князей и направились к Друцку, «поемше с собою Половце», на союзника Ростиславичей Глеба Рогволодовича. На помощь Игорю выступили Всеслав Василькович Полоцкий, Брячислав Витебский и др. «с толпами Ливов и Литвы». Так, вследствие союза полоцких князей с черниговскими, в одном стане очутились половцы вместе с Ливами и Литвою, варвары черноморские с варварами прибалтийскими¹. Однако на помощь Глебу явился Давид Смоленский со всеми полками, и обе стороны не решались напасть друг на друга. Только приход Святослава Всеволодовича позволил Ольговичам предпринять активные действия против своих врагов.

Вместе с тем и Рюрик двинулся из Киева в Белгород и отправил войско против Игоря Святославича, который со своими деятельными союзниками — половцами, ханами Кончаком и Кобяком — залег у Долобска. Половцы лежали, не сторожась, надеясь на свою силу и на Игорев полк. Результатом этого небрежения явилось их страшное поражение. Много половцев утонуло в Чарторые, другие были перебиты и пленены. В этой битве убили половецкого князя Козла Сотановича, Елтута, Кончакова брата, захватили в плен двух кончаковичей и Тотура, и Бякобу, и Кунячюка богатого, и Чюгая.

Игорь, видя поражение своих половцев, вскочил сам-друг с ханом Кончаком в ладью и успел уплыть на Городец к Чернигову. Поражение Игоря Святославича летописец рассматривает как поражение половцев: «И тако поможет Бог Руси, и возвратишася во свояси,

¹ Соловьев С. М. История России. Изд. 2-е. Т. 2, гл. 6. С. 531.

и приемше от Бога на поганья победу, и приехаша к Рюрикови с победою» (Ипат. лет., под 1180 г.)¹.

Одержав победу над союзными Ольговичам половцами во главе с их «вождем» Игорем Святославичем, Рюрик своеобразно воспользовался ее плодами. Он не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы удержать в своей власти Киев. Он оставил на великом княжении Киевском — Ольговича, Святослава Всеволодовича, а себе взял остальные города киевской области.

Киев был уступлен Рюриком Святославу на условиях, о которых мы можем лишь догадываться: Святослав целовал крест Рюрику о военном союзе против половцев — извечных союзников Ольговичей. «Рюрик же, — говорит летописец, — аче победу возма, нъ ничто же горда учини, но возлюби мира паче рати, ибо жити хотя в братолюбьи, паче же и хрестьян деля пленяемых по вся дни от поганых и пролитья крови их не хотя видити» (Ипат. лет., под 1180 г.).

Начиная с этого времени Святослав и Рюрик совместно организуют ряд степных походов на половцев. Резко меняет свои дружественные отношения к половцам на враждебные и Игорь Святославич. Святославу и Рюрику удается широко организовать союзные отношения русских князей в отпор усилившемуся нажиму степи. Вслед за союзом Святослава и Рюрика был заключен мир и со Всеволодом Большое Гнездо. Антиполовецкая политика Святослава и Рюрика примирила княжеские раздоры. Всеволод возвратил Святославу его сына Глеба,

¹ Как предполагает Лященко (Этюды о «Слове о Полку Игореве» // Изв. ОРЯС. Т. XXXI, 1926), именно в 1180 г. была условлена между Кончаком и Игорем свадьба сына Игоря Владимира на дочери Кончака. Вот почему еще в 1183 г. Кончак именуется «сватом» Игоря, хотя свадьба состоялась лишь в 1185 г. Свойством и дружбой с Кончаком, очевидно, объясняется та сравнительная свобода, которой пользовался Игорь в плену: «Волю ему даяхуть: где хочет, ту ездяшетъ и ястребом ловяшетъ, а своих слуг с 5 и с 6 с ним ездяшетъ; сторожеве же те слушахуть повеленое им. Попа же бяшетъ привел из Руси к собе, со святою службою» (Ипат. лет., под 1185 г.).

которого держал в заключении. Мир Мономаховичей и Ольговичей был закреплён брачными союзами: «Князь Киевський Святослав Всеволодичъ жени 2 сына, за Глеба поя Рюриковну, а за Мьстислава Ясыню из Володимеря Суждальского, Всеволожно свесть; бысть же брак велик» (Ипат. лет., под 1182 г.).

Таким образом, одно из условий, на котором Святослав Всеволодович получил великое княжение киевское, было обязательство активной политики против степных кочевников. Сам Святослав Всеволодович мог держаться в обессиленном и обедневшем Киеве, только примиряя интересы враждующих княжеств, и он деятельно служит общерусской оборонительной политике. Сразу же по своем вокняжении — в 1182 г. — он помогает Всеволоду Суздальскому идти на волжских болгар, говоря: «Дай Бог, брате и сыну, во дни нашемъ нам створити брань на поганья» (Ипат. лет., под 1182 г.).

Сам Игорь Святославич обращает всю свою неукротимую энергию против половцев, он рвет со своей прежней политикой, раскаивается в ней, объявляет себя врагом своих прежних союзников — хана Кобяка и хана Кончака. Вот почему ни один половец не заслужил в летописном своде Игоря Святославича таких отрицательных отзывов, как бывший союзник Игоря — хан Кончак, с которым он когда-то спасся в лодке.

Летописец Игоря Святославича говорит о нем в таких выражениях: «Того же лета, месяца августа, придоша иноплеменици на Рускую землю, безбожнии Измалтяне, оканьнии Агаряне, нечисти ищадья делом и нравом сотониным, именемъ Кончак, злу начальник правовернымъ крестьянъм, паче же всим церквам, идеже имя Божие славиться, сими же погаными хулиться, то не реку единемъ крестьяном, но и самому Богу врази: то аще кто любить врагы Божия, то сами что примуть от Бога? Сий же богостудный Кончак, со единомыслеными своими приехавше к Переяславлю, за грехы наша, много зла створи крестьяном, оних плениша, а иныи избиша, множайшия же избиша младенецъ» (Ипат. лет., под 1179 г.).

Вторично отрицательная характеристика Кончаку дана в «Летописце Игоря Святославича» под 1184 г., когда «оканьный и безбожный и треклятый Кончак» отправляется походом на Русь.

Вот почему и сам Игорь Святославич, знаменуя перелом в своей политике, каялся — и предавал свое покаяние обнародованию в своем «Летописце». В описании похода Игоря Святославича 1185 г. автор вкладывает в уста Игоря покаянный счет своих княжеских преступлений, поражающий нас своею необычайною смелостью: «помянух аз грехы своя пред Господемь Богом моим, яко много убийство, кровопролитие створих в земле крестьяньстей, яко же бо аз не пощадох хрестьян, но взях на щит город Глебов у Переяслава; тогда бо не мало зло подьяша безвиньнии хрестьяни, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своя, и все смятено пленом и скорбью тогда бывшую, живии мертвым завидять, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнемь от жизни сея искушение приемши... и та вся сотворив аз, рече Игорьь...» и т. д. (Ипат. лет., под 1185 г.).

Вторично кается Игорь, находясь в плену у хана Кончака: «аз по достоянью моему восприях победу от повеленья твоего, владыко Господи, а не поганьская дерзость обломи силу раб твоих; не жаль ми есть за свою злобу прияти нужная вся, их же есть приял аз» (Ипат. лет., под 1185 г.). Вернувшись из половецкого плена, Игорь не мог занять позицию безупречного героя. Он полностью признает свою вину. Настроение покаяния, раскаяния — по существу политического, но облеченного в приличествующие религиозные формы, выдвижение новых, надындивидуальных политических идей — было естественным следствием того неловкого положения, в которое попал Игорь по возвращении из плена. Эта позиция Игоря целиком отвечала интересам Святослава Киевского, пытавшегося неоднократно сколотить коалицию русских князей для отпора половцам.

Именно это же могло быть причиной «разрешения» со стороны Игоря на написание «Слова о полку Игореве» и летописной повести о своем несчастном походе.

Отсюда понятны также и многие особенности летописного свода Игоря Святославича. Понятно, почему он привлек летописца Владимира Глебовича, внимательно описавшего взаимоотношения русских и половцев, степные походы русских. Понятен и тот повышенный интерес, который выказывает летописец Игоря к военным операциям против степи и пересматривает всю политику Ольговичей, удаляя из предшествующего летописания Ольговичей следы дружественного отношения к половцам и подчеркивая миролюбие Ольговичей в междукняжеских походах.

Вся русская история рассматривалась в «Летописце Игоря Святославича» как борьба с безбожными «агарянами» — половцами. Вот почему под 1187 г. летописец Игоря дает описание взятия «агарянами» Иерусалима, связывая его с общей борьбой европейских народов со степными народами-язычниками.

Так же, как и поражению Игоря, взятию Иерусалима предшествовало затмение: «тма бысть по всей земле, яко же дивитися всим человеком, солнце бо погибе, а небо погоре облакы огнезарными. Таковая бо знамения не на добро бывають, в той бо день месяца взят бысть Ерусалим безбожными Срацины» (Ипат. лет., под 1187 г.). Летописец говорит дальше о том, что предвестие несчастья касается только той земли, где затмение видно. Затмение 1187 г. было видно в Галиче, но не было видно в Киевской стороне. И сразу же после рассуждений о затмении летописец сообщает о смерти галицкого князя Ярослава (Осмомысла в «Слове о полку Игореве»). Это рассуждение летописца невольно наводит на сопоставление с рассказом «Слова о полку Игореве» о затмении перед походом Игоря: солнце тьмою заслоняет от Игоря воинов его, грозя гибелью им, а не Игорю.

Но пленение Иерусалима, вызывая летописца на мировые сопоставления, подчеркивая всеобщность наступления язычников на тесный мир христиан, не обез-

надеживает его. Как «исповедають» книги Царств, Бог в свое время возвратил из плена скрижали Завета и «Богоотець Давыд веселія исполнися, скакаше играя». Вот почему и нам, «укореным сущим» и принимающим позор от беззаконных тех Агарян, следует чаять «Божия благодати и лика преславна». Это рассуждение летописца Игоря опять-таки намекает на поражение русских в 1185 г., на пленение Игоря и на счастливое возвращение его из плена, когда ему ярко светило солнце.

Итак, в центре внимания «Летописца Игоря Святославича» стояла общерусская борьба с половцами. Именно поэтому «Летописец» Игоря включил в свой состав Летопись Переяславля Русского, внимательно следившую за всей историей русско-половецких отношений. Поход Игоря Святославича 1185 г., в котором участвовали войска Владимира Глебовича Переяславского¹, исконного врага черниговских князей, создает почву для привлечения его летописца к летописанию Игоря Святославича. Это Летописание Переяславля Русского было переработано, как мы видели выше, «Летописцем Игоря Святославича» в духе примирения Ольговичей и Мономаховичей. Идейное обоснование необходимости этого примирения составляет

¹ Приселков М. Д. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. Ю. А. Лимонов в книге «Летописание Владимир-Суздальской Руси» (Л., 1967. С. 12) ставит под сомнение мое утверждение, что в основе летописного рассказа о походе 1185 г. Ипатьевской и Лаврентьевской летописей, то есть «Летописца Игоря Святославича», лежит изложение Переяславской летописи. Ю. А. Лимонов ссылается на исследование А. Н. Насонова «Об отношении летописания Переяславля Русского к киевскому (XII век)» / (Проблемы источниковедения. Т. 8. М., 1959. С. 471), где якобы утверждается, что в статьях 60—80-х гг. XII в. Лаврентьевской летописи лежит киевский источник, но до 1157 г.

Однако в последующем повесть 1169 г. о подвиге Михалки и повесть 1186 г. о походе Игоря А. Н. Насонов как раз также считает переяславскими. С этой ошибкой в изложении взглядов А. Н. Насонова вслед за Ю. А. Лимоновым в целом соглашается и Б. А. Рыбаков (Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 14).

замечательную особенность «Летописца» Игоря. Именно ради этого в «Летописец» Игоря к черниговской «повести об убиении» Игоря была, по-видимому, присоединена переяславская версия повести об убийстве в Киеве Игоря Ольговича, чья кровь, павшая на Киевского князя, мешала примирению двух основных враждующих княжеских группировок: Мономаховичей и черниговских Ольговичей. Эта переяславская «Повесть об убиении» Игоря Ольговича, составленная при дворе переяславского епископа Ефимия, заинтересованного в примирении Изяслава Мстиславича и Святослава Ольговича, стремилась изобразить убийство Игоря Ольговича как несчастный случай, как дело рук киевской толпы, совершившей его вразрез с желаниями Изяслава. Как рассказывает повествователь, брат Изяслава — Владимир собственным телом прикрыв Игоря Ольговича, принимая на себя удары убийц. Сам Изяслав безутешно плачет «по Игорю»; дружина утешает его и свидетельствует его очевидную непричастность к преступлению.

Таким образом, создание Игорем Святославичем общерусского свода идет под знаком примирения враждующих князей Ольговичей, Ростиславичей, Мономаховичей и активизации борьбы на внешних границах Руси. Узкое летописание Ольговичей прерывает свой тип родового, личного, семейного летописания и пытается вернуться на широкую дорогу общерусского летописания.

* * *

Объединительные тенденции отразились не только в летописании Игоря Святославича. Именно в 80-х гг. XII в. летописание Владимира Залесского привлекает в свой состав известия летописей Переяславля Русского, стремясь расширить и превратить его в летописание общерусское¹. Именно в 70—80-х гг. новгородское

¹ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 64.

летописание использует какую-то киевскую летопись, стремясь охватить и события южной Руси¹.

Тенденции черниговского летописания Игоря Святославича совпадают, кроме того, с идейным содержанием составленного во второй половине XII в. в Чернигове «Слова похвального на перенесение мощей Бориса и Глеба»². Культ князей братьев Бориса и Глеба всегда был национальным общерусским культом, связанным с объединительными тенденциями русской жизни. В нем находили себе опору выступления против междоусобных распрей князей и печалования церкви о целостности Русской Земли. Активизация этого культа в Чернигове во второй половине XII в., думается нам, находится в неразрывной связи с новым направлением политики Ольговичей. На примере святых братьев черниговский епископ, автор «Слова похвального», изобличает междоусобия князей — своих современников.

Составитель «Слова похвального» скорбит о братоубийственных войнах современных ему князей, обличает их за призыв к себе на помощь половцев, возмущается нарушениями крестных целований. Автор — черниговец — ссылается в своем «Слове» на пример черниговского князя Давыда Святославича, который держал свое слово и переносил обиды, желая избегнуть междоусобиц. Именно поэтому прожил он долго — до 90 лет — и умер как святой: «Бог послал ангела в виде голубя за его душой».

Обращаясь к современным князьям, автор «Слова похвального» говорит им: «Вы же бо слова брату стерпети не можете и за малу обиду³ вражду смертоносную въздвижете, помощь приемлете от поганых на свою братью»⁴. Приведя в пример княжеское брато-

¹ Шахматов А. А. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв. С. 131.

² Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 339—343.

³ Ср. аналогичное выражение в «Слове о полку Игореве».

⁴ Памятники древней письменности. Т. XCVIII. С. 18.

любие Бориса и Глеба, автор обращается к своим современникам: «Сима поревнуйте, сею образ имейте, сима накажетесь»¹.

«Слово похвальное на перенесение мощей Бориса и Глеба» исключительно по резкости обличения и, конечно, не могло бы быть произнесено в Чернигове, если бы общие тенденции его не совпадали с идейными устремлениями Ольговичей черниговских.

* * *

Предшествующее изложение, думается нам, убедительно показывает, что автор «Слова о полку Игореве» выразил наиболее прогрессивные стороны идейного движения своего времени. Автор «Слова» находится не вне своей эпохи — он тесными идейными узами связан с передовыми устремлениями тогдашней политической мысли.

Замечательно, что ближе всего идеи «Слова о полку Игореве» подходят к той политической концепции, которая легла в основу летописного свода Игоря Святославича.

Из двух летописных версий о походе Игоря Святославича 1185 г. — Ипатьевской и Лаврентьевской — «Слово о полку Игореве» отражает ту версию, которая заключена в Ипатьевской летописи и через нее восходит к своду Игоря Святославича. Прежде всего и «Слово о полку Игореве», и Ипатьевская летопись одинаково ведут счет дням, дают общую хронологическую схему похода, резко отличную от версии Лаврентьевской летописи, основанную на рассказе летописца Владимира Глебовича и, по-видимому, более близкую к истине.

Анализируя хронологическую схему версии Лаврентьевской летописи, М. Д. Приселков пишет: «версия, изложенная в летописце Владимира Глебовича, правильна: 1 мая днем перешли Донец, 2 мая Игорь подошел к Осколу; 3 и 4 мая ждал Всеволода; 5 мая — победа

¹ Памятники древней письменности. Т. ХСVIII. С. 18.

Игоря; 6, 7, 8 мая — стояние на вежах; 8 мая войско Игоря было окружено; 9, 10 и 11-го шла перестрелка, а 12-го мая в воскресенье — поражение и гибель»¹.

Иное в Ипатьевской летописи: «По летописцу Игоря, прежде всего выходит, что никаких шести дней промедления (три дня веселия и три дня перестрелки), давших половцам время скопить силы для сокрушающего удара, не было, так как вся операция (и победа, и гибель) закончилась в три дня»². Отсюда в Ипатьевской летописи путаница и неясность датировки событий. Соединившись в пятницу, Игорь и Всеволод пошли к реке Сальнице, где узнали о близости половецких сил, и «черес ночь» на следующее утро, но снова в пятницу, встретились с половецкими полками.

Рядом остроумных соображений М. Д. Приселков доказывает, что датировки Лаврентьевской летописи ближе к истине. Ипатьевская летопись тенденциозно (добавим от себя — в пользу Ольговичей) искажала не только ход событий, но и расстановку половецких сил³.

Не было бы ничего удивительного, если бы «Слово о полку Игореве» совпадало с правильной версией похода Игоря, но совпадение хронологической схемы «Слова о полку Игореве» с неправильной и тенденциозной схемой Игорева «Летописца» неопровержимо доказывает, что автор «Слова о полку Игореве» вынужден был считаться с официальной черниговской версией несчастных событий похода 1185 г. «...Изложение автора „Слова“, — пишет М. Д. Приселков, — находится в явной связи с изложением обстоятельств этого похода в летописце Игоря, т. е. оба эти произведения защищают уже известную нам версию похода, исходившую от княжеского двора Игоря»⁴.

¹ Приселков М. Д. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. С. 119.

² Там же.

³ Там же. С. 119—120.

⁴ Там же. С. 119.

Можно предположить, что автор «Слова о полку Игореве» был хорошо знаком с летописью своего князя — Игоря Святославича. Он оперирует на основании этой летописи сведениями об Олеге Гореславиче. Как указывает М. Д. Приселков¹, автор «Слова» знал «Повесть временных лет» в значительном сокращении, что можно объяснить только тем, что в его руках находилась Черниговская летопись, где объем сведений, почерпнутых из «Повести временных лет», был далеко не полон. Отсюда, указывает М. Д. Приселков, такие неточные исторические сведения, как, например, известные слова автора «Слова о полку Игореве» о смерти Изяслава: «С тоя же Каялы Святоплъкъ полелея отца своего между угорьскими иноходьцы ко святей Софии к Киеву»². М. Д. Приселков предполагает ошибочным обычное натянутое толкование «отца своего» в смысле «своего тестя» и считает вероятным, что автор «Слова» знал рассказ о сражении 1078 г., в котором погиб Изяслав, как и всю «Повесть временных лет» в сокращении, где подробности погребения Изяслава, например, были опущены и изложены в «Слове» автором в своем собственном толковании на черниговский лад: всех князей Чернигова хоронили в главной церкви Чернигова, и отца хоронил старший сын; поэтому он заставляет Святополка погребать Изяслава в Софии, главной церкви Киева, не зная, что в Киеве не всех князей хоронили в главной церкви³.

Предполагая, что «Летописец Игоря Святославича» придерживался какой-то своей черниговской версии, М. Д. Приселков был недалек от истины, и здесь мы должны перейти к одной из самых важных частей нашей работы о «Летописном своде» Игоря Святославича. Дело в том, что ни М. Д. Приселков, ни его предшественники,

¹ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 52.

² Орлов А. С. «Слово о полку Игореве». С. 69.

³ Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 52.

обратившие внимание на несоответствие этого места «Слова о полку Игореве» обычному тексту «Повести временных лет», как он читается в Лаврентьевской и Ипатьевской летописи, — М. Максимович¹, А. С. Орлов², Н. К. Гудзий, В. Ф. Ржиги и С. К. Шамбинаго³, Г. Шторм⁴, А. К. Югов⁵ и др. — не обратили внимание на новгородскую версию похорон Изяслава именно в храме Софии в Киеве. На эту новгородскую версию обратил мое внимание в частном письме артист Московского Художественного театра Иван Михайлович Кудрявцев. Это наблюдение Ив. М. Кудрявцева показалось мне настолько важным, что я опубликовал письмо в виде отдельной заметки в 1949 г.⁷

В Софийской I летописи читается: «Того же лета убиен бысть Изяслав Ярославичь с Борисом Вячеславичем у града Чернигова ту же и воевода его побиша: привели бо бяше половцев на Русьскую Землю. И положиша Изяслава в святей Софии в Киеве, и бысть княжения его 24 лета». Сходный текст читается под тем же годом и в Новгородской V летописи. Ясно: текст «Слова о полку Игореве» в данном случае менять не следует, тем более что Изяслав погиб в той же битве, что и Борис Вячеславич, о котором говорится в «Слове» — он погиб в одной битве с Борисом Вячеславичем, и, как выясняется по летописям

¹ Максимович М. Песнь о полку Игореве, переведенная на украинское наречие Михайлом Максимовичем. Киев, 1857. С. VII.

² Орлов А. С. «Слово о полку Игореве», 1946. С. 107.

³ «Слово о полку Игореве» / Под ред. Н. К. Гудзия. Л.: Сов. писатель, 1938. С. 342—343.

⁴ Комментарии к тексту «Слова» В. Ф. Ржиги и С. К. Шамбинаго / В кн.: «Слово о полку Игореве». Л.: Academia, 1934. С. 267—268.

⁵ «Слово о полку Игореве» / Вступ. статья и примеч. Г. Шторма. М.: Детгиз, 1934. С. 76.

⁶ «Слово о полку Игореве» / Перевод и примеч. А. Югова М., 1945. С. 128.

⁷ Кудрявцев Ив. М. Заметка к тексту «С той же Каялы Святоплькъ...» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 407—409.

Новгорода, обвинен был ими в том, что он навел на Русскую Землю половцев (это и объясняет то, почему смерть Бориса Вячеславича в «Слове» считается «судом Божиим» над ним).

В «Слове о полку Игореве» есть и еще одно место, которое, очевидно, может быть объяснено только исходя из того, что история XI в. была известна автору «Слова» по новгородскому летописному источнику. Коснемся этого места подробно.

Выше мы уже видели, что, по «Слову», Всеслав Полоцкий бежит из Белгорода, скрывшись от киевлян в «синей мгле», что совпадает со сведениями «Повести временных лет», где он также бежит «утаився» от киевлян «бывши ночи». Следующая затем фраза «Слова» не может быть объяснена из обычного «киевского» текста «Повести временных лет»: «утрѣ же вазнистри кусы» (по Екатерининской копии и сходно в первом издании). Общепринятое в настоящее время понимание «утрѣ же вазни с три кусы» (то есть схватил, добыл удачу с трех попыток) в связи с последующим «отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу» находится в противоречии с текстом «Повести временных лет»: Всеслав, согласно киевскому тексту «Повести временных лет», бежал из Белгорода в Полоцк, в Новгороде же появился за полтора-два года перед тем.

Разгадка этого странного для автора «Слова» анахронизма заключается в том же самом тексте Софийской I летописи (и сходных с нею), в котором Ив. М. Кудрявцев нашел текст, оправдавший рассказ о похоронах Изяслава у святой Софии в Киеве.

В Софийской I, в Новгородской I младшего извода в результате дублирования известий, получившегося от соединения новгородских летописей и киевской «Повести временных лет» с различной хронологической сетью, Всеслав трижды появляется в Новгороде и один раз (последний), именно в 1069 г., после бегства его из Киева. Это означает, что сведения о бегстве Всеслава к Новгороду были получены автором «Слова» из летописи с новгородской традицией.

Не может быть сомнений в том, что в основе летописи отца Игоря Святославича черниговского князя Святослава Ольговича лежало новгородское летописание, а следовательно, и текст XI в., близкий к Начальному летописному своду, которым, как основательно было предположено А. А. Шахматовым, начинались новгородские летописи.

В самом деле, отец Игоря князь Святослав Ольгович был дважды новгородским князем и был женат на новгородке. Вот эти новгородские летописные тексты о княжении отца Игоря в Новгороде: «В то же лето (1136) приде Новугороду князь Святослав Ольговиць и Щернигова, от брата Всеволодка, месяца июля в 19, прежде 14 каланда августа, в неделю (в воскресенье.— Д. Л.), на сбор (собор.— Д. Л.) святые Еуфимие, в 3 час дне, а луне небесней в 19 день. Том же лете, наставъшю индикта 15, убиша Гюргя Жирославиця и с моста съвергоша, месяца септября. В то же лето святиша церковь святого Николы великим священием в 5 декабря. В то же лето оженися Святослав Олговиць Новегороде, и венцяся своими попы у святого Николы; а Нифонт (архиепископ Новгорода.— Д. Л.) его не венця, ни попом на сватбу, ни церенцем дасть, глаголя: „не достоить ея пояти“. В то же лето стрелиша князя милостници Всеволожи, нъ жив бысть»¹.

Обратим внимание на два обстоятельства в этом известии. Во-первых, вокняжение в Новгороде Святослава Ольговича отмечено в летописи с неслыханной точностью², указывающей на то, что этому вокняжению летописец придавал особое значение. Возникает вопрос — не тут ли уже, в Новгороде, началось княжеское лето-

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 24.

² Точные даты могли быть исчислены известным новгородским математиком и автором канонических «Вопрошаний» Кириком, как раз в это время работавшим в Новгороде (его «Вопрошания» обращены к Нифонту — новгородскому архиепископу, противнику Святослава).

писание Святослава? А во-вторых, в летописи указано, что Святослав женился на новгородке и, очевидно, простой по своему происхождению, раз архиепископ Нифонт отказался ее признать и объявил, что Святослав «не достоин ее пояти». Отсюда следует, что мать Игоря Святославича была новгородкой и при этом простого происхождения (не княжеского, во всяком случае).

Следующий год правления Святослава Ольговича в Новгороде ознаменовался бурными событиями. Партия изгнанного из Новгорода князя Всеволода, покровительствуемого епископом Нифонтом, восстала против Святослава Ольговича. Святославу удалось подавить восстание и даже собрать войско против вокняжившегося в Новгороде противника своего Всеволода, но, несмотря на помощь половцев, выгнать Всеволода из Пскова, где этот последний был впоследствии объявлен святым, ему не удалось, а вскоре, в 1138 г., Святослав был изгнан из Новгорода: «В то же лето выгнаша Святослава, сына Ольгова, из Новгорода, месяца априля 17 в неделю 3 по пасце, седевьше 2 лета бес трии месяць».

Изгнанного из Новгорода Святослава Ольговича тотчас же ждали новые неприятности. Его разлучили с женой новгородкой: «И Святославлюю (жену.— Д. Л.) прияше Новегороде с лучшими мужи, а самого Святослава яша по пути смолянне и стрежахуть его на Смядыне в монастыри, якоже и жену его Новегороде у святое Варвары в монастыри, жидуше оправы Яропѣлку с Всеволодкомъ». В следующем году новгородцы снова послали за Святославом Ольговичем и даже присягали ему — «заходивъше роте»: «и бе мятежь Новегороде, а Святослав дълго не бяше. В то же лето въниде князь Святослав Олговиць Новугороду и седе на столе месяца декабря в 25». Святославу Ольговичу пришлось бежать «отай в ноць», захватив с собой Якуна, но Якуна схватили, сбросили с моста в Волхов, а затем, взяв с него 100 гривен «заточиша в Чюдь» (Чюдь, страна чуди — предков эстонцев.— Д. Л.) с братом его, заковав его в цепи.

В Комиссионном списке Новгородской I летописи есть сведения о том, что после первого двухгодичного сидения Святослава Ольговича в Новгороде он через полтора года снова был призван в Новгород: «и введоша Святослава, сына Ольгова, опять. И ть седив год и бежа из города».

Как видим, правления Святослава в Новгороде были бурными и недолгими. Однако Святослав был тесно связан с Новгородом через жену — мать Игоря Святославича, имел в Новгороде отношение к летописанию, и летописный свод Святослава, легший в основание свода его сына Игоря, и имел, очевидно, в начале своем летописание XI в. в новгородской версии, где говорилось о похоронах Изяслава именно в киевском храме Софии, а не в Десятинной церкви, как в киевской «Повести временных лет».

В связи с этим особую важность приобретают и другие новгородские черты в «Слове о полку Игореве». К новгородской летописи близка, в частности, формулировка полноты поражения по дешевизне рабов-пленников. Так, в «Сказании о знамении святей Богородици» о поражении суздальцев у стен Новгорода в 1169 г. для изображения тяжести этого поражения суздальцев сказано: «и продаваху суздальца по две ногате». Именно это определение имеется в «Слове» в отношении Всеволода Суздальского: если бы ты был на юге и поблюл бы отень злат стол киевский, «то была бы чага по ногатъ, а кощей по резанъ». Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в этом сюжете применяется новгородская денежная система: ногата и резана.

Другая новгородская денежная единица в «Слове о полку Игореве», исчезнувшая на юге Руси в XII в., — «бела», и она дана в «Слове» в составе летописной формулы, зарегистрированной в «Повести временных лет» под 859 г.: «емляху дань по бѣлѣ отъ двора». О новгородских денежных единицах В. Л. Янин пишет: «в новгородских письменных источниках термин „резана“ до-

живает до рубежа XIII—XIV вв.»¹. И в другом месте: «к числу новгородских денежных единиц, возникновение которых связано с перестройкой системы на основе счета на 7, несомненно принадлежит бела, хорошо известная в актах и нарративных источниках с начала XI в. В одних только новгородских пергаменных актах XIV—XV вв. она встречается не менее 50 раз»: В. Л. Янин предполагает, что упоминание «белы» в «Слове о полку Игореве» — результат заимствования из поздней редакции «Повести временных лет»². Проще предположить, что это просто новгородская черта в «Слове».

Далее. В «Слове» есть одно загадочное название народности — «готы» — в его производном «готския дѣвы». Обычно считается, что это «готы тетракситы», населявшие северный берег Черного моря³. В русских источниках древнейшего периода эти готы ни разу не упоминаются. Но говорится под 862 г. в «Повести временных лет» в перечислении северных народов: «Русь, Сvei, Урмане, Агяне и Гѣти». Постоянно упоминаются северные готы и в новгородских, и смоленских договорах XII—XIII вв. О северных готах и жителях острова Готланда, ведших торговлю с Новгородом, говорится и в других новгородских источниках. В самом же Новгороде был даже Готский двор с церковью святого Олафа⁴. Готы вели обширную торговлю с Новгородом и с Русью в целом. Если в «Слове о полку Игореве» имеются в виду готские девы северные, тогда понятно, что они «звонят русским золотом», ибо готы северные вели обширнейшую торговлю и упоминание золота было бы вполне уместно. Но с готами

¹ Янин В. Л. Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы XV в. / В кн.: Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 3. Л., 1970. С. 172.

² Там же. С. 167.

³ Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины. С. 267.

⁴ См. подробнее: Рыбина Н. А. Готский раскоп / В кн.: Археологическое изучение Новгорода. М., 1978. С. 197—226.

были не только торговые отношения, но и разногласия. Об одном из таких разногласий говорится под 1188 г. в Новгородской I летописи в той части Синодального списка, которая относится к XIII в.: «Въ то же лето рубоша новгородѹце Варязи на Гѣтѣхъ, Немѹце в Хоружьку и въ Новотържьце; а на весну не пустиша из Новагорода своихъ ни одного мужа за море, ни съла вѣдаша Варягомъ, нѣ пустиша я безъ мира»¹. Смысл этого известия до конца не ясен², но не подлежит сомнению, что под 1188 г. здесь отмечено какое-то серьезное размирие с готами и разрыв в торговых отношениях. Если перед известием о готских девах, «лелеющихъ мечь» против Руси, отмечены и немцы, под которыми могли пониматься только северные народы — германцы и шведы, которые «каютъ» князя Игоря и опять в какой-то неясной для нас, но, очевидно, понятной для современников связи с русским золотом («ту нѣмци и венецици, ту греци и морава поютъ славу Святѣславлю, каютъ князя Игоря, иже погрузи жир во дне Каялы — рѣкы половецкыя, — рускаго злата насыпаша»), то толкование готских дев как дев Готланда, готов северных, учитывая к тому же размах, который придан автором «Слова» всесветному отклику на поражение Игоря, становится вполне вероятным. В беседе со мной М. А. Салмина предположила, что в «Слове» под «временем бусовым» подразумевается время особого рода кораблей — «бусов». Бусы действительно упоминаются в новгородских и псковских летописях — по И. Срезневскому, от др.-сев. *bussa*, др.-англ. *buss*, дат. *boise*, нидерл. *buise*³. Это судно морское и, по-видимому,

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 39.

² Толкование этого неясного места см.: Сыром ятником в С. Н. Древлянский князь и варяжский вопрос. СПб., 1912. С. 10—13.

³ См. Срезневский И. И. (т. I, с. 194) со ссылкой на словарь Дюканжа. Толкование готских дев как дев северных гóтов см. в ст.: Салмина М. А. Из комментария к «Слову о полку Игореве» // ТОДРА. Т. XXXVI. Л., 1981. С. 228—229.

такое, на котором ходили в Новгород иностранные купцы¹.

Шарукан был разбит русскими князьями (среди них и новгородским князем Мстиславом Владимировичем) в битве 1106 г. Шарукан был дедом хана Кончака. Почему же готские девы «лелѣють мечь Шароканю»? В «Слове» поражению русских радуются разные народы в разных концах света, как и славу Руси поют разные народы во всем мире (Святославу поют «нѣмци и венедици», «греци и моравы»). Не удивительно, что к радости врагов Руси присоединяются и жители Готского берега (Готланда).

Если речь идет о Готском берегу и его размовке с Новгородом 1188 г., то почему все же упоминаются именно «девы»? Ответ на этот вопрос состоит, очевидно, в том, что в Древней Руси в хоровом пении участвовали только женщины и девицы по преимуществу. Оплакивают пением, поют славу в «Слове о полку Игореве» только девы и девицы. В миниатюрах Радзивиловской летописи в хорах, поющих славу князьям, участвуют также только женщины (л. 201, 207, 215, 220).

Предложенные соображения о новгородских чертах в «Слове о полку Игореве» не должны вести к каким-либо категорическим выводам об авторе и происхождении «Слова». Важно, что новгородские источники должны быть приняты во внимание при изучении «Слова». Следует также принять во внимание при изучении «Слова» и соображения о том, кто такие готские красные девы, особенно в свете того, что в древнейших русских источниках никаких готов на Черном море не упоминается. Если верно, что готские девы, поющие на бреге синего моря, — девы Готского берега и их враждебность к русским объясняется размовкой Новгорода с Готским берегом 1188 г., то создание «Слова» не может быть

¹ «Тогда же, на верьбницу приидоша Латина под Цесарьград в бусах» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под 1204 г., с. 246). Ср. под 1419 г. в той же Новгородской I летописи: «Того же лета, пришед Мурмане воиноу в 500 человек, бусах и в шнеках» (там же, с. 411).

отнесено ко времени ранее 1188 г., но не должно и слишком отступать от этой даты, так как вряд ли, кроме новгородских письменных источников, это сравнительно незначительное историческое событие могло на длительный срок запечатлеться в памяти.

Обратим внимание и на следующее: Новгород как город славы Ярослава также воспринимался лишь на севере. В южных источниках Новгород не воспринимался как город Ярославовой славы¹. Поэтому известие в «Слове» о том, что Всеслав, «отворив врата Новуграду» тем самым «разшибе славу Ярославу», также, очевидно, новгородское.

Таким образом, «Слово о полку Игореве» так же выражает политическую позицию черниговских Ольговичей, как и летописный свод Игоря. Отсюда понятно, почему «Слово о полку Игореве» подчеркивает, что поход Игоря 1185 г. — это поход Ольговичей («дремлет в поле Олегово храброе гнездо»), и замалчивает участие в походе войск Переяславля Русского. Отсюда понятно, почему «Слово о полку Игореве» обращается с упреком главным образом к Всеволоду Суздальскому. Отсюда понятна и роль в «Слове о полку Игореве» «золотого слова» самого Святослава Киевского как главного выразителя политики Ольговичей, стремившихся к созданию коалиции русских князей против половцев. Вот почему Святослав в своем «золотом слове» предлагает Всеволоду Большое Гнездо расстрелять особенно ненавидимого летописателем Игоря Кончака: «стрѣлай, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича». Вот почему, продолжая политическую программу Игорева «покаяния», автор «Слова» вспоминает события 1180 г., когда Игорь и Всеволод выступили во главе половцев против

¹ Как известно, «слава Ярослава» связывалась и в XV в. с новгородскими вольностями, «грамотами Ярослава» (по преданию, дарованными Новгороду Ярославом Мудрым) и с «Русской Правдой».

коалиции русских князей: «Тии бо два храбрая Святъславича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убудиста которою; ту бяше успил отецъ ихъ Святъславъ грозный великий киевский грозою». Вот почему, возможно, Игорь, по приезде в Киев, прежде всего едет к Пирогощей¹, заложной в 1130 г. Мстиславом Владимировичем, но освященной в 1136 г. Ярополком, приурочившим это событие к своему примирению с Ольговичами и положительно отмеченному в летописном своде Игоря. Вот почему версия похода Игоря Святославича, изложенная в Ипатьевской летописи и в «Слове о полку Игореве», совпадает в отдельных фактах, что отнюдь, однако, не должно свидетельствовать о том, что «Слово о полку Игореве» находилось под влиянием летописного рассказа о походе 1185 г.² Вот почему между «Словом о полку Игореве» и повествованием Ипатьевской летописи существует такое количество отдельных стилистических совпадений, что говорит опять-таки не о заимствовании и влиянии, а о существовании в Чернигове особой литературной школы, особой литературной манеры³. Вот почему, наконец, и летописец, и автор «Слова» в одинаковой мере могли пользоваться рассказами своего князя Игоря Святославича, отразить в своем изложении и личные переживания Игоря, и детали его пребывания в плену⁴.

Преобладает мнение, высказанное энергичнее всего Ждановым, что «Слово о полку Игореве» составлено киевлянином. Мнение это основывается главным образом на том, что «Слово» чаще всего говорит о Киеве, о Святославе Киевском и разделяет политические убеждения последнего.

¹ О «Пирогощей» см. с. 292—310 наст. изд.

² См. точку зрения Лященко в кн.: Этюды о «Слове о полку Игореве» / Изв. ОРЯС. Т. XXXI, 1926. С. 157.

³ См. там же, с. 152—153. Лященко приводит примеры стилистических совпадений для доказательства зависимости «Слова» от летописи.

⁴ См.: Лященко. Этюды о «Слове о полку Игореве». С. 157.

Учитывая связи и Игоря Святославича, и его отца Святослава Ольговича с Новгородом, можно понять и отдельные новгородские черты в «Слове», расхождение последнего с киевской версией событий XI в. (похороны Изяслава) и по-новому истолковать упоминаемых в «Слове» готов, их радость по поводу поражения Игоря. Наконец, становится понятным и упоминание новгородских денежных единиц.

Однако Святослав киевский был признанным вождем Ольговичей черниговских. Политику его целиком разделял Игорь Святославич, для которого Киев был символом политического единения Руси, «золотым столом» русских князей¹.

Сопоставление официальной точки зрения летописного свода Игоря Святославича и идейной стороны «Слова о полку Игореве» делает ясным, что «Слово о полку Игореве» — не случайное произведение, вызванное к жизни исключительно личным проникновенным патриотизмом ее автора, и не агитационное произведение, продиктованное извне², а гениальное воплощение наиболее передовых тенденций русской жизни, отразившихся в реальной политике Святослава и Игоря Святославича, в договорах Святослава киевского и Рюрика Ростиславича, в совместных походах Святослава и Рюрика на степь, в летописании Игоря Святославича

¹ Мы не уточняем здесь ряд сложных вопросов, связанных с временем и местом создания «Слова о полку Игореве», они не могут быть освещены, хотя бы и поверхностно, в настоящей главе — иной по теме.

² Ср., например, взгляд, высказанный М. Д. Приселковым: «Можно думать, что, когда просьба императора о помощи, обращенная к русским князьям зимою 1186—1187 г. в ожидании предстоящих грозных встреч с половцами весной и летом 1187 г., осталась без отклика, причем киевский князь ссылался при этом на „непосobie“ ему князей, „Слово“ могло быть использовано как агитационно-политическое средство, как призыв, рассчитанный на то, чтобы затронуть ратные струны князей и их дружинных кругов» (Приселков М. Д. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. С. 193).

и, наконец, в поразительной по смелости политической программе Игоря Святославича, нашедшего в себе мужество осудить свое прошлое, поместившего в своей официальной летописи декларацию-раскаяние и пересмотревшего русскую историю с точки зрения общерусского единства.

Существование «Летописца Игоря Святославича», вошедшего в состав Ипатьевской летописи, объясняет нам, почему рассказ Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича так обстоятелен, почему переданы в нем подробно слова Игоря к дружине, к конюшему, переговоры с половцем Лавором, почему в этом рассказе передаются мысли и сомнения Игоря, почему вошла в рассказ покаянная речь Игоря, которая могла быть известна только человеку, близкому к Игорю, которому Игорь рассказывал о ней (это был, очевидно, внутренний монолог).

Фактическая большая близость рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря к «Слову о полку Игореве» сравнительно с кратким рассказом Лаврентьевской летописи, отнюдь не сочувствующей Игорю, может объясняться тем, что автор летописи Игоря Святославича и автор «Слова о полку Игореве» — одно лицо. Это тот же самый «хоть» — любимый певец Игоря, который сочинил и «Слово». Но о типе княжеских певцов — одновременно их оруженосцев и близких к князьям лиц — в следующей главе этой книги.

Конечно, между рассказом «Летописца» Игоря Святославича и «Словом о полку Игореве» большое различие в стиле, но различие это — в жанре, а мы знаем, что в Древней Руси индивидуальный стиль автора перекрывался особенностями жанровых различий: Владимир Мономах мог соединить в одном произведении — в своем «Поучении» — произведения трех разных стилей: стиля поучений, стиля краткого летописца и стиля эпистолярного (его письмо к Олегу Святославичу). Все три стиля произведений, принадлежащих, несомненно, одному автору, глубоко различны.

К ВОПРОСУ О «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» КАК ИСТОРИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКЕ

Вопрос о «Слове» как историческом источнике решается иногда совершенно неудовлетворительно. Вопрос этот ставится так: можно ли использовать «Слово» как источник сведений по истории XII и предшествующих веков? Если в «Слове» имеется вымысел, художественная фантазия, то «Слово» объявляется неудовлетворительным историческим источником.

Но в таком представлении об историческом источнике сказывается элементарное непонимание того, что такое «исторический источник».

Ни одно произведение прежних веков не может быть объявлено «плохим историческим источником». Нет плохих исторических источников, есть только плохие источниковеды...

Суть дела в следующем. Каждое произведение прошлого является историческим источником в одном из двух отношений. Произведение (документ, историческое сочинение — летопись, например, художественное произведение и т. д.) прошлого есть: 1) источник сведений о прошлом (летопись сообщает, дает сведения о событиях) и 2) есть само произведение этого прошлого, есть «осколок» прошлого и в качестве такового является свидетельством ошибочных или недостаточных представлений, существовавших о прошлом, памятником общественной мысли прошлого, свидетельством об эстетическом уровне прошлого и т. д., и т. п.

Ни в том, ни в другом отношении ни один памятник прошлого не может быть использован непосредственно, без проверки. Даже документ (вкладная, купчая и пр.) требует источниковедческого анализа, в процессе которого выясняется степень его точности, которая *никогда* не является безусловной. Всегда и в любом источнике сказывается в какой-то степени его историческая огра-

ниченность, односторонность или даже то или иное искажение исторической действительности.

Не дает достоверных сведений, разумеется, ни один повествовательный источник. Как установлено исследованиями А. А. Шахматова (это, впрочем, ясно было историкам и до него), летопись не является объективным собранием сведений по русской истории. В той или иной степени она тенденциозна (хотя бы тем, что тенденциозно подбирает факты).

Утверждение поэтому, что художественное произведение в силу вторжения в его ткань вымысла не может быть историческим источником, в корне неправильно.

Что же дает нам «Слово» как исторический источник?

Конечно, из двух аспектов, в которых следует рассматривать «Слово» (памятник как свидетельство о прошлом и памятник как остаток этого прошлого), в «Слове» как историческом источнике наиболее ценен второй аспект, но и первый не должен сбрасываться со счетов.

В первом аспекте в «Слове» мы найдем сведения, которые при соответствующей проверке могут оказаться исключительно ценными. Дело в том, что летопись (основной источник для XII в.) отбирает в исторической действительности только определенный контингент фактов (события государственного значения: перемены на княжеском столе, походы, сведения о победах или поражениях, об общественных бедствиях стихийного характера и некоторые другие). «Слово» как памятник не летописного, а художественного характера может дать нам сведения, которые в летопись обычно не заносятся: о церемониях, оружии, княжеском быте, и — по событиям — о деталях бегства Игоря, о бытовой обстановке степного похода (птицы, сопровождающие войско, ночевка войска в степи, захват половецких веж и пр., и пр.). То, о чем летопись сообщает абстрактно, в «Слове» мы почти видим. Художественное произведение обладает особой «наглядностью». Оно дает нам сведения о природе степи XII в. (это хорошо показал в своих

статьях киевский природовед Н. В. Шарлемань). Оно дает любопытные сведения об оружии (об окраске щитов, например), о представлениях о воинской чести, о верованиях («Слово» — первоклассный исторический источник, единственный в своем роде, по древнерусскому язычеству XII в.) и пр. Наконец, сведения «Слова» о некоторых князьях, о которых нет сведений в летописях, также не могут быть сброшены со счетов. Отсутствие сведений о них в летописях еще не означает, что их не было или что сведения о них в будущем не найдутся в каких-либо особых источниках (венгерских или польских, например). Проверка сведений «Слова» летописью не всегда правомерна, ибо летопись сама может содержать, как уже указывалось мною, тенденциозное освещение событий, тенденциозную их подборку. Нет вообще исторического источника без какой-либо «тенденции», без отражения в нем однобоких или ограниченных представлений своего времени.

Но, разумеется, совершенно исключительно значение «Слова», как я уже указывал, во втором аспекте: «Слово» как *остаток* XII в. Как «остаток» «Слово» — свидетельство о культуре своего времени, о литературной изысканности, литературных приемах, об эстетических представлениях своего времени, о характере литературной фантазии, о фольклоре XII в. (при этом о разных его жанрах — исторических песнях, славах, плачах, поговорках, возможно даже о сказках, легендах и пр.). В частности, следует указать, что в «Слове» могли сохраниться какие-то предания или песни, восходящие к событиям даже IV в. Ведь сохраняются же в былинах XX в. имена киевского князя X в. Владимира, сохраняются же воспоминания о татарских набегах или в исторических песнях — события взятия Казани в XVI в. Поэтому присутствие в «Слове» имени антского князя Боза — факт возможный и любопытный. Любой остаток XII в. является историческим источником — и историческим источником первоклассного значения, поскольку от XII в. «остатков» чрезвычайно мало. Если «Слово» — «сплошное вранье»,

то и это, как ни парадоксально это звучит, представляет собой источник чрезвычайного значения: «вранье» — свидетельство психологии своего времени, свидетельство даже общественной мысли своего времени (ибо в каждом обмане есть своя тенденция: общественная или просто эстетическая).

Совершенно исключительно значение «Слова» как источника по истории общественной мысли XII в. В этом плане «Слово» совпадает со многими произведениями XII в. (и с некоторыми летописными источниками, а главным образом — со «Словом о князях»). Оно подтверждается ими, но оно гораздо глубже, шире и разностороннее свидетельствует об истории общественной мысли XII в. Есть в «Слове» частности, которые, однако, чрезвычайно важны, — например, о начавшемся в XII в. титуловании князей во Владимиро-Суздальской земле «господин». Это свидетельство о перемене отношения к княжеской власти (когда-то я об этом писал в «Трудах Отдела древнерусской литературы»).

Одно дело комментирование «Слова» в плане проверки точности сообщаемых им исторических сведений. Эта проверка может показать, что «Слово» не во всем «совпадает» с летописью. Но совсем другое дело — исследование «Слова» как исторического источника. Как исторический источник «Слово» — документ поразительного значения, и значения подкрепляемого, а не опровергаемого его художественностью.

Это только в XVIII в. могли думать, что если в источнике есть художественный вымысел, то с ним не стоит считаться. И вымысел, и все, что в памятнике необычно, что не может быть использовано чисто «потребительски», но что свидетельствует о сложности переработки фактов действительности, представляет исключительный исторический интерес.

В художественном произведении есть *прибавочная ценность*, которая выявляется путем скрупулезного научного, источниковедческого анализа. Есть два рода сведений: сведения, которые могут быть получены в

памятнике «из рук в руки» — из рук автора документа в руки историка (таких сведений, как показывает источниковедение, очень мало и с развитием источниковедения как науки становится все меньше), и есть сведения, которые добываются в памятнике путем изучения способов и приемов преломления в нем исторической действительности. В последнем плане любой памятник как *остаток* прошлого *неисчерпаем*. С совершенствованием методов источниковедения, с совершенствованием «смежных» источниковедению дисциплин, но которыми источниковедение «питается» и с помощью которых обогащается — таких, как литературоведение, искусствоведение, история культуры, история религии и пр., и пр., — «Слово» будет все ярче и ярче раскрываться как источник наших представлений о XII в. Так оно, в сущности, уже происходило и происходит, но будет происходить и в будущем. Мы не видим и не можем увидеть конца этого процесса, ибо никогда не можем поставить заключительную точку в нашей науке.

Как исторический источник «Слово» в силу своей необычности, нестандартности, в силу своей художественности, «фантастичности», в силу своего богатства, «наглядности» и многих, многих других сторон — один из самых (если не самый) интересных исторических источников XII в. и, во всяком случае, самых многообещающих.

В своей статье 1950 г. «Исторический и политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“» я пытался приподнять завесу над одной только стороной «Слова» как исторического источника: пытался показать, что дает «Слово» для изучения исторических представлений своего времени. В частности, я указал на одно важное обстоятельство: «Слово» пользуется для своих сведений по XI в. не только письменными источниками (несомненно, что автору «Слова» была знакома «Повесть временных лет»), но и устными — молвой, слухами, пользуется «репутациями» того или иного князя про-

шлого или князя-современника, пользуется фольклором — историческими песнями. Для меня в той статье 1950 г. до сих пор остается наиболее важным определенное мной обстоятельство, что народ в XII в. знал русскую историю, интересовался ею и, следовательно, жил не бездумно и не бездумно участвовал в политических событиях. Если бы на эту тему (тему «исторического и политического кругозора» автора «Слова») мне пришлось писать сейчас, я бы смог значительно расширить свои наблюдения. А ведь это только одна сторона проблемы «Слова» как исторического источника. Ведь история — это не только «князья и события», а и культура, быт, социальное устройство, общественная мысль, исторические знания, это материальная культура своего времени и духовная, даже русская природа XII в., отличавшаяся от нынешней. Изучать «Слово» как исторический источник можно только в совокупности всех предоставленных им сведений с указанием «пропорциональности» этих сведений, степени их трансформированности, а главное — «качественного» характера этой трансформированности. Ибо характер «искажения» сведений — это, может быть, одно из самых любопытных и важных исторических сведений, которые могут быть извлечены из памятника как *остатка истории*.



УСТНЫЕ ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «СЛОВА»

Истоки русской литературы — в дописьменной Руси. Своим необычайно быстрым ростом русская литература XI—XII вв. обязана прежде всего тому высокому уровню устного русского языка, на котором застаёт его появление и широкое распространение русской письменности.

Русский язык оказался способным выразить тонкости отвлеченной мысли, передать сложное историческое содержание всемирной и русской истории, ответить нуждам нового для Руси, но уже достаточно старого христианского культа, воплотить в себе изощренное ораторское искусство церковных проповедников, воспринять в переводах лучшие произведения европейской средневековой литературы. И это произошло потому, что созданию письменного литературного языка, в основу которого лег язык староболгарский, предшествовал устный литературный язык — язык устной литературы, содержание которой не покрывалось одним только фольклором.

В самом деле, общественный уклад древнерусской жизни способствовал развитию устной речи в ее самых разнообразных формах. Еще в период, предшествующий феодализации русского государства, общественный быт требовал постоянных устных выступлений: на вече, на сходках старейшин, при переговорах между племенами или с иноземными государствами, на пиршественных собраниях, столь типичных для дофеодального быта, на похоронах и тризнах. С краткими и энергичными речами обращались князья и воеводы к своим воинам перед выступлениями в поход или перед началом битвы, подавая им «дерзость» и побуждая к стойкости. Вот, например, известные речи князя Святослава Игоревича к своим дружинникам: «уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино» («Повесть временных лет», под 971 г.); «уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посраим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имам...» и т. д. (там же). Эти речи Святослава в известной мере связаны со всей традицией русского воинского ораторского искусства. «Аще жив буду, (то) с ними, аще погыну, то с дружиною», — говорит Вышата своей дружине («Повесть временных лет», под 1043 г.). «Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети», — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами («Повесть временных лет», под 1068 г.). «Да любо налезу собе

славу, а любо голову свою сложю за Рускую землю», — говорит Василько Теревольский («Повесть временных лет», под 1097 г.). С такими же речами обращается к своей дружине и герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич Новгород-Северский перед битвой с половцами: «Братья! сего есмы искале, а потягнем» (Ипат. лет., под 1185 г.) или: «Оже побегнемь, утечемь сами, а черныя люди оставим, то от Бога ны будеть грех сих выдавше пойдемь; но или умрем, или живи будем на единомь месте» (там же).

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной воинской речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их «братьями», и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина. Но они поражают также стройностью и исключительным лаконизмом выражения.

По-видимому, яркой выразительностью отличались и речи, произносившиеся на пирах и тризнах. Пирьы были широко распространены в быту княжеском, церковном, купеческом и крестьянском. О погребальных тризнах упоминают Ибн-Фадлан и русская летопись в рассказе о третьей мести княгини Ольги древлянам. О полуязыческих трапезах роду и рожаницам упоминают списки тех исповедальных вопросов, которые священники обязаны были задавать на духу. Сохранилось немало свидетельств и о мирских братчинах городских и сельских общин. Наконец, летопись донесла до нас многочисленные свидетельства о пирах князей с их широким гостеприимством. Они устраивались и по поводу вокняжения нового князя, и по поводу построения новой церкви или монастырской стены, и по поводу военных побед, и при дипломатических свиданиях русских князей. На пирах этих произносились похвальные речи, провозглашались здравицы, произносились поучения «духовным отцом» за четвертой чашей. «Слово о богатом и убогом» говорит, что на пирах этих выступали «ласковьци, шпылиеве, пражьдньнословьцы, смехословьцы». Следов этого пиршественного ораторства до нас почти

не дошло, но о наличии его выразительно свидетельствует надпись на «круговой» серебряной чаре Владимира Давыдовича (1139—1151 г.): «А се чара кня(зя) Володимирова Давыдовича, кто из нее пь(ет) тому на здоровья, а хваля Бога своего и осподаря великого кня(зя)». Отзвуком такой хвалы князьям, может быть, является заключительная здравица в «Слове о полку Игореве»: «Солнце свѣтитя на небесѣ, Игорьъ князь в Руской земли. Дѣвици поють на Дунаи, выются голоси чрезь море до Киева. Игорьъ ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: Слава Игорю Святъславичю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганяя пльки! Княземъ слава а дружинѣ!»

Слава князьям провозглашалась не только на пирах. Ее пели победителю на улице или избранному князю на княжом дворе. Так было в 1068 г., когда киевляне, освободив Всеслава из поруба, «прославиша ѥ среде двора кнѣжа» («Повесть временных лет»). Так было в 1242 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища «поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу»¹. Так было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода Даниила Галицкого и его брата Василька: «и песнь славну пояху има, Богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великого Романа...» (Ипат. лет.).

Все эти формы устной речи были унаследованы Киевской Русью еще от периода патриархально-общинных отношений. В период раннего феодализма стихия устной ораторской речи получила еще ряд новых форм для своего развития — речи на княжеских сменах (съездах. — Д. Л.), крестоцеловальные речи на Любечском съезде 1097 г., на заседаниях Совета господ

¹ Житие Александра Невского в псковской редакции.

в Новгороде, при судопроизводстве и т. д. Наконец, в многочисленных переговорах князей между собой и в усилившихся сношениях с иноземными государствами развивалось искусство речи послов.

Влияние этой устной речи на литературу письменную не ограничивалось только исходными годами письменности. Оно было постоянным, крепло с годами, формировало язык письменности и служило неиссякаемым источником художественных образов, навыков простоты и лаконизма.

Сама устная речь не была неизменной. В XI—XII вв. в обиход общества входит густым потоком феодальная терминология. Развитие военного искусства сказывается на усложнении военной терминологии. Усложняются вопросы внутренней дипломатии, а с ними вместе усложняется и терминология, принятая в посольских переговорах. Развитие устного языка и письменного идет параллельно, оба влияют друг на друга, оба оказываются под всепоглощающим воздействием действительности, изменения форм общественной жизни.

Совершенно естественно, что влияние устной речи на письменную сказалось прежде всего на тех произведениях письменности, которые были посвящены русской действительности.

С особенной силой это воздействие устной речи сказалось в летописи. По летописи, главным образом, мы и можем судить об устной речи XI—XIII вв. В самом деле, именно летопись сберегла для нас многочисленные образцы устной речи XI—XIII вв. Этому способствовало особое отношение летописцев к тем элементам устной речи, которые они включали в свои записи.

Древняя русская письменность XI—XIII вв. почти не знает косвенной речи. Слова действующих лиц повествования, за редкими исключениями, передаются в форме прямой речи. Следовательно, место, занимаемое прямой речью в древнерусском повествовании, уже в силу одного этого должно было быть и больше, и значительнее, чем впоследствии. Это не значит, однако,

что, стесненный грамматическими трудностями, древнерусский автор пользовался прямой речью вместо косвенной, не задумываясь над особенностями прямой (устной) речи как таковой. Ощущение «документальности» приводимой прямой речи было у древнерусского автора весьма отчетливым. Это в особенности касается древнерусского летописца. И к предшествующему тексту летописи, который летописец использовал в своем летописном своде, и к самой действительности, которую он описывал, летописец относился как к документу. Ни произвольных добавлений в фактическую часть летописного рассказа, ни необоснованных утверждений летописцы, работавшие в XI — первой половине XV вв., как правило, не допускали¹.

И это, в особенности, относилось к прямой речи. Воспроизводя прямую речь, летописец стремился более или менее точно передать ее на основе предшествующей летописи, на основании того фольклорного произведения, содержание которого он излагает в летописи, или так, как она была произнесена или могла быть произнесена в действительности. Летописец стремился к точному воспроизведению действительности, почти не прибегая к помощи фантазии и домыслов.

Вот почему в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:

1. Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.

2. С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи².

¹ См. подробнее: Лихачев Д. О летописном периоде русской историографии // Вопросы истории. 1948. № 9. С. 28 и след.

² О фольклорном диалоге в летописи см.: Лихачев Д. С. Русские летописи. Л., 1947. С. 132 и след.

3. Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (например, «Сказания о Борисе и Глебе»); в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов — они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи — и служат религиозно-нравственным целям.

Чисто литературные функции прямой речи, употребленной, скажем, для оживления действия, для характеристики действующего лица, для раскрытия его намерений и т. п., были неизвестны летописцам до конца XV в. Вернее, летописцы чуждались именно такого использования прямой речи, так как это внесло бы в их «своды» элемент вымысла¹. Это не значит, конечно, что в произведениях древнерусских летописцев не было вымысла: летописец был чужд подлинного реализма, принимая за реально бывшее рассказы о чудесах, знамениях, явлениях и т. п. Но этот вымысел не вводился им в свои летописи сознательно, — летописец верил в существование в прошлом всего того, что он рассказывал.

Вот почему в летописи прямая речь по большей части занимает одно из центральных мест. Если прямая речь внесена в летопись не из другого книжного или фольклорного произведения, а записана в ней самим летописцем, то она всегда значительна по содержанию. Приводимые слова по большей части исторически важны. Их произносят не безымянные лица, а лица исторические. Слова эти важны как часть самой действительности. Они не подчинены литературным функциям, они вводятся не для «оживления» повествования, не для его «торможения», не для раскрытия мыслей и намерений действующих лиц, а потому, что они важны по своему историческому содержанию. Элемент «сочиненности» сведен в летописи до минимума. Летопись — прежде

¹ Об отрицательном отношении летописцев ко всякого рода вымыслам см. мою статью «О летописном периоде русской историографии».

всего историческое произведение, и прямая речь в ней также исторична и документальна.

Вот почему в летописи прямая речь резко отличается в лексическом отношении и в своей художественной манере от остальной, чисто повествовательной части летописи. В первой — летописец зависит по преимуществу от самой устной речи, которую он и стремился воспроизвести во всей ее неприкосновенности. Во второй — влияния чисто книжные гораздо сильнее.

Этим обстоятельством обуславливается особенная ценность показаний прямой речи летописи (но преимущественно той, которая записана летописцем, а не привнесена им из фольклора или из произведений житийных) для установления особенностей устной речи своего времени и ее культуры.

В самом деле, вот перед нами новгородская «Повесть о взятии Царьграда фрягами», включенная в Новгородскую первую летопись под 1204 г. Повесть эта, как уже отмечалось в научной литературе, написана очевидцем царьградских событий 1204 г.¹ Она написана точно и реально, но само собой разумеется, что греческая прямая речь действующих лиц не могла быть в ней записана с абсолютной точностью. Она передана в русском переводе — по смыслу. Любопытно, однако, что эта передача по смыслу сделана в формах устной русской речи.

Составитель «Повести о взятии Царьграда фрягами» живо отличает особенности устной речи от письменной и переводит греческую устную речь в типичных формах устной же речи. Живое ощущение устной речи не изменяет ему и здесь. Вот, например, типичные для русского воинского ораторства слова фрягов: «да лучше ны есть умерети у Царяграда, нежели с срамомь отъйти» (Новг. I лет., под 1204 г.). Вот почему и в других случаях в летописи прямая речь постоянно соответствует

¹ История русской литературы. Т. 1. М.; Л., 1941. С. 303 (автор раздела об этой повести — В. П. Адрианова-Перетц).

традициям устной речи, а не письменной — вне зависимости от того, передает ли она действительно произнесенные речи или только те, которые по предположениям летописца должны были быть произнесены.

* * *

Отношение к прямой речи как к своего рода документу, как к чему-то реально произнесенному и значительному в своей историчности позволило частично сохранить в этой прямой речи летописи образную, художественную систему устной речи, которой в собственном книжном изложении, в изложении от своего лица, летописец очень часто чуждался как простой, «некнижной». В самом деле, летописец опасался вводить в изложение от своего лица художественные приемы речи устной, делал это в ограниченных размерах, с разбором и выбором. Характерна в этом отношении оговорка, с помощью которой вводится им в летопись один из образов устной, обыденной речи. Летописец пишет: «В то же лето бысть буря велика, ака же не была николи же, около Котелнича, и разноси хоромы и товар и клети и жито из гумен, и спроста рещи яко рать взяла» (Ипат. лет., под 1143 г.). Следовательно, введение образа из устной речи в изложение от своего лица иногда вызывало даже в летописце необходимость оговорки, своеобразного извинения перед читателем. Образ устной речи отчетливо осознавался как «некнижный», «простой». Совсем иное отношение у летописца к подобного рода образам, когда он передает их в чужой речи — в прямой речи действующих лиц его повествования. Прямая речь снимает как бы с него ответственность за ее «простоту», которую он по книжной средневековой традиции считал предосудительной. Это — документ, и здесь можно сохранять, следовательно, все особенности прямой речи во всей их неприкосновенности. И действительно, в прямой речи действующих лиц летописного повествования мы встречаем удивительное богатство творческой фантазии самого народа, ничем не сдерживаемый

поток образной, лаконичной и удивительно выразительной живой устной русской речи. Повторяем: и в лексическом, и в грамматическом, а главное — в стилистическом отношении прямая речь в летописи резко отлична от всего остального повествования летописца.

Приведем несколько примеров образной устной речи, отраженной в летописи. Прямая речь насыщена сравнениями. Вот, например, сравнение неумолимо надвигающейся вражеской рати с падающим деревом: «И реша пружи ятвязем: „Можете ли древо поддръжати сулицами, и на сию рать деръзнуги“?» (Ипат. лет., под 1252 г.). Или вот сравнение далеко зашедшей в чужие пределы рати с рыбами, оказавшимися на суше. Юрий Всеволодович говорит через послов Мстиславу Удалому перед Липицкой битвой: «Мира не хотим, а мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо» (Новг. I лет., по Синод. сп., под 1216 г.).

Особенно часто встречается в прямой речи метонимия. Ею буквально насыщена прямая речь летописи. Рогнеда говорит Рогволоду, отказываясь выйти замуж за «робичича» Владимира: «Не хочу розуги робичича», разумея под «разуванием» — русский свадебный обряд, частью которого являлось разувание сапога мужа новообрачной; или известная метонимия из речи Вячеслава Киевского: «Аз уже бородат, а ты ся еси родил» (Ипат. лет., под 1151 г.).

Часть метонимий постоянно повторяется в летописи, различаясь лишь употреблением. Такова, например, метонимия «голова» вместо «человек»: «не идеть место к голове, но голова к месту» (Ипат. лет., под 1151 г.); «а нам лучьше в чюжую голову, нежели в свою» (Ипат. лет., под 1169 г.); «зане сын твой ловить головы мояя всегда» (Ипат. лет., под 1169 г.); «а он головы твояя ловить» (Лавр. лет., под 1177 г.); «добыл есми головою своею Киева и Переяславля» (Ипат. лет., под 1148 г.).

Такова же метонимия «ножь» или «мечь» вместо «война», «усобица», «военные действия». Ср., например, слова, переданные Мономахом Давыду и Олегу Свя-

тославичам по поводу ослепления Василька Теребовльского: «Поидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьской земли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь» (Лавр. лет., под 1097 г.). Это выражение подхватывают Олег и Давыд, посылая к Святополку Изяславичу: «Что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны» (Лавр. лет., под 1097 г.). Вместо слова «ножь» в Тверском сборнике здесь стоит «мечь».

На метонимии же построена и большая часть терминов военных и феодальных: «рука» — власть, могущество; «стяг» — полк; «всесть на конь» — отправиться в поход и т. п.

Особенно оживляют устную речь неожиданные и смелые предположения, скрытая ирония, гиперболы.

Характерна в этом отношении речь Владимира Васильковича Волинского, которого мы можем охарактеризовать как большого мастера русской разговорной речи на основании того немногого, что нам сохранила из его речей летопись.

Вот что, например, говорит Владимир Василькович Мстиславу Даниловичу, начавшему еще до смерти Владимира распоряжаться его наследством: «Брате! ты мене ни на полуны ял, ни копьемь мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя есь, ратью пришед на мя, оже сяко чиниши надо мною». Дозволяя своей жене делать после своей смерти все, что ей заблагорассудится, Владимир Василькович так мотивирует это свое решение: «Мне не воставши (из гроба.— Д. Л.) смотреть, что кто иметь чинить по моему животе (то есть после моей смерти.— Д. Л.)». В ответ на просьбу Юрия Львовича дать ему в наследство Берестье умирающий Владимир Василькович вытащил из своей постели пук соломы, показал ее своему слуге Ратьше, которого посылал к Мстиславу Даниловичу, и произнес: «Хотя бых, ти, рци, брат мой, тот вехоть соломы дал, того не давай по моему животе никому же».

Конкретность и образность характерны и для речи

новгородцев. Когда Мстислав, изменив Новгороду, попытался затем в 1177 г. вернуться в Новгород, новгородцы сказали ему: «ударил еси пятою Новъгород... чему к нам идеши» (Лавр. лет., под 1177 г.). Когда Вячеслав, Изяслав и Ростислав выходили из Киева против Юрия Долгорукого, киевляне говорили им, собираясь выступить все вместе: «Ать же пойдут вси, како можетъ и хлуд (хлыст.— Д. Л.) в руди взяти; паки ли хто не поидеть, нам же и дай, ать мы сами побьемъ» (Ипат. лет., под 1151 г.).

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминавшейся формуле. Образность и пословичность отличает эти вечевые обращения. В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: «Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържем» (Новг. I лет., под 1214 г.).

Так же энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: «Даже буду виноват, да буду мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, Господи» (Новг. I лет., под 1218 г.).

Летопись донесла до нас много речей, произносившихся послами. По самому своему содержанию эти речи послов были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские и даже вечевые. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Однако чем сложнее были задачи, ставившиеся дипломатическому языку, тем более блестяще они разрешались.

Прежде всего поражает своеобразный образный лаконизм посольских речей: «Оже есте мой Городецъ пожгли и божницю, то я ся тому отъожгу противу»,—

говорит Юрий Долгорукий через послов Святославу Ольговичу (Ипат. лет., под 1152 г.). Юрий Всеволодович следующим образом формулировал свое требование, переданное через новгородских послов: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тьхверью, а еще Волховомь напою» (Новг. I лет., под 1224 г.).

Особенное значение в устной речи имела всегда выразительная антитеза: «Да аще (вам.— Д. Л.) любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо» («Повесть временных лет», под 1100 г.); «А поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы» (Ипат. лет., под 1148 г.); «Годно ти ся с ним (Юрием.— Д. Л.) умирити — умиришися, паки ли а рать зачнеши с ним» (Ипат. лет., под 1154 г.); «Аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же» (Лавр. лет., под 1186 г.) и т. д.

Не следует думать, что система художественных средств устной речи была каждый раз плодом индивидуальной изобретательности. В дальнейшем мы увидим, что она в сильнейшей степени зависела от самой действительности, от воинской, феодальной символики, и этим объясняется ее относительная устойчивость.

В Ипатьевской летописи сказано: «Всеволод же толма бившеся, яко и оружья в руку его не доста» — это говорится о Всеволоде буй туре, брате Игоря Святославича, в описании знаменитой битвы Игоря на реке Каяле (Ипат. лет., под 1185 г.).

Тот же художественный образ находим мы спустя столетие в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Еупатию тако их бьяше нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарскыя мечи и сечаша их» (цит. по сп. Волоколамск., ГБЛ, 526, XVI в.).

Привычка к конкретному мышлению сказывается во многих из «речей» летописи. «Брате! — говорит Мстислав Изяславич Владимиру Мстиславичу Дорогобужскому, — хрест еси целовал, а и еще ти ни уста не

осхла» (Ипат. лет., под 1169 г.). Сходный образ находим мы спустя сто лет в летописи Волынской уже не в прямой речи, а в повествовании самого летописца: «Лев же убоися того (угрозы татарского нашествия.— Д. Л.) велми, и еще бо ему не сошла оскомина Телебужины рати».

Устная речь оказывает постоянное воздействие на речь древнерусского автора. Она постепенно входит в письменность через прямую речь и остается в речи авторской. Замечательный пример тому — произведения Мономаха. «А Бога дея, — просит Владимир Мономах Олега Святославича, — пусти ю (вдову его сына Изяслава.— Д. Л.) ко мне вборзе с первым сломь, даже с нею кончав слезы, посажу на месте, и сядеть акы горлица на сусе древе желеючи...» (Лавр. лет., под 1096 г.). Или другой пример из тех же сочинений Мономаха: «И ехачом сквозе полкы половъчские, не в 100 дружине, и с детми и с женами. И облизахутся на нас акы волци стояще...» (Лавр. лет., под 1096 г.).

Влияние устной речи на произведения Владимира Мономаха сказывается не только в заимствовании из нее художественных образов, но и в самом построении фраз: «Дивно ли, оже мужь умерл в полку ти?»; «аще ли лжю, а Бог мя ведаеть и крест честный»; «оли то буду грех створил, оже на тя шед к Чернигову, поганых дея, а того ся каю» и т. п. «Поучение» Мономаха как бы рассчитано на произнесение вслух. Возможно, что Мономах его диктовал или, когда писал, представлял себя произносящим его.

Однако самый яркий пример связи языка письменности с устной речью дает «Слово о полку Игореве».

* * *

Образная устная русская речь XI—XII вв. во многом определила собой поэтическую систему «Слова о полку Игореве».

Нельзя думать, что между обыденной речью и речью

поэтической лежит непреодолимая преграда. Качественные различия обыденной речи и поэтической допускают все же переходы обыденной речи в поэтическую и не отменяют наличия художественной выразительности в речи обыденной, каждодневной, прозаической и деловой. По большей части эта художественная выразительность в обыденной речи служит подсобным целям, оттеснена на второй план, но она тем не менее ярко ощущается и окрашивает язык XI—XII вв., с большей или меньшей интенсивностью.

Важно отметить, однако, что поэтическая выразительность того или иного слова, целого предложения находится в тесной зависимости от поэтической выразительности того конкретного явления, с которым оно связано. Язык и действительность переплетались в средневековой Руси особенно тесным образом. Эстетическая ценность слова зависела в первую очередь от эстетической ценности того явления, которое оно обозначало, и вместе с тем самое явление, с которым это слово было связано, воспринималось как явление общественной жизни, в тесном соприкосновении с деятельностью человека. Вот почему в Древней Руси мы обнаружим значительные явления жизни, которые служили неиссякаемым родником поэтической образности. В них черпал свою поэтическую конкретность древнерусский устный язык, а с ним вместе и древнерусская поэзия. Земледелие, война, охота, феодальные отношения — то, что больше всего волновало древнерусского человека, то в первую очередь и служило источником образов устной речи.

Замечательно, что все привлекаемые и вводимые автором «Слова» образы имеют идейную задачу. Эстетический и идеологический момент в образе неотделимы в «Слове о полку Игореве», и в этом одна из его особенностей, как и всякого подлинно художественного произведения.

В самом деле, обычные образы народной поэзии, заимствованные из области земледелия, входят не только в художественный замысел автора «Слова», но в идейный.

Образы земледельческого труда всегда привлекаются автором «Слова» для противопоставления войне. В них противопоставляются созидание разрушению, мир — войне. Благодаря образам мирного труда, пронизывающим всю поэму в целом, она представляет собой апофеоз мира. Она призывает к борьбе с половцами для защиты мирного труда в первую очередь: «тогда при Олѣ Гориславличи сѣяшеться и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажьбожа внука»; «тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче, а галици свою рѣчь говоряхуть, хотять полетѣти на уедие»; «чрѣна земля подѣ копыты костьми была посяяна, а кровию поляяна: тугою възыдоша по Руской земли»; «на Немизѣ снопы стелють головами, молотять чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладуть, вѣють душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посяяни, посяяни костьми русскихъ сыновѣ».

В этом противопоставлении созидательного труда разрушению, мира — войне автор «Слова» привлекает не только образы земледельческого труда, свойственные и народной поэзии (как это неоднократно отмечалось), но и образы ремесленного труда, в народной поэзии отразившиеся гораздо слабее, но как бы подтверждающие открытия археологов последнего времени о высоком развитии ремесла на Руси: «тѣй бо Олегъ мечемь крамолу коваше и стрѣлы по земли сѣяше»; «и начяша князи... сами по себѣ крамолу ковати»; «а князи сами на себе крамолу коваху»; «ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена».

Поразителен по наглядности образковки крамолы мечом, — на нем мы еще остановимся в дальнейшем, сейчас же отметим, что это противопоставление мира войне пронизывает и другие части «Слова». Автор «Слова» обращается к образу пира как апофеоза мирного труда: «ту кровавого вина не доста; ту пирѣ докончаша храбри русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». С поразительной конкретностью противопоставляя русских их врагам, он называет последних

«сватами»: Игорь Святославич, как мы уже отмечали, действительно приходился «сватом» Кончаку (дочь Кончака была помолвлена за сына Игоря — Владимира). Отсюда следует, что образ пира-битвы не просто заимствован из фольклора, где он обычен, а умело осмыслен применительно к данному конкретному случаю. Той же цели противопоставления мира войне служат и женские образы «Слова о полку Игореве» — Ярославны и красной Глебовны.

Перед нами, следовательно, целая политическая концепция автора «Слова о полку Игореве», в которую, как часть в целое, входят традиционные образы устной речи: «битва — молотьба», «битва — пир» и т. д.

Итак, автор «Слова о полку Игореве» углублял, развивал старые образы, раскрывал их значение, детализировал их, заставлял читателя ярко почувствовать их красоту. Он брал то, что уже было в русском поэтическом языке, брал общее, а не случайное, брал укоренившееся.

Откуда же берет автор «Слова о полку Игореве» эти привычные формы? Здесь и фольклор, но здесь и образная система деловой речи, образы, легшие в основу военной лексики и лексики феодальной. Автор «Слова о полку Игореве» поэтически развивает существующую феодальную символику.

Деловая выразительность превращается под его пером в выразительность поэтическую. Терминология получает новую эстетическую функцию. Он использует богатства русского языка для создания поэтического произведения, но это поэтическое произведение не вступает в противоречие с деловой прозой, а, наоборот, вырастает на ее основе. Автор «Слова» дает ей только иную функцию. Образы, которыми пользуется «Слово», никогда не основываются на внешнем сходстве. Они не являются плодом индивидуального изобретательства автора. Автор «Слова» не создает совершенно новых эстетических связей, не устанавливает совершенно новых метафор, метонимий, эпитетов на основе меткого нахождения новых эстетических соответствий.

Образы, которыми пользуется автор «Слова», вырастают на основе реально существующих отношений в жизни. Художественное творчество автора «Слова» состоит во вскрытии того образного начала, которое заложено в устной речи, в специальной лексике, в символике феодальных отношений, в действительности, в общественной жизни и в подчинении этого образного начала определенному идейному замыслу.

Автор «Слова» отражает жизнь в образах, взятых из этой самой жизни. Он пользуется той системой образов, которая заложена в самой общественной жизни и отразилась в речи устной, в лексике феодальной, военной, земледельческой, в символическом значении самих предметов, а не только слов, их обозначающих. Образ, заложенный в термине, он превращает в образ поэтический, подчиняет его идейной структуре всего произведения в целом. И в этом последнем, главным образом, и проявляется его гениальное творчество.

Вот почему и поэтическая понятность «Слова» была очень высока. Новое в ней выросло на многовековой культурной почве и не было от нее оторвано. Поэтическая выразительность «Слова» была тесно связана с поэтической выразительностью русского языка в целом.

В этом использовании уже существующих богатств языка, в умении показать их поэтический блеск и значительность и состоит один из элементов народности поэтической формы «Слова». «Слово» неразлучно с культурой русского языка в целом, с деловой речью, с образностью военной, феодальной, охотничьей, трудовой лексики, а через нее и с русской действительностью. Автор «Слова» прибегает к художественной символике, которая в русском языке XI—XII вв. была тесно связана с символикой феодальных отношений, даже с этикетом феодального общества, с символикой военной, с бытом и трудовым укладом русского народа. Привычные образы получают в «Слове о полку Игореве» новое звучание. Можно смело сказать, что «Слово» приучало любить русскую обывденную речь, давало по-

чувствовать красоту русского языка в целом; вместе с тем поэтическая система «Слова» выростала на почве русской действительности.

Обратимся к раскрытию этой поэтической системы «Слова» на конкретных примерах.

* * *

Остановимся прежде всего на военной терминологии «Слова» и на тех образах, которые из этой терминологии выросли в «Слове».

Русский язык XI—XIII вв. имел разветвленную и обильную терминологию, связанную с особенностями военного быта того времени. Эта терминология создавалась постепенно по мере усложнения самого военного обихода. В создании ее участвовало творческое, художественное воображение народа. Многочисленность и точность этой терминологии служат одним из важных показателей высоты культуры устного русского языка.

Здесь, в этой военной терминологии XI—XII вв., мы встретим и термины приготовления к выступлению в поход: «возостриться на рать» (Ипат. лет., под 1174 г.), «доспевать», «сложиться на рать», «встать на рать» («и сложишася Олговичи и Давидовичи и всташа вси на рать». — Лавр. лет., под 1135 г.), «подостривать кого-либо на рать», «сложить путь» («И сложи Изяслав путь с Ростиславом и со Мьстиславом на Гюргя». — Ипат. лет., под 1158 г.).

Здесь и термины выступления в поход: «всесть на конь», «дерзнуть на врагов» («дерзнути на половце». — Лавр. лет., под 1102 г.; «дерзну с дружиною своею и победы поганяя». — Лавр. лет., под 1125 г.).

Здесь и термины приготовления к бою: «заложиться» (Лавр. лет., под 1150 г.), «укреплять на брань» (Лавр. лет., под 1151 г.), «скрутиться в броне» (Лавр. лет., под 1220 г.), «изнарядить полки» или «изрядить полки» (Ипат. лет., под 1174 г. и под 1195 г.).

Здесь и термины, означающие построение полков перед битвой: «крылья» (Ипат. лет., под 1151 г.), «чело» (Лавр. лет., под 1025 г.) и др.

Здесь и термины, означающие различные моменты боя: «поскок» («под Ростиславом же на первом поскоке лете под ним конь». — Ипат. лет., под 1154 г.), «поткнуть» («угри... не постряпуче поткнуша по нем». — Лавр. лет., под 1152 г.), «преломить копье», «поломить полк», «сразившима же ся челома, и тако полониша ляхове полк Шварнов» (Ипат. лет., под 1268 г.), «вдать плещи» и мн. др.

Здесь и термины осады и обороны городов: «отвердить город» (Лавр. лет., под 1150 г.), «твердая места» (укрепление места: «и поидоша во твердая места». — Ипат. лет., под 1182 г.), «вбить в город» («наши же... вбиша я во град». — Лавр. лет., под 1220 г.), «взять на щит», «взять копием» и др.

Здесь и термины обращения с оружием: «потягнуть стрелою» («и один с города потягнув стрелою, удари в горло». — Ипат. лет., под 1157 г.), «зарезать» (ножом), «ударить копием».

Весьма важно отметить, что многие из выражений летописи, считавшиеся литературными трафаретами и «элементами изложения» воинских повестей¹, на самом деле являются обычными воинскими терминами, хорошо известными не только в авторской речи летописца, но и в передаваемой им прямой речи.

В самом деле, выражение «на щит» отнюдь не книжное. Оно имелось и в живой речи. Владимир Галицкий говорит жителям Мичьска («мьчаном»): «дайте ми серебро, что вы яз хочю; паки ли я възму вы на щит» (Ипат. лет., под 1152 г.). Удостоверением устного происхождения этих слов Владимира Галицкого служит не только их помещение в летописи в форме прямой речи, но и сохранение живых интонаций устной речи.

¹ Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских повестей / ЧОИДР. М., 1902.

Вообще следует сказать, что многие из образов в летописных описаниях битв в гораздо большей степени обязаны жизни, чем литературной традиции. Так, например, обычное в русской литературе XI—XVII вв. (а отчасти и в фольклоре) сравнение летящих стрел с дождем обязано своей устойчивостью в литературе, несомненно, самой действительности, живому употреблению его в устной речи, а не литературной традиции.

В самом деле, сравнение это имеет в виду не ожесточенность боя вообще, а совершенно конкретные случаи: массовое применение стрел — либо в начале боя, когда важно было расстроить сомкнутый строй противника, нарушить его боевой порядок, либо в момент приступа, когда надо было заставить осажденных покинуть забрала. «От подобных осад и остались стрелы, изобилующие... в культурном слое некоторых городов», — пишет А. В. Арциховский¹.

Выпустить по противнику как можно больше стрел в такие моменты было совершенно необходимо. Только к этим моментам «массированной» стрельбы и применялось сравнение летящих стрел с дождем, с градом, с тучей или для подчеркивания наступившей темноты от стрел: «стрелы омрачиша свет побеженным» (Ипат. лет., под 1240 г.); «стрелам яко дождю идущу на град их» (Ипат. лет., под 1245 г.).

Аналогичное сравнение применялось и тогда, когда речь шла не о стрелах, а, например, о камнях, и это показывает, что перед нами не литературные трафареты. «Ляхом же крепко борюще, и сулицами мечуще и головнями, яко молнья идяху, и каменье яко дождь с небеси идяше» (Ипат. лет., под 1251 г.); «ляхове пуцахуть на ня каменье, акы град сильный» (Ипат. лет., под 1281 г.). В этом последнем примере нет литера-

¹ Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв. / Доклады и сообщения Историч. ф-та МГУ, вып. 4. М., 1946. С. 13.

турного трафарета, так как вместо стрел — камни, а вместо дождя — град, но весь образ тот же и вызвавшие этот образ приемы боя — те же.

Совершенно прав А. В. Арциховский¹, когда пишет в своем исследовании о древнерусском оружии: «В разгаре боя или приступа стрелы сыпались дождем. Это сравнение возникло уже в древней Руси»². К этому положению мы должны прибавить только следующее: сравнение это возникло не в литературе, а в действительности. В литературу оно пришло из жизни, и устойчивость его поддерживалась устным употреблением, а не литературной традицией. Образ в данном случае породил термин, а термин основывался на образе.

Это родство терминологии и образов мы видим также и в «Слове о полку Игореве». Оно ярко проступает в выражении «Слова» «итти дождю стрѣлами съ Дону великого». Здесь обычный только что разобранный нами военный термин «обернут» и превращен в образ. Вместо термина «итти стрелам как дождю» автор говорит наоборот «итти дождю стрѣлами» — и этим самым обнажает заключенный в термине образ, лишая его характера термина.

Однако в основном, строя свою образную поэтическую систему, автор «Слова» прибегает не к этому способу. Он пользуется символикой, образами, метонимиями, выработавшимися в действительности, в живой речи, лишь немногими штрихами оживляя их звучание, употребляя их с полной точностью и подчеркивая идейное содержание каждого образа.

¹ Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв. / Доклады и сообщения Историч. ф-та МГУ, вып. 4. М., 1946. С. 13.

² Ср. противоположное утверждение А. С. Орлова, считавшего это сравнение «греческой по происхождению формулой» (О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв.) // Изв. ОРЯС. СПб., 1904. Кн. 4. С. 367.

Целый ряд образов «Слова о полку Игореве» связан с понятием «меч»: «Олеги мечемь крамолу коваше»; Святослав Киевский «бьшетъ притрепаль... харалужными мечи» ложь половцев; Игорь и Всеволод «рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити»; «половци... главы своя подклониша подъ тьи мечи харалужными»; Изяслав Василькович «позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя», а сам был «притрепанъ литовскими мечи»; обращаясь к Ярославичам и Всеволодичам, автор «Слова» говорит: «Вонзите свои мечи верезени».

Такое обилие в «Слове о полку Игореве» образов, связанных с мечом, не должно вызвать удивления. С мечом в древнерусской жизни был связан целый круг понятий. Меч был прежде всего символом войны. Ср., например, в Новгородской первой летописи: «Что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечемь, того ся всего отступаем» (Новг. I лет., под 1242 г.). Кроме того, «обнажить мечь» означало «открыть военные действия», «напасть». С другой стороны, меч был эмблемой княжеской власти. Это особенно ярко сказалось в рассказе Лаврентьевской летописи о том, как Всеволод Большое Гнездо отправлял в Новгород своего сына Константина: «И да ему отец крест честны и меч, река: се ти буди охранник и помощник, а меч прещенье и опасенье, аже ныне даю ти пасти люди своя от противных» (Лавр. лет., под 1206 г.). Меч и оружие были вместе с тем и символами независимости («присла... мечь и покорение свое». — Ипат. лет., под 1255 г.; или: «Данилу же королеву ставшу в дому Стекинтове, принесе к нему Лев оружие Стекинтово и брата его, и обличи победу свою». — Ипат. лет., под 1255 г.).

Наконец, меч был символом русского народа (в рассказе «Повести временных лет» о дани, собиравшейся хазарами с русских мечами, и в рассказе об обмене по-

дарками между русским воеводой Претичем и печенежским князем). Меч был священным предметом. На мечах клялись русские при заключении договоров с греками (911 и 944 г.). Этот культ мечей перешел и в христианскую эпоху. «Мечи тех князей, которые причислялись к святым,— пишет А. В. Арциховский,— сами становились предметами культа. Уже Андрей Боголюбский имел при себе меч Бориса (1137 г.); летопись прямо говорит: „...и поставиша над ним его меч, иже и донныне стоит, видим всеми...“. Меч Всеволода до сих пор показывают во Пскове...»¹. Меч употреблялся высшими дружинниками и князем. Он был оружием феодальной аристократии по преимуществу. Любопытно, что его не поднимали против смердов. Новгородский князь Глеб поднял на восставших в Новгороде топор, а не меч (1071 г.); топором же расправлялся с восставшими и Ян Вышатич на Белоозере (1071 г.).

Вот почему все образы «Слова», связанные с мечом, полны сложного и глубокого значения, объясняемого многозначностью, смысловую насыщенностью слова «меч».

«Вонзите свои мечи вережени» — призывает русских князей автор «Слова», иначе говоря: прекратите военные действия, в которых вы — обе стороны (и Ярославичи, и Всеславичи) — потерпели поражение. Половцы «главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужнии» — и здесь слово «мечи» употреблено во всем богатстве его значений: повержены половцы мечом войны и мечом власти. «Подклонить головы под меч» — означает одновременно и быть ранеными, и быть покоренными.

Но особенно интересно применение слова «меч» во фразе: «Олегъ мечемъ крамолу коваше». Выражения «ковать ложь», «ковать лесть» обычны в древнерусской письменности: «неведый лесть, юже коваше нань Давыд» (Ипат. лет., под 1097 г.); «не преподобно бо есть

¹ Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв. С. 10.

ковати ков на брата своего»¹. Автор «Слова» конкретизирует это выражение тем, что вводит в него понятие меча, которым Олег кует «ложь», «лесь» — «крамолу». В этом гениальном образековки крамолы мечом воплотилось то же противопоставление мирного труда войне, что и в обычном для «Слова» образе битвы-жатвы, но с предельным лаконизмом, причем вся богатая семантика слова «меч» вложена в этот образ: Олег злоупотребил своею властью — «мечем», куя им крамолу; он ковал крамолу «мечем» — междоусобной войной; каждый взмах меча Олега как молотом усиливал, «ковал» эту крамолу, укреплял ее; и само употребление священного меча для крамолы выступает как «свято-татство». Множество ассоциацийковки и войны встает в этом образе: крамола раскалена, как железо на наковальне, поле битвы — наковальня (ср. «притрепань литовскими мечи... на кров») и т. д.

Это не означает, что автор «Слова» вложил все эти значения в своей образ, но это значит, что все эти ассоциации имеют силу в этом образе. И вместе с тем автор «Слова» не «выдумал» свой образ. Он в новом гениальном сочетании употребил тот образ, который уже находился в обыденной речи того времени, в символике общественных отношений XII в.

* * *

Наряду с мечом важное значение в «Слове о полку Игореве» имеет и стяг.

Стягами и хоругвями в Древней Руси подавали сигналы войску. В битве с их помощью управляли движением войск. Стяг — «стягивал» к себе воинов. «Возвoločенный» стяг служил символом победы, поверженный стяг — символом поражения, отступления, бегства. «К стягу собирались дружинники после победы

¹ Паремийное чтение о Борисе и Глебе / В кн.: Жития Бориса и Глеба. Под ред. Д. И. Абрамовича. Пг., 1916. С. 117.

или поражения (если их преследовали); стяг был важнейшим ориентиром среди тысяч разнообразных шеломов и панцирей. По положению стягов определяли положение войск, расстановку сил»¹.

Приведем примеры именно такого употребления стягов: «нашимъ же ставшим межи валома, поставиша стяги свои, и поидоша стрелци из валу; и половци, пришедше к валови, поставиша стягы своя» (Лавр. лет., под 1093 г.); «Ростиславу же и Борисови и Мстиславу не ведуцим мысли брата своего Андреа, яко хоцеть ткнути на пешие, зане и стяг его видяхуть не възволочен» (Лавр. лет., под 1149 г.); «Мьстиславичи же не доехавше повергоша стяг» (Ипат. лет., под 1177 г.).

Хоругвь или стяг служили знаком того или иного князя или даже всей Руси в целом (в сражениях с иноземцами): «и видяцим стягы отца своего...» (Лавр. лет., под 1149 г.); «половци же видивше стягы Ростиславли» (Ипат. лет., под 1191 г.); «аще Руская хоругвь станеть на заборолех, то кому честь учиниши?» (Ипат. лет., под 1229 г.); «Даниил... позревь же семь и семь и види стяг Василков» (Ипат. лет., под 1231 г.) и т. д.

Стягом и хоругвью подавали обычно боевой знак: в 1146 г. киевляне посылали к Изяславу Мстиславичу со словами: «Ты нашъ князь, поеди, Ольговичев не хочем быти акы в заднич; где узрим стяг твой, ту и мы с тобою готови есмь» (Ипат. лет., под 1146 г.); в 1159 г. галичане посылали к Ивану Берладнику, «веляче ему всести на коне, и темь словом поушдивають его к собе, рекуче: толико явишь стягы, и мы отступим от Ярослава...» (Ипат. лет., под 1159 г.); в 1254 г. Даниил Романович, взяв чешский город Опаву, «постави хоругвь свою на граде и обличи победу» (Ипат. лет., под 1254 г.).

Стяг был символом чести, славы. Не случайно Давыд Ростиславич говорит об умершем Владимире Андреевиче: «того стяг и честь с душею исшла» (Ипат. лет., под 1171 г.).

¹ История культуры Древней Руси. Т. 1. Л., 1949. С. 413.

Все эти значения слова «стяг», вернее реальную действительность самих стягов в древнерусском военном обиходе, следует учитывать и при толковании соответствующих мест «Слова о полку Игореве». В самом деле, что означает обращение автора «Слова» к потомству Ярослава и Всеслава: «Уж понизите стязи свои». Понизить, повергнуть или бросить стяг имело лишь одно значение — признание поражения. И значение этого призыва — «понизите стязи свои», то есть признайте себя побежденными. — поддерживается и дальнейшими словами автора: «вонзите свои мечи верезени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славы». Автор этим своим обращением к Ярославичам и Всеславичам хочет указать им на бессмысленность и пагубность для обеих сторон междоусобных войн; в них нет победителей; «обе стороны признайте себя побежденными, вложите в ножны поврежденные в междоусобных битвах мечи; в этих битвах вы покрыли себя позором».

То же значение — поражения — имеет и выражение «третьяго дни къ полудню падоша стязи Игоревы». Это даже не образ — здесь это военный термин, но термин, употребленный в поэтическом контексте, и здесь, в этом поэтическом контексте, обновивший лежащий в его основе образ. Стяги Игоря падают — это реальный знак поражения: падают реальные стяги. Но указание на этот факт знаменательно — оно лаконично и образно указывает на поражение Игорева войска.

Следовательно, в основе этого выражения лежит не литературный образ, а реальный факт, но факт сам по себе говорящий, символика военного обихода.

Отсюда нетрудно понять и выражение «Слова» «стязи глаголють» — то есть стяги свидетельствуют о том, что половцы двигаются в боевом порядке (под стягами) на русских. Это значение поддерживается всем контекстом, в котором употреблено выражение «стязи глаголють». «Слово о полку Игореве» говорит здесь о движении половцев, последовательно описываемом сперва издали, а затем все ближе и ближе. Сперва только

приметы и предчувствия появления половцев: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти». Затем в рассыпном строю первыми появляются стрелки, начинающие, как обычно в XI—XIII вв., бой издали. Это начало боя ассоциируется одновременно с началом грозы (образы «Слова» многозначны, насыщены различными ассоциациями): «...се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣють съ моря стрѣлами на храбрыя плѣкы Игоревы». Затем земля начинает гудеть под копытами конного войска: «земля тутнетъ»¹. Новый момент наступления половцев: степные реки взмутнены от переходящего вброд конного войска половцев — «рѣкы мутно текутъ». Пыль от движения войска покрывает поля: «пороси поля прикрывають». Вот видны уже и стяги, указывающие («глаголющие»), что половцы идут в боевом порядке, «под стягами». Вот уже половцы окружили русских: «половци идутъ отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускыя плѣкы оступиша». Наконец половцы настолько близки, что слышен и их «клик», которым они «перегородили» поля. После этого автор «Слова», все время устремлявший внимание читателя к приближающемуся войску половцев, с тем чтобы заставить его пережить самому неуклонное наступление врага, короткой фразой обращает внимание читателя к русскому войску: «а храбрии Русици преградиша чрълеными щиты».

Итак, «говорить» о наступлении половцев могли только стяги половцев, а не русских. Автор «Слова» последовательно описывает наступление половцев. Нет, следовательно, нужды видеть в выражении «стязи глаголютъ» какого-то одушевления этих стягов, якобы предсказывающих нападение половцев. Движение половцев не стоит предсказывать — оно видно и слышно: о дви-

¹ Значение слова «тутнетъ» — гудит под копытами лошадей — см. в одной из «Повестей о Мамаевом побоище»: «великия силы придоша, яко и земля тутнаше...» (следовательно, «тутнет» земля от движения войска).

жении половцев говорит пыль, поднятая их войском, топот копыт, стяги, их клики¹.

Слово «стяг» имело в древнерусском языке и еще одно значение — «полк, войско» (ср.: «позрев же семь и семь и види стяг Василков стояще и добре борющь и угры гонящу». — Ипат. лет., под 1231 г.). Это значение слова «стяг» находим мы в том месте «Слова о полку Игореве», где автор воспроизводит бравурную поэтическую манеру Бояна: «Комони ржуть за Сулою, — звенить слава въ Киевѣ; трубы трубятъ въ Новгородѣ, — стоять стязи въ Путивлѣ», то есть: «Едва только вражеские кони появились за пограничной рекой Сулой, как слава о русской победе над врагами уже звенит в Киеве. Едва только трубы затрубили в Новгороде Северском, созывая войска, как войско („стязи“) уже собралось в Путивле» (южный пункт Новгород-Северского княжества, откуда новгород-северские войска выступали против половцев).

Наконец, следует обратить внимание и на следующее место «Слова», где «стяги» вновь выступают в их символическом значении: «сего бо нынѣ сташа стязи (то есть приготовились к походу. — Д. Л.) Рюриковы, а друзии — Давидовы, нѣ розно ся имѣ хоботы пашуть». Здесь следует прежде всего обратить внимание на слово «розно». Оно не однажды употребляется в летописи для обозначения княжеской розни, но в сочетании со «щитами» — символами защиты, обороны. Ср. в летописи — венгерский король передает следующие слова Изяславу Мстиславичу Киевскому: «...царь на мя грецкый вѣставаеть ратью, и сее ми зимы и весны нелзе на конь к тебе всести; но обаче, отце, твой щит и мой не розно еста» (то есть я с тобою продолжаю находиться в обо-

¹ В связи с таким пониманием выражения «стязи глаголють» следует несколько иначе ставить знаки препинания в этом месте, чем это принято в последних изданиях: «Стязи глаголють — половци идуть». Дальше начинается новая фраза: «Отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ рускыя плѣкы оступиша».

ронительном союзе) (Ипат. лет., под 1150 г.); или: «и рекоша ему (Роману.— Д. Л.) Казимеричи: „мы быхом тебе раде помогле, но обидить нас стрый (дядя.— Д. Л.) свой Межька, ищеть под нами волости; а переже оправи нас, а быхом быле все ляхове не розно, но за одним быхом щитом быле (вси) с тобою и мьстили быхом обиды твоя“» (Ипат. лет., под 1195 г.).

В «Слове о полку Игореве» мы находим вместо «щитов» «стязи» — очевидно, потому, что речь идет не о совместной защите (где было бы уместнее говорить о «щитах»), а о совместном наступлении на степь, причем образ этот конкретизирован тем, что эти стяги представлены с развевающимися полотнищами («хоботами»), а самое понятие «розно» относится к этому развеванию. Таким образом, обычный термин для обозначения союзных или не союзных отношений («твой щит и мой не розно еста») конкретизирован, превращен в зрительно четкий образ. И здесь, как и в других случаях, автор «Слова» не изобретает новых образов, сравнений, поэтических тропов, — он как бы вылуцчивает их из того, что уже имелось в языке, в сознании народа, в военном и феодальном обиходе его времени, благодаря чему его образы легко воспринимались, были близки читателю.

* * *

Наряду с «мечом», «стягом», сложными ассоциациями был окружен в Древней Руси XI—XIII вв. и другой предмет вооружения русских войск — «копье». Реальное значение «копья» выходило за пределы только предмета вооружения.

По поводу копья А. В. Арциховский пишет: «Важнейшим оружием наравне с мечом было, конечно, копье... по курганным данным копье демократичнее меча. Но ни один обладатель меча, хотя бы и самого хорошего, без копья в бою обойтись не мог, потому что это оружие достает дальше. Длина древнерусского меча

70—90 см, длина копья, судя по изредка встречаемым в курганах остаткам древков, 1,5—2 м. Даже князь, если ему приходилось лично вступать в бой, пользовался копьем... Древко в бою, сослужив свою службу, ломалось быстро. Копье могло треснуть и от собственного удара, но чаще об этом, конечно, заботились неприятели»¹.

Характерно, что битва ассоциировалась прежде всего с этим ломанием копий: «ту бе видети лом копийный и звук оружьный» (Ипат. лет., под 1174 г.); «ту беяше лом копейный» (Новг. IV лет., под 1240 г.).

Аналогично этому, и в «Слове о полку Игореве» битва ассоциируется прежде всего с этим ломанием копий: свое предвидение битвы автор «Слова» конкретизирует словами: «ту ся копиемъ приламати».

Поскольку копье было оружием первой стычки и почти всегда ломалось в ней, нам становится понятным и обычный в летописи термин — «изломить копье», употреблявшийся для обозначения того, что воин первым принял участие в битве. Вот примеры, когда князь ломает копье в первой же стычке: «въеха Изяслав один в полкы ратных и копье свое изломи» (Лавр. лет., под 1147 г.); Андрей Боголюбский «въехав преже всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копье свое в супротивье своем» (Лавр. лет., под 1149 г.); «Андрей же Дюргевичъ възя копье и еха наперед и съехася переже всих и изломи копье» (Ипат. лет., под 1151 г.); «Изяслав же Глебовичъ внук Юргев доспев с дружиною возма копье потъче к плоту кде бяху пеши вышли из города, твердь учинивше плотомъ. Он же въгнав за плот к воротам городнымъ, изломи копье» (Лавр. лет., под 1184 г.).

Иногда выражение «изломить копье» употреблялось только для обозначения первой боевой схватки князя, его личного участия в единоборстве перед общей битвой. «И тако перед всими полкы въеха Изяслав один в полкы ратных и копье свое изломи» (Ипат. лет., под 1151 г.). Этими словами летописец подытоживает свой

¹ Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв. С. 11.

предшествующий рассказ, где более подробно описывалось личное участие Изяслава в битве.

Итак, «изломить копье» — это символ вступления в единоборство, символ личного участия князя в битве. Упоминание «изломления копья» подчеркивает, что князь не только руководил сражением, но и сам единоборствовал, вступал в схватку с неприятелем. «О того же гордаго Филю, Льв, млад сы, изломи копье свое» (Ипат. лет., под 1249 г.), — говорит летописец, подчеркивая этим не потерю копья (оружия, как мы видели, дешевого), а факт единоборства Льва Даниловича с воеводой Филой.

Совсем иной характер носит термин «изломить копье» в статье 18-й «Краткой Правды»: «А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнеть хотети его держжжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнеть приметати, то скотом ему заплатити, колько дал будеть на нем». Здесь выражение «изломить копье» не носит характера военного термина и военного символа. Его значение не шире его реального непосредственного представления.

Отсюда ясно, что слова Игоря Святославича «хощу бо... копие приломити конець поля Половецкого...» включают в себе типичный для военной символики XII в. образ, точное значение которого следующее: «Хочу вступить в единоборство в начале Половецкого поля». Образ этот не измышлен автором «Слова».

Со словом «копье» в летописях связывается целый ряд и других значений: «сунуть копием» (Лавр. лет., под 946 г.), «ударить копием» (Лавр. лет., под 945 г.), «побадыватися копьи» (Ипат. лет., под 1281 г.), «взять копием» и «добыть копием». На этих последних выражениях следует остановиться подробнее. Вот их реальное употребление в летописи: «одоле Святослав и взя град копием» (Лавр. лет., под 971 г.); под 1097 г. в Лаврентьевской летописи Володарь и Василько «взяста копьем град Всеволож», ср. также «взяша град Рязань копьем» (Ипат. лет., под 1237 г.). Ср. слова Владимира Василь-

ковича брату Мстиславу: «брате! ты мене ни на полону ял, ни копьем мя еси добыл, ни из городов моих выби д мя еси» (Ипат. лет., под 1287 г.). Вся эта символика, связанная в Древней Руси с «копьем», придает особый оттенок выражению «Слова» «дотчеса стружиемъ злата стола киевскаго». Всеслав Полоцкий не взял Киев «копьем» — он только «доткнулся» его, всего семь месяцев пробыв киевским князем в 1068 г. Он взял его не военной силой, но и не мирным путем, придя к власти через восстание киевлян. Он «доткнулся» золотого киевского стола «стружием» — древком копя; сейчас бы мы сказали «прикладом».

Загадочным представляется в «Слове» только выражение «копия поють». В XII в. копье не было метательным оружием¹. Следовательно, здесь говорится не о пении копя в полете, подобном пению летящих стрел или летящих камней². Фраза не укладывается в текст «Слова» и ритмически. Она как бы оборвана, а возможно и искажена.

* * *

В дружинном быту Древней Руси такое же особое место, как предметы вооружения — меч, копье и щит, занимал боевой конь воина. В XII и XIII вв., в отличие

¹ А. В. Арциховский пишет: «...копье на Руси предназначалось не для метания, а для удара. Метательное оружие... называлось иначе (сулица.— Д. Л.). Только в виде исключения, да и то в предыдущую эпоху, в X в. упоминается метание копя: „...суну копьем Святослав древяны, и копье летѣ сквозѣ уши коневи, удари в ноги коневи, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: князь уже почал; потягните, дружина, по князе“. Здесь метание копя мальчиком князем есть своего рода обряд, которым начинается бой» (Арциховский А. В. Русское оружие X—XIII вв. С. 11—12).

² Иосиф Флавий: «И камень меташу пороками, и сулицы из лук пуцаами шумяху» (место не переводное, а русское) / В кн.: Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник киевской дружинной Руси. Т. I. М., 1887. С. 244.

от X и XI вв., русское войско было по преимуществу конным¹. Этого требовала прежде всего напряженная борьба с конным же войском кочевников. Но и вне зависимости от этого княжеский конь был окружен в феодальном быту особым ореолом. Летописец Даниила Галицкого уделяет особенное внимание любимым боевым коням своего господина (Ипат. лет., под 1213 и 1255 г.). Летописец Андрея Боголюбского отводит особое место описанию подвига его коня, спасшего Андрея, и отмечает ту «честь», которую воздал ему Андрей, торжественно его похоронив, «жалуя комонства его» (Лавр. лет., под 1149 г.).

Это особое положение боевого коня в феодальном быту XII—XIII вв. придавало ему особую смысловую значительность. В коне ценилась прежде всего его быстрота. Это создало эпитет коня «борзый», встречающийся и в летописи (Ипат. лет., под 1213 г.), и в «Слове» («А всядемъ, братие, на свои бръзья комони»).

С конем же был связан в феодальном быту целый ряд обрядов. Молодого князя постригали и сажали на коня. После этого обряда «посажения на коня», или «посага», князь считался совершеннолетним.

Одним из наиболее значительных моментов выступления войска в поход была посадка войска на коней. Вот почему в летописи «сесть на коня» означало «выступить в поход». Отсюда такие выражения, как «сесть на коня против кого-либо», или «сесть на коня на кого-либо», или «сесть на коня за кого-либо»: «и вседоша (на кони) на Володимерка на Галичь» (Лавр. лет., под 1144 г.); «а сам Изяслав вседе на конь на Святослава к Новгороду иде» (Ипат. лет., под 1146 г.); Всеволод «вседе на конь про свата своего» (Лавр. лет., под 1197 г.).

Характерно это употребление единственного числа «всесть на конь», даже если речь идет о войске, о дружине или о нескольких лицах. Перед нами метонимия, ставшая в полном смысле термином, с утратой перво-

¹ История культуры Древней Руси. Т. 1. С. 404 и сл.

начального значения. Иное дело в «Слове о полку Игореве», где обычно вскрывается, возрождается первоначальный образ, лежащий в основе того или иного термина или ставшего ходячим выражения. В «Слове» мы читаем: «А всядемъ, братие, на свои бръзья комони», а не «комонь», или «конь», как обычно говорится в летописи.

Летопись отмечает немало случаев, в которых слово «конь» входит в состав различных военных терминов, образованных путем метонимии: «ударить в коня» означает пуститься вскачь (Лавр. лет., под 1178 г.); «поворотить коня» — уехать, отъехать или вернуться [«и повороти коня (единственное число.— Д. Л.) Мстислав с дружиною своею от стрья своего». — Лавр. лет., под 1154 г.]; «взять за повод» — остановить («берендееве же яша за повод, рекуще: „Княже, не ездѣ“». — Лавр. лет., под 1169 г.), «быть на коне», «иметь под собою коня» означало готовность выступить в поход [ср.: «И рекоша ему (Изяславу.— Д. Л.) угре: „мы гости есме твои; оже добре надеещися на кияны, то ты сам ведаеши люди своя, а комони под нами“». (Ипат. лет., под 1150 г.)].

Употребление части вместо целого как основы многих терминов XI—XIII вв. еще более ясно проступает в выражении, которое встречается только в «Слове о полку Игореве»: «вступить в стремя» — в том же значении, что и обычное «всестъ на конь», то есть «выступить в поход». Это выражение «вступить в стремя» построено по тому же принципу, что и ряд других терминов и метонимий «Слова», летописи и обыденной, живой речи XI—XIII вв. Характерно при этом употребление термина «вступить в стремя» с предлогом «за»: «Вступита, господина, въ злата стремя за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, бугео Святъславлича!», дающего полную аналогию вышеразобранному термину летописи «всестъ на конь за кого-либо».

Вдевание ноги в стремя было самым важным моментом посадки князя на коня. В миниатюре Радзиви-

ловской летописи на листе 234-м изображен именно этот момент: оруженосец стоит на одном колене и держит одной рукой стремя, а другой — узду, в то время как князь Святослав вдевает ногу в стремя. Перед нами ритуал — «рыцарский», дружинный. Автор «Слова», создавая данный образ, не отступил от своего поэтического принципа: он берет не случайную ассоциацию, не просто характерное положение, а тот момент, который и в самой действительности считался значительным и отмечался некоторым этикетом.

В известном смысле стремя было таким же символическим предметом в дружинном быту XI—XIII вв., как и меч, копьё, щит, стяг, конь и проч. «Ездить у стремени» — означало находиться в феодальном подчинении. Так, например, Ярослав (Осмомысл) говорил Изяславу Мстиславичу через посла: «ать ездить Мъстислав подле твой стремянь по одной стороне тебе, а яз по другой стороне подле твой стремянь ежду, всеми своими полкы» (Ипат. лет., под 1152 г.). Кроме вассальной зависимости, нахождение у стремени символизировало вообще подчиненность: «галичаномъ же текущимъ у стремени его» (Ипат. лет., под 1240 г.).

Во всех приведенных нами выше выражениях «стремья» выступает только как символ власти феодала. Все это придает особую значительность выражению «Слова» «вступить в стремя». Вступали в стремя только князья; когда же речь идет о дружине, автор «Слова» употребляет обычное выражение «всестъ на кони»: «А всядемъ, братие, на свои бръзья комони», — обращается Игорь к своей дружине, но не «вступим в стремянь». Ведь вступают в стремя только князья: «тогда въступи Игорь князь въ златъ стремянь и поѣха по чисту полю»; Олег «ступаетъ въ златъ стремянь въ градѣ Тьмутороканѣ»; «вступита, господина, въ злата стремянь» — обращается автор «Слова» к Рюрику и Давыду Ростиславичам. В этом различии, которое делает автор «Слова», несомненно, сказалась его хорошая осведомленность в ритуале дружинного быта.

Встает еще один вопрос — не было ли таким же символом власти, положения в известном отношении и «седло». Если это так, то это ввело бы в тот же круг художественного мышления автора «Слова» и другое выражение: «высѣдѣ из сѣдла злата, а въ сѣдло кощнево». «Седло злато» — это седло княжеское. Только княжеские вещи имеют этот эпитет — «стремя», «шлем», «стол» (престол). Конечно, в основе этого эпитета лежат и реальные предметы, покрывавшиеся позолотой лишь в дорогом обиходе князя, но автор «Слова о полку Игореве» отлично понимал и другое: ритуальную соотнесенность этих двух понятий — «княжеского» и «золотого» — как присущего специфически княжескому быту. Вот почему и само «слово» князя Святослава «золотое». Совсем иное в «Задонщине», где эта связь золота и князя утрачена, ср.: «гремят удалыцы рускыя золочеными доспехы»¹ — о русском войске: «А в них сияють доспех[и] золочены[е]», «злаченым доспѣхом посвѣчива[ет]» и Пересвет, «Рускии сынове поля широкии кликом огородиша, золочеными [доспѣхи] осветиша»².

* * *

В устройстве древнерусских городов такими же исполненными символического значения предметами были городские ворота и забралы стен. Я подчеркиваю, что значением этим обладали не слова «ворота» и «забралы», а самые вещи — самые материальные явления. Так же точно и не слова «меч», «копье»... имели значимость феодальной символики, а самые предметы — сам меч, само копье, в силу чего они входили в ритуал, в обрядность, в этикет. На мечах клялись, мечи почитали, меч хранили, мечом «пасли» — посвящали в высший ранг феодального общества, меч давали князю при отправке его на княжение и т. д., и т. п.

¹ ТОДРА. Т. VI. М.; Л., 1948. С. 226.

² Там же. С. 228, 229, 231.

Символическое значение городских ворот было также хорошо известно в Древней Руси.

Мы можем догадываться, что не все ворота в городе обычно бывали облечены этим символическим значением, а только главные. Не случайно полотнища главных ворот обивались медными золочеными листами и на них ориентировалась архитектурная мысль строителей древнерусских городов (ср. Золотые ворота в Киеве и во Владимире). Исследователь Ярославова города в Киеве М. К. Каргер пишет по поводу киевских Золотых ворот этого Ярославова города: «Главными воротами города, парадным городским порталом становятся южные Золотые ворота. Только эти ворота особо упомянуты в летописях и проложных сказаниях о строительной деятельности Ярослава. Только над этими воротами Ярослав соорудил надвратный храм. Именно с этими воротами связано наибольшее количество древних киевских легенд. Именно у этих ворот устраивали киевляне не раз торжественные встречи. Именно в эти ворота стремились войти и непрощенные гости, прохождением через Золотые ворота стремившиеся подчеркнуть свою победу над Киевом. Все парадное строительство Ярослава развертывается в южной части города, между Золотыми воротами и Софийским собором»¹.

Особое значение главных ворот города в символике древнерусского феодализма не могло не отразиться и в языке. Ударить, «сечь» в ворота означало напасть на город. В описании битвы под Киевом 1151 г. в Ипатьевской летописи говорится: «ту же и Севенча Боняковича дикаго половщина убиша, иже бяшет рекл: „Хоцю сечи в Золотые ворота, яко же и отець мой“».

¹ Каргер М. К. Резюме доклада «Архитектурный ансамбль Ярославова города в свете археологических исследований», прочитанного в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры АН СССР 18 июня 1949 г. (рукопись). Подробнее о Золотых воротах см. у него же: «Древний Киев». Т. 2. М.; Л., 1961. С. 237—249.

Северч Бонякович имеет в виду события 1096 г., когда Боняк напал на Киев «и мало в град не въехаща», разгромил его «болонье» и Киево-Печерский монастырь, но самого города не взял. Северч не надеется взять Киев, но он хочет «сечи» в его ворота, то есть напасть на него и погромить его округи.

Открыть главные ворота города или затворить их имело символическое значение. Действия эти свидетельствовали о желании горожан сложить оружие или оказать сопротивление. Именно в связи с этим образовался ряд выражений. Вместо того чтобы сказать, что горожане решили сопротивляться, в летописи очень часто говорится «затвориша врата»; вместо того чтобы сказать, что город сдался, в летописи найдем «отвориша врата»: «придоша ляхове на Володимер, и отвориша им врата володимерци» (Ипат. лет., под 1204 г.), «а вышегородци поклонишася, отвориша врата» (Новг. I лет. под Синод. сп., под 1214 г.).

В громадном большинстве случаев эти термины «отвориша врата» и «затвориша врата» употребляются без слова «врата». Так, например, в Ипатьевской летописи под 1123 г. рассказывается о том, как Ярослав Святополчич подошел к городу Владимиру Волынскому и сказал: «То есть град мой; оже ся не отворите, ни выйдете с поклоном, то узрите завѣтра приступлю к граду и възму город». Или: «Гюргий же приде к Белугороду, и рече белгородцем: „Вы есте люди мои; а отворите ми град“. Белгородци же рекоша: „А Киев ти ся кое отворил?“» (Ипат. лет., под 1151 г.) и т. д.¹

«Слово о полку Игореве», с его стремлением к конкретности образов, никогда не употребляет выражения «отворить» или «затворить» без прибавления «врата». Автор «Слова» не пользуется этими сокращениями

¹ «...И не сме затворитися в Киеве один» (Ипат. лет., под 1174 г.); «и затвори все кыяны» (Ипат. лет., под 1174 г.); «затворися в городе» (Ипат. лет., под 1175 г.); «отвори град» (Лавр. лет., под 1186 г.); «затвори город» (Ипат. лет., под 1288 г.).

и ходовыми выражениями. Он прибавляет «врата» и тем конкретизирует термин, возвращает ему наглядность и художественную силу: «затворивъ Дунаю ворота», «отворяеши Киеву врата» (о Ярославе Осмомысле), «отвори врата Новуграду» (о Всеславе Полоцком).

Это чувство конкретности художественного образа, лежащего в основе термина, особенно ярко проступает в «Слове о полку Игореве» в обращении к Инъгварю, Всеволоду и всем трем Мстиславичам: «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами».

В основе своей слова эти не выдуманы автором «Слова о полку Игореве». Сходные слова мы прочтем и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича. В летописи они вложены в уста Святослава Всеволодовича: «воздохнув» и утерев слезы (ср. «слезами смешено»), произнес: «о любя моя братья и сыновѣ и муже земле Руское! дал ми Бог притомити поганья; но не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю». В этих деловых словах нет художественного значения. «Отворить ворота» — здесь только термин, означающий «впустить врагов». Однако автор «Слова о полку Игореве» использует этот термин с художественным умением. Он не говорит «затворите полю ворота», как мы ожидали бы, если бы автор «Слова» использовал это выражение только как термин. Термин этот автор «Слова» ощущает во всей его конкретности. Вот почему он не может допустить в данном случае слишком прямого, зрительно ясного понимания этого термина, так как в широких просторах степных границ Руси было бы антихудожественным представить себе конкретные ворота, при этом еще отворявшиеся и затворявшиеся. Поэтому автор «Слова» говорит не «затворите ворота», а «загородите ворота». Следующими тремя словами окончательно отводится зрительный конкретный образ полотнищ ворот. В «Слове» сказано: «своими острыми стрѣлами». Перед глазами читателя встают не конкретные ворота, а «ворота» — как некоторая брешь, как гигантский вход на Русскую

землю, который можно только загородить летящими стрелами.

В «Слове», наконец, имеется и еще одно выражение, связанное с теми же воротами: Ярослав Осмомысл Галицкий высоко сидит на своем златокованом столе, «застушивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота». Смысл этого выражения, очевидно, в том, что галицкий князь Ярослав затворил не какие-то воображаемые или действительные ворота Дуная (в этом смысле термин этот никогда не употребляется), а затворил ворота своей земли от Дуная. Как явствует из всех приведенных выше примеров, «отворить» ворота можно и свои, и чужие (последние насильно), «затворить» ворота можно только свои. Выражение это, следовательно, отнюдь не означает, что Ярослав «затворил ворота на Дунае», или «Дунайские», а затворил их от стран, находящихся по Дунаю, в первую очередь от Византии, с которой Ярослав на Дунае имел смежные границы (ср. выше «загородите полю ворота», то есть «от поля»).

* * *

Выше мы показали некоторые художественные образы «Слова о полку Игореве», выросшие на почве военной символики, военной терминологии и военных обычаев XI—XII вв. Символика феодального быта также отразилась в «Слове».

Феодальный быт XI—XII вв. был связан на Руси со сложным этикетом. Этикет этот распространялся на весь быт верхов феодального общества: княжеский, дружинный, боярский. Княжеские постриги и обряд посажения князя на коня (Ипат. лет., под 1192 г.), совещания на ковре (Лавр. лет., под 1100 г.: «да се еси пришел и седишь с братьею своею на одном ковре»), совещания верхом на конях (Ипат. лет., под 1150 г.), заключение мира, выступление в поход и т. д. — все это было обставлено известным церемониалом, в свою очередь отразившимся в языке — в появлении новых терминов

и в обрядовых формулах. Так, например, выражение «стать на костях» — выражение, обычно означающее «одержать победу», — не является просто формулой воинских повестей, а связано с каким-то церемониальным моментом, о котором нам напоминают немногие лишь намеки в летописи («и Льв ста на месте, воиномъ посреде трупья, являюща победу свою». — Ипат. лет., под 1249 г.).

Попали в летопись и некоторые из словесных формул, употреблявшихся в церемониале. Так, например, в настойчиво повторяющейся летописью формуле «а ты наш князь» можно подозревать формулу принятия князя горожанами (Ипат. лет., под 1150, 1154, 1159, 1289 гг.; во всех этих случаях, принимая князя, горожане говорят ему эти слова; ср. также в новгородских летописях).

Поговорка «Мир стоит до рати, а рать до мира», очевидно, употреблялась как приглашение начать мирные переговоры (Ипат. лет., под 1148 и 1151 гг.).

Такую же формулу мы можем подозревать и в известном лирическом, дважды повторенном, восклицании «Слова»: «А Игорева храбраго плъку не крѣсити». Эта формула возникла еще в дофеодальный период. По-видимому, первоначально она означала отказ от родовой мести. Именно в этом смысле ее употребляет Ольга: «уже мне мужа своего не кресити» (Лавр. лет., под 945 г.). В таком смысле она употребляется изредка и позднее. В 1015 г. Ярослав говорит новгородцам про свою побитую дружину: «уже мне сих не кресити». Словами этими Ярослав отказывается от мести за свою дружину. В 1148 г. именно этой формулой Ольговичи отказываются от мести за убийство Игоря Ольговича: «уже намъ не воскресити брата своего, князя Игоря Ольговича» (Никон. лет., под 1148 г.). Однако с отмиранием обычаев родового общества формула эта стала употребляться как обычное утешение, как признание невозвратимости утраты. Эти слова говорит Изяслав Мстиславич Изяславу Давидовичу, утешая его в смерти брата: «и слыша Изяслав плачущася над братомъ

своимъ Володимеромъ, и тако оставя свою немочь, и всадиша и на конь и еха тамо, и тако плакашеть над ним, акы и по брате своем; и долго плакав, а рече Изяславу Давыдовичю: „Сего нама уже не кресити...“» (Ипат. лет., под 1151 г.).

В «Слове о полку Игореве» эта формула «уже не кресити» употребляется не как формула отказа от мести, а в более новом значении — как формула утешения. Здесь в контексте «Слова» как формула утешения она приобретает и особое лирическое звучание¹.

* * *

С феодальными счетами связан целый ряд терминов: «явить вину» (Лавр. лет., под 1097 г.), «учинить неправду», «погубить правду» («Мне еси учинил неправду, а себе еси погубил». — Ипат. лет., под 1254 г.), «подкладывать вину» (Ипат. лет., под 1105 г.), «отдать гнев» (Ипат. лет., под 1195 г.), «держатъ гнев» (Ипат. лет., под 1251 г.), «предаться» (Лавр. лет., под 1127 г.), «утвердиться» («утвердиться с людьми». — Ипат. лет., под 1154 г.), «соступиться чего-либо» («съступи Дюрги Киева». — Ипат. лет., под 1149 г.), «иметь часть в чем-либо» («тако ли мне части нету в Руской земли». — Ипат. лет., под 1148 г.), «ловить голову» («ловять головы моя». — Ипат. лет., под 1189 г.) и др.

В одном случае автор «Слова» использует и переиначивает формулу раздела феодальных притязаний: «се мое, а то твое». Формула эта неоднократно встречается в договорах князей между собой.

Она связана обычной антитезой: «мы собе, а ты собе», «твой мець, наше головы», «яко земля ваша, тако земля моя» и т. д.

Вот раздел Изяслава Мстиславича с Владимиром и Изяславом Давыдовичами. Изяслав Мстиславич говорит:

¹ Лихачев Д. С. Необходимые разъяснения // Русская литература. 1976. № 4. С. 103—104.

«Что же будеть Игорева в той волости, челядь ли товар ли, то мое; а что будеть Святославе челядь и товара, то разделим на части» (Ипат. лет., под 1146 г.).

Автор «Слова о полку Игореве» нарушает эту двучастность, он сатирически изображает договоры князей и пишет не «се мое, а то твое», а «се мое, а то мое же», подчеркивая этим стремление князей захватить себе как можно больше. Таким образом, и здесь термин, формула перерастает в образ, становится средством художественного воздействия.

* * *

К феодальной терминологии принадлежит и слово «обида». Его значение не покрывается понятием «оскорбление» или современным значением слова «обида»¹. Его основное значение в XII—XIII вв. — нарушение права, несправедливость. Это значение выработалось в обстановке усиленных феодальных счетов. Первоначальное его значение как нарушения права отчетливо выступает уже в «Русской Правде»: «Оже ли себе не можеть мьстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мьзда» (2-я статья «Краткой Правды»); «Аще утнеть мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривне за обиду» (4-я статья «Краткой Правды»; ср. статьи «Краткой Правды» 7, 11, 13, 15, 19, 29, 33, 37, 43 и «Пространной Правды» 23, 34, 46, 47, 59, 60, 61).

Впоследствии слово «обида» все чаще и чаще употребляется в отношении нарушений именно княжеских феодальных прав и приобретает все более и более отвлеченное значение. Так, например, Изяслав Мстиславич отрядил брата своего Владимира к венгерскому королю со словами: «Оже, брате, твоя обида, то не твоя, но моя обида, паки ли моя обида то твоя» (Ипат.

¹ В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского слово «обида» имеет только значения: «обида», «оскорбление», «ссора» и «вражда».

лет., под 1150 г.); в другом случае Изяслав Мстиславич и Вячеслав отрядили Мстислава Изяславича к венгерскому королю со словами: «Нама дай Бог неразделно с тобою быти ни чим же, но а что твоя обида кде, а нама дай Бог ту самем быти за твою обиду» (Ипат. лет., под 1151 г.); венгерский король в свою очередь передал Изяславу: «Отце! кланяются, прислал еси ко мне про обиду галичкаго князя, а яз ти zde доспеваю...» (Ипат. лет., под 1152 г.). Ср. также: «Отец твой бяше слеп, а яз отцю твоему до сыти послужил своим копием и своими полкы за его обиду» (Ипат. лет., под 1152 г.); «И послаша Лариона сочьскаго къ Гюргю: „Кланяем ти ся; нету ны с тобою обиды, с Ярославом ны обида“»; «а в обиду его дай ми Бог голову свою сложити за нь» (Ипат. лет., под 1287 г.), «стоять за тобою во твою обиду» (Ипат. лет., под 1287 г.) и т. д.

Из приведенных примеров ясно, что мстить друг другу обиды, стоять за свою обиду и обиду своего главы было главною обязанностью феодала.

Значение этого понятия «обида» было очень велико в феодальном обществе.

Автор «Слова о полку Игореве» олицетворяет эту обиду: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука». Это выражение — «въстала обида» — следует сопоставить с аналогичным выражением летописи — «встало зло» (ср. в словах Мономаха под 1097 г.: «то большее зло встанеть в нас», — Лавр. лет.). Это обычное древнерусское выражение автор «Слова» использует как исходный момент для целой картины. Здесь, как и в других местах, автор «Слова о полку Игореве» ощущает язык во всей его конкретности; термин рождает образ; термин «встала обида» рождает образ девы обиды: «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону; плещучи, убуди жирня времена».

Но самым замечательным в употреблении термина «обида» является другое. Слово «обида» в летописи

употребляется не одну сотню раз. Оно употребляется во всех случаях, когда речь идет о нарушении или возможном нарушении прав князя, княжества, города («где будет обида Новугороду, тебе потянути за Новгород с братом своим». — «Договорная грамота» Тверского великого князя Михаила Ярославича с Новгородом 1301—1302 гг.) или даже монастыря («а от кого будет какая обида нашему монастырю, ино досмотрят и боронить нам самим». — Запись при кн. Еванг. чт. Публ. библ. д. 1400 г.¹). Однако в летописи термин этот никогда не употребляется в отношении всей Русской земли в целом. Иначе в «Слове о полку Игореве»: «Вступита, господина (Рюрик и Давыд Ростиславичи. — Д. Л.), въ злата стремянь за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!»; «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука» (то есть в русских войсках в целом).

Тем самым автор «Слова» открывал путь для более широкого понимания слова «обида», освобождал это понятие от его феодальной ограниченности, обращал внимание читателей на обиду всей Русской земли.

Здесь, как и в других местах «Слова», автор его пользуется привычными выражениями, привычными образами своего времени, но придает им художественное содержание и влагает в них элементы новой идеологии, более широкого взгляда на единство Руси — взгляда, который затем возобладает в первые годы монгольского нашествия (в «Слове о погибели Русской земли», в «Житии Александра Невского» и пр.).

* * *

Такое же переосмысление феодальных понятий видимы и в следующих словах «Слова о полку Игореве»: «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе». Битва

¹ Срезневский И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1902. С. 503.

между феодалами, междоусобная битва часто рассматривалась в XI—XII вв. как суд Божий, как суд оружием в феодальных спорах: выигравший битву оказывается и оправданным этим «судом Божиим». Так, например, в 1151 г. Изяслав Мстиславич Киевский перед битвой у Перемышля с Владимирком Галицким говорит: «се уже мы идем на суд Божий» (Ипат. лет., под 1151 г.). Вот почему все требования князей друг к другу подкреплялись этим указанием на божественный суд: «А како нам Бог дасть» (Ипат. лет., под 1150 г.); «акоже ти с ним Бог дасть» (там же); «ать вси по месту видим, што явить ны Бог» (Ипат. лет., под 1151 г.); «а тогда како ны Бог дасть с ним» (там же); «да Бог за всим» (там же); «оже Бог дасть» (там же); «а то Богови судити» (там же), «како нам с ним Бог дасть» (Ипат. лет., под 1152 г.), «како ми с ним Бог дасть, да любо аз буду в Угорьской земли, либо он в Галичьской» (там же); «а нама с королем с тобою како Бог дасть» (там же), «како ны с ними Бог дасть и святая Богородица» (Лавр. лет., под 1176 г.); «как ны Бог дасть» (Ипат. лет., под 1185 г.), «но како ны Бог дасть» (там же), «што нам Бог даст» (Ипат. лет., под 1194 г.); «не хоцещи ли того створити, а за всим Бог» (там же); «ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам Бог дасть, любо добро, любо зло» (там же), и т. д., и т. п.

Автор «Слова» пользуется дважды этим типичным для XII в. представлением о битве как о высшем суде, но с характерным отличием: битва для него не суд между спорящими князьями, не суд о том, кто из них прав, а суд над всей деятельностью князя; судится не спор между князьями, судится сам князь за все его поступки: «Бориса же Вячеславлича слава на судь приведе и на Канину зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя». Здесь нет и намек на то, что суд этот Божий. Здесь, как и в других местах «Слова», элементы христианского объяснения отсутствуют в «Слове» (см. об этом также наст. изд.,

с. 89) и самое понятие суда шире, чем феодальное представление о битве как о суде оружием. Ближе всего к этому выражению «Слова о полку Игореве» — «Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе» — слова Мстислава Владимировича в письме к своему отцу Владимиру Мономаху по поводу гибели своего брата Изяслава в сражении с Олегом «Гориславичем»: «а братцю моему суд пришел».

Наконец, то же широкое и мудрое представление о судьбе человека как о суде за всю его деятельность, но на этот раз в христианской трансформации, встречаем мы в «Слове» в оценке всей деятельности Всеслава Полоцкого: «Тому въщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути“».

И здесь, следовательно, привычное для XII в. представление в «Слове» получает художественное звучание и более широкое идейное содержание. Понятие «суда Божьего» автор «Слова» понял и более широко, и более по-народному, чем это было принято в феодальной среде его времени: суд Божий свершается не только над людьми, но и над птицами.

* * *

Мы видели выше, что многое в художественных образах «Слова» рождалось самую жизнью, шло от разговорной речи, от терминологии, принятой в жизни, из привычных представлений XII в. Автор «Слова» не придумывал новых образов. Многозначность таких понятий, как «меч», «копье», «щит», «стяг» и т. д., была подсказана особенностями употребления самих этих предметов в дружинном обиходе. Были полны символического метафорического смысла не слова, их обозначающие, а самые вещи, обычаи, жизненные явления. «Меч», «копье», «стремя» входили в ритуал дружинной жизни, и отсюда уже слова получали свою многозначность, свой художественный, конкретно-образный потенциал.

Не все стороны действительности могли давать материал для художественных сравнений, метафор. Арсеналом художественных средств были по преимуществу те стороны быта, действительности, которые сами по себе были насыщены эстетическим смыслом. Мы видели их уже в войне и в феодальном быте. Ниже мы увидим, что их в изобилии рождала также соколиная охота, пользовавшаяся широким распространением в феодальной Руси. Владимир Мономах говорит в «Поучении» об охотах наряду со своими походами. И те, и другие в равной мере входили в его княжеское «дело». Соколиную охоту имеет в виду и «Русская Правда», назначая штраф в три гривны за кражу ловчих птиц в чьем-либо перевесе. Эпизод охоты дошел до нас в рассказе «Повести временных лет» под 975 г. За XII и XIII вв. княжеская охота неоднократно упоминается в Ипатьевской летописи. Сам Игорь Святославич забавлялся ястребиною охотою в половецком плену.

Не может быть сомнения в том, что охота с ловчими птицами (соколами, ястребами, кречетами) доставляла глубокое эстетическое наслаждение. Об этом свидетельствует позднейший «Урядник сокольничьего пути» царя Алексея Михайловича. «Урядник» называет соколиную охоту «красной и славной», приглашает в ней «утешаться и наслаждаться сердечным утешением». Основное в эстетических впечатлениях от охоты принадлежало, конечно, полету ловчих птиц. «Тут дело идет не о добычке, не о числе затравленных гусей и уток, — пишет С. Т. Аксаков в „Записках ружейного охотника“, — тут охотники наслаждаются резвостью и красотою соколиного полета или, лучше сказать, невероятной быстротой его падения из-под облаков, силою его удара». «Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет», — пишет и «Урядник».

Вот почему образы излюбленной в Древней Руси соколиной охоты так часто используются в художественных целях. В этом сказались, как мы уже видели раньше, до известной степени особенности эстетического сознания Древней Руси: средства художественного воз-

действия брались по преимуществу из тех сторон действительности, которые сами обладали этой художественной значительностью, эстетической весомостью.

Образы соколиной охоты встречаются еще в «Повести временных лет»: «Боняк же разделился на 3 полки, и сбиша угры акы в мячь, яко се сокол сбивает галице» (Лавр. лет., под 1097 г.). В этом образе «Повести временных лет» есть уже то противопоставление соколов галицам, которое несколько раз встречается и в «Слове о полку Игореве». Противопоставление русских — соколов врагам — воронам есть и в Псковской первой летописи. Александр Чарторыйский передает московскому князю Василию Васильевичу: «Не слуга де я великому князю и не буди целование ваше на мне и мое на вас; коли де учнуть псковичи соколом вороны имать, ино тогда де и мене Черториского воспомянете» (Псковск. I лет., под 1461 г.).

Несколько раз в летописи встречается указание на быстроту птичьего полета; как бы мечтая о возможности передвигаться с такою же быстротою, Изяслав Мстиславич говорит о своих врагах: «да же ны Бог поможеть, а ся их отобьем, то ти не крилати суть, а перелетевше за Днепр сядуть же» (Ипат. лет., под 1151 г.). Тот же образ птичьего полета встречается и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря 1185 г. Дружина жалеет, что Игорь не может перелететь как птица и соединиться с полками Святослава: «Потом же гада Игорь с дружиною, куды бы (мог) переехати полки Святославе; рекоша ему дружина: „Княже! потьскы (по-птичы. — Д. Л.) не можешь перелетети; се приехал к тебе мужь от Святослава в четверг, а сам идет в неделю ис Кыева, то како можеши, княже, постигнути“». Игорь же торопился, ему было «не любо» то, что сказала ему дружина (Ипат. лет., под 1185 г.). Тот же образ птичьего полета, позволяющего преодолевать огромные пространства, видим мы и в «Слове»: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?» Встречается в

летописи и сравнение русских воинов с соколами: «Приехавшим же соколомъ стрелцемъ, и не стерпевъшим же людемъ, избиша е и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.). Именно это сравнение, излюбленное и фольклором, чаще всего употреблено в «Слове о полку Игореве»: «се бо два сокола слѣтѣста»; «коли соколъ въ мытєхъ бываетъ, высоко птиць възбиваетъ: не дасть гнѣзда своего въ обиду»; «высоко плаваеши на дѣло въ буети, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти»; «Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци»; «аже соколъ къ гнѣзду летить, а вѣ соколца опутаевѣ красною дѣвицею».

Замечательно, что во всех этих сравнениях воинов-дружинников и молодых князей с соколами перед нами сравнения развернутые, рисующие целые картины соколиного полета, соколиной охоты в охотничьих терминах своего времени (соколы «слѣтѣста», сокол бывает «въ мытєхъ» и тогда «не дасть гнѣзда своего въ обиду», сокол «высоко плаваетъ», то есть парит, собираясь «птицю въ буйствѣ одолѣти», сокола «опутываютъ», то есть надевают ему на ноги «путинки» и т. д.).

Весьма возможно, что образ «пардуса», встречающийся и в летописи (сравнение с пардусом Святослава Игоревича под 964 г.), и в «Слове» («пардуже гнѣздо»), связан с охотой с помощью ловчих зверей¹. Как показал Н. В. Шарлемань, пардус (гепард) был охотничьим зверем в Древней Руси².

Я не останавливаюсь подробнее на образах «Слова», связанных с охотой, на употребляющейся в нем охот-

¹ Небезынтересно отметить, что подобно тому как в соколиной охоте главное эстетическое удовольствие доставляла быстрота полета сокола, так и в охоте с пардусом (гепардом) привлекала быстрота его передвижений — прыжков. В «Повести временных лет» знаменитое сравнение Святослава с пардусом идет именно в этом направлении: «легко ходя, аки пардусъ».

² Из реального комментария к «Слову о полку Игореве» // ТОДРА. Т. VI. С. 119—121.

ничьей терминологии («влькомь рыскаше», «влькомь прерыскаше», «дорыскаше», «нарыщуше», «слѣдъ править», «гнѣздо» зверей в значении «выводок», «опуташа въ путины желѣзны», «галици стады», «соколца опутаевѣ»): все эти охотничьи термины прекрасно объяснены в работе Н. В. Шарлеманя¹.

«Слово», следовательно, насыщено конкретными, зрительно четкими образами русской соколиной охоты. В своей системе образов оно исходит из русской действительности в первую очередь.

* * *

Особая группа образов в «Слове о полку Игореве» связана с географической терминологией и географической символикой своего времени.

К. В. Кудряшов, исследуя направление походов Владимира Мономаха, пришел к следующему выводу: «Самое выражение „Дон“, „с Дона“ применяется иногда летописцем как общее географическое обозначение для всей области Дона за Северским Донцом, для всего великого поля Половецкого»².

Определение страны по протекающей в ней реке чрезвычайно характерно для летописного изложения; ср. о Ярополке: «Он же седя Торжку поча воевати Волгу» (Лавр. лет., под 1182 г.), или «томъ же лете ходи Вячеслав на Дунай» (Ипат. лет., под 1116 г.) и т. п. Выражения «ходить на Волгу, на Оку», «повоевать Сулу» и т. д. — постоянны в летописи. Те же определения страны по реке встречаем и в «Слове о полку Игореве»: «половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому», «Игорь къ Дону вои ведеть», «Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому», «итти дождю стрѣлами съ Дону великаго», «ту ся саблямъ

¹ Из реального комментария к «Слову о полку Игореве» // ТОДРА. Т. VI. С. 122—123.

² Кудряшов К. В. Половецкая степь. М., 1948. С. 117.

потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго», «половци идутъ отъ Дона», «на синѣмъ море у Дону», «суды рядя до Дуная», «скочи влъкомъ до Немиги», «на Немизѣ снопы стелють головами», «Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малого Донца», «дѣвици поють на Дунаи» и т. д. и т. п. Если не считать городов, то все страны определяются в «Слове» не по княжествам, а по рекам, и нельзя не видеть в этом народного определения земель.

В связи со сказанным становится нам понятным и выражение «Слова» «затворивъ Дунаю ворота»: «Дунай» здесь — страны и народы по Дунаю, подвластные Византии, от которых затворяет ворота своей реки Ярослав Осмомысл.

Корни этих настойчивых определений стран по рекам понятны: реки в древности имели гораздо больший удельный вес в экономической жизни страны, чем в новое время: в промысле, в торговле и как пути сообщения. Не случайно и «Повесть временных лет», давая в своей вводной части географическое описание Русской земли, ведет его по рекам: Днепру, Волге и Западной Двине. В связи с этим становится понятным и значение реки как символа страны. Это символическое значение реки отразилось и в обычаях, и в языке. Генрих Латвийский рассказывает, что литовцы под Кукенойсом кинули копье в Двину в знак разрыва мира с немцами¹. Нечто подобное находим мы и на Руси: под 1245 г. Ипатьевская летопись рассказывает о том, что Василько Романович стреляет через Вислу, объявляя войну Польше.

Наконец, нельзя не отметить и распространенный в Древней Руси символ победы над тою или иною страной: испить воды из ее реки. Ср. в «Похвале Роману Мстиславичу»: «тогда Володимер Мономах пил золотом шоломом Дон, и приемшу землю их всю и загнавшу оканьныя агаряны» (Ипат. лет., под 1201 г.), ср. тре-

¹ Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.; Л., 1938. С. 161.

бование Юрия Всеволодовича, обращенное им к новгородцам: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поиль есмь коне Тьхверью (то есть занял уже Торжок на Тверце. — Д. Л.), а еще Волховомь напою» (то есть «займу и Новгород», — Новг. I лет., под 1224 г.). Символ этот устойчиво держится в русской жизни. В XVI в. его употребляет Иван Грозный в письме к Курбскому: «...и коней наших ногами переехали вси ваши дороги из Литвы и в Литву, и пеши ходили, и воду во всех тех местах пили, ино уж Литве нельзя говорити, что не везде коня нашего ноги были»¹.

В XVII в. символ этот употребляют казаки в «Повести об Азове»: «козаки его (русского царя) с Азова оброк берут и воды из Дону пити не дают».

Этот символ победы неоднократно употребляется и в «Слове о полку Игореве». Дважды говорится в «Слове» — «а любо испити шеломомь Дону», — как о цели похода Игоря. В обращении к Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо автор «Слова» говорит: «Ты бо можеш Волгу веслы раскропити, а Донъ шелома выльяти!» Это несколько сильнее, чем «испить Волги» или «испить Дону», но, несомненно, принадлежит к тому же гнезду символов, связанных с рекой — страной. Слова эти означают: «ты можешь победить до конца страны по Волге (то есть болгар, с которыми Всеволод неоднократно воевал. — Д. Л.) и страны по Дону» (то есть половцев). Одновременно слова эти дают представление и о количестве войска Всеволода. Его так много, что если бы каждый воин испил из реки шлемом, то вычерпали бы ее. Воинов так много, что весла гребцов «раскропили» бы Волгу. И здесь, следовательно, как и в других случаях в «Слове», обычный средневековый символ, или термин, конкретизирован, сделан зрительно наглядным. Символ здесь одновременно и образ.

¹ Русская историческая библиотека. Т. XXXI. СПб., 1914. С. 123.

Упоминание вычерпанной реки как знака полной победы над населявшими ее берега народами встречается и в летописи. Под 1201 г. сказано о хане Кончаке: «...иже снесе Сулу, пешь ходя, котел нося на плечеву». Здесь имеется в виду победоносный поход хана Кончака в Переяславскую область 1185 г. Тот же символ вычерпанной реки как побежденной страны лежит и в основе характеристики «Словом» победоносного похода Святослава Киевского в 1184 г. О Святославе сказано: «изсушил потоки и болота». Здесь и символ, и реальность одновременно: при передвижении большого войска всегда «требился путь» и мостились мосты, замащивались «грязивые места». Следовательно, и в данном случае символ конкретизирован в «Слове». Меткость его в том, что он несет две нагрузки: символическую и реальную. Еще больший отход от первоначального символа победы в сторону превращения этого символа в художественный образ имеем мы в том месте «Слова», где говорится о том, что и на юге, и на северо-западе русские в равной мере терпят поражение от «поганых» (то есть от явических половецких и литовских племен). «Уже бо Сула не течеть сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотамъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ». И сула, и Двина — две пограничные русские реки — лишились своих вод как знак поражения, и вместе с тем они уже как бы не могут служить реальными препятствиями для врагов Руси.

* * *

Несмотря на всю сложность эстетической структуры «Слова», несмотря на то, что в основе многих образов «Слова» лежат военные, феодальные, географические и тому подобные термины своего времени, обычаи, формулы и символы эпохи феодальной раздробленности, взятые из разных сфер языка и из разных сторон действительности, — поэтическая система «Слова» отличается строгим единством. Это единство обусловлено тем, что вся тер-

минология, все формулы, все символы подверглись в «Слове» поэтической переработке, все они поэтически конкретизированы, образная сущность их подчеркнута, выявлена, и все они в своей основе связаны с русской действительностью XII в., и все они в той или иной мере подчинены идейному содержанию произведения.

Автор «Слова» никогда не создает совершенно новых образов, не «изобретает» своих образов, основываясь только на внешнем сходстве явлений. Как мы уже говорили, он пользуется уже готовыми образами, беря их отовсюду: из фольклора, из обывденной речи, из терминологии, из феодальной и военной символики своего времени и т. д. Личное творчество автора «Слова» выражается в том, что он придает новое звучание этим обычным образам, вкладывает в них новое содержание, делая их многозначными, и вместе с тем стремится к ясности, наглядности, зрительной четкости каждого из образов. Все вводимые им образы несут вместе с тем идейную нагрузку, отвечают общим задачам всего произведения в целом.

Весьма важно при этом отметить, что в «Задонщине», заимствующей многие поэтические образы из «Слова», их поэтическая сущность, столь ярко выраженная в «Слове», оказалась непонятой.

В «Задонщине» «стязи ревуть»¹ — в «Слове» они «глаголють» (то есть свидетельствуют). В «Задонщине» жены коломенские обращаются к Дмитрию: «замъкни, князь великий, Оке реке ворота, чтобы потомъ поганые к намъ не ѣздили»² — в «Слове» же — «затворивъ Дунаю ворота» в совсем ином, правильном и обычном для XII в. значении.

В «Задонщине» в отличие от «Слова» золото не есть принадлежность княжеского быта: простой чернец Пересвет «посвечивает» «злаченным доспехом»³, русские воины «гремят» «золочеными доспехы». Между тем в

¹ ТОДРА. Т. VI. С. 231.

² Там же. С. 230.

³ Там же. С. 239.

«Слове» эпитет «золотой» применяется только к вещам княжеского быта, в строгом соответствии с представлениями XII в. и с исторической реальностью.

Для автора «Задонщины» поле Куликово — это «судное место»¹, что резко противоречит представлениям XII в. Для автора XII в. «судом Божиим» были только междоусобные битвы: для него это понятие вполне точное и неприменимое к битвам с иноземными врагами, с которыми не могло быть «суда».

Отсюда ясно, что поэтическая система «Слова» есть поэтическая система XII в., тогда как поэтические приемы «Задонщины» частично механически заимствованы из «Слова» без достаточного понимания их поэтической сущности, частично же отражают другую поэтическую систему, систему конца XIV — начала XV в.².

Из всего изложенного следует и другой вывод: «Слово о полку Игореве» — это не произведение рафинированной книжной культуры, доступной для немногих и замкнутой в традициях какой-либо узкой литературной школы. «Слово о полку Игореве» — произведение народное в самом глубоком смысле этого слова; его художественное существо было широко доступно всем.



КНЯЖЕСКИЕ ПЕВЦЫ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

«Слово о полку Игореве» в двух отношениях является источником сведений о культуре и искусстве слова в Древней Руси. Во-первых, оно само по себе, как

¹ ТОДРА. Т. VI. С. 230.

² См. подробнее: Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины». (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве».) // Русская литература. 1964. № 3. С. 84—107.

произведение словесное, свидетельствует об искусстве слова, а во-вторых, оно содержит в себе фактические сведения о различных формах словесного искусства.

Кратко рассмотрим «Слово» в этом втором отношении.

Мне уже приходилось писать о культуре устной речи в Древней Руси¹. Основным источником для моих суждений служили летописи. Были выделены следующие типы устной речи: речи, передававшиеся устно через послов, речи воинские, произносившиеся князьями перед битвами, речи на вече и княжеских сменах. Все эти типы устной речи зафиксированы летописными текстами. Было отмечено, что они отличались афористичностью, легко запоминающейся формой, образностью.

«Слово о полку Игореве» подтверждает существование всех типов этих речей. Воинские речи перед выступлением в поход и перед битвой Игоря Святославича и Всеволода Буй Тура удивительно близки к характеру воинских речей, известных по летописи. Речи, обращенные в «Слове» одним князем к другому, находящемуся на далеком от него расстоянии, свидетельствуют о том, что перед нами типичные «посольские речи» — речи, передававшиеся через послов. В частности, как своего рода «посольские речи» могут рассматриваться слова, сказанные Всеволодом Буй Туром Игорю перед выступлением в поход, и обращения Святослава Киевского к русским князьям в его «золотом слове».

Кроме этих типов устной речи, известных и по летописи, в «Слове о полку Игореве» отмечены и другие формы словесного искусства: прежде всего — славы и плачи. Отметим, что славы и плачи в «Слове» хором или в одиночку поют только женщины (Ярославна, девицы на Дунае, готские девы на берегу моря и др.). Это согласуется с тем, что в Радзивилловской летописи в миниатюрах, изображающих пение слав и оплакивания,

¹ Лихачев Д. С. 1) Русский посольский обычай XI—XIII вв. // ИЗ. Т. 18. М., 1946. С. 42—55; 2) Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 114—144.

поют только женщины. Наконец, самое главное из словесных искусств, отмеченных в «Слове», — это искусство княжеского певца Бояна. Боян поет о князьях, и он — любимец князя Олега Святославича.

По поводу содержания и формы тех песен, которые пел Боян, имеется обширная литература, и я не буду здесь повторять выводы и догадки отдельных исследователей. Напомню только, что рядом с Бояном на основании одного места «Слова» реконструируется существование и второго княжеского певца, любимца Олега — Ходыны. В первом издании «Слова» это место читается так: «Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля пѣтворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти». Наиболее вероятная реконструкция этого места следующая: «Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти». Далее в тексте приводятся слова, сказанные Бояном и Ходыной: «Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы, — Русской земли безъ Игоря». Слова эти в афористической форме оценивают положение на Руси, создавшееся в результате пленения Игоря.

Я думаю, что есть основание заметить в «Слове» существование еще одного певца — княжеского любимца («хоти»). Приведем все интересующее нас место по первому изданию «Слова», выделив в нем слова, нуждающиеся в реконструкции: «Единъ же Изяславъ сынъ Васильковъ позвони своими острыми мечи о шеломы Литовскія; притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ Литовскими мечи. *И схоти ю на кровать, и рекъ: дружину твою, Княже, птиць крылы пріодѣ, а звѣри кровь полизаша. Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго Всеволода; единъ же изрони жемчюжну душу чресь злато ожереліе*».

Наиболее вероятная реконструкция указанного места из всех предлагавшихся следующая: «и с хотию на кров, а тьи рекъ: ...». В этой реконструкции не меняется ни одной буквы — только предлагается иное разделение на

слова, чем то, которое было предложено первыми издателями «Слова». Текст же становится вполне осмысленным и подтвержденным всей поэтической системой «Слова», в котором смерть всегда связана с землей и совершается на «зеленой паполеме», «траве», разлившейся крови и пр. Если верно предложенное деление на слова выделенного места, то текст всего пассажа становится совершенно ясен. Княжескими «хотями» в «Слове» несколько ниже, как уже указывалось, названы певцы Боян и Ходына. «Хоть» Изяслава Васильковича — это, очевидно, также его любимый певец («хоть» не может быть женщиной, так как он «тъи» — мужского рода, да и далее «хоти» — певцы мужчины: Боян и Ходына)¹.

Обратим внимание на то, что Боян и Ходына как бы формулируют положение на Руси, создавшееся в результате пленения Игоря. Формулирует положение и один Боян по поводу смерти Всеслава Полоцкого: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути». Так и «хоть» Изяслава Васильковича говорит ему, одиноко умирающему на кровавой траве, о горестной судьбе его дружины, формулируя положение: «дружину твою, княже, птиць крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша». Певец «хоть» принимал участие в сражении — притрепан вместе с князем на кровавой траве.

Если моя догадка, что «хоть» Изяслава Васильковича — это его княжеский певец-любимец, верна, то перед нами еще одно свидетельство о существовании при княжеских дворах певцов и среди них певцов-любимцев, княжеских «хотей», очевидно, принимавших участие в походах своих князей и отлично знавших военное дело².

¹ Точка зрения на «хоть» как на жену подробно аргументирована А. В. Соловьевым в статье «Восемь заметок к „Слову о полку Игореве“» (ТОДРЛ. Т. XX. М.; Л., 1964. С. 377—378). Подробному разбору этого мнения мною будет посвящена особая глава в работе о художественной системе «Слова о полку Игореве».

² О связи «Слова» со скальдической поэзией см.: Шарыпкин Д. М. Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов // ТОДРЛ. Т. XXXI. Л., 1976. С. 14—22.

Четвертый княжеский певец-любимец — это, может быть, сам автор «Слова о полку Игореве», не случайно сравнивающий свое творение с творением княжеского певца-«хоти» Бояна во вступительной части «Слова». Поскольку княжеские певцы принимали участие в походах, это объясняет неоднократно замечавшееся отличное знание автором «Слова» военного дела и обстоятельств самого похода Игоря.

Княжеские певцы-любимцы, сопровождающие своих князей в походах, явно напоминают скандинавских. Об этом см. ниже в статье В. Г. Адмони и в статье Д. М. Шарыпкина «Рекъ Боянь и Ходына...»¹. Однако, по моему убеждению, перед нами не скандинавская особенность, а общеевропейская. Таким же феодальным певцом был явно и автор «Песни о Роланде». Это особенность феодального быта вообще. Русские же фольклорные элементы в «Слове» явственно свидетельствуют о том, что перед нами типично русское произведение, при этом произведение народное и если, как мы предполагаем, и имеющее общее с европейским творчеством феодальных певцов (ср. соображения А. Н. Робинсона и мои относительно близости «Слова о полку Игореве» к «Песне о Роланде»)², то только в пределах общеевропейского феодального «литературного быта».



¹ Шарыпкин Д. М. «Рекъ Боянь и Ходына...» // В кн.: Скандинавский сборник. Вып. XVIII. Таллинн, 1973.

² Робинсон А. Н. Литература Киевской Руси среди европейских средневековых литератур. (Типология, оригинальность, метод) / В кн.: Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 74—81; Лихачев Д. С. Наст. изд. С. 23—27.

ПОЭТИКА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Анонимность «Слова»

Художественная логика «Слова», не будучи принципиально отлична от нашей, тем не менее обладает средневековым и чисто авторским своеобразием.

Обратим прежде всего внимание на анонимность многих произведений Древней Руси. Анонимность была явлением не только недостатка авторского чувства собственности, но и явлением эстетики.

Анонимность не следует рассматривать только под углом зрения отсутствия чувства «авторской собственности», пониженного личностного начала и т. п. Анонимность есть также и явление поэтики средневековья и фольклора. Средневековое произведение пишется не для самовыражения, а для того, чтобы ответить на ожидания, требования, желания читателя, слушателя, зрителя. Неизвестный автор озабочен не собой, а тем, для кого он создает свое произведение.

Отсюда связь анонимности с традиционностью. Традиционность также выражает коллективное начало искусства. Двигаясь в рамках традиционности (именно двигаясь, а не застывая), творец как бы идет по проторенным, знакомым его слушателям, читателям и зрителям путям. В искусстве же чрезвычайно важен как раз момент «узнавания» (поэтому-то слушать второй раз сложное произведение всегда легче, чем первый). Этот момент узнавания особенно важен в древнерусском искусстве, где он может даже преобладать над моментом познания нового.

Создавая житие святого, автор как бы участвует в церемониале, его прославляющем, а церемониал всегда традиционен — это его характерная черта. И раз преобладает традиционность и церемониал — то само собой отступает на второй план личностное начало; на первый же план выступает коллективность.

Эту коллективность не следует представлять себе непременно как творчество совместное. Творец почти всегда один, но он творит для многих, используя то, что сделано до него многими. Если в созданном им «что-то не так» — переписчики или исполнители всегда могут переделать, ибо у них нет ощущения отличий стиля произведения от традиционных стилей. Этих стилей много, но они тоже различаются между собой не по авторам, а по тому, для чего и для кого произведение создается, по жанрам.

Анонимность, традиционность и церемониальность требуют повторений. В древнерусских произведениях эстетически действенна не новизна, а этикетная обычность. Художник ищет не свежести впечатлений, а выражения этих впечатлений в полагающихся им формах.

Отсюда факт особого значения в средневековье «соседства произведений». Одно произведение, получившее «художественный авторитет», начинает использоваться в других произведениях не только ради красоты и точности самой «цитаты», но и для того, чтобы создавать настроение художественной возвышенности. Простейший пример — использование цитат из псалтири. Оно не только усиливает религиозную убедительность, но и создает настроение поэтичности.

Это не означает, что у автора «Слова о полку Игореве» не было собственных находок. Наверное, они были, но нам очень трудно выявить все — где и какие они: ведь других произведений того же жанра мы не знаем, а есть только отдельные «похожести». Зато вот что интересно в «Слове»: склонность к цитированию, к повторениям, к ограничению в употреблении многих тропов, к использованию одних и тех же образов, хотя бы и с некоторыми вариациями. «Переключка», которая в большом масштабе идет по всей древнерусской литературе, может быть замечена и внутри текста одного произведения, в частности — в «Слове о полку Игореве».

Сравнения в «Слове»

Из всех художественных тропов наибольшую «свободу» творцу предоставляют сравнения. Сравнения в новой литературе могут делаться по любому поводу — где только художник сможет обнаружить сходство. И вот здесь обратим внимание на то обстоятельство, что художественные образы «Слова» крайне редко строятся на сравнениях. Мы привыкли думать, что «Слово» часто сравнивает своих персонажей с птицами (соколами, галками, воронами и пр.), зверями (волками, турами и т. п.), а события — с полевыми работами, пиршеством, свадьбой, охотой и т. д. Но в большинстве случаев перед нами не столько сравнения, сколько подмена, смещение одного ряда явлений другим, в основе которого лежит не сходство, а представление о том, что в мире существуют эстетически высокие области — такие, как война, охота, земледелие, отношения человека к природе, — которые художественны сами по себе и одно сопоставление с которыми вызывает представление о художественной ценности того, о чем говорится. Поэтому если описывать что-либо в охотничьих, военных или земледельческих терминах, то это уже само по себе означает введение описываемого в разряд художественных явлений. Автор пользуется понятиями из этих областей как знаками художественности.

Сравнения в «Слове» в своем чистом виде все же встречаются, хотя и редко, так же редко, как и в других произведениях его времени. Но примечательно, что, прибегая к сравнениям, авторы очень часто пользуются формой отрицательного сравнения, вернее — отрицания возможного отождествления. Обычно отрицательные сравнения в «Слове» считаются признаками его народнопесенной основы. Это не так. Фольклорной стихии в «Слове» много, но отрицательные сравнения, в тех редких случаях, когда они вообще появляются, характерны и для древнерусской книжности времени «Слова о полку Игореве» — ср. у Кирилла Туровского: «Пища же не брашно речеться, но слово Божие, имь

же питается тварь». В «Слове святого Кирилла-мниха о снятии тѣла Христова с креста» идет целая серия отрицательных сравнений, прямо указывающих на различие сравниваемых объектов: «Како начну или како разложю? Небомь ли ты прозову? Нь того свѣтълѣй быть благочѣстьемь, ибо... Землю ли ты благоцвѣтушую нареку? Нь тоя чѣстнѣй ся показа... Апостоломь ли ты именую? Нь и тѣх вѣрнѣе и крѣпѣчею обрѣтесе...» и т. д. Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пушаще, нь своя вѣщица прѣсты на живая струны въскладаше», «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому», «Немизѣ кровави брезѣ не бологомь бяхуть посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ», «А не сорокы второскоташа: на слѣду Игоревѣ ѣздить Гзакъ съ Кончакомъ».

Не совсем ясен второй из приведенных выше примеров отрицательного параллелизма: «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому». Вряд ли здесь галки сравниваются с соколами, тем более что вся фраза говорит о том, что галки спасаются бегством от соколов, то есть второй член параллели служит естественным следствием первого.

Художественная система «Слова» построена не на внешних сходствах, ведущих к сравнениям, а на каких-то символических представлениях. Пир — битва, земледельческие работы — битва, подмена людей охотничьими птицами и зверями — теми, на которых охотятся и с которыми охотятся, основанная, очевидно, на каких-то далеко в прошлое уходящих представлениях о тотемах людей. Сюда же относится символика, связанная с солнцем: князь — солнце, молодые князья — месяцы, и представления о приметах, предвещающих смерть, гибель, поражение: затмение — поражение, крыша без князька — смерть, об оборотничестве: князь оборачивается волком и носится волком в ночи.

К этой же символической системе принадлежит и представление о вокняжении как об обручении с тем

городом, в котором князь вокняжается. Отсюда Киев для захватившего киевский престол Всеслава — девица, с которой он не успел обручиться, а только «доткнулся» золотого киевского стола «стружием» — древком копья.

Сравнения вводятся в тексте «Слова о полку Игореве» с помощью сравнительного союза «аки»: о курянах, например, говорится: «сами скачють, акы сѣрѣи влѣди в полѣ» или «по Руской земли прострошася половци, акы пардуже гнѣздо», или про князей Рюрика и Давыда спрашивается: «не ваю ли храбрая дружина рыкають, акы тури, ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?» Но характерно, однако, что и эти сравнения берутся не по внешнему сходству, а по символической системе средневековья: воины и князья сравниваются с волками, пардусами, турами — зверями, входящими в «охотничью символику Древней Руси». Как сравнение охотничьего характера может рассматриваться и сравнение половецких телег с лебедями в единственном случае, в котором сравнение вводится с помощью формы «рци» от глагола «речи»: «крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспущени» (или «роспужены» — вспугнуты), однако в данном, последнем случае возможно и другое объяснение: лебеди могли быть тотемом половецев.

Художественность произведения не создается «приемами», «образами», «средствами», а заложена уже в самом содержании произведения, в характере тем, настроении — она в глубине произведения, а поверхность отражает лишь то, что находится в этой глубине. Художественность «Слова о полку Игореве» — в особой интерпретации событий несчастного похода Игоря как части русской истории, в восприятии значительности происходящего, причастности к целому отдельных личностей, их поступков и разнообразных событий вокруг похода и его героев.

Преобладающий троп в «Слове» — метонимия или синекдоха. Метонимию отнюдь не следует считать простой разновидностью метафоры. Метонимия не входит в метафору, а является равноправным с метафорой художественным тропом, особенно распространенным в церемониальной эстетической системе средневековья и время от времени отвоевывающим себе свои права в литературных направлениях нового времени (например, в барокко и классицизме).

Сравнительно с другими тропами метонимия ограничена в своем разнообразии. Принцип метонимии — часть вместо целого — уже ограничивает выбор частей их целым. В древнерусской же художественной прозе метонимия, кроме того, имеет и другое ограничение — выбирается вместо церемониального целого важнейшая церемониальная часть этого целого.

Типичная метонимия «Слова» и других памятников его времени — «вдеть ногу в стремя» вместо «выступить в поход». Это метонимия как бы второй степени. Вдевание ноги в стремя — важнейшая церемониальная часть восседания князя на коня, а восседание на коня князя — важнейшая часть церемонии выступления княжеского войска в поход. Недаром и в Радзивилловской летописи выступление князя в поход (л. 234 верх) изображено как вдевание князем ноги в стремя. При этом в церемонии участвует и стремянной, стоящий перед садящимся на коня князем на одном колене.

Обе эти метонимии настолько привычны, что употребляются иногда просто как термины, означающие выступление в поход. Поэтому в старорусских текстах можно сесть на коня *против кого-либо* либо *за кого-либо*, так же как и вступить в стремя *за кого-либо* или *против кого-либо*. Стремя — важная символическая деталь любого конного похода. Поэтому князья могут предлагать друг другу ездить «возле стремени», то есть

совершать общий поход или находиться в феодальном подчинении у кого-то, «у стремени» кого они обещают ездить.

Другой пример метонимии — «приломить копие» вместо «начать битву». Начало битвы — тоже имело свою церемониальность. Право начать битву имел только князь — даже если он был малолетним. Летопись так описывает начало битвы с древлянами, которую открывает малолетний князь Святослав Игоревич: «А сънемъшемся обема полкома на скупь, суну копьемъ Святославъ на древляны, и копье летѣ сквозѣ уши коневи...»

Поэтому, когда Игорь говорит: «хощу копие приломити конецъ поля Половецкаго», он выражает этим желание сразиться с половцами.

К метонимиям относятся выражения «стоят стязи», или «понизите стязи свои», или «пали стязи». Стяг — это знак войска, знак войсковой единицы (нам не совсем ясно сейчас, какая войсковая единица имела право на собственный стяг, сколько у князей было стягов и какое войско эти стяги собирали, «стягивали» собой). Ясно, однако, что под стягами часто разумелось войско, обладавшее стягом. Поэтому падение стягов означало поражение, «понижение» стяга — сдачу. «Поставить стяг» означало собирать войско и пр. Развитием этого образа-метонимии является заявление автора «Слова», что у князей Рюрика и Давида «ро́зно», то есть в разные стороны, развеваются знамена. Значение этого заявления вполне ясно — князья устремляются в разные стороны и, соответственно, у них полотнища развеваются по направлению, откуда они едут, но не по направлению ветра. Выражение «нъ розно ся имѣ хоботы пашуть» в других древнерусских текстах не встречается, но оно вполне в духе древнерусских представлений о стягах и их метонимическом значении.

К числу метонимий относится и выражение «трубы трубят», то есть происходит сбор войска трубными звуками: «Трубы трубятъ въ Новѣградѣ».

К числу метонимий относится выражение «отворить ворота» — взять город приступом или подчинить его себе, «затворить ворота» — не пустить кого-либо. И многое другое.

Возникает вопрос: не означает ли выражение «позвонить кому-либо заутреню в каком-либо княжестве» метонимию признания кого-либо князем? Ведь в быту заутреню звонили для всех, а не кому-либо в особенности. Поэтому когда в «Слове» говорится о Всеславе «тому въ Полотьскѣ позвониша заутреню рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Киевѣ звонъ слыша», то это, возможно, означает: «Всеслава в Полотске признают князем, звонят ему заутреню, а он находится в Киеве в заключении». «Слышат» в «Слове» обычно именно князя на огромные расстояния, и означает это, по-видимому, их осведомленность в делах далеких княжеств — через гонцов или как-либо иначе. Так же точно как в «Слове», и в летописи князья говорят друг другу из княжества в княжество — и, разумеется, через послов. Упоминание послов, гонцов просто пропускается, и это создает иллюзию резкого сближения князей между собой. На большом расстоянии из своих княжеств разговаривают друг с другом Игорь и Всеволод, причем Всеволод осведомляет брата — как у него обстоят дела в Курском княжестве. Не следует думать, что Игорь и Всеволод говорят друг с другом, уже съехавшись: Игорь только ждет еще своего милого брата, собирая войска в Новгороде Северском и в Путивле (в первом городе еще только звучат трубы, во втором поставлены стяги).

Таким образом, не только сама метонимия, но «метонимический способ мышления» могут считаться характерными для «Слова о полку Игореве». Вместе с тем и метонимия, как и сравнение, ограничена определенными областями: где-то метонимия только допустима, а где-то она традиционна. Вот почему и в сравнениях, и в метонимиях мы встречаемся

в «Слове о полку Игореве» с некоторой традиционностью и повторяемостью¹.

Если в современной художественной прозе «глаголы говорения» чрезвычайно разнообразны и, в сущности, любые глаголы о человеческих действиях могут быть обращены по своему значению в глаголы говорения (например, со словами прямой речи можно не только «обратиться», но также «обернуться», «прервать», «засмеяться», «улыбнуться» и т. д.), то в «Слове» и в Древней Руси даже ритуал плача, который во всех случаях требовал слов или пения, сопровождается обозначением «а ркучи» или «аркучи» (какая из этих форм правильнее, не установлено): «Жены руския въсплакашась, аркучи» (далее идут слова плача); «Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи» (далее слова одного из плачей). Последняя форма введения слов повторена в «Слове» трижды.

Следует упомянуть и о ситуационных повторениях. Эти ситуационные повторения вызваны, с одной стороны, тем, что только некоторые явления жизни считались эстетически ценными (война, охота, земледелие и пр.), о чем мы уже говорили выше, а с другой — древнерусским ритуалом, которым сопровождалось то или иное событие.

Обращает на себя внимание в «Слове» и значение «берега» или «брега» как места ритуальных действий, оплакиваний, ритуальных пений. Ср.: «темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ»; «се бо готъскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю»; «Немизѣ кровави брезѣ не бологом бяхутъ

¹ Значению повторов в художественной системе «Слова» значительное внимание уделила Н. С. Демкова: Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве» / В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980. С. 58 и след. Частично повторы в «Слове» рассмотрены и в статье Н. С. Демковой «Повторы в „Слове о полку Игореве“». (К изучению композиции памятника) / В кн.: Русская и грузинская средневековые литературы. Л., 1979. С. 59 и след.

посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ». Возможно, что и место разлуки Игоря со Всеволодом, происходящей «на брезѣ быстрой Каялы», тоже имеет ритуальное значение, в связи с чем повышается уровень возможности признать название реки Каялы — символическим, как реки «каяния», «плача», горести¹.

Приметы и предчувствия в «Слове»

Если в «Слове» события настоящего имеют как бы прототипы в прошлом, то прототипы будущих событий — это их предчувствия в настоящем. Это как бы тени, отбрасываемые событиями будущего в настоящем. Следует указать на большую роль, которую играют в «Слове» предчувствия — прямо или косвенно выраженные. Прямо выражены предчувствия событий в таких фразах, как: «быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго».

Приметы неоднократно используются в «Слове» в художественных целях. Они создают напряженность ожидания. Мутное течение реки — очевидное предчувствие несчастья. «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрывають, стязи глаголють: половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ, рускыя плѣкы оступиша». Перед битвой реки мутно текут, и это не только потому, что они замутнены переходящими вброд вражескими конями или отдаленным ливнем, но представляют образ надвигающегося несчастья. Прямой угрозой полно мутное течение рек: «Сула не течеть сребренными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ».

¹ См. именно такое толкование «Каялы» в работе: Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. IX. М.; Л., 1953. С. 36.

Благодаря приметам события воспринимаются в «Слове» как сбывшиеся предчувствия, как нечто предвиденное и предсказанное, как нечто значительное. Эта значительность исторических событий выражена через разнообразные ряды повторов, которые создают впечатление какой-то предопределенности происходящего. Разнообразные повторы в «Слове о полку Игореве» создают различные микроритмы, связывающие в единое целое все многообразие его тем. Повторы вторгаются в смысл произведения. События похода Игоря удивительно умело вплетены в ход всей истории Руси именно благодаря этим связующим нитям малых ритмов, повторений и, конечно, предчувствий.

В «Слове» очень часто повторяется наречие «уже»: «уже бо бѣды его пасеть птиць по дубию»; «уже дьски безъ кнѣса»; «О Руская земле! уже за шеломянемь еси» (дважды), «уже снесся...»; «уже, княже, туга умь полонила»: «нѣ уже, княже Игорю»; «уже бо Сула»; «уже понизите стязи свои» и т. п. Случайно ли это слово? Мне кажется, что в этом «уже» как бы указывается на то, что событие предвиделось ранее, как бы созрело для своего осуществления. Произошло то, чего следовало ожидать. Все действие «Слова» втянуто в течение поэтической судьбы, поэтического предвидения и тем создается особое настроение — русская история воспринимается лирически. Каждое из этих «уже» связано с печальными событиями, создается ощущение обреченности, неизбежности и значительности совершающегося.

В «Слове» преобладают описания действий над описаниями неподвижных состояний. Если в «Слове» попадают описания состояний, то как *результатов* действий. Святослав Киевский видит во сне свой «терем без кнеса». Что это: особый терем, построенный без кнеса, чудесным образом отсутствующий кнес в нерушимом тереме, или терем поврежден? Думаю, что перед нами последнее. Свидетельством тому служит это «уже»: уже терем «безъ кнеса». Раньше он не был без кнеса.

И это, согласно «Слову о князях» того же времени, служит знаком близящейся смерти: «единою рассѣдся верхъ теремцю» и через этот расседшийся верх в терем влетает голубь за душою. Эта параллель к «Слову» обычно не указывалась исследователями, а привлекался фольклорный и этнографический материал. Однако показания «Слова о князях» особенно важны тем, что это произведение того же времени имеет и другие сходства со «Словом о полку Игореве» и подчинено той же идее единения русских князей перед лицом внешней опасности. Речь идет о смерти черниговского князя Давида Святославича, не ссорившегося с другими князьями, а потому удостоенного праведной смерти.

Автор «Слова», говоря о событиях русской истории, неизменно ощущает их как роковые. Дважды он прямо говорит о «суде Божьем».

И это не просто покорность судьбе, року, вершащему человеческую историю. Через все «Слово» проходит идея борьбы людей с обрушивающимися на них несчастьями. Войско Игоря терпит поражение, но в конце концов Игорь бежит из плена, появляется в Киеве, и люди ему рады.

Забегание вперед путем предчувствий в «Слове» — явление чисто художественное. Оно не может быть связано с сознательно выраженным мировоззрением. Если гибель Анны Карениной «предсказана» в сне, который она видит, то из этого одного никак нельзя вывести заключения, что Л. Толстой «верит в сны». Читатель, особенно читатель лирических произведений, должен получать в чтении ощущение, что будущее предопределено, настоящее — это свершение каких-то предшествующих ему событий и законов, а прошлое — непосредственно связано с настоящим. Связать все три времени — прошлое, настоящее и будущее — в единый поток — одна из художественных задач лирики «Слова».

У автора же отношение к предчувствиям почти такое же, как и к древнерусскому язычеству: язычество пере-

ведено у него в эстетический план. В эстетическом ракурсе предстоит перед ним и его «лирика предчувствий».



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ В «СЛОВЕ»

В лексике «Слова о полку Игореве» отчетливо обнаруживаются типичные для XI—XIII вв. оттенки словоупотребления и семантики. Мы коснемся только одной темы — значения некоторых слов и выражений в «Слове о полку Игореве», связанных с особенностями представлений о времени в Древней Руси.

Представления нового времени о будущем связывают его с тем, что находится впереди (ср.: *у него еще целая жизнь впереди* или: *наше будущее впереди*). Обычные же представления о прошлом связываются с представлениями о том, что находится сзади (ср.: *все страхи у него позади* или: *у него за плечами годы упорного труда*). Настоящее, с точки зрения обычных представлений нового времени, находится между прошлым и будущим.

Иными были временные представления в Древней Руси. Прошлое в X—XIII вв. (а частично и позднее, точные хронологические пределы установить вряд ли возможно) ассоциировалось прежде всего с тем, что в п е р е д и. «Передний» означало «прежний, прошлый»; ср.: «Тое же зимы даша Изяславу Туров и Пинеск к Меньску, то бо бяшетъ его осталося, передьние волости его» (Лавр. лет., под 1132 г.); или: «Како уставили переднии князи, тако платите дань» (Новг. I лет., под 1229 г.); или: «Прародители его по изначальству были в приятельстве и в любви с передними римскими цари, которые Рим отдали папе» («Памятн. дипл. снош. России с держ. иностр.», т. I. СПб., 1851, с. 17, под

1489 г.); или: «Ино то царь брат наш делаешь гораздо, что на своей правде крепко стоишь и нашу переднюю дружбу к себе помятуешь» («Памятн. дипл. снош. Моск. государства с Крымом и Ногаями и Турциею», т. II. СПб., 1895, с. 255, под 1516 г.). Так же точно одно из значений слова «переди» было «прежде, раньше»; ср.: «Томь же лете и Ладога погоре, переди Новагорода» (Новг. I лет., под 1194 г.); или: «О нем же переде сказахом» (Ипат. лет., под 1283 г.). С теми же представлениями о прошлом как о находящемся впереди какого-то определенного временного ряда связано и одно из значений слова «первый» (ср. хотя бы в «Слове о полку Игореве»: «първых времянь усобицѣ»; «о, стонати Руской земли, помянувшє пръвую годину и пръвыхъ князей!»). Этимологические остатки этих древних представлений сохраняются отчасти и поныне (в слове «прежде» и др.), но как конкретные представления о прошлом они в новое время отсутствуют.

Представление Древней Руси о прошлом как о чем-то, что стоит впереди, отнюдь, однако, не означает, что будущее рассматривалось как нечто, стоящее позади нас. «Задним» было то, что стоит в конце, позади временного ряда, безотносительно к нашему положению. Это могли быть события последних лет, а иногда даже и события будущие, если ими должна была замыкаться какая-то цепь событий, какой-то временной ряд. Обычное летописное выражение «о сем бе в задних летех писано» означает: «об этом было писано под последними годами летописного повествования». В связи с этим следующим известным словам Ипатьевской летописи (под 1254 г.): «Хронографу же нужна есть писати все и вся бывшая, овогда же писати в передняя, овогда же воступати в задняя» — следует дать такое толкование: «Хронографу следует описывать все случившееся, то возвращаясь к старине, то описывая последние события». Слово «передняя» в древнерусском языке относилось к прошлому, когда речь шла о времени, точнее,

к началу какого-то определенного промежутка времени, «задняя» же — к недавно случившемуся, ко времени последних событий, к завершению какой-то цепи событий, иногда — к будущему.

В связи с этим следует понять два места в «Слове о полку Игореве»: одно — которое до сих пор всюду и всегда толковалось явно неправильно, в противоречии с данными древнерусского языка, и второе — которое до сих пор не получало общепринятого толкования и казалось неясным. Что означает следующее место «Слова о полку Игореве»: «мужаимѣся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ»? Это место всюду и всегда переводилось, исходя из современных представлений о времени: «будущую славу сами похитим, а минувшую сами поделим». Фраза эта в таком переводе имеет значение пустой похвалы, не связанной с последующим текстом «Слова». На самом же деле слово «переднюю» имеет, как мы видели, в памятниках XI—XIII вв. только одно временное значение — «прошлую, прежнюю»; «заднюю» же означало — «последнюю», условно говоря — «нынешнюю» или «будущую». Смысл этих слов в том, что Игорь и Всеволод своим походом на половцев собирались «похитить» славу прежних чужих походов на половцев и поделить между собою славу своего нового совместного, последнего похода на половцев. За этот поход, за безумную попытку вдвоем «похитить» славу предшествующих походов и добыть себе, поделив на двоих, новую славу и укоряет Игоря и Всеволода в своем «золотом слове» Святослав. О том, что слово «похитить» уместнее в отношении к прошлому, а не к будущему, показывают следующие сходные места «Слова»: «притрепа славу дѣду своему Всеславу», «уже бо в ыскочисте изъ дѣдней славѣ» и «разшибе славу Ярославу». «Притрепать», «разшибить», «похитить» (последнее в особенности) можно лишь чужую славу — славу, уже приобретенную кем-то, но не будущую.

В словах Игоря и Всеволода не сказано только,

чью славу собирались они похитить своим походом. Это и понятно: слова их переданы Святославом; очевидно, они и относились к нему самому. Своим походом в степь молодые князья Игорь и Всеволод собирались «похитить» славу старого Святослава, славу его удачного похода на половцев 1184 г. Вот почему Святослав замечает затем, как бы отвечая на похвальбу молодых князей, слишком рано собравшихся делить славу еще не осуществленного похода и похитить славу его, старого Святослава: «А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколь въ мытехъ бываетъ, высоко птиць възбиваетъ: не дасть гнѣзда своего въ обиду». Это уже речь Святослава о себе. Она и продолжается им о себе: «Нъ се зло — княже ми непособие: наниче ся години обратиша».

Итак, «передняя» слава означает в «Слове» прежнюю славу, а «задняя» — последнюю, «нынешнюю», славу близкого будущего. В связи с этим становится понятным и другое место в «Слове», вызывающее различные толкования исследователей: «свивая славы оба полы сего времени». О каких половинах времени здесь идет речь? Противоречие упоминания этих двух «половин» времени с обычными представлениями нового времени о трех, а не о двух частях времени — прошлом, настоящем и будущем — постоянно вызывало недоумение исследователей. Из предшествующего анализа представлений о времени совершенно ясно, что здесь идет речь о «переднем» и о «заднем» времени. Всякое время, в том числе и это время, историческое время этих событий («сего времени»), имеет две половины — «переднюю» (начинающую это время) и «заднюю» (закрывающую его). Настоящее, как уже было сказано, еще не отделено от будущего, вместе с ним оно составляет одну «половину» времени; другую «половину» времени составляет прошлое.



«СВЕТ» И «ТЬМА» В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Если мы приглядимся к тексту «Слова о полку Игореве», мы сразу же заметим, какую значительную роль в «Слове» играют «свет» и «тьма», борьба их между собою. Огромную роль играет и «солнце» — световое начало. Нет нужды приводить примеры: «Слово» слишком хорошо знакомо читателям. В этом особом внимании к свету и тьме нет ничего удивительного для «Слова о полку Игореве». В Древней Руси «свет» был абсолютной ценностью и носителем абсолютной красоты. В самом старшем компилятивном произведении древней русской литературы — в «Речи философа», читающейся в составе «Повести временных лет», есть место, которому нет соответствия в Библии. Оказывается, согласно «Речи философа», сатана позавидовал Богу и захотел владеть миром после четвертого дня творения, когда Бог создал свет, солнце, луну, звезды, украсив ими небо¹. Иными словами — сатана захотел овладеть миром, когда увидел его красоту, а красота мира заключалась прежде всего в свете и светилах. Владимир Мономах пишет в своем «Поучении»: «да не застанеть васъ солнце на постели...» Надлежит воздать Богу утреннюю похвалу «и потомъ солонцю въсходящему, и узрѣвше солнце, и прославити Бога с радостью»².

Однако в «Слове о полку Игореве» есть два места, из которых ясно, что солнце не только источник света, но и тьмы: Игорь «възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него (то есть от солнца — как от причины, но, может быть, и «для него». — Д. Л.) тьмою вся своя воя прикрыты»; другое место более определенно по смыслу: «солнце ему (Игору. — Д. Л.) тьмою путь

¹ Повесть временных лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950. С. 61—62.

² Там же. С. 158.

заступаше». В последнем случае определенно солнце — источник, причина тьмы.

В понимании сущности света и тьмы в Древней Руси существовали два учения — одно Иоанна Дамаскина и другое Дионисия Ареопагита (чаще называемого «Псевдодионисием Ареопагитом»). Согласно первому учению в мире существует только свет; тьма же — не что иное, как отсутствие света, лишение света. Согласно второму учению (то есть учению Дионисия Ареопагита) свет и тьма — две самостоятельные сущности. Тьма может создаваться не только оттого, что источник света скрыт, но и насыщаться самостоятельно — как некое сущностное начало. Тьму может посылать солнце и Бог.

В первом из процитированных нами мест «Слова о полку Игореве» переводчики не разъясняли обычно слов «от него» (от Игоря ли, от солнца ли и в каком из двух возможных смыслов, если от солнца), во втором месте неясность устранялась другой неясностью (вернее, не «устранялась», а «заслонялась»). Второе место обычно переводится так: «солнце загораживало, заслоняло, преграждало, предупреждало ему — Игорю — путь тьмою». Необычность заключается в том, что солнце оказывается в какой-то мере источником тьмы. Согласно нашим представлениям о затмении причина тьмы луна, а не солнце. Значит, помимо всего прочего, у автора «Слова» нет точного представления о сущности затмения, нет даже самого понятия «затмение». Это совпадает с тем обстоятельством, что слово «затмение» впервые появляется на Руси только в XVI в. и то в памятниках Юго-Западной Руси. Однако в хорошо известном в христианском мире, а в какой-то мере и на Руси слове Иоанна Дамаскина «О свете, и огни, и светильницах» происхождение затмения представлено довольно верно. Тьма — это не какая-то особая сущность, а просто отсутствие света — «световое лишение». Солнечное же затмение объясняется в общих чертах верно. Своими размерами солнце превосходит землю и луну,

но ближайšie предметы могут заслонить собою гораздо большие по размерам, но отстоящие от нас дальше предметы. Затмение происходит не от солнца, а от меньшей по размерам луны, которая движется по ближайшей от земли сфере. Луна — одна из семи планет, каждая из которых движется по своей сфере. Луна движется по ближайшей сфере. Хотя она и меньшая по размерам, чем солнце, но, встав между землею и солнцем, заслоняет собою свет, исходящий от солнца: «Помрачит же ся солнце и лунным телом, яко и преграде сотворшюся, ти осеншю, ти не оставльшю подати нам света. Елицем же ся убо обрящеть телом лунным закрывая солнца, толико и мърчение будет. Аще и мнее есть луна тело, то не чюдися: и солнце бо овми есть глаголемое мноземь боле земля, а очима нашими равно земли, и многажды мал облак заступаеть ѳ, или мала могыла (холм.— Д. Л.), или мала стена»¹.

Слово Иоанна Дамаскина могло быть известно на Руси если не в древнерусском переводе (он сравнительно поздний), то в греческом тексте. Однако ни в одном памятнике XI—XIII вв. это представление Иоанна Дамаскина о затмении не отразилось и само слово «затмение», как мы уже видели, позднее. Более знакомым, судя по различным признакам, было древнерусскому читателю эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Согласно же его учению Бог посылает свет, и сколько бы этого света Бог ни посылал — энергия Бога неиссякаема и единство его не нарушается. Так же точно и с солнцем. Но Бог (и солнце) посылает не только свет, но и тьму. Отсюда выражения: «свет божественной тьмы», «божественныя тмы заря»².

Исходя из этих представлений об активной и само-

¹ Слово Иоанна Дамаскина «О свете, и огни, и светильницах» см. в декабрьском томе «Великих четких миней» Макария в кн.: Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографическою комиссиею. М., 1901, за декабрь. С. 179—186.

² Там же. С. 720.

стоятельной сущности тьмы понятны и некоторые другие пассажи в «Слове о полку Игореве», кроме двух указанных выше: «заря свѣтъ запала, мгла поля покрыла», «на рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла». Тьма или мгла, «синяя мгла» является в «Слове» не просто отсутствием света, но активным, действующим началом, а вся борьба русских с врагами поэтически трансформируется в представление о борьбе света со тьмой — активной тьмой. Поэтому-то и возвращение Игоря из плена предстоит в «Слове» как победа света: солнце светится на небе, — вернувшийся из плена Игорь — в Русской земле.

В своей книге «„Слово о полку Игореве“ и памятники русской литературы XI—XIII веков» (Л., 1968) в разделе, посвященном выражению «Плача» Ярославны «свѣтлое и тресвѣтлое слѣнце», В. П. Адрианова-Перетц отмечает, что эпитет «тресвѣтлое» — точный перевод греческого *τριαιπλης*, что употребляется этот эпитет в древнерусской литературе только в применении к божеству или к христианским подвижникам, однако в гимнографии отсутствует его сочетание с существительным «солнце» (с. 174). Далее В. П. Адрианова-Перетц обосновывает возможность и естественность применения этого эпитета к солнцу.

В опубликованном Боню Ст. Ангеловым по списку XV в. памятнике «Служба святым обща пророку», приписываемом им по весьма общим и шатким основаниям Клименту Охридскому¹, имеется несколько эпитетов солнца: «мысльное слѣнце» (с. 243, 246, 252), «пресвѣтлое слѣнце» (с. 246), «златозарное свѣтило» (с. 255) и среди них дважды — «трѣпсвѣтлаго слѣнца» (с. 246) и «трисвѣтлаго слѣнца» (с. 247). Перед нами,

¹ Ангелов Боню Ст. Климент Охридски — автор на общи служби/В кн.: Константин — Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. София, 1969. С. 237—259. «Служба» издана по рукописи Миней 1435 г., сербской редакции, Софийской народной библиотеки, № 122.

следовательно, еще один случай, когда выражение «Слова о полку Игореве», считавшееся гапаксом, находит себе подтверждение в старом памятнике.

Среди работ, посвященных проблеме солнца в «Слове», заслуживают особого внимания труды А. Н. Робинсона¹.



КАТАРСИС В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Как известно, понятие катарсиса (трагического очищения) у Аристотеля имеет множество толкований². В древнерусской литературе понятие катарсиса отсутствовало, однако в XI—XIII вв. практическое применение трагического очищения в литературных произведениях было постоянным. И если говорить о том, какое из существующих или существовавших пониманий этого трагического очищения было свойственно древнерусским литературным произведениям, то здесь прямо и решительно можно указать на этическое.

Но, кроме того, представления о катарсисе были и в самом деле различными в различные эпохи и в отдельных литературных направлениях (например, в классицизме или в романтизме). Каждая эпоха и каждое направление понимали катарсис по-своему.

В XI—XIII вв. (в последующее время значительно

¹ Главный из них: Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве»/В кн.: Памятники литературы и искусства. XI—XVII вв. М., 1978. С. 7—58.

² Наиболее простая классификация этих толкований с приведением важнейшей литературы в старой работе Н. И. Новосадского (Аристотель. Поэтика. Л.: «Academia», 1927. С. 15—20, 111—113). Последний обзор вопроса в прекрасной книге: Ničev Alexandre. L'énigme de la catharsis tragique dans Aristotle. Sofia, 1970.

реже) все общественные бедствия в церковных проповедях использовались как призывы к покаянию. В больших общественных бедствиях (нашествия иноплеменников, «глад», «трус» — землетрясение и пр.) церковные проповедники видели не только повод для призыва к покаянию, но и самое наказание за грехи, которое верующим следовало воспринимать не только с покорностью, но и с радостью, как свидетельство божественной заботы об их душах. Наказание влекло за собой, по мысли проповедников, очищение от греха и умиротворение, успокоение, возвышение над суетностью греха.

Еще решительнее применялось это трагическое очищение в светской исторической литературе XI—XIII вв.: в летописях и исторических повестях.

Так, например, в «Повести временных лет» под 1093 г. после рассказа о жестоких набегах половцев летописец восклицает: «О неиздреченному человеколюбию! яко же виде ны неволю к нему обращающася. О тмами любви, еже к нам! понеже хотяще уклонихомся от заповедий его. Се уже не хотяще терпим, се с нужею, и понеже неволю, се уже волею. Где бо бе у нас умиленье? Ноне же вся полна суть слезъ. Где бе в нас въздыханье? Ноне же плачь по всем улицам упространися избьеных ради, иже избиша безаконьнии»¹.

После нового рассказа об ужасах половецких набегов, главный из которых — увод пленников в половецкие вежи, летописец еще решительнее заявляет: «Да никто же дерзнуть рещи, яко ненавидимы Богомь есмы! Да не будеть. Кого бо тако Бог любить, яко же ны взлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и възнесл? Никого же!»²

Очень типичную картину трагического очищения дает «Повесть о разорении Рязани Батыем». После страшного поражения, убийств, пленений, уничтожения города

¹ Цит. по кн.: Повесть временных лет. Часть первая. Текст и перевод. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950. С. 147.

² Там же.

повесть переходит к рассказу о плаче Ингваря Ингваревича по убитым, о погребении погибших и о приезде на княжеский стол в Рязани князя кир Михаила. Трагическое умиротворение здесь, в этой повести, представлено в своей полной силе и в двух аспектах — нравственном и событийном.

Если с этой точки зрения мы подойдем к «Слову о полку Игореве», то увидим, что трагическое умиротворение в нем также лежит в основе самого сюжета и сопровождается нравственным очищением. Обращу внимание на то обстоятельство, что уже в ближайшем к «Слову» рассказе Ипатьевской летописи о поражении Игоря есть этот элемент трагического очищения в его древнерусском, этическом варианте.

В Ипатьевской летописи сильно подчеркнут катарсис главного героя — Игоря. Попав в плен, Игорь произносит покаянную речь, кается в своих грехах, которые привели его к поражению. Эта покаянная речь занимает центральное место в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря. Эта покаянная речь не может просто «отражать жизнь». Она произносится Игорем в одиночестве, в плену. Маловероятно, что были свидетели (или послухи) этого покаяния Игоря. Даже если эта речь, произнесенная им в одиночестве, была действительно произнесена, то зачем было ее воспроизводить в летописи, если бы она не совпадала с художественными намерениями летописца? Мы знаем, как летопись «сюжетно» выбирает для изложения речи князей. Речь Игоря — это не речь на переговорах, не объявление князем своей политической программы. Она потому и попала в летописный рассказ, что была нужна как катарсис главного героя. Это типичный монолог-катарсис.

Можно было бы подумать, что эта речь была сочинена в XVIII в., так типична она для классицистической трагедии. Но нет, речь находится в Ипатьевской летописи, подлинность которой не может вызывать сомнений.

В «Слове о полку Игореве» тоже есть этот катарсис, но катарсис не личный, не главного героя только. Обобщающая сила «Слова» шире обобщающей концепции летописи. «Слово» рассматривает события 1185 г. как результат ошибок всех русских князей. Катарсис «Слова» — это катарсис лирический, в который втягивается, помимо Игоря, вся русская история и все русские князья-современники.

В «Слове о полку Игореве» Игорь, как герой греческих трагедий, идет против рока, судьбы. Он идет на половцев вопреки явным предостережениям (затмение, другие предзнаменования) и вопреки их численному превосходству. После рассказа о поражении Игоря и его пленении (напомню, что пленение рассматривалось в XI—XIII вв. как самое страшное последствие поражения) наступает спокойное движение повествования к нравственному умиротворению: Святослав произносит свое слово, «со слезами смешено». Этому «золотому слову» Святослава, его обращению ко всем русским князьям, как бы вторят в лирическом варианте плач Ярославны и ее обращение к силам природы: к солнцу, ветру и Днепру. Плач Ярославны как бы симметричен политическому обращению Святослава поочередно ко всем русским князьям. Затем нравственное умиротворение переходит в умиротворение событийное: Игорь бежит из плена, возвращается на свой стол и едет по Боричеву к Богородице Пирогощей с очевидной целью воздать ей благодарность за свое освобождение. Заканчивается «Слово» славой русским князьям. Трагическое умиротворение выдержано и в этическом, и в событийном плане. Присутствуют и слезы, которые у древних авторов считались приносящими облегчение и умиротворение¹.

Рассказы «Слова» о настоящем и о прошлом переплетаются между собой. Поражение вызывает раскаяние

¹ См. об этом у Н. И. Новосадского (Аристотель. Поэтика. С. 18).

Игоря — в летописи, в «Слове» — гражданскую скорбь, осознание событий в их исторической перспективе.

Катарсис в «Слове» — это очищение через прозрение, через осознание исторических корней случившегося. Непосредственно после катарсиса герой ощущает в себе новые силы для продолжения борьбы. В летописи — это прежде всего Игорь; в «Слове» — это прежде всего вся Русская земля, и во вторую очередь — Игорь.

К Русской земле, ко всем ее князьям обращается князь Святослав Киевский, затем, после «золотого слова» Святослава и его естественного продолжения — обращения к русским князьям самого автора слова, — наступает черед Игоря. Плач Ярославны — это как бы продолжение обращения Святослава и автора «Слова» ко всем русским князьям.

Характерно, что соответственно литературной практике XI—XIII вв. не только читатели испытывают это трагическое нравственное очищение, «посредством сострадания и страха», которое производит очищение их чувств, но и главные действующие лица рассказа. Поэтому и Игорь никак не мог рассматриваться ни в «Слове», ни в рассказе Ипатьевской летописи как лицо безусловно положительное. Он-то и подвергается в первую очередь нравственному очищению и, следовательно, должен быть в известной мере виновником испытываемых им страданий.

Ярославна отчетливее, чем Святослав, вкладывает личные чувства в свое обращение — ее обращение личное. После этого Игорь, обретя новые силы, бежит из плена на Русскую землю.

Но почему «золотое слово» Святослава не имеет того же результата, что и плач Ярославны? Почему не отправляются в поход все русские князья?

Может быть, этот объединенный поход всех русских князей и был тем ожидаемым результатом, который был целью «Слова о полку Игореве»? Один из призывов оказался без ответа, и этот «ответ» должен был, возможно, по мысли автора, совершиться в самой жизни.

Призыв Ярославны к солнцу, ветру и Днепру отозвался бегством Игоря. Призыв Святослава ко всем русским князьям должен был в будущем отозваться объединенным походом всех русских князей против половцев.

Вопрос о катарсисе в «Слове о полку Игореве», как явствует из всего мною изложенного, нуждается в обстоятельных частных исследованиях. Одно из таких частных исследований — это вопрос о том, почему Игорь едет по возвращении из плена именно к Пирогощей и что такое эта «Пирогощая»?



«ПИРОГОЩАЯ» «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Как известно, «Слово о полку Игореве» заканчивается короткими фразами, выражающими радость по поводу возвращения Игоря из плена. Каждая из этих коротких фраз — своеобразное обозначение различных аспектов торжества. Эти аспекты в известном смысле традиционны: это обычное при возвращении князя из похода пение ему и его воинам «славы». Концовка отражает слова «славы» и самый факт ее пения, а также провозглашает здравицу Игорю, его дружине и его сыновьям.

Из содержания этой концовки выпадает одна только фраза: «Игорь ѣдет по Боричеву къ святѣи Богородици Пирогощей». Возвращаясь из похода в родной город, князь обычно ехал в патрональный храм своего княжества, чтобы вознести благодарность Богу. Такие факты неоднократно отмечаются в летописи. В патрональном храме княжества обычно стоял престол князя. Так, например, престол князя стоял в церкви Богородицы в Смоленске: «...и вшед Давыд в церковь Святыя Богородица и седе на столе деда своего и отца своего» (Ипат. лет., под 1180 г.). Поэтому, возвращаясь на

«свой стол», князь ехал именно в свой главный храм. При таком возвращении в родной город ему и пелась слава. Необычность рассматриваемого в концовке «Слова» факта состоит в том, что Игорь едет в храм не в своем городе — Новгороде Северском и даже не в Чернигове, которому в различных аспектах подчинялся Новгород Северский, а в Киеве, куда он приезжает, побывав уже по возвращении предварительно и в Новгороде Северском, и в Чернигове. Странность такого рода могла бы получить некоторое объяснение, если предположить, что автор «Слова о полку Игореве» был киевлянин и поэтому сам в какой-то мере принимал участие в той «второй» или даже «третьей» радости по поводу возвращения Игоря, которой, как свидетель, и придает наибольшее значение. Ведь слова авторского прославления Игоря в конце «Слова» как бы сливаются со славой, певшейся ему киевлянами при въезде Игоря в Киев.

В сообщении «Слова» о въезде Игоря в Киев есть и другое известие, требующее своего объяснения: не совсем ясно, почему в Киеве Игорь едет не в его главные храмы, которыми следовало бы признать храм Богородицы Десятиной и храм Софии, а в храм Богородицы Пирогощей (строительство которого было начато в 1131 или 1132 г. и закончено в 1132 г.), названный так по иконе Богородицы Пирогощей¹, сравнительно не так давно перед этим привезенной из Константинополя на одном корабле с иконой Богородицы Владимирской.

Феодалный этикет княжеского поведения не допускал случайностей. Поэтому мы должны попытаться найти объяснение поведению Игоря по возвращении из

¹ Впрочем, в литературе о Пирогощей высказывалось и обратное мнение: что икона была названа Пирогощей по названию церкви. См.: Малышевский И. И. О церкви и иконе св. Богородицы под названием «Пирогоща», упоминаемых в летописях и в «Слове о полку Игореве» // Чтения в Историческом обществе Нестора летописца, кн. V, отд. II. Киев, 1891. С. 113—133.

плена, а также тому, чем были для Игоря икона и храм Богородицы Пирогощей.

Отмечу одно важное обстоятельство. Фраза о том, что Игорь едет к Богородице Пирогощей, заканчивает всю повествовательную линию «Слова». Перед нами в этой фразе завершение событий «Слова». При этом следует иметь в виду, что поэтика «Слова» не допускала упоминания художественно случайного или художественно малозначительного. И это также должно потребовать нашего пристального внимания к объяснению загадочного обращения Игоря в Киеве к иконе и церкви Пирогощей.

Как известно, русские люди издавна в трудных случаях жизни — в бурю на море, в плену или при каких-либо других обстоятельствах — давали обет в случае своего спасения отправиться на поклонение какой-либо из святых. Обет непременно соединялся с покаянием в совершенных грехах. Именно такой обет был, по-видимому, дан и Игорем, когда он попал в плен. Примечательно, что рассказ Ипатьевской летописи о событиях поражения Игоря, последовательно раскрывающий точку зрения сторонника Игоря, а возможно, и его самого, заключает в себе пространное изложение двух покаяний взятого в плен Игоря: одного — непосредственно на поле битвы, другого — уже в половецком стане.

Первое покаяние Игоря начинается так: «И тако, во день святаго Воскресения, наведе на ня Господь гнев свой: в радости место наведе на ны плачь, и во веселье место желю, на реце Каялы. Рече бо деи Игорь: „помянух аз грехы своя пред Господем Богом моим, яко много убиство, кровопролитье створих в земле крестьянстей, яко же бо аз не пощадех хрестьян, но взях на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подъяша безвиньнии хрестьяни, отлучаеми отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих, и дщери от материй своих, и подруга от подругы своя, и все смятено

пленом и скорбью тогда бывшою, живии мертвым за-видять, и мертвии радовахуся, аки мученици святей огнемь от жизни сея искушение приемши...» и т. д. (Ипат. лет., под 1185 г.).

Вторично кается Игорь в плену: «Игорь же Святославичь тот год бяшетъ в Половцех, и глаголаше: „аз по достоянию моему восприях победу (поражение.— Д. Л.) от повеления твоего, Владыко Господи, а не поганьская дерзость обломи силу раб твоих; не жаль ми есть за свою злобу прияти нужная вся, их же есмь приял аз“» (там же).

Обстоятельства бегства Игоря из плена также как будто бы указывают на то, что обет был Игорем дан.

Игорь молится перед бегством в половецком шатре: «Се же встав ужасен и трепетен, и поклонися образу Божию и кресту честному, глаголя: „Господи сердце-видче! аще спасеши мя, Владыко, ты недостойного...“ и возма на ся крест, икону, и подойма стену и лезе вон» (Ипат. лет., под 1185 г.). Молитва Игоря летописцем оборвана: фраза осталась незаконченной. Можно лишь догадываться, что она завершалась обещанием Игоря выполнить какое-то духовно-нравственное дело. Молитва начиналась условием («аще спасеши мя»), но условие это затем ничем не подкреплялось — никаким обещанием.

О самом обещании Игоря летопись и «Слово» почему-то молчат. В летописи обещание, возможно, даже было, но странным образом исчезло, нарушив грамматический строй речи Игоря. Мы не можем считать, что об этих обещаниях не принято было говорить. «Повесть временных лет» говорит под 1022 г. об обещании князя Мстислава, данном им во время его единоборства с Редедей: «И яста ся бороти крепко, и надолзе борющемася има, и нача изнемагати Мьстислав: бе бо велик и силен Редедя. И рече Мьстислав: „О пречистая Богородице, помози ми. Аще бо одолею сему, съзижду церковь во имя твое“. И се рек удари имь о землю» (цитирую по Лаврентьевской летописи).

Обращаю внимание, что обещание Мстислава, как и незавершенное обещание Игоря, также начинается со слова «аще»).

Предположение об обещании, данном Игорем в плену, было высказано еще в 1891 г. В. З. Завитневичем. Последний пишет: «Подобно тому, как когда-то знаменитый Мстислав Тмутараканский, изнемогая в борьбе с Редедюю, дал обет создать церковь во имя Богородицы, так теперь знаменитый герой „Слова о полку Игореве“, изнывая в половецкой неволе, мог дать известный обет Богородице Пирогощей»¹.

Почему же все-таки ни Ипатьевская летопись, ни Лаврентьевская, ни само «Слово» ничего не говорят об обещании Игоря?

Объяснение, я предполагаю, заключается в следующем. Спасение Игоря из плена не могло рассматриваться как результат помощи Бога, Богоматери или святых. Ведь Игорь совершил поступок, который даже сторонник Игоря, летописец, вынужден был назвать «неславным путем». Бог мог защищать Игоря уже во время самого бегства, но делать Бога участником «неславного» решения было для автора «Слова» невозможно. Другое дело, конечно, что Игорь перед своим бегством мог возложить свое упование на Бога, Богоматерь или святых, просить их о заступничестве.

«Слово о полку Игореве» нашло своеобразный художественный выход из «трудного» для древнерусского писателя сюжетного положения. С просьбой о спасении обращается в «Слове» не сам Игорь, а его жена — Ярославна. Игорь спасен в ответ на ее мольбу, и не к Богу при этом, а к силам природы. И именно эти силы помогают Игорю, согласно «Слову», во время его бегства. Но воздать благодарность за свое спасение Игорь едет все же в Киев к Богородице Пирогощей.

¹ Завитневич В. З. К вопросу о происхождении названия и о местоположении киевской церкви «святой Богородицы Пирогощей» // Труды Киевской духовной академии. 1891. № 1. С. 161.

Факт этот был значителен для древнерусского писателя, и обойти его он не решался. Напротив, автор делает этот факт сюжетным завершением «Слова»: как я уже сказал, именно на этом заканчивается фактическая, сюжетная сторона «Слова». После этого в «Слове» имеется лишь славословие Игорю, другим князьям и дружине, воздаваемое им самим автором.

Автор «Слова» мог обратить внимание на приезд Игоря в Киев как киевлянин, однако сам факт приезда остается: Игорь не остается по возвращении в родном Новгороде Северском или в Чернигове, а сразу же едет в Киев.

Отвечая на вопрос о том, почему Игорь едет к церкви Богородицы именно в Киеве, а не в родном городе, мы должны прежде всего отметить, что ни в Новгороде Северском, ни в Чернигове не упоминаются богородичные храмы. Культ Богородицы был прежде всего киевским, где он был и наиболее традиционным, если принять во внимание такие храмы, как Богородица Десятинная, София (культ Софии тесно связан, как известно, с культом Богоматери, является одним из выражений последнего) и центральный храм Успения Богородицы в Печерском монастыре. Культ Богородицы рано распространился из Киева, вернее, из Киево-Печерского монастыря, во Владимиро-Суздальской земле. Об этом мы имеем подробные сведения в работах Н. Н. Воронина¹, М. Д. Приселкова² и многих других авторов³.

Патрональной святыней Чернигова был собор Спаса. Первая упоминаемая в Чернигове богородичная церковь освящена там на следующий год по возвращении Игоря из плена «отцом» (главой) черниговских Ольговичей

¹ Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков, т. I. XII столетие. М., 1961. С. 120 и след.

² Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. С. 75 и след.

³ Лихачев Д. С. Русские летописи. М.; Л., 1947 (перепечатано: The Hague, 1966). С. 278 и след.

Святославом Всеволодовичем¹. Именно в этой церкви в 1196 г. был похоронен герой «Слова о полку Игореве» Всеволод Буй Тур. Храм Успения Богородицы имеется в черниговском Елецком монастыре. Письменных сведений о времени его основания нет. «Наиболее вероятная дата постройки — XII век и, скорее, его вторая половина»².

Далее, с точки зрения феодального этикета, мы можем с полной определенностью ответить на вопрос о том, почему Игорь едет не к Богородице Десятиной и не к Софии: Игорь не был киевским князем, он не мог ехать к чужому княжескому столу и к чужой патрональной святыне. В эти два храма по возвращении из похода могли ехать только киевские князья, что и отмечено летописью в нескольких случаях под XII в.

Почему же Игорь дает обещание именно Богоматери, воздает именно ей благодарность за свое спасение?

Богоматерь как защитница государства, страны, города от врагов хорошо известна в богослужбных и молитвенных текстах. Известен акафист Богородице — «Взбранной Воеводе». Богоматерь имеет своими символами «Небесный Иерусалим», град, стену града, нерушимую стену, стену непреодолимую, двенадцативратный град (на основании Апокалипсиса у Романа Сладкопевца), башню Давида. Многочисленные материалы такого рода суммированы в интересной статье С. С. Аверинцева «К уяснению смысла надписи над конхой центральной

¹ См.: Ипат. лет. под 1186 г.: «Святослав Всеволодичь святы церков в Чернигове святого Благовещения, юже бе сам создал». В Новгород-Северском известна только церковь Николы, воздвигнутая в 1086 г., и Спасо-Преображенский собор, построенный Владимиром Давидовичем между 1124 и 1139 гг. По-видимому, патрональной святыней Новгород-Северского вслед за Черниговом был храм Спаса, так же как в Москве Успенский собор в Кремле был воздвигнут вслед за Успенским собором города Владимира. Младшие города в выборе своего патрона следовали старшим.

² Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород Северский, Глухов, Путивль. М., 1965. С. 82.

апсиды Софии Киевской»¹. Многие из них ранее были уже собраны архиепископом Сергием в «Полном месяцеслове Востока» и в работах Н. П. Кондакова.

Культ Богоматери как защитницы страны от степных врагов приобрел особенное значение в XII в. Архиепископ Сергий в «Полном месяцеслове Востока»² посвящает этому особую статью под 1 августа. Он отмечает, в частности, что празднество 1 августа по случаю знамения от образа Спаса и Богородицы установлено в XII в. в связи с победой императора Мануила (1143—1180 гг.) над сарацинами и победой Андрея Боголюбского над волжскими болгарами в 1164 г. Свидетельства об этом празднике имеются уже в XIII в. Напомним также в связи с этим, что князь Андрей Боголюбский молился перед сражением с волжскими болгарами: «Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами пречистыя ти Матери и силою честнаго креста помози нам на безбожнныя сия варвары» (Лавр. лет., под 1184 г.).

Покровительство Богоматери Владимиру и Владимирскому княжеству устанавливается особенно отчетливо с момента, когда в 1154 г. во Владимир была привезена икона Владимирской Божьей Матери. Именно с этого года в Лаврентьевской летописи все победы Андрея Боголюбского начинают объясняться помощью Богородицы, и именно с этого времени с особенной силой расцветает во Владимире культ Богоматери как защитницы города и княжества от степных народов.

Следует, однако, обратить внимание на то, что одновременно, то есть с того же самого времени, необычайно возрастает культ Богоматери и в Киеве.

Под 1169 г. в Ипатьевской летописи имеется рассказ о чуде Богоматери Десятинной в Киеве, оборонившей Русь от половцев. Под тем же годом и в той же летописи говорится о помощи Богоматери Новгороду.

¹ В кн.: Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 25—49.

² Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов Востока, т. II. Владимир, 1901. С. 296—299.

Чудо Десятинной Богоматери стоит отметить особо. Оно заключается в том, что Богородица освободила из плена пленных. Десятинная Богородица «не дасть в обиду человека просто, еда начнуть его обидети, аже свое матере дому». В летописи говорится: «Прииде Михалко с перяславци и с берендеи г Киеву, победивше половци, хрестьяне же избавлени тоя работы (рабства.— Д. Л.), полонении же възвратишася опять в своя си, а прочии вси хрестьяне прославиша Бога и святую Богородицу, скорую помощницу роду хрестьяньску» (Лавр. лет., под 1169 г.). Итак, Богородица — не только защитница города и страны от внешних врагов, но и освободительница пленных. Последнее для нас особенно важно. Богородица помогает возвращению русского полона и в 1172 г.: «В то же лето чудо створи Бог и святая Богородица церковь Десятинная в Киеве...» (Ипат. лет.). Чудо состоит в победе над половцами и возвращении полоненных ими русских. То же происходит в 1173 г.: киевляне побеждают половцев и отнимают у них полон — русских пленных, «...а сами,— сказано о киевлянах,— възвортишася Киеву, славяще Бога и святую Богородицу» (Ипат. лет.).

Культ Богоматери на Руси как защитницы страны, города и освободительницы пленных был прочно связан с константинопольским Влахернским монастырем. С последним связан и Киево-Печерский монастырь. Не случайно преемник Феодосия на игуменстве в Киево-Печерском монастыре, Стефан, уйдя из последнего и основывая свой собственный монастырь, называет его Влахернским: Стефана несправедливо изгнали печерские монахи. «Бог помог» Стефану молитвами Феодосия, и Стефан «состави себе монастырь и церковь възгради въ имя святыя Богородиця и нарек место то по образу сущаго в Костянтине граде из Лахерна и бе по вься лета праздыникъ творя светел святей Богородици месяца иуля въ 2 день»¹.

¹ Успенский сборник XII—XIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под редакцией С. И. Коткова. М., 1971. С. 134.

Какой иконографический тип представляла собой Богоматерь Влахернитисса? Изображение ее имеется на монетах и на моливдовулах Влахернского монастыря. Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев указывают на два типа этих изображений: на одних изображена Богоматерь Елеуса (тип, который впоследствии у старообрядческих коллекционеров получил название «Умиление»), на других — Богоматерь Одигитрия («Путеводительница»). По-видимому, во Влахернском монастыре были две иконы Богоматери — двух иконографических типов.

Н. П. Лихачев в статье «Моливдовул с изображением Влахернитиссы» отмечает по поводу описываемой им свинцовой печати XII — начала XIII в., что около Елеусы надпись — Влахернитисса, из чего можно заключить, что икона этого типа почиталась в знаменитом Влахернском храме¹. Н. П. Лихачев пишет: «Изображение Богоматери, находившееся в Влахернах, известно по надписи на монете Константина Мономаха (1042—1055) ηβλαχερνιτισσα (надпись не имеет надстрочных знаков.— Д. Л.) и представляет тип Оранты. На издаваемой нами печати (изображение печати приводится Н. П. Лихачевым в данной статье.— Д. Л.) другой образ, также, значит, находившийся в Влахернах»². Время, к которому Н. П. Лихачев относит существование почитаемой во Влахернах иконы типа Елеусы (в русской терминологии «Умиление»), — никак не позднее XII в. Н. П. Лихачев пишет: «Если бы мы и допустили, что издаваемая печать относится к первой половине XIII века (самое позднее определение), то этим самым признали бы существование иконографического типа „Умиление“ на иконах Богоматери в Византии XII столетия».

Другой тип Влахернской Богоматери Оранты, или Одигитрии, представлен в окружении стен Влахернского монастыря, имевшего семь башен. Н. П. Кондаков пишет:

¹ Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского/Сборник ОРЯС АН СССР. Т. СІ. № 3. Л., 1928. С. 146.

² Там же. С. 147.

«...На монетах Михаила Палеолога (1261—1282) образ Божией Матери Оранты представляется внутри семибашенного замка (только шесть башен.— Д. Л.)¹, также на монетах царя Андроника II Палеолога, или Старшего, и Андроника III Палеолога (1328—1341)»².

Нет сомнения в том, что обе иконы Влахернитиссы — одна из которых была типом «Умиление» и могла быть прототипом Владимирской Божьей Матери, покровительницы Владимиро-Суздальского княжества, а другая представляла собой тип Оранты, «Путеводительницы», и изображалась в окружении стен «семибашенного» Влахернского монастыря, — были самым тесным образом связаны с оборонным патронажем Руси и в Киевской, и во Владимирской землях.

Из Влахернского монастыря шли истоки русского праздника Покрова, установленного на Руси в середине XII в. Именно с Влахернским монастырем связывается самое чудо Покрова: видение Андрея Юродивого.

С появлением во Владимире иконы Владимирской Богоматери устанавливается празднование Влахернского чуда: надвратный храм во Владимире (храм на Золотых воротах) посвящен Положению Риз Богоматери — влахернской реликвии, защитницы города (и Константинополя, и Владимира), церкви и государства. Поэтому я предполагаю, что икона Владимирской Богоматери была копией иконы Влахернитиссы — Елеусы («Умиление»).

Сказание о чудесах Владимирской иконы Богоматери датируется Ключевским и Ворониным 60-ми годами XII в. К этому же приблизительно времени относится и «Слово на праздник Покрова». Это «Слово» замечательно. Оно все посвящено защите и обороне Русской земли. Как сам праздник Покрова, так и само «Слово»

¹ На монетах количество башен не совсем ясно: шесть или семь.

² Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II. Пг., 1915. С. 67 (ссылка Н. П. Кондакова: Wroth., pl. LXXIV, 1—2, 10—11, 15—16). Монета Андроника Палеолога (1282—1328) изображена там же на с. 72.

отнюдь не ограничивается только Владимиро-Суздальской землей. Это праздник всей Русской земли. И «Слово Покрову» направлено не только против внешних врагов Руси, но и против междоусобных ратей, а последнее чрезвычайно важно для нашей темы. Покров защищает Русскую землю, как сказано в «Слове», «от стрел летящих во тьме разделения нашего»¹.

В Службе Покрову во втором стихе 8-й песни говорится: «...гордыню и шатания низложи и советы неправедных князей разори, зачинающих рати погуби и благочестивому князю нашему рог возвыси». В первом стихе песни 9 читаем: «высокий Царю со Отцем седяй, призри на молитву матерню, спаси град и люди умножи и даждь князю здравие телесне и на поганяя победы». Против междоусобий князей имеются тирады и в проложном сказании о Покрове.

В предсмертной молитве к Богоматери князя Ростислава Мстиславича, приводимой Ипатьевской летописью под 1168 г., прямо говорится о ризе Богоматери: «Пречистая Богородице, вышши еси ангел, архангел, всея твари честнейшу, помощнице обидимым, ненадеющимъся надеяние, сиротам заступница, убогим кормительнице, печальным утешение, грешным спасение, хрестьяном всим поможение; милостива еси, Госпоже! милостью своею помилуй мене грешнаго раба своего Михаила², ризою мя честною защити... препояшши мя силою свыше на невидимыя и видимыя врагы».

Если предположить, что икона Владимирской Богоматери была списком Влахернитиссы — Елеусы, то при-

¹ «Слово на праздник Покрова» читается в Великих четых минеях митрополита Макария под 1 октября. Сам праздник Покрова, согласно исследованию архиепископа Сергия («Полный месяцеслов Востока», т. II), установлен в России в первой половине или около начала XII в. Это подтверждается построением церкви Покрова-на-Нерли в 1165 г. См. об учреждении праздника Покрова: Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII—XV веков, т. I. XII столетие. С. 122 и след.

² Михаил — крестное имя Ростислава Мстиславича.

везенная с нею на одном корабле Пирогощая, естественно, могла быть списком другой почитаемой во Влахернах иконы — Одигитрии, Путеводительницы, изображаемой в окружении семибашенного Влахернского монастыря.

Догадка о том, что Пирогощая была изображением Одигитрии из Влахернского монастыря, отвечает на вопрос и о происхождении, и о значении ее названия: Пирогощую наиболее вероятно следует производить от греческого слова *πυρούτις* — башенная.

Впервые такое толкование предложил В. З. Завитневич. Он указал, что слово «пирогощая» происходит от греческого *πυρούτις*, и перевел так: «снабженная башнями». Он предполагал, что в переносном смысле Богородица Пирогощая то же, что «Взбранная Воевода»: один из символов Богоматери¹.

Перевод и прототип греческого названия «пирогощей» В. З. Завитневича уточнил выдающийся знаток византийского искусства и греческого языка (последнее в данном случае особенно важно) Н. П. Кондаков. Он пишет: «Считаем возможным, что имя (Пирогощая.— Д. Л.) есть обрусевшая форма эпитета *πυρούτισσα* и что он, в свою очередь, обозначал в устах жителей Византии именно Влахернский храм, заключенный в последнем периоде империи в стены, заканчивавшиеся башенным полукругом, откуда имя „башенной Божией Матери“»².

Идя разными путями, мы, следовательно, приходим к тому же выводу, что и Н. П. Кондаков.

Сообщение в Лаврентьевской летописи под 1131 г. о закладке князем Мстиславом Владимировичем (сыном Мономаха) церкви Богородицы Пирогощей находится непосредственно после известий о победах Мстислава в Литве (в том же 1131 г.) и над Чудью (под 1130 г.). В том же контексте и сообщение о закладке церкви Богородицы

¹ Завитневич В. З. К вопросу о происхождении названия и о местоположении киевской церкви «Святой Богородицы Пирогощей». С. 161.

² Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. II. С. 72.

Пирогощей в Ипатьевской летописи, но с обычным для этой летописи некоторым хронологическим сдвигом в один год (основание церкви относится к 1132 г., победы — соответственно к 1131 и 1132 гг.). Можно думать поэтому, что закладка церкви Пирогощей находится в связи с этими победами, как благодарность этой иконе, что указывает на то, что икона Пирогощей воспринималась, как и обе иконы Влахернского монастыря, как защитница страны.

Привоз икон Пирогощей и Владимирской из Царьграда, о котором сообщают летописи под 1151 г. как о факте, относящемся к прошлому¹, должен был совершиться до 1131—1132 гг. — года закладки церкви Пирогощей. Он мог произойти в 1129 или в 1130 г., когда Мстислав отправил в заточение в Царьград полоцких князей. На обратном пути из Царьграда послы могли привезти списки с обеих влахернских икон: будущей Владимирской и Пирогощей.

Само собой разумеется, что предложенное объяснение того, что представляла собой икона Пирогощей и ее история на Руси, — не более чем гипотеза, но гипотеза, начало которой положено такими выдающимися знатоками русских древностей и «текстоспособными» искусствоведами, как Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев.

Существует предположение, что название иконы «Башенная» (Пирогощая) происходит оттого, что она находилась в круглой Влахернской церкви, напоминавшей

¹ «В лето 6639, Мстислав ходи на Литву, и взем полон мног и воротися опять. В то же лето заложи церковь Мстислав святыя Богородица Пирогощюю» (Лавр. лет., под 1131 г.). Наиболее обстоятельный обзор литературы о местонахождении церкви Пирогощей см. в кн.: Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. Т. 2. Памятники киевского зодчества X—XIII вв. М.; Л., 1961. С. 438—442. М. К. Каргер отождествляет ее с Успенской церковью на Подоле, разобранный в 1930-е гг. Фундаменты древней церкви раскрываются в настоящее время раскопками Института археологии АН УССР под руководством П. Толочко.

собой башню. Действительно, император Лев (457—474 гг.) построил круглый в плане храм во Влахернах, в котором в ковчеге была положена одежда Богоматери¹. Храм этот сгорел в 1454 г. Однако предположение о том, что круглая церковь могла называться башней, не кажется основательным. Круглые в плане храмы-ротонды существовали и на Руси (в Галицком княжестве), и в Византии, и на Западе, но ни в одном случае эти круглые храмы не назывались башнями. Дело в том, что круглая форма крепостных башен сравнительно поздняя. Она появилась в связи с развитием артиллерии и необходимостью лучше противостоять разрушительной силе ядер. В пределах до XV в. крепостные башни строились в основном прямоугольными в плане. Круглые башни были исключениями (например, в XIII в. в Каменце Литовском — типа донжона, одиноко стоящая)². обстоятельный разбор различных точек зрения на происхождение названия и гипотез о местоположении церкви Пирогощей имеется в монографии М. К. Каргера «Древний Киев»³. Поэтому я не останавливаюсь на этом вопросе. Отмечу только отсутствующую у М. К. Каргера гипотезу Марка Шефтеля. Последний предполагает, что название «Пирогощая» могло произойти от греческого «πυρογόσση» — «Утешительница», что маловероятно⁴.

Д. Н. Альшиц высказал предположение, что слово «пирогощая» составное: из греческого «πῦρ» (огненного цвета, горящая) и «гощь» (якобы от русского «горящая»). Под «огнем» «горящая». Д. Н. Альшиц предполагает тип Богоматери «Неопалимая купина»⁵. Однако

¹ Архиепископ Сергий. Полный месяцеслов Востока. Т. II. С. 245.

² За это указание благодарю П. А. Раппопорта.

³ Каргер М. К. Древний Киев. Т. 2. С. 434—439.

⁴ См.: Szeftel, Marc. Commentaire historique au texte de Slovo/In: La Geste du prince Igor. New York, 1948. P. 148.

⁵ Альшиц Д. Н. Что означает «Пирогощая» русских летописей и «Слова о полку Игореве»/В кн.: Исследования по отечественному источниковедению. М.; Л., 1964. С. 481.

принятию предположения Д. Н. Альшица мешают четыре обстоятельства:

1) не доказано, что тип иконы «Неопалимой купины» существовал до XV в.; древнейшее изображение «Неопалимой купины» — шитье второй половины XV в., хранящееся в Русском музее (шифр ДР Т 31; из Кирилло-Белозерского монастыря). На шитье — не традиционное для XVII в. изображение Богоматери внутри двух перекрещивающихся ромбовидных форм, а в виде горящего куста терновника, на фоне которого дано изображение Богоматери, и рядом помещено изображение Моисея, снимающего обувь (согласно известному библейскому рассказу о явлении горящего куста Моисею)¹.

У Н. П. Кондакова в работе «Памятники христианского искусства на Афоне»² делается предположение, что иконы Богоматери «Знамение» могли изображать символ Богоматери — «неопалимую купину». Однако в таком случае этот тип иконы не мог называться «огнем горящая», ибо никакого огня здесь не изображалось; 2) символ Богоматери — горящий куст терновника — не мог также называться «огнем горящая» Богоматерь, так как смысл символа в обратном: куст не сгорел. В этом названии искажался бы самый смысл символа — названия же иконы давались не по видимому изображению, а по невидимому значению прообраза; кроме того, все названия икон были традиционными и предполагать их «народные» названия очень трудно; 3) не доказана возможность существования в XII в. макаронического типа слова, при котором в сравнительно стройном и правильном древнерусском языке могли бы в одном слове со-

¹ Цветное воспроизведение см.: Маясова Н. Я. Древнерусское шитье. М., 1971, ил. 14. За эти указания благодарю Л. Д. Лихачеву.

² Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902.

единиться слова греческое и русское¹; 4) не доказана лингвистическая возможность появления слова «гощая» из «горящая».

В заключение следует предостеречь читателей от попыток увидеть в монете Андроника Палеолога с изображением Одигитрии в окружении стен с башнями простое и точное уменьшение иконы Пирогощей. Изображение иконы на монетах и моливдовулах было прежде всего символическим. Оно не должно было следовать формам и композиции изображаемой иконы. Изображение Одигитрии в кругу стен с башнями на иконе было бы весьма необычным. Более естественной была бы другая иконная композиция — сидящей Одигитрии на престоле, являющемся одновременно градом со стенами и башнями.

В исследовании Тани Вельман² приводятся примеры того, как престол, на котором изображается сидящей Богоматерь, принимает формы зданий (иконы Благовещения из Охрида в музее в Скопле, Рождества Богоматери из Периблепты в Мистре, Благовещения в Беренде (Болгария, XIV в.). Такая форма престола, несомненно, связана с тем, что Богоматерь символизирует собой град, хотя имеется изображение и евангелиста Иоанна, сидящего на троне, представляющем собой здание-город (миниатюра в Евангелии св. Медарда Суассонского, Национальная библиотека в Париже, Lat. 8850, fol. 180 v.; воспроизведение у Тани Вельман, с. 196). Это изображение трона также не случайно: Иоанн — автор

¹ Это же обстоятельство мешает увидеть в слове «Пирогощая» соединение греческого «πυρός» (пшеница, хлеб) и русского «гощь» (от слова «гость» — купец; ср. геогр. Будогощь, Людогощь и пр.). «Пирогощь» в таком случае означало бы место объединения торговцев хлебом. Последняя гипотеза была высказана И. И. Малышевским в упомянутой выше статье «О церкви и иконе св. Богородицы под названием „Пирогоща“...».

² Velmans Tania. Le Rôle de décor architectural et la représentation de l'espace dans la peinture des Paléologues/Cahiers archéologiques, XIV. Paris, 1964. P. 207 и др.

«Откровения» (Апокалипсиса), он теснейшим образом связан с судьбами государств и мира. Отметим также, что архитектурные формы имеет престол Толгской Богоматери конца XIII в. в Третьяковской галерее¹, и икона Богоматери с младенцем второй половины XIII в. в Вашингтонской Национальной галерее², и миниатюра из греческой рукописи Акафиста пресвятой Богородице в Московском Историческом музее, второй половины XV в. (греч. 429, л. 18 об.)³. Среди всех перечисленных изображений Богоматери довольно много иконографических типов, но среди них есть и такой, в котором сидящая Богоматерь Одигитрия как бы окружена стеной с мелкими башнями.

Относительно иконы Влахернской Божьей Матери в приделе Петра и Павла Московского Успенского собора см. более подробные сведения в книге Н. П. Кондакова⁴. В той же книге есть и указание на изображение этой иконы. Что это за икона, какой тип из двух влахернских икон Богоматери она представляет, — судить искусствоведам.

Игорь по возвращении из плена после Новгорода Северского и Чернигова едет в Киев, где должен выполнить свой обет Богоматери Пирогощей, данный им в плену у половцев. Об этом обете прямо не говорят ни летопись, ни «Слово», так как Игорь освободился из плена «неславным путем». Только по косвенным основаниям мы можем догадываться об этом обете (его покаяния, обычно дававшиеся в связи с обетами). Обет был выполнен в киевском храме, так как, по-видимому,

¹ См.: Антонова В. И. и Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. I. XI — начало XVI века. М., 1963. Табл. 116.

² См.: Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 2. Атлас. М., 1948. Табл. 269. См. также: Talbot Rice, David. Byzantine painting. The Last Phase. London, 1969, pl. 67. P. 91.

³ Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 2. Табл. 330.

⁴ Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. С. 148 и след.

ни в Чернигове, ни в Новгороде Северском не был развит специальный богородичный культ, связанный с защитой от врагов этих городов. Чернигов имел своим патрональным храмом храм Спаса. Спас был, по видимому, патроном и вассального по отношению к Чернигову Новгорода Северского.

Игорь не обращался ни к Богородице Десятиной, ни к Богородице Софии (Нерушимой Стене), так как он не был киевским князем и не мог по феодальному этикету того времени, возвращаясь из плена, ехать в патрональные храмы Киева, в которые обычно отправлялись киевские князья воздать благодарность за победу и освобождение пленных.

Культ Богоматери в Киеве и во Владимире как защитницы Русской земли восходит к Влахернскому монастырю, где хранилась риза Богоматери и где произошло «чудо», давшее основание русскому празднику Покрова. Храм Ризы Богоматери был надвратным, «защитным» храмом во Владимире. В Киеве имелся монастырь Влахернский, и с ним же был связан Киево-Печерский монастырь.

Как предполагают Н. П. Кондаков и Н. П. Лихачев, во Влахернском монастыре было две иконы Богоматери, двух разных типов. Предполагаю, что русские послы, отправлявшие в 1129 г. в заключение в Константинополь полоцких князей, на обратном пути из Константинополя в 1130 или 1131 г. привезли списки обеих влахернских икон: одну из них — сохранившуюся Богоматерь Владимирскую и другую — Одигитрии Башенной, изображавшую Богоматерь в окружении семибашенных стен Влахернского монастыря. Последняя икона и была Пирогощей.



СОН КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА

Вещие сны не редкость в средневековых памятниках. В частности, о них рассказывается и в древнерусских и древнеславянских переводах Библии, «Деяний апостольских», «Александрии», «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Хроники Георгия Амартола», Проложных житиях и сказаниях, в «Девгениевом деянии» и др. Есть вещие сны и в чисто русских памятниках. Так, о вещем сне епископа Нифонта рассказывается в Ипатьевской летописи под 1156 г. Большое число параллелей к отдельным реалиям сна приведено в статье: Алексеев М. П. К «Сну Святослава» в «Слове о полку Игореве»/В кн.: «Слово о полку Игореве». Сборник исследований и статей под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. Наиболее близкая параллель к сну Святослава «Слова о полку Игореве» отыскивается в «Летописце Переяславля Суздальского» (сборник Московского главного архива иностранных дел, XV в., № 902—1468), изданном К. М. Оболенским в 1851 г. и больше не переиздававшимся. Обнаружил и сообщил эту параллель к сну Святослава А. И. Кирпичников в статье «К литературной истории русских летописных сказаний»¹. Однако А. И. Кирпичников ограничился только указанием на сходство обоих снов и неполно привел текст сна Мала. Последующие исследователи и комментаторы «Слова о полку Игореве» также ограничились общим указанием на сходство обоих снов, не указывая на то, в чем это сходство состоит. Между тем, как это мы увидим, сон Мала может до известной степени помочь в толковании и прочтении одного неясного места в сне Святослава «Слова о полку Игореве».

Приведу параллельно оба рассказа:

¹ Изв. ОРЯС. Т. II. СПб., 1897. Кн. 1. С. 60. Обзор встречающихся в древнеславянской письменности вещих снов см.: Перетц В. Н. Слово о полку Игоревім. У. Київ, 1926. С. 238—246.

ТЕКСТ

«Слова о полку Игореве»
по первому изданию

Святъславъ мутенъ сонъ видѣ: въ Киевѣ на горахъ си ночь съ вечера одѣвахъте мя, рече, чрною паполомоу, на кровати тисовѣ. Чръпахуть ми синее вино съ трудомъ смѣшено; сыпахуть ми тыщими тулы поганыхъ тльковинъ великий женчюгъ на лоно, и нѣгуютъ мя: уже дьскы безъ кнѣса в моемъ теремѣ златовръѣмъ. Всю ноцъ съ вечера босуви врани възграяху, у Пльсьска на болопи бѣша дбрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю.

Для того чтобы сравнить оба сна, надо принять во внимание обстоятельства, которые им сопутствовали. Сходство обоих снов состоит в следующем:

1. Оба сна предвещают несчастья с людьми, зависевшими от князя. В сне Святослава — это войско Игоря, потерпевшее поражение на Каяле. Поражение уже состоялось, но известие о нем еще не дошло до Святослава: он узнает о нем затем от своих бояр. В сне князя Мала — это гибель его послов-сватов, которых Ольга сбросила вместе с их лодьями в яму. Сон Мала рассказывается в «Летописце Переяславля Суздальского» уже после того, как послы Мала погибли в своих лодьях, но раньше того, как он об этом узнает. Следовательно, оба вещих сна сообщают о том, что уже случилось, но о чем еще не могли знать те, кому эти сны снятся.

2. И Святослав, и Мал видят себя одариваемыми подарками. К этим подаркам имеют отношение те, кто явился причиной несчастий. В сне Мала дорогие одежды и черные одеяла дарит ему Ольга, которая приказала убить послов. В сне Святослава кто-то одевает его черною паполомоу и угощает синим вином. На него

ТЕКСТ

«Летописца Переяславля
Суздальского»

Князю же веселіе творящу къ браку и сонъ часто зряше Малъ князь: се бо пришедъ Ольга дааше ему прѣты многоценьны червены вси жемчюгомъ иссаждены и одѣяла чрны съ зелеными узоры и лоди, в нихъ же несенымъ быти, смолны.

сыпят великий жемчуг из колчанов «поганых толковин». «Поганые толковины» — это союзные Игорю Святославичу ковуи, которые первые побежали в битве с половцами и, останавливая которых, Игорь попал в плен к половцам. Бегством этих ковуев объясняет составитель рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря поражение последнего.

3. Подарки обоим князьям драгоценны. Они сходны: черная паполума Святославу, черные одеяла Малу. В обоих подарках присутствует жемчуг¹.

Есть и различия. В частности, в сне Мала Ольга дарит ему и «лодьи», «в нихъ же несеннымъ быти, смолны». Однако это различие отпадает, если мы примем чтение, предложенное еще И. Снегиревым² и В. Макушевым³ и развитое В. Н. Перетцем: «у Пльсьньска на болони бѣша дебрьски сани и несоша е къ синему морю»⁴. Возможно, вместо «несоша е» следует читать «несоша мя», так как весь рассказ ведется в первом лице самим Святославом.

Лодьи и сани — почетное средство передвижения и вместе с тем средство перевозки покойников. Первая месть Ольги послам-сватам Мала состояла в том, что их понесли в лодьях и сбросили в яму. Послы думали, что им оказывается честь, а на самом деле им были устроены похороны. Святославу приснились сани, и в них также понесли к месту несчастья русских — «къ синему морю».

Сон Мала — это древнее («Летописец Переяславля Суздальского» в этой своей части составлен в XIII—

¹ О жемчужине в сне Святослава см.: S a u r. В. Ein gnostisches Bild im Igorlied und in der Chronik von Georgios Hamartolos // Zeitschrift für Slavische Philologie. Bd. XXXIX. H. 1. 1976. S. 173—177.

² Снегирев И. Поведание и сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича // Исторический сборник. Т. III. М., 1838, предисловие.

³ Макушев В. Рецензия на книгу: Н. С. Тихонравов. Слово о полку Игореве. М., 1866 // ЖМНП, 1867, февраль.

⁴ Перетц В. Н. Слово о полку Игоревим. С. 252.

XIV вв.) этнографическое подтверждение сна Святослава. Разумеется, здесь не могло быть ни заимствования, ни влияния одного сна на другой. Сходство — в одинаковости, общности верований и представлений.

Нигде, кроме «Летописца Переяславля Суздальского», упоминание о сне Мала больше не встречается. Составитель «Летописца» вставил в свой труд и некоторые другие фольклорные материалы. Так, например, значительному распространению подвергся в «Летописце Переяславля Суздальского» рассказ о юноше кожемяке, победившем печенежского богатыря на месте будущего Переяславля Южного. Интерес «Летописца Переяславля Суздальского» к событиям Переяславля Южного понятен, но почему и на основании каких материалов (по-видимому, все же фольклорных) вставил составитель «Летописца Переяславля Суздальского» свой рассказ о сне Мала, — неизвестно.

Вторая по близости к сну Святослава параллель может быть отмечена в «Легенде мантуанского епископа Гумпольда о святом Вячеславе (Вацлаве. — Д. Л.) Чешском» в славянском переводе с латинского, восходящем, возможно, как это указано его исследователем Н. К. Никольским, к XI в.¹ Параллель эта свидетельствует об устойчивости верований в приметы в сновидениях.

Приведу текст сновидения, которое видел князь Вячеслав, в славянском переводе (последний полнее, чем дошедший латинский оригинал). Составитель жития пишет:

«Не таити подобает и видение его пророчество, еже о Павле презвитере и о дому его, еже сам, възбнув, преже тако поведа, к всем глаголя. На одре лежащу мне и почивающу милаа моа дружино и иже от отрок моих слуги, посреди нощи страшно видение приат мя,

¹ Никольский Н. Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении/В кн.: Памятники древней письменности и искусства, CLXXIV. СПб., 1909. С. 2—77.

яко Павла попа дворови вся основа от выше до долу и от всех человеческих жилищ видех отинуд опустевшь, им же видением тужа прометахся и внутренею скорбию печали за благоверныя простирахся. Но обаче видение се ко всеведущему творцу милостивому исправлю, во нь же верою и истине речи сего видения разрешу. Дому по истине разрешение видения моего съпричастно моя бабы Людмилы и честныя жены знаменается смерть, и дом опустевшии Павлов клириком нашим и законником изгнание и земля и разграблению имению их являет, веде бо родителница моа яко родом тако и деянием по истине осквернением дел погана и недостойна именовати с другими съветники своими злыми, Бога неведущими любящися, мысли о свекрови своей пагубе. Си же словеса его светлее солнца сбышася»¹.

Со сном Святослава сон Вячеслава может быть сближен по следующим общим им обоим приметам:

1. Оба сна рассказываются окружающим сразу по пробуждении.

2. Князя Вячеслава на одре окружает «милая дружина»; князя Святослава после пробуждения — бояре, называющие себя «дружиной».

3. Князь Вячеслав говорит, что он лежал «на одре», князь Святослав видит себя во сне лежащим на кровати.

4. Князь Вячеслав видит опустевшим двор Павла-пресвитера во всей своей «основе» — «от выше до долу» (то есть от самого верха до низа); князь Святослав видит свой терем без «кнѣса» (то есть самой его верхней перекладки на крыше).

5. Князя Вячеслава охватывает «туга» («им же видением тужа прометахся»); по словам бояр, толкующих сон Святослава, «уже, княже, туга ум полонила».

6. Оба сна имеют в произведениях свои толкования.

¹ Никольский Н. Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении // В кн.: Памятники древней письменности и искусства, CLXXIV.

Сон князя Вячеслава толкует сам князь Вячеслав; сон князя Святослава — его бояре.

7. Сон князя Вячеслава предрекает смерть Людмилы и изгнание из всей страны церковнослужителей и «законников» их врагами — язычниками. Сон Святослава в толковании бояр означает поражение дружины Игоря от «поганных» и несчастье для всей Русской земли.

8. Сон Святослава касается только что случившегося или только еще происходящего; сон Вячеслава сбывается с полною точностью: «светлее солнца сбыхася».

Разумеется, не следует видеть в приведенной параллели между сном Святослава и сном Вячеслава заимствования из одного произведения в другое: перед нами близость, обусловленная общностью верований и отчасти литературной манеры, ибо чисто литературная функция предчувствий и пророчеств в литературных произведениях всегда и во все времена одна: усиливать драматическое напряжение повествования.



ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» К ПЕЧАТИ В КОНЦЕ XVIII В.

Как известно, рукопись «Слова о полку Игореве» погибла вместе со всем собранием рукописей ее владельца, А. И. Мусина-Пушкина, вместе с другими его ценнейшими рукописями в пожаре Москвы 1812 г. В том пожаре погибли и другие ценнейшие библиотеки и рукописные собрания. Их можно насчитать несколько десятков. Текст рукописи был доступен всем ею интересовавшимся около двух десятков лет. Но отразился этот текст в основном, если не считать выписок, сделанных для себя Н. М. Карамзиным и А. Ф. Малиновским, только в копии, сделанной для Екатерины II, и в первом издании «Слова» 1800 г.

Несмотря на наличие отдельных работ, посвященных специально первому изданию «Слова о полку Игореве» и так называемой Екатерининской копии, оба эти вида воспроизведения утраченной рукописи «Слова» современными приемами текстологии изучены не были.

Работы П. Пекарского, П. В. Владимирова, И. И. Козловского, П. К. Симони о палеографических особенностях погибшей рукописи «Слова», о Екатерининской копии и первом издании исходили из предпосылки, что первые публикаторы «Слова» стремились передать его текст, но не умели этого сделать, не могли прочесть правильно рукопись и только поэтому допускали в своей работе отдельные, довольно многочисленные, ошибки, одни из которых больше, другие меньше искажали памятник. К изучению этих отдельных ошибок в Екатерининской копии и в первом издании и к конъектурным поправкам на этой основе отдельных мест сводилось в основном текстологическое рассмотрение Екатерининской копии и первого издания. На этом пути были достигнуты несомненные успехи. Многие ошибки были не только выяснены, но удалось правильно и бесспорно восстановить некоторые первоначальные чтения в рукописи. Мало того, отдельные ошибки были объяснены особенностями графики погибшей рукописи (бесспорно удачны объяснения таких неправильных прочтений в Екатерининской копии, как «Зояни», «ни очима съглядати» и т. д.). На основании этих ошибок, точно объясняемых палеографическими особенностями погибшей рукописи «Слова», оказалось возможным выяснить некоторые ее палеографические приметы и по ним приблизительно определить ее время и почерк.

Однако при всех этих отдельных достижениях изучение Екатерининской копии и первого издания имело определенные изъяны. Прежде всего отметим, что не были изучены *приемы передачи текста* в Екатерининской копии и первом издании. Все расхождения между Екатерининской копией и первым изданием «Слова» (1800 г.) объяснялись неряшливостью издателей, считались резуль-

татом простых ошибок¹. Не было также попытки основательно рассмотреть вопрос об отношении Екатерининской копии к погибшей рукописи: списывал ли писец непосредственно с рукописи, или текст был ему заранее кем-то подготовлен. Наконец, не было сделано попытки вскрыть отношение Екатерининской копии к первому изданию. Одним словом, текстологические взаимоотношения первого издания, Екатерининской копии и погибшей рукописи остаются совершенно не изученными. Неизученным остается и вопрос о том, с каких текстов делались первые переводы «Слова», а также текстологические связи этих переводов друг с другом.

Предлагаемая вниманию читателей работа представляет собой попытку текстологического исследования всех вышеперечисленных вопросов с целью установления генеалогического взаимоотношения дошедших до нас «списков» «Слова» с погибшей рукописью.

* * *

Установление приемов передачи текста памятника его издателями не представляет затруднений, когда рукопись цела и издание может быть с ней сверено. В тех же случаях, когда оригинал издания погиб, сложность такой задачи возрастает, но частичное решение ее все же возможно. Некоторые вопросы решаются безусловно, а другие — гипотетически, по аналогии, на основании изучения уровня текстологической техники того времени или приемов публикации, примененных теми же издателями в отношении других памятников, рукописи которых сохранились.

В самом деле, не имея самой рукописи, но зная общие языковые, орфографические и графические нормы древнейших рукописей, можно все же решить, что именно в издании оказалось опущено, дополнено или изменено.

¹ Именно так интерпретировал расхождения П. В. Владимиров. См.: Литература «Слова о полку Игореве» со времени его открытия (1795 г.) по 1894 г. // Университетские известия. Киев, 1894. № 4.

В отношении «Слова о полку Игореве» не представляет, например, сомнений, что в рукописи были йотированные гласные, юс малый и некоторые другие буквы, в издании опущенные. Не трудно догадаться также, что пунктуация и прописные буквы расставлены издателями, исчезли титла, выносные буквы внесены в текст и т. д. Все это совершенно ясно каждому, имевшему дело с первым изданием, и не требует особого, углубленного рассмотрения, хотя надо сказать, что общего свода таких «правил публикации» издания 1800 г. до сих пор ни одним исследователем дано не было.

Кроме того, можно определить некоторые публикаторские приемы издателей «Слова» на основании других выполненных ими же изданий. Эта вторая возможность, несмотря на всю очевидность, также до сих пор не была использована¹.

В распоряжении исследователей имеется мусин-пушкинское издание «Почтения» Владимира Мономаха. Из всех изданий А. И. Мусина-Пушкина и двух его помощников по публикации «Слова» только это издание, вышедшее в 1793 г.², может служить для выяснения приемов передачи текста «Слова». «Русская Правда», изданная А. И. Мусиным-Пушкиным с участием Болтина в 1792 г.³, представляет собой компиляцию XVIII в. из разных списков и поэтому не может быть сверена с рукописями. Все остальные издания А. И. Мусина-

¹ Это писалось мною в 1957 г. (ТОДРЛ. Т. XIII. М.; Л., 1957. С. 67). Впоследствии этот вопрос был подвергнут изучению в обстоятельной монографии Л. А. Дмитриева «История первого издания „Слова о полку Игореве“» (М.; Л., 1960; все ссылки на страницы этого издания в тексте настоящей статьи в скобках).

² Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской «Почуень» (СПб., 1793).

³ Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. С преложением древнего оных наречия и слога на употребительные ныне, и с объяснением слов и названий, из употребления вышедших. Изданы любителями отечественной истории. М., 1792; 2-е изд. М., 1799.

Пушкина, Н. Н. Бантыша-Каменского и А. Ф. Малиновского посвящены сравнительно поздним памятникам, и итоги сличения их с рукописями не могут быть показательными.

Не может дать особых результатов также изучение издательских приемов конца XVIII в. Эти приемы были крайне неустойчивы, разнообразны и произвольны. Изучение их в будущем потребует много труда, но вряд ли представит интерес для исследования публикаторских приемов первых издателей «Слова». Таким образом, единственным изданием, с которым в первую очередь и главным образом должен считаться исследователь первого издания «Слова», должно быть бесспорно признано мусин-пушкинское издание «Поучения».

«Поучение» Мусиным-Пушкиным издавалось непосредственно в те годы, когда была обнаружена рукопись «Слова», может быть, несколько раньше¹. Вышедшее спустя семь лет после «Поучения» первое издание «Слова» выполнено в основном в том же типе (тот же формат, та же система примечаний внизу страницы под чертой и та же параллельная подача текста и перевода в две колонки, но разными шрифтами)². Внешнее отличие первого издания «Слова» от издания «Поучения» состоит в том, что текст «Слова» напечатан гражданским шрифтом (курсивом), тогда как текст «Поучения» напечатан шрифтом церковнославянским (на причинах, по которым первые издатели «Слова» решили отказаться от церковнославянского шрифта, и на том, какие существенные изменения были с этим связаны, я остановлюсь в дальнейшем).

¹ Н. К. Гудзий в статье «Судьбы печатного текста „Слова о полку Игореве“» (ТОДРЛ. Т. VIII. М.; Л., 1951. С. 34) относит время приобретения рукописи «Слова» А. И. Мусиным-Пушкиным «к началу 1790-х годов». Присоединяемся к его мнению.

² Отметим, что вышедшее на год раньше издания «Поучения» мусин-пушкинское издание «Русской Правды» (СПб., 1792) уже приближается к этому типу — с тем только различием, что примечания идут не внизу страницы, под чертой, а сразу же за текстом статьи. В конце издания дан словарь-указатель.

Правда, в числе издателей «Поучения» не было еще ни Н. Н. Бантыша-Каменского, ни А. Ф. Малиновского, но именно это обстоятельство позволит нам в дальнейшем до известной степени установить долю ученого участия в первом издании «Слова» этих двух его редакторов.

Сопоставляя мусин-пушкинское издание «Поучения» с рукописным текстом «Поучения» в Лаврентьевской летописи, нетрудно убедиться в том, что издатели довольно решительно приравнивали текст «Поучения» к орфографической системе церковнославянской печати второй половины XVIII в. Решительность этого приравнивания не была, впрочем, одинаково последовательной во всех случаях. Издатели «Поучения» стремились преимущественно к тому, чтобы внешний вид текста не отличался от внешнего вида обычного церковнославянского набора XVIII в. Все диакритические знаки церковнославянского шрифта, как известно, весьма обильные в XVIII и XIX вв., широко применены в издании и никак не отражают той скромной системы этих знаков, которая имеется в рукописи Лаврентьевской летописи. Текст «Поучения», само собой разумеется, разбит на слова, предлоги отделены от последующего слова, в конце слов, оканчивающихся на согласный, последовательно расставлены «ъ», прописные буквы и знаки препинания, исправлено согласно орфографическим нормам XVIII в. употребление «ѣ» («онѣють» → «онѣмеють», с. 13; «тобе» → «тобѣ», с. 13, и т. п.). Юсы малые поставлены так, как это было принято в церковнославянской печати XVIII в. («свока» → «своеа», с. 2; «мока» → «моеа», с. 3; «любая» → «любаа», с. 4, и т. д.). По орфографическим нормам церковнославянской печати XVIII в. выправлено употребление «w» («так» → «такw», с. 4, 10 и др.; «юго» → «югw», с. 4, 6, 11 и др.; «так» → «такw», с. 3 и т. д.), «s» («зло» → «сло», с. 10, 53, 55 и др.; «злых» → «слыхъ», с. 58), «ѣ» («псалтырю» → «ѣалтырю», с. 3), «і» («примайте» → «пріимайте», с. 4;

«мира» → «міра», с. 9 и т. д.). Исправлено употребление выносных букв, сокращений, титл (постоянны «бъ» → «бгъ», «бе» → «бже», «га» → «гда», «гне» → «Гдне», «евангльскому» → «евльскому», с. 9 и т. д.).

«Ю» после «ч», «ш» и «щ» заменено, согласно правописанию XVIII в., на «у» («чюднна» → «чѹдна», с. 12; «чюде» → «чѹдесъ», с. 12 и т. д.); «ы» после «к» заменено на «и» (всюду «пакы» → «паки»; «великѹ» → «великихъ», с. 12). В некоторых случаях в середину слова вставлен «ь» — опять-таки в тех случаях, где это требовалось орфографией и произносительными нормами XVIII в. («печална» → «печальна», с. 4; «меншими» → «меньшими», с. 7; «хвално» → «хвально», с. 12; «силныа» → «сильныа», с. 12; «толко» → «только», с. 37; «дѣтми» → «дѣтьми», с. 42; «половечскѹ» → «Половечьскыхъ», с. 43 и т. д.). Отдельные русские формы церковнославянизированы («луче» → «лучше», с. 5; «розноличнии» → «разноличній», с. 12; «присужено» → «присуждено», с. 31 и т. д.).

Таким образом, мусин-пушкинское издание «Поучения» не может быть охарактеризовано только как издание, «изобилующее разнообразными ошибками»¹, неправильными прочтениями и т. п. Во многих случаях то, что исследователи принимали за ошибки, было определенной системой передачи текста. Оправдывалась эта система тем, что А. И. Мусин-Пушкин считал «Поучение» написанным на «славянском наречии», «от переписчиков инде испорченном»². Можно не сомневаться, что «порчу» текста А. И. Мусин-Пушкин видел в отступлениях от современной ему церковнославянской орфографии и в нарушениях привычного корректорского единообразия.

¹ Гудзий Н. К. Судьбы печатного текста «Слова о полку Игореве». С. 35.

² Духовная великого князя Владимира Всеволодовича... С. VIII.

Остановимся более подробно на некоторых приемах передачи текста в «Поучении», проливающих свет на приемы передачи текста в Екатерининской копии и в издании 1800 г.

Существенное значение для установления приемов передачи текста «Слова о полку Игореве» в Екатерининской копии и в первом издании «Слова» имеют принципы расстановки «і» в мусин-пушкинском издании «Поучения». В самой рукописи «Поучения» «і» встречается только шесть раз: «крѣщенїи», «прїимите», «вѣдину», «нї на биричи», «ї в ловчїи», «і нынѣ». Между тем в издании «Поучения» оно всюду расставлено по правилам орфографии конца XVIII в.: «крѣщенїи» (с. 1; оставлено, как и в рукописи), «прїимите» (с. 14), «вѣдину» (с. 15), «ни на биричи» (с. 46), «и вѣ ловчихъ» (с. 47), «и нынѣ» (с. 61), а также: «дѣтїи» (вм. «дѣтїи»), и «бжїи» (вм. «бии»), «прїимайте» (вм. «приимайте»), «лукавнующїи» (вм. «лукавнующии») и многие другие. Следовательно, только в одном случае в издании «Поучения» «і» совпадает с «і» в рукописи!

Ту же выдержанность расстановки «і» по правилам орфографии XVIII в. находим мы и в первом издании «Слова»: «братїе», «повѣстїи», «замышленїю», «вѣщїи», «мыслию» и т. д. Данные мусин-пушкинского издания «Духовной» Владимира Мономаха не позволяют сомневаться в том, что расстановка «і» в Екатерининской копии и в первом издании «Слова о полку Игореве» отнюдь не отражает графику самой рукописи. Несомненно, что «і» расставлялось в первом издании в строгом соответствии с правилами орфографии конца XVIII в.

Исключение может быть отмечено только в двух случаях: «усобицѣ» (с. 3) и «а Володимиръ» (с. 28). Характерно, что в обоих этих случаях Екатерининская копия более последовательно проводит орфографию XVIII в. В ней читается «усобицѣ» и «а Володимиръ». Надо думать, что изменения внесены в текст издания

1800 г. из рукописи (на примерах исправления текста 1800 г. по рукописи мы еще остановимся).

Таким образом, единственный случай, где мы можем полагать, что «і» издания точно соответствует «і» рукописи, — это слово «усобицѣ».

Отсюда ясна правота А. С. Орлова, отказавшегося в своем издании «Слова» от «і» первого издания и всюду заменившего его буквой «и». В своем издании «Слова» А. С. Орлов писал: «Новостью нашей графики является совершенное устранение буквы «і», проставленной первыми издателями в тексте «Слова» несомненно под влиянием орфографии конца XVIII в. Итак, все «і» заменены у нас посредством «и», что соответствует средневековой графике в преобладающем числе случаев»¹. Вслед за А. С. Орловым «і» заменяется на «и» и в тексте «Слова», подготовленном к печати мною². Думаю, что данные первого издания «Поучения Владимира Мономаха» полностью подтверждают правильность такой замены.

Совершенно ясно, что конечный «ъ» расставлен в Екатерининской копии и в первом издании во всех случаях в конце слов, оканчивающихся на согласный, даже тогда, когда его не было в рукописи. В самом деле, не может представлять сомнения, что в рукописи «Слова» были выносные буквы. Как известно, выносные буквы очень часты в конце слов, но в выносах конечный «ъ» не пишется. В первом же издании «Слова» почти все слова, оканчивающиеся на согласный (за крайне немногими исключениями, о которых я скажу в дальнейшем), имеют конечный «ъ». Здесь тот же прием передачи текста, что и в мусин-пушкинском издании «Поучения». Обычна, в частности, постановка «ъ» после предлогов, оканчивающихся на согласный. Предлоги же,

¹ Орлов А. С. «Слово о полку Игореве». 2-е изд., дополн. М.; Л., 1946. С. 65.

² Слово о полку Игореве. Л., 1949. (Б-ка поэта. Малая серия); Слово о полку Игореве. Серия «Литературные памятники». М.; Л., 1950; Слово о полку Игореве. М.: Детгиз, 1949, 1954 и др.

как правило, в древнерусских текстах пишутся слитно : последующим словом.

При разделении предлога и слова в мусин-пушкинском издании «Поучения» обычно после конечного согласного в предлоге ставится «ъ»: «въ сердци» (из «всрдци»), «съ нами» (из «снами») и т. д. То же самое видим мы и в первом издании «Слова»: «подъ облакы» (дважды), «предъ пълкы», «отъ стараго», «отъ него», «къ дружинѣ», «съ вами», «въ тропу», «чресь поля», «чрезъ поля», «къ Дону», «въ Киевѣ», «въ Новѣградѣ», «въ Путивлѣ», «подъ трубами», «подъ шеломи», «въ полѣ», «въ златѣ», «въ стазби» (об этом выражении ниже), «въ срожать» (об этом выражении ниже), «съ заранія въ пяткѣ», «съ ними», «въ полѣ», «съ моря», «въ нихъ», «съ Дону», «съ моря», «отъ Дона и отъ моря и отъ всѣхъ странъ», «отъ тебе», «въ златѣ», «въ градѣ», «въ Черниговѣ», «съ тояже», «къ Киеву», «въ княжихъ», «въ ты рати, и въ ты пълкы», «съ заранія», «съ вечера», «въ полѣ», «подъ копыты», «предъ зорями», «къ полуднью», «къ земли», «въ силахъ», «съ всѣхъ», «съ побѣдами», «къ морю», «въ пламянѣ», «отъ двора», «изъ луку», «отъ железныхъ», «въ градѣ», «въ гридницѣ», «изъ сѣдла», «въ сѣдло», «въ Киевѣ», «съ вечера» (дважды), «съ трудомъ», «безъ кнѣса», «къ синему», «съ отня», «въ путины», «съ нимъ», «въ морѣ», «въ жестоцемъ», «въ буести», «съ черниговскими», «съ Могуты и съ Татараны, и съ Шельбиры, и съ Топчаки, и съ Ревугы, и съ Ольберы», «съ засапожники», «въ прадѣднюю», «въ мытехъ», «въ обиду», «подъ саблями», «подъ ранами», «въ злата», «чрезъ облаки», «съ отня», «въ буести», «въ буйствѣ», «подъ шеломи», «подъ тыи», «къ граду» (дважды), «подъ кликомъ», «подъ чрълеными», «изъ храбра», «чресь злато», «изъ дѣдней», «отъ земли», «отъ нихъ», «въ пълночи», «изъ Бѣлаграда», «съ Дудутокъ», «отъ тѣла», «въ ночь», «изъ Києва», «въ Полотскѣ», «въ колоколы», «въ Киевѣ», «въ друзѣ», «къ горамъ», «въ Каялѣ», «въ Путивлѣ»,

«подъ облакы», «къ мнѣ», «къ нему», «къ Путивлѣ», «въ полѣ», «изъ земли», «къ отню», «отъ великаго», «въ полуночи», «къ тростію», «съ него», «къ лугу», «подъ мыглами», «подъ сѣнію», «къ земли», «съ Кончакомъ», «къ рѣцѣ», «къ гнѣзду» (дважды), «къ Кончакови», «безъ Игора», «въ Руской», «къ Святѣй».

Сейчас я не останавливаюсь на некоторых незначительных разночтениях между Екатерининской копией и изданием 1800 г. Важно, что и в издании «Поучения», и в Екатерининской копии, и в издании 1800 г. принята одна и та же система расстановки «ъ» в конце слов после согласного, значительно нарушающая орфографические нормы XII—XVI вв.

В связи с изложенным встает вопрос, как было написано в рукописи слово «къмети». Как известно, Мусин-Пушкин не знал этого слова и разделил его на два «къ мети», переводя «в цель». Очень может быть, что конечный «ъ» поставлен был им при разделении этого слова на два, в рукописи же это слово вполне могло быть написано без «ъ»: «кмети». Предположение это полностью подтверждается мусин-пушкинским изданием «Поучения», где вместо «инѣхѣ кметии молодѣгъ» напечатано «и инѣхъ къ мети и молодыхъ» (с. 44). Так именно это слово писалось в подавляющем числе случаев¹. Отсюда ясно, что при реконструкции непонятных «въ стазби» и «въ срозатъ» надо иметь в виду, что «ъ» также мог отсутствовать в рукописи.

Из всего приведенного материала о конечном «ъ» совершенно ясна ошибочность того, что пишет С. П. Обнорский о «ъ» в конце предлогов в своем исследовании языка «Слова о полку Игореве»: «Выдержанною графической чертой памятника, вероятно, обязанной последнему его писцу, отдавшему дань позднему югославянскому влиянию, служит устойчивое употребление «ъ» в исходе предлогов. Таковы написания не только тех предлогов, которые

¹ См.: Срезневский И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. III. СПб., 1893. С. 1390.

исконно оканчивались на «ъ» (въ 46 случаев, къ 23 сл., отъ 12 сл., подъ 14 сл., предъ 3, 18, съ 28 сл., чрезъ 6, 34 и чрезъ 7, 30, 45), но в подравнение к ним и предлогов, не имевших первоначально в исходе «ъ» (таковы безъ 23, 44, и изъ 21, 22, 34 bis, 35, 36, 39)»¹.

Вернемся к вопросу о некоторых, весьма немногочисленных в первом издании «Слова», исключениях из рассмотренного нами приема расстановки «ъ» после конечного согласного. Случаи эти следующие: «вмоемъ» (с. 23), «стугою» (с. 43) и «бес щитовъ» (с. 27). В первом и последнем случаях в Екатерининской копии предлоги написаны с «ъ» в конце и сами предлоги отделены от последующего слова. Во втором случае («стугою») слова написаны так же точно, как в Екатерининской копии (без «ъ» и слитно). Забегая несколько вперед, скажу, что издатели «Слова», несомненно, проверяли весь текст по рукописи, но в основе своей работы имели для проверки по рукописи текст, восходящий к протографу Екатерининской копии. Одновременно надо принять во внимание, что издание 1800 г. имеет большое количество опечаток, не изученных и даже не учтенных в науке. Первые издатели были весьма малоопытными корректорами и в исправлении опечаток, и в проведении единожды принятой системы.

Установлению единообразия в издании 1800 г. мешало постоянное обращение к подлинной рукописи «Слова» и стремление как можно ближе придерживаться текста рукописи, входившее в постоянное противоречие со стремлением к корректорскому единообразию на основе орфографических приемов XVIII в.

Приведу некоторые примеры. В издании 1800 г. слова «съморя» дважды напечатаны слитно (с. 12), в Екатерининской копии они разделены. Такого написания не могло быть в рукописи. В рукописи, без сомнения, было «сморя». А. И. Мусин-Пушкин первоначально

¹ Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946. С. 138.

отделил предлог от последующего слова и поставил после предлога «ъ». Такое написание в обоих случаях и дошло до нас в Екатерининской копии. При просмотре текста по рукописям первыми издателями, а может быть, и в результате ошибки наборщиков (во втором случае набор строки оказался очень тесным) оба слова слились. Имеются в первом издании и другие явные просмотры в разделении на слова. Так, например, напечатано: «и съ Шельбиры, и съ Топчаки, ись Ревугы, и съ Ольберы» (с. 27). Совершенно ясно, что соединение союза «и» с предлогом «съ» в сочетании «исъ Ревугы» является не больше как грубым просмотром первых издателей.

Из сказанного становится ясным происхождение тех трех случаев, в которых после предлога с конечным согласным не был поставлен конечный «ъ». Предлог «в» (с. 23) не был отделен по недосмотру издателей, в отмену своему правилу, от последующего слова. Слова были написаны вместе в результате их очевидной проверки по рукописи, и, таким образом, восстановлено написание рукописи. Перед нами, несомненно, след воздействия самой рукописи, так как в Екатерининской копии, к протографу которой, как мы увидим в дальнейшем, восходит текст первого издания, эти слова написаны отдельно и с «ъ» после «в» — согласно приемам передачи текста А. И. Мусиным-Пушкиным. Не имеет конечного «ъ» предлог «бес» при последующем шипящем: «бес щитовъ» (с. 27). Как известно, в таких случаях, согласно фонетическому приему письма в Древней Руси, буква «с» вообще опускается. В рукописи «Поучения» Мономаха мы имеем два таких случая: «ищерьнигова» и «ищернигова». В своем издании «Поучения» А. И. Мусин-Пушкин восстанавливает «правильное» (согласно представлениям XVIII в.) написание этих слов: «из Чернигова» (с. 43) и «и съ Чернигова» (с. 44), но странным образом, вопреки своей системе, забывает поставить «ъ» в конце предлога «из». Очевидно, А. И. Мусин-Пушкин, дополнив предлог буквой

«з» и восстановив первоначальное «Ч» в слове «Чернигова», не решился поставить «ъ» — иными словами, не довел до конца своей переделки текста.

Вообще в тех случаях, когда А. И. Мусин-Пушкин в своем издании «Поучения» восстанавливал в конце предлога согласную, он не ставил «ъ»: «без суперникъ» (с. 58; в рукописи «бесуперни^к»), «безсемени» (с. 60; в рукописи «бесемене»). Полную аналогию этим случаям из «Поучения» мы и имеем и в «Слове» в примере с «бес щитовъ».

Совсем просто решается вопрос об отсутствии «ъ» в словах «стугою» (с. 43). Здесь еще в протограф Екатерининской копии «проскочило» написание подлинной рукописи. Текст издания 1800 г. генетически восходит к этому протографу Екатерининской копии (доказательства мы приведем ниже), но неоднократно проверялся по рукописи. Естественно, что эти проверки только подтверждали слитное написание «стугою» без «ъ», интересы же корректорского единообразия в данном случае ускользнули от внимания издателей (такие случаи, как мною уже отмечалось, неоднократно в издании 1800 г.).

Теперь обратимся к тем правилам передачи текста рукописи, где Екатерининская копия ближе к системе, принятой для передачи текста в «Поучении», чем издание 1800 г. Наблюдения в этой области окажутся для нас в дальнейшем особенно важными.

Выше уже указывалось, что в отношении правил расстановки «і» и «ъ» в конце слов издание 1800 г. сравнительно с Екатерининской копией допускает отдельные (правда, очень редкие) исключения, приближающие, как можно предположить, издание 1800 г. к орфографии подлинной рукописи.

Еще яснее эта тенденция выступает в других правилах передачи текста, принятых в издании «Поучения» и в Екатерининской копии, но почти отмененных в издании 1800 г.

Крайне неустойчиво в издании «Поучения» «ъ».

Постоянно встречается «ѣ» в тех случаях, когда его нет в рукописи, и наоборот. По большей части такие перемены производились по орфографическим правилам конца XVIII в.; «сане^х» → «санѣхъ», «смѣренье» → «смеренье» (с. 9), «собе» → «собѣ» (с. 10), «тобе» → «тобѣ» (с. 13), «онемѣють» → «онѣмѣють» (с. 13), «кленитеса» → «клѣнитеса» (с. 17), «душѣ своеѣ» → «душе своее» (с. 17), «сторожѣ» → «стороже» (с. 20), «идеже» → «идѣже» (с. 23), «боле же» → «болѣ же» (с. 23), «ватичѣ» → «ватиче» (с. 31), «на сугеиску» → «на Сутѣиску» (с. 32), «к бѣлѣ вежи» → «къ Беле вежи» (с. 37), «вежѣ възхо^м» → «Веже възхомъ» (с. 38), «половьчскитѣ» → «Половьчскіе» (с. 39), «своѣ» → «свое» (с. 43), «браѣѣ» → «братье» (с. 44), «дикитѣ» → «дикіе» (с. 45), «оубогыѣ вдовицѣ» → «оубогые вдовицѣ» (с. 47) и т. д.

В первом издании «Слова» сравнительно с Екатерининской копией довольно много случаев колебания в написании слов с «ѣ» и с «е». Вряд ли здесь дело только в том, что А. И. Мусин-Пушкин и его ученые помощники не разобрали написаний. По-видимому, путаница объясняется тем, что публикаторы колебались между орфографической системой XVIII в. и написаниями рукописи. При этом по большей части (хотя были и обратные случаи) Екатерининская копия следовала орфографическим правилам XVIII в., а издание 1800 г. частично восстанавливало старые формы рукописи. Так, например, звательный падеж в Екатерининской копии оканчивается на «е», в издании же 1800 г. — на «ѣ»: «землѣ» (с. 12; Ек. — «земле»), «Всеволодѣ» (с. 13, 46; Ек. — «Всеволоде»), «Осмомыслѣ» (с. 30; Ек. — «Осмомысле»), «вѣтрѣ» (с. 38; Ек. — «ветре»). Сравнительно с Екатерининской копией издание 1800 г. восстанавливает древнее написание родительного падежа множественного числа: «на стадо лебедѣй» (с. 3 и 4; Ек. — «на стадо лебедей», согласно орфографии XVIII в.)¹.

¹ См.: Козловский И. И. Палеографические особенности погибшей рукописи «Слова о полку Игореве». М., 1890. С. 5.

Необходимо при этом отметить, что в конце XVIII в. древнее написание окончания родительного падежа множественного числа на «ѣй» не было известно. Поэтому следование в данном случае издания 1800 г. за рукописью несомненно.

Малопонятно систематическое разноречие между Екатерининской копией и изданием 1800 г. в словах «стрелять» и «стрела». В Екатерининской копии эти слова постоянно пишутся через «е», в издании же 1800 г. — всюду через «ѣ»: «стрѣлами» (с. 12, 13, 33, 43; Ек. — «стрелами»), «стрѣлы» (с. 15, 17; Ек. — «стрелы»), «стрѣляти» (с. 29; Ек. — «стреляти»), «стрѣляеши» (с. 30; Ек. — «стреляеши»), «Стрѣляй» (с. 30; Ек. — «Стреляй»). И в рукописях XII—XVII вв., и в орфографиях XVIII в. в корне этих слов обычно пишется «ѣ» (исключение могло быть только в новгородских рукописях). Окончательно решить вопрос о том, должно ли было быть в рукописи «Слова» в этих случаях «ѣ» или «е», смогут только лингвисты. Не подлежит, однако, сомнению, что либо в Екатерининском списке, либо в издании 1800 г. (а может быть, в тексте обоих) написания этих слов подверглись сплошной корректорской унификации.

К сожалению, рукопись «Поучения» не знает болгаризированной орфографии в сочетаниях плавных с «ѣ» и «ь», и поэтому нам трудно с уверенностью судить о том, как поступили бы издатели «Поучения» в случаях сочетаний «ръ», «рь», «лъ» и «ль». Однако все же на с. 41 мусин-пушкинского издания «Поучения» имеется, правда, один, но весьма характерный пример: там напечатано «полкы», тогда как в рукописи стоит «плъкы». Тот же прием замены болгаризированных сочетаний «ръ», «рь», «лъ» и «ль» русскими «ор», «ер», «ол» и «ел» мы постоянно встречаем в Екатерининской копии. В издании же 1800 г. это болгаризированное сочетание восстанавливается, и, нет сомнений, по подлинной рукописи: «наплънився» (с. 5; Ек. — «наполнився»), «плъкы» (с. 5; Ек. — «полкы»), «бръзыя» (с. 5; Ек. — «борзыя»), «бръзый» (с. 7; Ек. — «бързый»), «вльци»

(с. 8; Ек. — «вълци»), «чръленя» (с. 10; Ек. — «чрленя»), «мльни» (с. 12; Ек. — «молни»), «плькы» (с. 12, 13, 27; Ек. — «полки»), «Чрънигова» (с. 13; Ек. — «Чернигова»), «пльци» (с. 14; Ек. — «полци»), «Святопльк» (с. 16; Ек. — «Святополк»), «плькы» (с. 17; Ек. — «полкы»), «чрна» (с. 17; Ек. — «черна»), «плькы» (с. 18; Ек. — «полкы»), «мльвити» (с. 19; Ек. — «молвити»), «пльку» (с. 20; Ек. — «полку»), «пльковъ» (с. 22; Ек. — «полковъ»), «чръною» (с. 23; Ек. — «черною»), «пльки» (с. 30; Ек. — «полки»), «пльку» (с. 32, 39; Ек. — «полку»), «пльночи» (с. 35; Ек. — «полночи»), «влькомъ» (с. 35; Ек. — «волкомъ»), «влькомъ» (с. 36 bis; Ек. bis — «волокомъ»), «пръвое» (с. 37; Ек. — «первое»), «пръвую» (с. 37; Ек. — «первую»), «пръвыхъ» (с. 37; Ек. — «первыхъ»), «слънце» (с. 39; Ек. — «Солнце»), «бръзъ» (с. 41; Ек. — «борзъ»), «влькомъ» (с. 41 bis; Ек. bis — «волкомъ»), «бръзая» (с. 41; Ек. — «борзая»), «вльнахъ» (с. 42; Ек. — «волнахъ»), «помлькоша» (с. 43; Ек. — «помолкоша»), «Мльвить» (с. 43; Ек. — «Молвить»), «пльки» (с. 46; Ек. — «полки»). Только в одном случае нужно думать, что Екатерининская копия дает лучшее чтение сравнительно с первым изданием: «мркнетъ» (с. 10; Ек. — «мръкнетъ»). Здесь, очевидно, сказалась двойная невнимательность: составитель текста Екатерининской копии не провел своей системы в сочетании, а составители текста первого издания «Слова» имели уже перед собой «исправленный», согласно орфографии XVIII в., список с «меркнетъ» вместо «мръкнетъ», который и выправили по подлинной рукописи, но не до конца (ограничившись тем, что выбросили «е»).

Как известно, отдельные страницы первого издания «Слова» перепечатывались, причем в текст вкрались изменения: вместо «пльку» — «пльку», вместо «Владимир» — «Владиміръ» и др. Можно думать, что второе из этих изменений внесено не по рукописи, а является обычным для издателей «приноровлением» орфографии подлинника к орфографии XVIII в. Во всяком случае,

в древних рукописях написание «Владиміръ» с «і» нам не встречалось. Что же касается первого случая, то изменение здесь введено, как нам кажется, для единообразия, к которому, как это ясно и из текста издания «Поучения», первые издатели были весьма чувствительны. Введя болгаризированные формы «ръ», «ль» по рукописи, издатели вполне могли начать распространять эту особенность, принятую за древнюю «систему» рукописи «Слова», и на те случаи, где этих болгаризированных форм не было. Сомнительно, например, чтобы в рукописи действительно было написание «пльночь» (см. первое издание, с. 35), так как в «пол» «о» было исконным. Сомнительны и такие написания, как «Вльѣѣ» (с. 9), «Чрънигова» (с. 13) и некоторые другие.

Вызывает размышление следующее наблюдение С. П. Обнорского: «Можно обратить внимание на то, что этот доминирующий в памятнике способ передачи сочетаний «о, е+р, л» по типу болгарской орфографии был освоен писцом «Слова» не сразу: поначалу писец держался приблизительно старорусского типа написаний этих сочетаний, т. е. пользовался употреблением «ѣ» перед плавным... а далее уже у него вырабатывается устойчивый прием написаний соответственных слов на болгарский лад, с «ѣ» после плавного...»¹. Заметим от себя, что переход от одной системы к другой (в данном случае от старорусской к болгаризированной) мало вероятен для писца (писец обычно придерживался каких-то своих постоянных приемов передачи текста, либо следуя за текстом подлинника, либо в некоторой степени его переиначивая, но не «перестраиваясь» на ходу); для издателя же текста, стремящегося к известному единообразию, попытка выдержать текст в одной орфографической системе гораздо вероятнее: издатель, переписывая текст для публикации, мог не сразу заметить, что в нем преобладают болгаризированные формы, и

¹ Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка... С. 141.

перешел к ним постепенно (ближе к концу). Перед нами — типичная ошибка малоопытного *публикатора*. Эта ошибка станет нам вполне понятной, если мы вспомним, что большинство болгаризированных форм было устранено в первоначальной копии с рукописи (как об этом свидетельствуют Екатерининская копия и издание 1793 г. «Поучения») и восстановлено по рукописи в издании 1800 г. Нам кажется естественным, что, восстанавливая текст по рукописи и не отказавшись от идеи «единообразия» орфографии, издатели увлеклись и переделали всю систему. Исправления по рукописи незаметно для самих издателей перешли в установление новой «системы».

При перепечатке самого начала «Слова» слово «пълку» в его заголовке было также переделано на «пльку» по этой новой «системе».

Следовательно, и тут перед нами еще одно соображение в пользу того, что у издателей 1800 г. была рукопись, которую они считали авторитетной, но передать все особенности которой они не могли главным образом потому, что стремились к корректорскому единообразию, с одной стороны, и к «правильности правописания» — с другой. В меньшей мере сказывалось неумение читать древние тексты.

В мусин-пушкинском издании «Поучения» «ю» после шипящих «ч» и «щ» заменяется, согласно орфографическим правилам XVIII в., на «у»: «душю» → «душу» (с. 6, 8), «възношюса» → «взношуса» (с. 9), «чюдна» → «чудна» (с. 12 bis), «чюдесь» → «чудесь» (с. 12 bis), «чюду» → «чуду» (с. 12), «чю^дса» → «чудеса» (с. 13), «чюжимъ» → «чужимъ» (с. 22), «въсходящю» → «всходашу» (с. 29). К сожалению, мы не можем установить, как было бы в случаях с «я» после «ч» и «щ», так как в рукописи «Поучения» в этих случаях всегда «а», которое, естественно, в издании 1793 г. и сохраняется: «привечавше» (с. 24), «часто» (с. 26), «щадя» (с. 46) и др. В Екатерининской копии в основном «я» после «ч» и «щ» заменяется на «а», но в первом издании первоначаль-

чальное «я» систематически восстанавливается: «начяти» (с. 1; Ек. — «начати»), «поскочяше» (с. 13; Ек. — «поскочаше»), «Святъславличя» (с. 15; Ек. — «Святъславлича»), «давечя» (с. 18; Ек. — «давеча»), «начяша» (с. 19; Ек. — «начаша»), «сыновчя» (с. 26; Ек. — «сыновча»), «Брячяслава» (с. 34; Ек. — «Брячаслава»), «начясте» (с. 35; Ек. — «начасте»). Имеется только один обратный случай: «Полочаномъ» (с. 33; Ек. — «Полочяномъ»).

Следовательно, и здесь перед нами несомненно свидетельство того, что текст «Слова» для издания 1800 г. выверялся по подлинной рукописи и приведенная выше особенность орфографии XVIII в., проникшая в первоначально подготовленный текст «Слова» (сохранившийся в Екатерининской копии), затем была отменена.

Отчасти в пользу той же выверки текста «Слова» по рукописи для издания 1800 г. свидетельствует еще и тот факт, что в издании 1800 г., сравнительно с Екатерининской копией, все цифровые обозначения чисел заменены буквенными, как в рукописи («ѿ соколовъ» bis; «въ г день» вместо «10 соколовъ» bis, «въ 3 день»).

Необходимо отметить, что замена «ь» на «ъ» и обратно, согласно орфографическим нормам XVIII в., проведена в мусин-пушкинском издании «Поучения» недостаточно последовательно. Так, например, в нескольких случаях «ь» в третьем лице единственного числа оставлено без изменений: «согрѣшить» (с. 15), «избываетъ» (с. 15), «оумѣеть» (с. 28); оставлено в одном случае «потомъ» (с. 37) при изменении «потомъ» в «потомъ» в двух соседних случаях и т. д.

Такою же непоследовательностью в случаях с окончаниями на «ь» и «ъ» отличалась, по-видимому, и работа первых издателей «Слова» над его текстом.

Так, например, в первом издании «Слова» очень часто конечное «ъ» Екатерининской копии, соответствующее орфографическим нормам XVIII в., заменяется на «ь» — очевидно, в соответствии с написаниями рукописи: «былинамъ» (с. 2; Ек. — «былинамъ»), «помняшетъ»

(с. 3; Ек. — «помняшеть»), «соколовъ» (с. 3, 4; Ек. — «соколовъ»), «умь» (с. 5, 6; Ек. — «умь»), «трубять» (с. 7; Ек. — «трубять»), «имь» (с. 8; Ек. — «имь»), «скачють» (с. 8; Ек. — «скачють»), «пасеть» (с. 9; Ек. — «пасеть»), «текуть» (с. 12; Ек. — «текуть»), «человѣкомь» (с. 17; Ек. — «человѣкомь»), «Святъславъ» (с. 23; Ек. — «Святъславъ»), «зоветь» (с. 32; Ек. — «зоветь»).

Однако гораздо более часты обратные случаи: «въсрожать» (с. 9; Ек. — «въсрожать»), «яругамь» (с. 9; Ек. — «яругамь»), «хотять» (с. 12; Ек. — «хотять»), «прикрывають» (с. 12; Ек. — «прикрывають»), «летять» (с. 17; Ек. — «летять»), «заворочаеть» (с. 18; Ек. — «заворочаеть»), «синѣмь» (с. 19; Ек. — «синемь»), «Княземь» (с. 19; Ек. — «Княземь»), «за нимь» (с. 20; Ек. — «за нимь»), «Черниговъ» (с. 20; Ек. — «Черниговъ»), «отець» (с. 21; Ек. — «отець»), «нѣгують» (с. 23; Ек. — «нѣгують»), «поють» (с. 25; Ек. — «поють»), «побѣждають» (с. 27; Ек. — «побѣждають»), «подѣлимь» (с. 27; Ек. — «подѣлимь»), «бываеть» (с. 27; Ек. — «бываеть»), «птиць» (с. 27; Ек. — «птиць»), «възбиваеть» (с. 27; Ек. — «възбиваеть»), «дасть» (с. 27; Ек. — «дасть»), «рыкають» (с. 29; Ек. — «рыкають»), «текуть» (с. 30; Ек. — «текуть»), «умь» (с. 31; Ек. — «умь»), «бологомь» (с. 32; Ек. — «бологомь»), «кличеть» (с. 32; Ек. — «кличеть»), «течеть» (с. 33; Ек. — «течеть»), «болотомь» (с. 33; Ек. — «болотомь»), «Васильковъ» (с. 33; Ек. — «Васильковъ»), «стелють» (с. 36; Ек. — «стелють»), «животь кладуть» (с. 36; Ек. — «животь кладуть»), «сыновъ» (с. 36; Ек. — «сыновъ»), «пашуть» (с. 37; Ек. — «пашуть»), «слышить» (с. 37; Ек. — «слышить»), «плачеть» (с. 38, 39; Ек. — «плачеть»), «всѣмь» (с. 39; Ек. — «всѣмь»), «идуть» (с. 39; Ек. — «идуть»), «спить» (с. 40; Ек. — «спить»), «бдить» (с. 40; Ек. — «бдить»), «мѣрить» (с. 40; Ек. — «мѣрить»), «Донецъ» (с. 41; Ек. — «Донецъ»), «летить» (с. 43; Ек. — «летить»), «Княземь» (с. 46; Ек. — «Княземь»).

С. П. Обнорский в своем исследовании языка «Слова» объясняет эти колебания между Екатеринбургской

копией и изданием 1800 г. недостаточно четким написанием «ъ» и «ь», позволявшим их смешивать¹. Палеографически такое объяснение вполне вероятно, однако несомненно и другое: сам А. И. Мусин-Пушкин и его ученые помощники явно колебались в данном случае между написаниями рукописи и интересами проведения орфографического единообразия. Эти колебания были, возможно, поддержаны тем, что «ъ» и «ь» в подлинной рукописи действительно недостаточно четко различались.

Колебания между орфографической системой XVIII в. и чтениями подлинной рукописи весьма характерны для издания 1800 г., хотя в целом мы должны признать, что первое издание гораздо ближе следует за рукописью, чем Екатерининская копия. Тем не менее есть и такие случаи, когда Екатерининская копия вернее отражает оригинал, чем издание 1800 г., подчинившее в том или ином частном случае свое правописание орфографии XVIII в. Приведем примеры: в издании 1800 г. «веселія» (с. 26), в Екатерининской копии «веселіа», что точнее отражает югославянскую графику оригинал «Слова»; затем: «Готскія» (с. 25; Ек.— «Готьскыя»), «Святславъ» (с. 26; Ек.— «Святъславъ»), «Святславлича» (с. 30; Ек.— «Святъславлича»), «по Росіи» (с. 32; Ек.— «по Роси»), «Русскую» (с. 33; Ек.— «Рускую»), «Ростиславя» (с. 42; Ек.— «Ростиславля»), «чрезъ» (с. 45; Ек.— «чресъ») и многие другие. Лучшие чтения в Екатерининской копии объясняются, во-первых, тем, что издатели «Слова» постоянно колебались при написании того или иного слова между «системой» (от попытки провести которую они целиком не отказались, а только несколько «умерили» ее сравнительно с Екатерининским списком) и написаниями рукописи. Во-вторых, они, по-видимому, объясняются и еще одним обстоятельством. Правя текст «Слова», А. И. Мусин-Пушкин постоянно заказывал

¹ Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка... С. 140.

своим писцам копии, которые и рассылал для консультации, комментирования и перевода различным ученым. Поправки вносились, по-видимому, в эти писарские копии. Эти-то писарские копии и плодили различные ошибки и упрощения текста (следствие невольного подведения текста под орфографические нормы XVIII в.).

В дальнейшем мы увидим, что в тексте «Слова» имеется целый ряд описок, общих с Екатерининским списком.

Колебания в написаниях с «ъ» и «ь» объясняются не только тем, что «ъ» и «ь» имели сходные начертания. Они объясняются, как уже говорилось, и тем, что тут имело место колебание между «системой» и текстом рукописи. Доказывается это тем обстоятельством, что в ряде случаев мы имеем отнюдь не путаницу в написаниях «ь» и «ъ», а пропуски или вставки этих самых «ъ» и «ь», которые никак не могут быть объяснены простым сходством начертаний: «Ольга» (с. 15; Ек.— «Олга»), «Тмутороканѣ» (с. 15; Ек.— «Тмутороканѣ»), «иноходьцы» (с. 16; Ек.— «иноходцы»), «сильными» (с. 21; Ек.— «силными»), «Кіевскій» (с. 21; Ек.— «Кіевскій»), «Тмутороканя» (с. 24; Ек.— «Тмутороканя»), «крильца» (с. 24; Ек.— «крилця»), «готскія» (с. 25; Ек.— «готьскія»), «съ Ольберы» (с. 27; Ек.— «съ Олберы»), «Литовскія» (с. 33; Ек.— «Литовьскія»), «Полотскѣ» (с. 36; Ек.— «Полотьскѣ»), «мьглами» (с. 41; Ек.— «мглами»). Аналогичные пропуски и вставки «ь» и «ъ» в середине слов, главным образом (но не всегда) с целью приспособления текста к орфографии XVIII в., наполняют собой и издание «Поучения» 1793 г.

Особенно интересны в издании «Поучения» некоторые ошибочные прочтения, совпадающие с такими же неверными прочтениями «Слова» в Екатерининской копии и в издании «Слова» 1800 г. Мы уже говорили о том, что А. И. Мусин-Пушкин и в «Духовной», и в «Слове» не понял слова «къмети». В «Поучении» вместо «инѣхъ кметии молодыѣ» напечатано «инѣхѣ къ

мети и молодыхъ»; в первом же издании «Слова о полку Игореве» вместо «свѣдоми къ мети» напечатано «свѣдоми къ мети». Не понял А. И. Мусин-Пушкин и слов «мужество», «мужаться». В «Поучении» вместо «мужество и грамоту» напечатано «мужь твой грамоту»; в первом издании «Слова о полку Игореве» — «му жа имѣся сами» вместо «мужаймся сами». Эти общие в «Поучении» и «Слове» ошибки ясно показывают, что виновником их был сам А. И. Мусин-Пушкин, а не кто-либо из его ученых помощников. Они же, кстати сказать, лишней раз и совершенно бесспорно свидетельствуют о том, что перед А. И. Мусиным-Пушкиным была подлинная, древняя рукопись «Слова», которую он не во всех случаях умел прочесть, и что он делал типичные для него ошибки в прочтении древних рукописей.

Публикаторскую технику Мусина-Пушкина довольно ярко характеризуют и другие случаи неумелого прочтения и разделения на слова текста «Поучения» («и впочиваетъ» вместо «бо почиваетъ», «съ **И** тавкомъ» вместо «со Ставкомъ», «и съ Переславла» вместо «ис Переславла», «даси ми» вместо «да сими»), а также манера в случаях затруднений с пониманием какого-либо слова считать его именем собственным: «по Стугани ва...» вместо «по сту оуганивалъ». И то, и другое, как известно, представлено рядом примеров и в Екатерининской копии, и в первом издании «Слова».

Отдельные случаи своеобразной передачи текста в «Поучении» объясняют неточности Екатерининской копии и издания 1800 г. Так, например, в «Поучении» имеются вставки согласного там, где его не было в рукописи, под влиянием требований этимологии: «отвори» (с. 35; в Екатерининской копии — более вероятное в рукописи «отвори»); ср. в издании «Поучения»: «беззаконье» (с. 4, 6 и 49; в рукописи — «беззаконье»), «безсемени» (с. 60; в рукописи — «бесемене»).

Я не ставлю перед собой цели восстановления более правильных чтений, критики текста «Слова о полку

Игореве». Поэтому я не предполагаю анализировать все расхождения между Екатерининской копией и изданием 1800 г. Такая работа в значительной мере уже проделана. В данном случае перед нами другая задача, гораздо более узкая, но до сих пор в науке не поставленная: установить общие приемы передачи текста в Екатерининской копии и в издании 1800 г. и самый ход работы над подготовкой Екатерининской копии и изданием 1800 г.

Приведенные материалы позволяют нам сделать следующие предварительные выводы. И Екатерининская копия, и издание 1800 г. отразили определенные приемы передачи текста древних рукописей, свойственные А. И. Мусину-Пушкину и привлеченным им ученым. Эти приемы близки к тем, которые совершенно достоверно могут быть установлены для мусин-пушкинского издания «Поучения» Мономаха. Ближе всего к приемам этого издания Екатерининская копия. В издании 1800 г. заметно стремление строже придерживаться текста рукописи, в связи с чем некоторые приемы были отменены вовсе, а в других заметны колебания, но некоторая часть приемов осталась без изменений. Будущие исследователи языка «Слова» и реконструкторы его текста непременно должны считаться с тем, что в ошибках Екатерининской копии и издания 1800 г. отразилось не простое неумение прочесть текст погибшей рукописи, а некоторая, правда не совсем последовательная и четкая, *система* приемов передачи текста рукописи. Поэтому совершенно иначе распределяются в Екатерининской копии и издании 1800 г. достоверные и недостоверные чтения. Прежние исследователи не колебались признавать в тексте «Слова» достоверным и восходящим к погибшей рукописи все то, что является общим Екатерининской копии и изданию 1800 г. Мы убедились, что это не совсем так.

Исследователи и публикаторы Екатерининской копии не ставили вопроса о том, как работал писец, с чего он делал свою копию: непосредственно с погибшей ли рукописи «Слова» или с какого-то специально для него подготовленного текста. По-видимому, П. Пекарский, И. И. Козловский, Н. С. Тихонравов, П. К. Симони не сомневались в том, что писцу была предоставлена сама рукопись «Слова» и что писец являлся, таким образом, одним из первых ее исследователей и интерпретаторов. Так, например, И. И. Козловский считал, что особенности Екатерининской копии объясняются «простым неумением писца или руководившего им графа» прочесть затруднительный текст¹; отсюда ясно, что И. И. Козловский считал, что писец сам переписывал рукопись. Только М. В. Щепкина в своем исследовании «К вопросу о сгоревшей рукописи „Слова о полку Игореве“» писала: «Для характеристики Екатерининской копии важно знать, с чего списывал писец — с самого оригинала конца XV — начала XVI века, т. е. непосредственно с мусин-пушкинского сборника, или уже со списка, изготовленного под наблюдением и по указаниям А. И. Мусина-Пушкина. Всего вероятнее последнее, ибо если бы даже самый опытный писец XVIII века стал копировать рукопись XV—XVI века с таким необычным текстом, то, с одной стороны, он дал бы больше неверных чтений и неправильных делений на слова, а с другой стороны, опытный писец проще и правильнее раскрыл бы ряд сокращений и учел бы ряд выносных знаков, пропущенных Мусиным-Пушкиным»².

Рассмотрение мусин-пушкинских приемов издания текстов ясно показывает, что так называемая Екатерининская копия «Слова» делалась не непосредственно с рукописи, а с подготовленного Мусиным-Пушкиным

¹ Козловский И. И. Палеографические особенности... С. 4.

² Щепкина М. В. К вопросу о сгоревшей рукописи «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. XI. М.; Л., 1955. С. 44.

текста и отражает одну из стадий его работы по прочтению рукописи. Если бы писарь списывал текст непосредственно с рукописи, то он неизбежно отразил бы свое понимание текста, нарушил бы в чем-то систему передачи текста. Между тем в работе писаря мы видим ту же систему расстановки «ъ», «ь», «і» и многие характерные и для издания 1800 г. неправильности в прочтении текста: «къ мети», «мужа имѣ ся» (в первом издании «му жа имѣся»), «нѣ рози нося» и т. д. В Екатерининской копии ясно ощущается, что над протографом ее работал ученый интерпретатор текста, дававший тексту свое толкование, расставлявший знаки препинания, прописные буквы, разделявший текст на слова и т. д. При этом с изданием 1800 г., даже в неверных толкованиях, гораздо больше сходства, чем различий.

Объяснение этому может быть только одно. Писец Екатерининской копии переписывал не рукопись «Слова» XV или XVI в., а приготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным текст. В основном этот текст был А. И. Мусиным-Пушкиным приготовлен теми же приемами, что и издание «Поучения», но только гражданским, привычным для него почерком, а не церковнославянским полууставом. В нем поэтому не было церковнославянских букв и были уже расставлены все знаки препинания, приведена к корректорскому единству орфография. Правда, в Екатерининской копии кое-где имеются выносные буквы, которых нет в первом издании «Слова». В этих выносных буквах видят обычно остатки графики самой рукописи, отраженные якобы писцом, стремившимся точно следовать за рукописью. Это неправильно. В мусин-пушкинском издании «Поучения» выносные буквы совершенно не отражают графику оригинала. Они расставлены Мусиным-Пушкиным по правилам их постановки в церковнославянских текстах XVIII в., главным образом в конце слов. То же самое видим мы и в Екатерининской копии. Здесь выносные буквы имеются также только в окончаниях слов (по преимуществу ко-

нечные «х» и «м», как и в церковнославянских текстах XVIII в.) и отражают приемы расстановки выносных букв в письме XVIII в. (не следует забывать, что выносные буквы еще продолжали употребляться в письме XVIII в.). Это обстоятельство заставляет сильно сомневаться в том, что выносные буквы Екатерининской копии перешли в нее из погибшего оригинала. Эти сомнения окончательно подтверждаются следующим наблюдением. Екатерининская копия имеет выносные буквы только в конце своих строк, там, где строка копии оказывалась длиннее обычного. Выносная буква помогала писцу Екатерининской копии избегать неудобных переносов, и только. Вот эти слова с выносными буквами: умо^м, оди^и, поведаю^т, трепещу^т, шелома^м, желѣзны^и, со^м, трудо^м, ури^и, звере^м, босы^и, на свой^и, лети^т, молоды^и.

Совершенно не прав Н. С. Тихонравов, который считал выносные буквы Екатерининской копии принадлежностью погибшей рукописи «Слова» и на этом основании даже обвинял первых издателей в том, что они неверно внесли их в текст при подготовке первого издания. «Выводя некоторые слова из-под титл,— пишет Н. С. Тихонравов,— первые издатели произвольно ставят «ь» или «ъ» и там, где их, конечно, не было в подлиннике. Так, они печатают «трудо^м» (с. 7), где в Екатерин. списке «трудо^м», «умо^м» (с. 2), где в Ек. сп. „умо^м“»¹.

Между тем написания «трудо^м» и «умо^м» в издании 1800 г. как раз с полной очевидностью говорят о том, что выносные буквы «м» в этих случаях принадлежат писцу Екатерининской копии и отсутствовали в рукописи. В самом деле, если бы окончания этих слов были восстановлены А. И. Мусиным-Пушкиным, как думает Н. С. Тихонравов, а не принадлежали оригиналу, он бы восстановил их, как мы теперь можем думать, зная его систему передачи текста, не с «ь», а

¹ «Слово о полку Игореве». Издано для учащихся Николаем Тихонравовым. 2-е изд. М., 1868. С. V.

с «ъ», по правописанию XVIII в. Таким образом, в этом случае изданию 1800 г. мы можем верить.

Можно думать, что выносные буквы не только не принадлежат погибшей рукописи «Слова», но не отражают даже и того оригинала, который был предоставлен А. И. Мусиным-Пушкиным писцу. Это чисто графическая особенность *самой копии*, и только.

Отнюдь не отражают графики погибшей рукописи «Слова» и такие слова под титлами, как «гна» и «гне» (дважды), — это обычные сокращения, принятые в церковнославянских изданиях конца XVIII в., а отчасти и в письме.

О том, что писец Екатерининской копии имел перед собою не подлинную рукопись, а подготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным оригинал, убеждает также и расстановка знаков препинания в Екатерининской копии: она в большинстве случаев почти соответствует первому изданию. Совпасть в своей расстановке знаков препинания с первым изданием «Слова» в такой степени, как это мы видим в Екатерининской копии, обычный писец не смог бы.

Характерная манера Мусина-Пушкина — опускать, не оговаривая, непечотенные места — также отразилась в Екатерининской копии. В ней пропущены слова «свистъ звѣринъ въ стазби». В первом издании эти слова восстановлены, очевидно, по инициативе А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского. В одном случае Екатерининская копия включает в свой состав комментаторскую глоссу, взятую в скобки: «Пѣти было пѣснѣ Игореви, того (Ольга) внуку». Эту же глоссу, как известно, имеет и первое издание «Слова» (с. 6) с той разницей, что слово «Ольга» написано без «ъ». Принадлежать эта глосса писцу также никак не могла. Слово «Ольга», поставленное в скобки, по свидетельству Н. М. Карамзина, отсутствовало в подлиннике и было внесено в текст «для большей ясности речи»¹.

¹ Сын отечества. 1839. Т. VIII. Отд. VI. С. 20.

Итак, Екатерининская копия отражает один из этапов подготовки текста к печати А. И. Мусиным-Пушкиным — этап первоначальный и далеко не совершенный. Екатерининская копия — список с подготовленного А. И. Мусиным-Пушкиным текста.

Наблюдение это подтверждается и следующим обстоятельством. Тот же писец, который переписывал текст «Слова», переписывал также и его перевод с примечаниями, и содержание «Слова». Почерк всех этих бумаг Екатерины совершенно идентичен. Но ведь перевод, примечания и содержание «Слова» составлялись писцом не самостоятельно, а переписывались с подготовленного оригинала. Следовательно, нет ничего удивительного, что и для текста «Слова» оригинал был подготовлен А. И. Мусиным-Пушкиным, причем подготовлен теми же приемами, что и издание «Поучения».

Зная, что писец переписывал не подлинную рукопись «Слова», а оригинал, подготовленный для него А. И. Мусиным-Пушкиным, можно объяснить и другие особенности Екатерининской копии. Так, например, некоторые ошибки Екатерининской копии объясняются отнюдь не тем, что писец не разобрал рукописи XVI в., а тем, что он не разобрал почерка А. И. Мусина-Пушкина. В Екатерининской копии писец написал «самого» вместо двойственного числа «самаю» в рукописи (последняя форма сохранена нам изданием 1800 г.). Для объяснения этой ошибки писца И. И. Козловский прибег к чрезвычайно натянутому объяснению: он предположил, что в погибшей рукописи «о» писалось близко к «а», а слог «го» мог быть принят за «ю»¹. Однако всякий обращающийся к рукописям XV—XVI вв. знает, что смешать в них «а» и «о», а тем более «го» с «ю», чрезвычайно трудно и что сходные начертания могут быть указаны крайне редко. Если же мы обратимся к почерку самого А. И. Мусина-Пушкина, то в нем смешать буквы «го» и «ю» было вполне

¹ Козловский И. И. Палеографические особенности... С. 7—8.

просто, тем более что форма двойственного числа «самаю» была писцу неизвестна. Окончание же «ого» вместо «аго» также было легко писцу подставить, так как такого рода прием передачи текста был типичен для мусин-пушкинских изданий (он обычен и в его издании «Поучения»).

То обстоятельство, что писец Екатерининской копии, несмотря на всю его «квалифицированность»¹, все же допускал при переписывании ошибки, может быть доказано рядом примеров. Так, под влиянием соседних букв в слове «великий» «е» заменено им ошибочно на «ы»: «грозный вылыкый Кіевський» (в издании 1800 г. «великый»). К таким же опискам писца Екатерининской копии может быть отнесено: «падоша стяж» вместо «падоша стяги». Смешать «ги» с «ж» можно было именно в почерке XVIII в., тем более что мусин-пушкинский перевод «Слова», присланный им Екатерине, дает правильное понимание этого слова: «знамена». К числу описок писца может быть отнесена и такая: «з а н е (здесь и далее разрядка моя.— Д. Л.) землю Русскую» вместо «за землю Русскую» (с. 30 первого издания), «халужными» вместо «харалужными» (с. 36). Некоторые описки произошли не по вине писца, а принадлежат подготовленному тексту. Вместо текста «а быхъ несала къ нему слезъ на море рано. Ярославна р а н о плачетъ» (первое издание, с. 39) в Екатерининской копии написано: «а быхъ несала к нему слезъ на морѣ рано. Ярославна н а м о р ѣ плачетъ». Писец два раза повторил «на морѣ», опустив одно «рано». Это явная описка, но описка эта произошла не по вине писца, а принадлежала тому оригиналу, с которого писец списывал. Это доказывается тем, что то же второе «на морѣ» имеется и в том мусин-пушкинском переводе «Слова», копия которого им была послана Екатерине II: «Ярославна на морѣ плачетъ къ Путивлю». В дальнейшем мы

¹ Он, как известно, переписывал и другие бумаги для Екатерины II (Пекарский П. «Слово о полку Игореве» по списку, найденному между бумагами императрицы Екатерины II. СПб., 1864. С. 6).

увидим, что перевод для Екатерины подготовлялся уже тогда, когда копия текста была Екатерине отослана, — следовательно, она делалась с другого оригинала, по-видимому, с протографа Екатерининской копии.

Другая явная ошибка Екатерининской копии — двойное, «очное» «о» в слове «ниоочима» — также принадлежит не писцу, а была уже в протографе Екатерининской копии, подготовленном непосредственно с рукописи; протографу же принадлежит неправильное прочтение слова «Зояни» вместо «Трояни» и многие другие.

Впрочем, Екатерининская копия была не просто переписана с текста, подготовленного для писца А. И. Мусиным-Пушкиным. Возможно, что она проверялась самим А. И. Мусиным-Пушкиным после переписки ее писцом. И. И. Козловский отметил, что в Екатерининской копии в слове «наполнился» буквы «ол» писаны по подскобленному тексту¹. Очевидно, что Мусин-Пушкин сперва правильно скопировал рукопись: «наплънився» (так этот текст и читается в издании 1800 г.), а затем подновил его, чтобы сделать его чтение понятным. По-видимому, в этом месте текст Екатерининской копии был подвергнут правке с точки зрения системы, проводившейся А. И. Мусиным-Пушкиным в его изданиях.

Протограф Екатерининской копии, составленный А. И. Мусиным-Пушкиным (возможно, при участии Болтина), не затерялся. Несомненно, что он отразился в издании 1800 г. Текст издания 1800 г. генетически восходит к протографу Екатерининской копии, с поправками непосредственно по погибшей рукописи. В самом деле, интерпретация текста в издании 1800 г. во многом, несмотря на многочисленные поправки по рукописи, сохраняет особенности, характерные и для Екатерининской копии. Общими являются глосса «Ольга», отдельные ошибки («вльзѣ» со строчной; «сице и рати», «стугою», «сыпахутьми», «ись Ревугы», «му жа имѣся» и т. д.), одинаковая рас-

¹ Козловский И. И. Палеографические особенности... С. 5.

становка знаков препинания, особенно показательная в спорных и неясных случаях (например, и в Екатерининской копии, и в издании 1800 г.: «...въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука. Вступилъ дѣвою...», «Грозою бьашеть; притрепеталь своими сильными плѣкы» и др.).

Некоторые особенности расстановки знаков препинания в издании 1800 г. объясняются через протограф Екатерининской копии. Так, например, известное место, в котором русские войска прощаются с Русской землей, в Екатерининской копии пунктуационно читается так: «О Руская земле! Уже за Шоломянемъ еси длъго: ночь мръкнетъ» и т. д. В издании 1800 г. пунктуация поправлена, очевидно под влиянием повторения этого места в начале описания битвы, где слово «длъго» отсутствует. И это слово «длъго» отделено от предшествующей фразы точкой, но объяснения своего оно еще не получило и осталось стоять особняком, отделенное точками и от предшествующей, и от последующей фразы, к которой оно относится: «О Руская земле! уже за Шеломянемъ еси. Длъго. Ночь мркнетъ...»¹

* * *

Между протографом Екатерининской копии и изданием 1800 г. существовало еще несколько этапов работы над текстом «Слова». К сожалению, не все этапы этой работы до нас дошли. Один из этих этапов может быть все же отчасти представлен с помощью того текста перевода «Слова о полку Игореве», который наряду с Екатерининской копией сохранился в бумагах Екатерины II.

Не может быть сомнений в том, что текст перевода «Слова о полку Игореве», найденный среди бумаг

¹ На странность расстановки знаков препинания в этом месте обратил внимание еще Н. С. Тихонравов (Слово о полку Игореве. Издано для учащихся Николаем Тихонравовым. М., 1866. С. VIII; см. также 2-е изд. С. VIII).

Екатерины II, не одновременен Екатерининской копии. Факт этот также до сих пор не обращал на себя внимания исследователей.

В самом деле, бумага Екатерининской копии текста «Слова» не отличается от бумаги перевода и бумаги содержания «Слова», хотя П. Симони и утверждал, что она «несколько большего формата»¹ и имеет иные водяные знаки. Тем не менее текст «Слова», перевод и содержание когда-то составляли самостоятельные части и переплетены вместе уже после смерти Екатерины II, не ранее 1804 г., как о том можно судить по водяному знаку на первом, нумерованном листе фолианта, вплетенном при переплете².

Перевод «Слова» писан той же рукой, что и текст, но это не свидетельствует об одновременности текста и перевода, так как та же рука видна и в других бумагах, писанных для Екатерины в различное время. Вместе с тем совершенно ясно из рассмотрения обоих текстов, что они переписаны различными способами и не могли составлять части единого целого. Текст «Слова» писан в лист с небольшими полями. Перевод же «Слова» писан на листах, перегнутых пополам. Перевод находится в правом столбце. Левый столбец оставлен пустым или занят случайными заметками. Внизу листов, под прямой, проведенной по линейке чертой, размещаются примечания. Обращает на себя внимание, что в этой второй тетради перевод и примечания расположены точно так же, как и в первом издании «Слова», и в издании «Пouchения»; левый же, незаполненный столбец явно предназначался для текста, опять-таки так же, как и в первом издании. Перед нами, следовательно, как бы подготовительные материалы для издания, чего отнюдь нельзя сказать про Екатерининскую копию текста. Весь-

¹ Симони П. Текст Слова о полку Игореве по списку, хранящемуся в бумагах имп. Екатерины II// Древности. Т. XIII. М., 1890. С. 19.

² Там же. С. 17.

ма возможно, что перевод и примечания были спешно посланы Екатерине II в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пушкина под рукой¹.

Если же мы проанализируем и самый перевод «Слова», то убедимся, что он сделан не по Екатерининской копии текста или ее протографа, а отражает какую-то промежуточную стадию подготовки текста «Слова», более позднюю, чем Екатерининская копия, но более раннюю, чем текст издания 1800 г.².

Оставляя в стороне общее рассмотрение Екатерининского перевода «Слова» с точки зрения его достоинств, отраженного в нем понимания «Слова» и т. д.³, остановимся только на тех его особенностях, которые позволяют установить какие-либо данные о том тексте, с которого этот перевод велся.

В основном Екатерининский перевод сделан с текста, близкого тексту Екатерининской копии, однако можно думать все же, что перед переводчиком был текст, содержащий уже некоторые из поправок, принятых затем в издании 1800 г. Приведу примеры.

В Екатерининской копии слово «галици», в отличие от названий других животных, последовательно пишется с прописной буквы: «Галици стада», «говоръ Галичь», «а Галици свою речь говоряхуть». Это заставляет предполагать, что подготавливавший текст для Екатерининской копии А. И. Мусин-Пушкин первоначально считал,

¹ Однако текст этого перевода остался у А. И. Мусина-Пушкина, а отослан был Екатерине II лишь один из имевшихся экземпляров, так как текст Екатерининского перевода отчетливо отразился во всех дошедших до нас переводах «Слова» XVIII в. (см.: Яковсон Р. О. Тетрадь князя Белосельского/В кн.: «Слово о полку Игореве» в переводах конца восемнадцатого века. Leiden, 1954).

² Отметим, кстати, что Екатерининский перевод «Слова» в иных случаях почти буквально повторяет отдельные древнерусские выражения, а иногда и целые места «Слова», что облегчает реконструкцию текста, легшего в его основу.

³ Оно сделано в работе А. В. Соловьева: Екатерининский список и первое издание «Слова»/В кн.: «Слово о полку Игореве» в переводах конца восемнадцатого века.

что «галици» — это «галичане» (названия народов, жителей местности в Екатерининской копии, как и в изданиях старых текстов в XVIII — начале XIX в., пишутся с прописной буквы: «Половци», «Нѣмци», «Греци», «Морава» и т. д.). Однако в Екатерининском переводе, так же как и во всех последующих переводах XVIII в., «галици» правильно переводится «галки».

Испорченное в Екатерининской копии место «падоша стяж Игоревы» в переводе понято правильно: «пали знамена Игоревы».

В Екатерининской копии «Карна и Жля» соединены в одно слово: «За ним кликну Карнаижля поскочи по Русской земли». В переводе эти слова уже разъединены: «В след за ним крикнул Карна, и Жля рассеялась по русской земле».

В Екатерининской копии не понятно слово «дъскы»: «Ужедь скы». В переводе эти слова разделены правильно: «Уже дски».

В некоторых случаях Екатерининский перевод предлагает иное понимание текста, и хотя далекое от ныне принятого, но все же более близкое к изданию 1800 г., чем к Екатерининской копии. Так, например, в Екатерининской копии слово «урим» написано со строчной буквы: «Се ури^и кричать». Очевидно, что составитель текста еще не видел в нем имени собственного. В переводе это слово написано уже с прописной буквы; оно понято так же, как и в издании 1800 г.: «Се Уримъ кричить»¹.

В некоторых случаях переводчик не разобрал текста, правильно переписанного в Екатерининской копии: вместо «по суху шерешеры стрелять» автор перевода имеет в виду какой-то другой, испорченный текст — «по суку шерешеры стрелять»; вместо «Галичкы Осмомысле» переводчик пишет «Галицкий Гостомысле». В последнем случае переводчик явно поправляет текст, предполагая, очевидно, популярного в конце XVIII в. персонажа русской истории — новгородца Гостомысла. Впрочем,

¹ В переводе издания 1800 г.: «Уже кричить Уримъ».

последняя ошибка могла возникнуть и в связи с тем, что автор принял букву «м» за треногое «т». Дурное прочтение текста переводчиком заметно и в другом случае: слова «кое ваши» переводчик переводит «но ваши». Очевидно, слово «кое» было написано в оригинале, с которого делался перевод, недостаточно ясно.

Очень важна поправка, которая была перед переводчиком, в известной ошибке Екатерининской копии: «на седмомъ вѣцѣ Зояни». Как доказано, эта ошибка — «Зояни» вместо «Трояни» — могла произойти только при одном условии, что перед составителем текста для Екатерининской копии была рукопись XVI в. с обычным для этого времени лигатурным написанием букв «Тр», которое могло быть легко принято за «З». Иного объяснения этой ошибки Екатерининской копии, как известно, дано не было. В переводе Екатерининского архива это слово понято правильно: «Трояновом» («На седьмомъ вѣкѣ Трояновомъ»). Это доказывает, что перед переводчиком был действительно иной текст, чем в Екатерининской копии, текст, проверенный и поправленный по подлинной рукописи.

Текст этот не мог представлять собой тот же протограф Екатерининской копии, но с поправками; это был заново переписанный с этого оригинала и исправленный текст, в который, как мы видели, писцом были внесены и некоторые описки. Отмеченные нами выше погрешности перевода, как мы видели, являются погрешностями того текста, который был перед переводчиком; вероятнее всего, что эти погрешности принадлежали писцу, а не самому А. И. Мусину-Пушкину, так как они обе ухудшают текст, являются следами «механического» непонимания текста, в чем вряд ли можно подозревать А. И. Мусина-Пушкина.

Наконец, отметим более правильное разделение на слова следующих мест Екатерининской копии: «вазистри кусы» (в Екатерининском переводе, так же как и в переводе издания 1800 г., — «вонзив стрикусы») и «о дне пресловутицю!» (в Екатерининском переводе — «О Днѣпре, славный!»).

Таким образом, перевод делался не с Екатерининской копии, а с переписанного писцом и исправленного еще раз непосредственно по рукописи «Слова» текста, генетически восходящего к протографу Екатерининской копии.

В дальнейшем, когда предпринятая Сектором древнерусской литературы работа по опубликованию всех переводов «Слова» XVIII в. закончится, необходимо будет попытаться проверить, какие тексты лежат в основе переводов, сохранившихся в бумагах Малиновского и в архиве Воронцова.

* * *

Текстологическое исследование дошедшего до нас Екатерининского списка, первого издания 1800 г. и первого перевода «Слова» ясно доказывает, что существовала авторитетная для первых издателей рукопись «Слова» и именно с нею сообразовалось то «движение текста», которое может быть отмечено прямо в издании 1800 г., сравнительно с Екатерининской копией, и косвенно в Екатерининском переводе, отражающем промежуточный этап подготовки и толкования текста.

Текст «Слова о полку Игореве» в мусин-пушкинских копиях его (мы условно называем мусин-пушкинскими те копии, которые находились в его распоряжении, но которые, по существу, являлись плодом коллективной работы ученых и простых переписчиков) постоянно исправлялся, и эти исправления в целом не отдаляли этот текст от подлинной рукописи, а приближали к ней. Все изменения в тексте «Слова» по мере подготовки его к печати могут быть объяснены четырьмя обстоятельствами: во-первых, наличием авторитетной для издателей рукописи, по которой они постоянно выправляли текст, стремясь его не только механически прочесть, но и понять, сделать удобочитаемым; во-вторых, некоторой неподготовленностью издателей к своей работе; в-третьих, стремлением издателей к унификации орфографии и попытками приблизить ее к правописанию XVIII в. — попытками более

определенными в начале работы и менее отчетливыми под конец подготовки «Слова» к печати; и, в-четвертых, тем, что в процессе работы над текстом он переписывался профессиональными писарями, которые вводили в текст некоторое (небольшое) количество механических ошибок, описок, неправильных прочтений.

Все эти четыре обстоятельства настолько несомненны при анализе разночтений, что отсюда может быть сделан и вполне определенный вывод: издатели «Слова» безусловно были уверены в подлинности рукописи; весь ход работы над изданием «Слова» убеждает, что издатели ничего сознательно не придумывали, не сочиняли, не изменяли более раннего текста без каких-либо серьезных оснований.

Если бы кто-либо из издателей «Слова», будь то сам А. И. Мусин-Пушкин, Н. Н. Бантыш-Каменский или А. Ф. Малиновский, не был уверен в подлинности рукописи, а считал бы, что имеет дело с удобочитаемой подделкой (а подделки, как правило, бывают обычно удобочитаемы: в них нет темных мест, тем более таких, которые в некоторой части с течением времени бесспорно могут быть объясняемы), то весь ход работы был бы совсем иным.

Ход работы А. И. Мусина-Пушкина и его «ученой дружины» над первым изданием на основании всего изложенного может быть наглядно показан в виде приведенной здесь схемы (см. с. 357).

Почему издание 1800 г., в отличие от издания «Поучения» 1793 г., с которым оно имеет так много общего, применило гражданский, а не церковный шрифт?

Причины могли быть разные, и все они могли действовать в совокупности.

Прежде всего отметим, что выбор шрифта определился самим ходом работы над текстом «Слова». Текст «Слова» раньше, чем быть окончательно подготовленным к печати, многократно переписывался от руки. Его, по-видимому, подготовил первоначально сам А. И. Мусин-Пушкин или И. Н. Болтин. Затем А. И. Мусин-Пушкин давал его

переписывать писарю. После писаря в текст вносили поправки сам А. И. Мусин-Пушкин и те из авторитетных для него лиц, которым он посылал текст «Слова» для замечаний, исправлений, толкований. После текст переписывался еще и еще. Само собой разумеется, что простую переписку текста ни к чему было производить церковнославянским шрифтом. Церковнославянский шрифт при переписке рукописи мог быть применен только тогда, когда этот текст непосредственно предназначался для церковнославянского набора. Поскольку этого вначале не было, а текст готовился для его изучения, рассылки отдельным ученым, он многократно переписывался обычным способом, и это неизбежно создавало некоторую инерцию, которая затем и сказалась в выборе именно гражданского шрифта. По существу, выбора шрифта и не было: гражданский шрифт явился результатом всего хода работы над текстом погибшей рукописи¹.

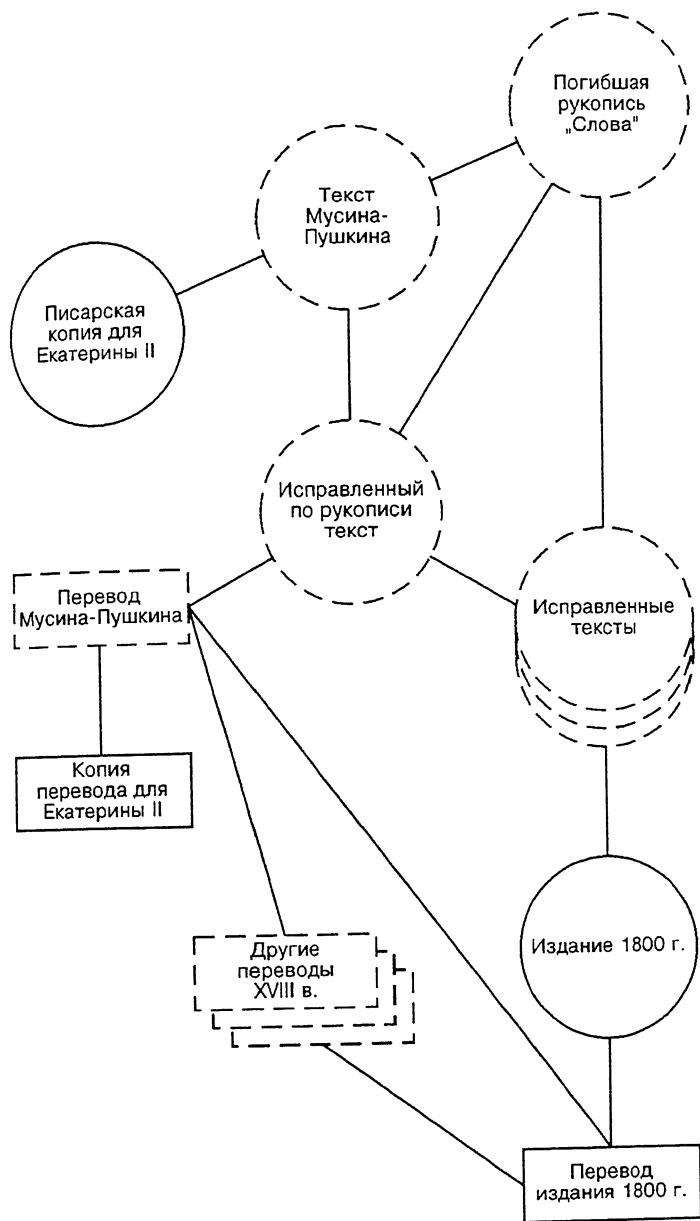
Применение гражданского алфавита в первом издании «Слова» было удачным: оно обеспечивало гораздо бóльшую точность передачи текста; оно избавляло издателей от необходимости расставлять надстрочные знаки, без которых в конце XVIII в. казались невыносимыми издания церковной печати; кроме того, оно избавляло издателей от необходимости вводить в текст л, ш, з, расстановка которых в изданиях XVIII в. также обычно не соответствовала рукописной традиции XII—XVI вв. Иной была в церковных изданиях XVIII в. и система сокращений, постановки титлов и выноса букв над строкой. Гражданский шрифт гораздо менее связывал издателей, позволял точнее следовать тексту. Он был более нейтрален по отношению к древнерусскому тексту, чем церковнославянский.

¹ Можно было бы думать, что церковнославянский шрифт не подходил для памятника светского. Действительно, «Поучение», изданное А. И. Мусиным-Пушкиным, могло восприниматься как произведение церковной литературы, однако тем же Мусиным-Пушкиным была издана и «Русская Правда» — памятник не менее светский, чем «Слово», и изданный тем же церковнославянским шрифтом.

Совсем иным было бы отношение издателей к гражданскому шрифту, если бы не задавались целью более или менее точной передачи древнего текста, написанного в иной орфографической системе, чем в изданиях церковной печати конца XVIII в. Если бы перед издателями стояла цель передать древний колорит памятника или тем более создать подделку под древность, они, возможно, остановились бы в своем выборе на церковнославянском шрифте и, не будучи связаны оригиналом, расставили бы юсы, ъ, выносные буквы и титла так, как это было принято и казалось им обычным в «славянском наречии» без всяких смущавших издателей не-правильностей его.

Связанность издателей текстом авторитетной для них рукописи может быть доказана для всех случаев исправления текста, для всей системы подготовки текста к печати и для всех приемов передачи текста «Слова о полку Игореве».

В свете рассмотренных материалов становится ясным, почему редакторы первого издания, Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский, запрещали А. И. Мусину-Пушкину править корректуры. Чего, собственно, могли опасаться Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский? Может быть, они опасались, что А. И. Мусин-Пушкин обратится к рукописи «Слова» и введет в корректуру свое собственное понимание какого-либо множества раз уже толкованного и перетолкованного темного места «Слова», не считаясь с мнением им же самим привлеченных к изданию ученых? Вряд ли именно этого опасались Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Малиновский. Однако они, естественно, могли ожидать, что А. И. Мусин-Пушкин станет править не по рукописи и, «унифицируя» текст согласно тем старым приемам, которые он применил в издании «Поучения» и первоначальной копии, введет новые ошибки. В издании могли пострадать характерные югославянские формы «ль», «рѣ», могло быть заменено «ю» после «ч» на «у» и т. д. Иными словами, ученые редакторы первого издания имели все основания



бояться правки А. И. Мусина-Пушкина не по рукописи (в этом случае А. И. Мусин-Пушкин вряд ли бы предложил самостоятельные прочтения), а правки без рукописи, по привычным нормам орфографии XVIII в. Последняя, как мы видели, и не была вовсе изгнана из издания 1800 г., а лишь умерена.

Весь приведенный материал бесспорно и совершенно отчетливо убеждает в том, как много потеряла наука и русская культура в целом оттого, что первые издатели «Слова» не применили дипломатических приемов передачи текста. Если бы издатели «Слова» своевременно отказались от попыток собственного прочтения текста, от введения правописания XVIII в., современного разделения на слова, расстановки знаков препинания и др. и приняли бы дипломатические приемы издания, которые к этому времени уже стали намечаться, то мы были бы избавлены от многих ошибок и искажений, от которых не гарантирован ни один из исследователей, ставящих перед собою целью интерпретацию текста, приближение текста к читателю, а не только точное его издание.

Сейчас же волей-неволей перед исследователями встает как одна из важнейших задач исследования «Слова» реконструкция такого его текста, в котором были бы отмечены все те буквы и написания, в отношении которых мы можем подозревать, что они явились результатом интерпретации текста, введения правописания XVIII в. Такой текст мог бы служить исходным материалом для последующей лингвистической и конъектуральной работы над ним. Этот текст должен учитывать показания генеалогического соотношения двух его списков — Екатерининской копии и издания 1800 г., и на основании тех сведений, которые могут быть собраны относительно приемов передачи текста в том и другом, в нем должны быть показаны (особым шрифтом или каким-либо другим способом) все те места и отдельные буквы, которые могли быть изменены издателями сравнительно с погибшей рукописью.

Работа эта может быть закончена только тогда,

когда станут известны не только все данные относительно того, как готовился текст к изданию 1800 г., но и история печатания этого издания, что может быть сделано на основании установления разночтений всех сохранившихся экземпляров первого издания. Было бы полезно, восстанавливая текст рукописи XVI в., отмечать все те буквы («ъ», «ь» и т. д.), которые могли быть расставлены издателями «Слова» в порядке приспособления к орфографическим нормам конца XVIII в.

* * *

Данное исследование было напечатано в XIII томе «Трудов Отдела древней литературы» в 1957 г. После этого появилась уже упоминавшаяся выше обстоятельная монография Л. А. Дмитриева «История первого издания „Слова о полку Игореве“» (М.; Л., 1960), во многом подтвердившая и продолжившая выводы моего исследования. Приведу наиболее важные дополнения к моим заключениям из этой книги Л. А. Дмитриева.

Во-первых, Л. А. Дмитриев обращает внимание на то, что тенденциями первых издателей «Слова» подчинить текст его некоторым особенностям орфографии XVIII в. и приемам издательской практики А. И. Мусина-Пушкина могут объясняться некоторые отличия выписок Карамзина от чтений первого издания. «Возможно, что в некоторых случаях и Карамзин при цитации древнерусских текстов мог под влиянием современных ему орфографических правил изменять орфографическое написание цитируемого подлинника, вследствие чего мы не можем безоговорочно считать, что все написания Карамзина в выписках из „Слова“, отличающиеся от написаний соответствующих слов в первом издании и Екатерининской копии, точнее передают чтения рукописи „Слова“, чем первое издание или Екатерининская копия. Но, принимая во внимание то обстоятельство, что цитаты Карамзина из „Слова“ могли быть сделаны либо непосредственно из рукописи, либо с какой-то неизвестной нам копии

с этой рукописи, и, зная тщательное отношение к цитированию Н. М. Карамзиным древнерусских текстов вообще, мы должны учитывать все его выписки из „Слова о полку Игореве“, так как они могут или подтвердить лишний раз правильность передачи написания отдельных слов в первом издании и Екатерининской копии, или дать такие чтения оригинала, которые были неверно переданы в первом издании и Екатерининской копии. Поэтому при восстановлении текста „Слова о полку Игореве“, наряду с текстом первого издания, Екатерининской копией и выписками А. Ф. Малиновского, необходимо учитывать и все выписки из текста „Слова“, имеющиеся в „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина» (с. 12—13).

Второе дополнение Л. А. Дмитриева заключается в следующем. Л. А. Дмитриев в своей книге весьма внимательно проследил изменения в тексте тех страниц первого издания, которые перепечатывались первыми издателями. «После наблюдений Д. С. Лихачева над текстом „Слова“, — пишет Л. А. Дмитриев, — мы можем объяснить изменения, сделанные в древнерусском тексте при перепечатке отдельных страниц, тенденцией первых издателей соблюсти в своей книге корректорское единообразие» (с. 64). Таким образом, наблюдения Л. А. Дмитриева над текстами перепечатывавшихся страниц не вносят изменений в то соотношение рукописи и печатного текста, которое было предложено нами в приведенной выше схеме.

Третье дополнение заключается в следующем. Исследуя текст выписок А. Ф. Малиновского из «Слова», Л. А. Дмитриев определил, что «выписки Малиновского очень часто совпадают по написанию отдельных слов с Екатерининской копией. Совпадения эти преимущественно падают на те написания, которые отражают стремление Мусина-Пушкина следовать орфографическим правилам XVIII в.: написание „ей“ в род. п. мн. ч., правильное употребление „ѣ“, замена сочетаний „ръ“, „ль“ русскими слогами „ор“, „ол“. Таким образом,

выписки Малиновского подтверждают оценку, данную Д. С. Лихачевым особенностям подготовки текста „Слова“ Мусиным-Пушкиным. Сделанные Малиновским с копии, восходящей к тексту, приготовленному Мусиным-Пушкиным, они отражают те же специфические черты в подготовке древнерусского текста, которые характерны для Екатерининской копии» (с. 168—169).

Четвертое дополнение состоит в том, что исследованные Л. А. Дмитриевым первые переводы «Слова» подтверждают сделанные мною предположения об их истории. В частности, Л. А. Дмитриев пишет: «Д. С. Лихачев... высказывает предположение, что перевод „Слова“ был отправлен Мусиным-Пушкиным Екатерине очень поспешно „в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пушкина под рукой“. Это предположение подтверждается тем, что, по существу, рукопись „Е“ имеет рабочий вид. Дело происходило, очевидно, так. После того как императрица познакомилась с собирательской деятельностью Мусина-Пушкина, последний решил преподнести ей текст и перевод „Слова о полку Игореве“ с комментариями. Внешне он хотел оформить весь этот материал по такому же типу, как это позже было осуществлено в первом издании „Слова о полку Игореве“: в левой половине страницы — текст оригинала, справа, параллельно, его перевод, а внизу, под общей чертой, комментарии. В таком виде вся эта рукопись и стала оформляться. Сначала писец очень точно разметил по страницам распределение перевода и комментариев, вписал в правую колонку перевод, оставив левую часть чистой, чтобы потом подогнать под перевод расположение в ней древнерусского текста, и начал вписывать в нижней части листов, под чертой, комментарии к переводу. Уже во время работы писца Мусин-Пушкин решил пополнить комментарии дополнительными статьями. Так как нумерация комментариев уже была проставлена и нижнее поле рукописи занято текстом основных комментариев, то писец эти дополнительные статьи комментариев стал соотносить с текстом перевода условными знаками и вписывать их туда, где

должен был быть размещен древнерусский текст „Слова“. Этим нарушался чистовой характер рукописи, и писец дополнительные статьи комментариев стал вписывать скорописью, мелко и небрежно. Вся рукопись приобрела рабочий вид — вписать в нее древнерусский текст „Слова“ было уже невозможно. Посылка Мусиным-Пушкиным рукописи в полурабочем виде императрице, очевидно, могла быть вызвана только какой-то спешкой. Так как древнерусский текст уже не мог быть вписан рядом с переводом, Мусин-Пушкин вынужден был послать Екатерине древнерусский текст „Слова“ в виде отдельного списка. Этим и объясняется то, что у Екатерины оказались одновременно и текст, и перевод, переписанные различными способами» (с. 312—313).

Итак, история подготовки к печати текста «Слова о полку Игореве» в конце XVIII в. представляется сейчас довольно ясной. Эта история показывает, с одной стороны, что первые издатели относились к имеющемуся у них тексту «Слова» с особенной бережностью. Текст «Слова» был для них авторитетен. Совсем другой характер носила бы их правка, если бы они имели хоть тень сомнения в подлинности рукописи. С другой стороны, история подготовки текста «Слова» к изданию существенно помогает нам в восстановлении того текста, который был в руках у первых издателей и который отразился как в Екатерининской копии, так и в первом издании «Слова» 1800 г. Мои наблюдения над приемами передачи текста в Екатерининской копии и в первом издании «Слова о полку Игореве» были существенно продолжены в статье О. В. Творогова «К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со „Словом о полку Игореве“», в параграфе втором этой статьи — «Палеографические и орфографические черты „Слова о полку Игореве“»¹.

¹ «Слово о полку Игореве» и памятники древнерусской литературы//ГОДРА. Т. XXXI. Л., 1979. С. 141—159.

РАБОТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

о малѣдмѣоусковчн и г~~р~~ъоуполовецѣ. не ѿста
 вить бо гѣ праведнаго в рѣкѣ грѣшничю. ѿчи бо гнѣ
 на бо гѣ шатаего. а оушнѣ въ млпвѣ оныхъ. гониша бо
 помѣ. и не ѿбрътша его. и ко ѿглоульго мн двѣдано бѣ
 и збави. та и сеи збави бѣ и зрѣоукоу поганѣ: 1



и не сдѣржи мн вѣхоу. твердо и строго мн. и по твержѣ
 е мн многими желѣзѣ. и казнь мн се зѣна са грѣвѣ
 на шѣ. замѣоумножиша грѣснѣши. и не гра вѣды. бѣ
 во казни тѣ рабы своѣ. на пасть мн ра злччыми мн
 ѿгнѣ и водою. и вѣтѣю. и нѣ мн вѣ злччыми мн казни



НОВГОРОДСКИЕ ЧЕРТЫ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

У

же давно было обращено внимание на расхождение между «Словом о полку Игореве» и «Повестью временных лет» в указании на место похорон Изяслава Ярославича — сына Ярослава Мудрого. Согласно «Повести временных лет», Изяслав был похоронен в Десятинной церкви. В «Слове же о полку Игореве» говорится: «Съ тоя же Каялы Святоплѣкъ повелѣ яти отца своего между угорьскими иноходьци ко святѣй Софии къ Киеву». Это известие в «Слове о полку Игореве» считалось либо ошибочным, либо относящимся не к Изяславу Ярославичу, отцу Святополка, а к его тестю — Тугоркану.

М. Д. Приселков предположил, что автор «Слова» пользовался не «Повестью временных лет» в известных нам списках, а черниговской летописью отца Игоря Святославича — Святослава Ольговича, где известия могли даваться в сокращенном виде. В «Слове» же эти известия были осмыслены по своему: поскольку София была главным храмом Киева, постольку, предположил автор, Изяслав был похоронен именно там.

В 1949 г. артист МХАТ Ив. М. Кудрявцев, усиленно занимавшийся «Словом о полку Игореве», в своем письме ко мне дал бесспорное объяснение происхождения этого

места. Оказалось, что Изяслав, согласно Софийской первой летописи, был похоронен именно в Софии, а не в Десятинной церкви. Письмо Ив. М. Кудрявцева было напечатано мною в Трудах Отдела древнерусской литературы, и вопрос о том, является ли сведение «Слова» о похоронах Изяслава в Софии ошибочным, был навсегда снят. Оставалось только выяснить, откуда попало известие о похоронах Изяслава в Софийскую I летопись и почему автор «Слова о полку Игореве», постоянно пользовавшийся известиями летописи, иногда даже в летописной их форме, воспользовался именно той версией, которая оказалась запечатленной в Софийской I летописи¹.

Как мною было выяснено в книге «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (М.; Л., 1947. С. 182—196), значительнейшую часть Ипатьевской летописи за XII век составляет летописец героя «Слова о полку Игореве» — Игоря Святославича, основанный в свою очередь на летописце его отца Святослава Ольговича, как это установил в свое время еще М. Д. Приселков в «Истории русского летописания XIII—XV вв.» (Л., 1940). Исследователи «Слова», хотя и прошло достаточно много лет со времени наблюдений М. Д. Приселкова и моих, очень мало интересовались летописцем Игоря Святославича. Между тем точки зрения летописца Игоря Святославича во многом совпадали с точками зрения автора «Слова о полку Игореве», и именно на основе летописи Игоря Святославича, очевидно, проникли в «Слово» многие сведения по истории Руси XI в.²

Не может быть сомнений в том, что в основе летописца отца Игоря, Святослава Ольговича, лежало новгородское летописание, а следовательно, и текст XI в., близкий На-

¹ Кудрявцев И. М. Заметка к тексту «С той же Каялы Святоплѣкъ...» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРА. Т. VII. М.; Л., 1949. С. 407—409.

² См. о знакомстве автора «Слова» с летописью в моей статье «Исторический и политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“» (в кн.: Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 5—52).

чальному летописному своду, которым, как основательно предположил А. А. Шахматов, начинались новгородские летописи.

Как мною было в свое время установлено в упомянутой уже статье, в «Слове о полку Игореве» многие сведения даются в форме, близкой к летописным о них известиям. К новгородской летописи близка, в частности, формулировка полноты поражения по дешевизне рабов-пленников. Так, в «Сказании о знамени святей Богородици» о поражении суздальцев у стен Новгорода в 1169 г. для обозначения тяжести этого поражения суздальцев сказано: «и продаваху суздальца по две ногате».

Именно это определение имеется в «Слове» в отношении Всеволода Суздальского: если бы он был на юге и поблюл бы отень злат стол киевский, «то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ». Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в этом пассаже применяется новгородская денежная система: ногата и резана¹.

Термин «ногата», как мы уже отмечали, имеется в сходной формуле 1167 г.

Другая новгородская денежная единица в «Слове о полку Игореве» — «бела», и она также дана в «Слове» в составе летописной формулы в «Повести временных лет» под 859 г.: «емляху дань по бѣлѣ² отъ двора».

¹ В. Л. Янин отмечает, что «в новгородских письменных источниках термин „резана“ доживает до рубежа XIII—XIV вв.» (Янин В. Л. Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы XV в. / В кн.: Вспомогательные исторические дисциплины, III. Л., 1970. С. 172). Ср. также: Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 1956.

² См. о «бѣле»: Янин В. Л. Берестяные грамоты... С. 167 («к числу новгородских денежных единиц, возникновение которых связано с перестройкой системы на основе счета на 7, несомненно принадлежит бела, хорошо известная в актах и нарративных источниках с начала XIV в. В одних только новгородских пергаментных актах XIV—XV вв. она встречается не менее 50 раз»). В. Л. Янин предполагает, что упоминание «белы» в «Слове о полку Игореве» — результат заимствования из поздней редакции «Повести временных лет».

Ср.: «Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словѣнх, на мери и на всѣхъ, кривичѣхъ. А козари имаху на полянѣх, и на сѣверѣх, и на вятичѣхъ, имаху по бѣлѣ и вѣверицѣ от дыма»¹.

Исследуя упоминаемые в «Слове о полку Игореве» денежные единицы, следует иметь в виду, что «Слово» не документ, а художественное произведение. Поэтому «русское золото», которое дважды упоминается «Словом», — это не какие-то денежные единицы, а драгоценности в целом. Так же точно в упоминаемых в «Слове» «ногате», «резани» и «бели» важны те устойчивые литературные формулы, в составе которых они фигурируют, а не их реальность в денежном обращении². Впрочем, сами формулы с участием упоминаемых в них денежных единиц могли сохраняться только в той стране, где они существовали когда-то, — в данном случае на Новгородском севере.

В связи с этими новгородскими чертами в «Слове» заслуживает внимания тот факт, что отец Игоря Святославича — Святослав Ольгович был дважды новгородским князем и был женат на новгородке. «В то же лето (1136. — Д. Л.) приде Новугороду князь Святослав Ольговиць ис Цернигова, от брата Всеволодка, месяца июля в 19, прежде 14 каланда августа, в неделю, на сбор святыя Еуфимие, в 3 час дне, а луне небесней в 19 день. Том же лете, наставъшю индикта 15, убиша Гюргя Жирославиця и с моста съвергоша, месяца септября. В то же лето святиша церковь святого Николы великим священиемъ в 5 декабря. В то же лето оженися Святослав Олговиць Новегороде, и венцяся своими попы у святого Николы; а Нифонт его не венця, ни попом на сватбу, ни церенцем дасть, глаголя: „не до-

¹ Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 18.

² Ср., например, наши выражения, до сих пор существующие, хотя «реальность» их отсутствует уже более 75 лет: «не дать за что-либо ломаного гроша» или «это стоит буквально гроши» («буквально» же грошей нет с первых лет XX в.).

стоитъ ея пояти“. В то же лето стрелиша князя милостыници Всеволожи, нъ жив бысть»¹.

Следующий год правления Святослава Ольговича в Новгороде ознаменовался бурными событиями. Партия изгнанного из Новгорода князя Всеволода, покровительствуемого епископом Нифонтом, восставала против Святослава Ольговича. Святославу удалось подавить восстание и даже собрать войско на княжившего в Новгороде противника своего Всеволода, но, несмотря на помощь половцев, выгнать Всеволода из Пскова, где он впоследствии был объявлен святым, ему не удалось, а вскоре в 1138 г. Святослав был изгнан из Новгорода: «В то же лето выгнаша князя Святослава сына Ольгова, из Новгорода, месяца априля 17, в неделю 3 по пасце, седевъше 2 лета бес трии месяцъ»².

Изгнанного из Новгорода Святослава Ольговича тотчас же ждали новые неприятности. Его разлучили с женой новгородкой: «и Святославлюю (жену.—Д. Л.) приаша Новегороде с лучшими мужи, а самого Святослава яша по пути смоляне и стрежахуть его на Смядыне в монастыри, якоже и жену его Новегороде у святое Варвары в монастыри, жидуше оправы Яропълку с Всеволодкомъ». В следующем году новгородцы снова послали по Святослава Ольговича и даже присягали ему — «заходивъше роте»; «и бе мятежь Новегороде, а Святослав дълго не бяше. В то же лето вѣниде князь Святослав Олговиць Новугороду и седе на столе месяца декабря в 25».

Святославу Ольговичу пришлось «отай в ночь», захватив с собой Якуна, но Якуна схватили, сбросили с моста в Волхов, а затем, взяв с него 100 гривен, «заточиша в Чюдъ» с братом его, заковав его в цепи.

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/Под ред. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 24.— «Не достоинъ», очевидно, по своему простому происхождению, не только потому, что она новгородка. Новгородские родственные связи Игоря очень важны для нашей темы.

² Там же. С. 25.

В Комиссионном списке Новгородской первой летописи есть сведения о том, что после первого двухгодичного сидения Святослава Ольговича в Новгороде он через полтора года снова был призван в Новгород: «и введоша Святослава, сына Ольгова, опять. И ть седив год и бежа из города».

Как видим, оба правления были хотя и бурными, но недолгими. Для нас важно, однако, следующее: Святослав Ольгович женился на новгородке, — по видимому, простой, так как епископ отказался их венчать и венчался Святослав в построенной им церкви Николы «своими попы». Второе, что привлекает наше внимание, — необычайная точность дат вокняжения и изгнания (особенно вокняжения).

Точные даты могли быть исчислены известным новгородским математиком и автором канонических «Вопрошаний» Кириком. Следовательно, можно думать, что летописание Святослава Ольговича и его сына Игоря Святославича получило толчок к своему возникновению еще в Новгороде, память о котором не могла исчезнуть в семье Святослава и его сына, ибо оттуда была жена Святослава и мать Игоря. В «Слове о полку Игореве» есть одно загадочное название народности — «готы» — в его производном «готьскыя дѣвы». Обычно считается, что это «готы тетракситы», населявшие северный берег Черного моря¹. В русских источниках древнейшего периода эти готы ни разу не упоминаются. Но говорится под 862 г. в «Повести временных лет» в перечислении северных народов: «Русь, Сvei, Урмане, Агляне и Гѣти». Постоянно упоминаются северные готы и в новгородских и смоленских договорах XII—XIII вв. Говорится о северных готах и в других новгородских источниках — о жителях острова Готланда, ведшего торговлю с Новгородом, а в самом Новгороде был Готский двор с церковью

¹ Мавродин В. В. Очерки истории левобережной Украины. Л., 1940. С. 267.

святого Олафа¹. Готы вели обширную торговлю с Новгородом и с Русью в целом. Если в «Слове о полку Игореве» имеются в виду готские девы северные, тогда понятно, что они «звонят русским золотом», ибо готы северные вели обширнейшую торговлю и упоминание золота было бы вполне уместно. Но с готами были не только торговые отношения, но и разногласия. Об одном из таких разногласий говорится под 1188 г. в Новгородской первой летописи, в той части Синодального списка, которая относится к XIII в.: «Въ то же лето рубоша новгородьце Варязи на Гьтѣхъ, Немьце в Хоружьку и въ Новотържьце; а на весну не пустиша из Новагорода своихъ ни одного мужа за море, ни съла въдаша Варягомъ, нъ пустиша я без мира»². Смысл этого известия до конца не ясен³, но не подлежит сомнению, что под 1188 г. здесь отмечено какое-то серьезное размирие с готами и разрыв в торговых отношениях. Если перед известием о готских девах, «лелеющих мечь» против Руси, отмечены и немцы, под которыми могли пониматься только северные народы — германцы и шведы, которые «кают» князя Игоря, и опять в какой-то неясной для нас, но, очевидно, понятной для современников связи с русским золотом («ту немци и венецици, ту греци и морава поют славу Святъславлю, кають князя Игоря, иже погрузи жир во дне Каялы — реки половецкыя, — рускаго злата насыпаша»), то толкование готских дев как дев Готланда, готов северных, — учитывая к тому же размах, который придан автором «Слова» всесветному отклику на поражение Игоря, — становится вполне вероятным. В беседе со мной М. А. Салмина предположила, что в «Слове» под «временем бусовым» подразумевается время особого

¹ См. подробнее: Рыбина Н. А. Готский раскоп/В кн.: Археологическое изучение Новгорода. М., 1978. С. 197—226.

² Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 39.

³ Толкование этого неясного места см.: Сыромятников С. Н. Древлянский князь и варяжский вопрос. СПб., 1912. С. 10—13.

рода кораблей — «бусов». Бусы действительно упоминаются в новгородских и псковских летописях — по И. Срезневскому, от др. сев. *bussa*, др. англ. *buss*, дат. *boise*, нидерл. *buise*¹. Это судно морское — и, по-видимому, такое, в котором ходили в Новгород иностранные купцы².

Шарукан был разбит русскими князьями (среди них и новгородским князем Мстиславом Владимировичем) в битве 1106 г. Шарукан был дедом хана Кончака. Почему же готские девы «лелѣють месть Шароканю»? В «Слове» поражению русских радуются разные народы в разных концах света, как и славу Руси поют разные народы во всем мире (Святославу поют славу «нѣмци и венецици», «греци и морава»). Неудивительно, что к радости врагов Руси присоединяются и жители «Готского берега».

Если речь идет о Готском берегу и его размовке с Новгородом 1188 г., то почему все же упоминаются именно «девы»? Ответ на этот вопрос лежит, очевидно, в том, что в древней Руси в хоровом пении участвовали только женщины, девицы по преимуществу. Оплакивают пением, поют славу в «Слове о полку Игореве» только девы и девицы. В миниатюрах Радзивиловской летописи в хорах, поющих славу князьям, участвуют также только женщины (л. 201, 207, 215, 220).

Предложенные соображения о новгородских чертах в «Слове о полку Игореве» не должны вести к каким-либо категорическим выводам об авторе и происхождении «Слова». Единственно, что достоверно, — это то, что

¹ См.: Срезневский И. И. Т. 1. С. 194 (со ссылкой на словарь Дюканжа). — Толкование «готских дев» как дев северных готов см. в статье М. А. Салминой «Из комментария к „Слову о полку Игореве“» (ТОДРА. Т. XXXVI. Л., 1981. С. 228—229).

² «Тогда же, на верьбницю приидоша Латина под Цесарьград в бучах» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. Под 1204 г. С. 246). Ср. под 1419 г. в той же Новгородской первой летописи: «Того же лета, пришед Мурмане воиноу в 500 человек, бусах и в шнеках» (там же. С. 411).

новгородские источники должны быть приняты во внимание при изучении «Слова». Следует также принять во внимание при изучении «Слова» и соображения о том, кто такие готские красные девы, особенно в свете того, что в древнейших русских источниках никаких готов на Черном море не упоминается. Если верно, что готские девы, поющие на бреге Синего моря,— девы Готского берега (Готланда) и их враждебность к русским объясняется размолвкой Новгорода с Готским берегом 1188 г., то создание «Слова» не может быть отнесено ко времени ранее 1188 г., но не должно и слишком отступать от этой даты, так как вряд ли, кроме авторов новгородских письменных источников, это сравнительно незначительное историческое событие могло на длительный срок запечатлеться в чьей-либо памяти.

Обратим внимание и на следующее: Новгород со славой Ярослава также связывался лишь на севере. В южных источниках Новгород не воспринимался как город Ярославовой славы¹. Поэтому известие в «Слове» о том, что Всеслав, «отворив врата Новуграду», тем самым «разшибе славу Ярославу», — также новгородское.



ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ДИАЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Внимание мое давно обратило на себя своеобразное маятниковое движение темы в «Слове о полку Игореве». Вслед за упоминанием или рассказом об одном географическом пункте в действие вводится географический

¹ Как известно, «слава Ярослава» связывалась и в XV в. с новгородскими вольностями, «грамотами Ярослава», по преданию дарованными Новгороду Ярославом Мудрым, и с «Русской Правдой».

пункт на противоположном конце Руси; за общим размышлением — конкретный факт, и наоборот; вслед за событием — лирический вздох, вслед за современной автору «Слова» действительностью — обращение к истории, и т. д. Я всегда объяснял это широтой художественного восприятия и монументализмом формы «Слова», присущими его эпохе. И от этого я не отказываюсь и сейчас. Стиль, к которому принадлежит «Слово», — стиль исторического монументализма или монументального историзма (можно сказать и так и так). В XI—XIII вв. он сказывается и в летописях, и в поучениях, и в житиях святых, и в исторических повестях. Он имеет себе аналогии в живописи, в зодчестве, в политической мысли. Отголоски его сохранились в былинах на сюжеты, связанные с Киевом. Для этого стиля характерно «широкое видение», вовлечение в действие больших пространств, постоянный перенос действия из одного пункта страны в другой и т. д.

Однако вот что обращает на себя внимание именно в «Слове»: бинарность, как бы два удара, смысловых, фразовых, логических... Если бы переходы в «Слове» от одной темы к другой объяснялись ассоциативным характером художественного мышления автора только под воздействием господствующего монументализма и широты художественного видения, то почему только «два удара» или четное их число: как бы вопрос и ответ, как бы факт и обобщение, как бы обобщение и факт... Там, где мы видим большее скопление «ассоциаций», — число их четное, и мы можем их расположить снова по два. Только в самом конце «Слова о полку Игореве» два удара, как мы покажем, сливаются в один сильный.

В ряде случаев автор говорит о себе во множественном числе, как бы рассчитывая заранее на исполнение своего произведения несколькими исполнителями: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие...», «Почнемъ же, братие...» Характерно, что множественное или двойственное число (оба числа в XII в. уже смешивались) употребляется тогда, когда речь идет об исполнении. Когда же гово-

рится о восприятии, тогда выступает певец от своего имени: «Что ми шумить, что ми звенить»; это субъективное восприятие одного исполнителя.

Правда, первое лицо множественного числа могло относиться и к одному исполнителю, объединяющему себя с аудиторией, тем более что автор называет себя также и в единственном числе — «внуком» Бояна (хотя «внук Бояна» может быть истолкован и иначе — в качестве одного из исполнителей). Но, с другой стороны, особый автор, изображенный в «Слове о полку Игореве», — сочинитель «Золотого слова» Святослав — говорит о себе в своем «слове» только в единственном числе. Предшественники же автора «Слова о полку Игореве» — Боян и Ходына (конъектура, свидетельствующая, что певцов — двое, предполагаю, верна) говорят о себе в двойственном числе («Святъслава пѣснотворца... Ольгова коганя хоти»).

Возникает вопрос: не рассчитано ли было «Слово о полку Игореве» на двух исполнителей, на «амебейное» исполнение?

В самом деле, «Слово» исполняется как бы двумя певцами. Второй развивает мысль первого, его факт, его образ, вводит иногда свое толкование или аналогию через союз «а» — присоединительный, начинательный, обособительный, разделительный, противительный: «а половци неготовами дорогами побѣгоша», «а не сорокы втроскоташа», «а храбрии русици преградиша чрълеными щиты», или союзом, или местоимением «то», наречием «тогда», наречием «тут» и пр. Но бывает, что второй певец подхватывает и развивает мысль первого безо всякого переходного слова. В некоторых местах «Слова» мы ясно видим, что второй певец продолжает свою, перед тем высказанную мысль, как бы перебивая первого певца, заставляя песнь вернуться к старой, уже высказанной мысли. Отсюда многочисленные повторения в «Слове», создающие его своеобразный ритм: ритм не только слов, но и ритм мыслей и образов.

В своем замечательном, к сожалению обратившем

на себя мало внимания литературоведов, музыковедческом труде «Песнь о полку Игореве. Опыт воссоздания модели древнего мелоса» (М., 1977) Л. В. Кулаковский непреложно установил путем тщательного исследования и сопоставления с народными песенными произведениями, что «Слово» по своей форме близко к народному песенному мелосу чрезвычайным разнообразием метроритмики, характером изложения, наличием «перебоев» и т. д. Далее Л. В. Кулаковский отмечает, что при всем единстве музыкального замысла «Слова», указывающего на одного автора, в тексте «Слова» ясно ощущается наличие «второго певца» (с. 31), «возможное участие двух и более певцов», входившее, очевидно, в музыкально-словесный замысел автора. Не приводя полностью всю пространную и хорошо аргументированную концепцию автора, укажу лишь на некоторые примеры, где «двоичность» и «двуэпизодность» «Слова» подчеркнута Л. В. Кулаковским особенно энергично. Эта двоичность «Слова» выступает, по Л. В. Кулаковскому, наиболее отчетливо в выделяемых им «микроэпизодах» «Слова». Если в общей структуре произведения может быть выделен принцип троичности, тройного построения, то в микроэпизодах двоичность выступает отчетливее.

Л. В. Кулаковский пишет: «„Тройное“ построение, действительно, типично, скажем, для заклинаний в „микромасштабах“ оно дает себя знать в частой трехсложности русских слов, в распространенности триольного деления, трехдольности размеров. В максимально широком развитии этот принцип, действительно, проявился в общем разделении рапсодии (так Л. В. Кулаковский называет в данном случае «Слово». — Д. Л.) на три резко контрастирующие части. Всем этим примерам можно, однако, противопоставить и частое „двоичное“ деление, тоже имеющее свои глубокие корни. В микромасштабах — это двудольность ходьбы, дыхания, сказывающаяся на частых случаях двудольных метров. В немного более крупном масштабе „двоичность“ построения обусловлена, например, принципом „психологического параллелизма“, таким важ-

ным в народном песенном творчестве, в частности, русском и украинском: принципом сопоставления образного, символического тезиса — с разъясняющим его вторым построением. Дыхание этого народного принципа художественного мышления явственно ощущается в ряде мест „Песни о полку Игореве“. Принцип этот, заметим, дает гораздо более органическую связь частей, чем принцип трехчастного построения, продиктованного мистическим правилом троичности заклинаний. В самом широком по масштабу проявлении принцип этот можно усмотреть в вещем сне Святослава и последующем разъяснении этого сна боярами. В более скромных масштабах этот принцип сопоставления образного тезиса с немедленным разъяснением его можно обнаружить в нескольких местах рапсодии, начиная уже с „Большого зачина“, где поэт говорит о десяти соколах, пущенных на стадо лебедей, а в конце — разъясняет, что речь шла о 10 пальцах на золотых струнах. Часто „двудольность“ изложения возникает и в перечислениях, и в двойном расчленении фразы: „Ту ся копиям приламати... Ту ся саблямь потручяти“; „Хощу бо, рече, копие свое приломити... хощу главу свою приложити“. Ярко „двоичны“ и все случаи двустрофности» (с. 107). Достаточно длинная цитата из книги Л. В. Кулаковского далеко не исчерпывает всех тех примеров двоичности в построении «Слова», которые выявлены внимательным наблюдением Л. В. Кулаковского.

Отличие моего понимания строения «Слова» от понимания его Л. В. Кулаковским заключается в том, что я исключаю из «Слова» все предположения о том, что «Слово» могло исполняться больше чем двумя певцами, и в дополнительном, как мне представляется, важном наблюдении, что эти два певца противопоставлены друг другу по отношению к событиям, о которых в «Слове» идет речь. Два певца сменяют друг друга, по моему мнению, не потому, что исполнение одним певцом было бы слишком утомительным, а потому, что автор «Слова» (он, несомненно, один, и в этом я целиком согласен с Л. В. Кулаковским) распределил как бы роли между

двумя певцами. Один сообщает — другой толкует, один рассказывает — другой выражает свои эмоции по поводу рассказанного.

Попытаемся прочесть «Слово» именно в таком аспекте. Заранее должен оговориться, что деление текста «Слова» между двумя певцами разного типа дается сугубо предположительно. Предположительна и вся концепция о диалогическом строении «Слова». Она не более чем догадка.

Разделим текст «Слова» между двумя различными певцами. Первый певец поет: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие, начати старыми словесы трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича». Вопросы в конце этой фразы нет: есть утверждение, что начинать «трудные» повести о походе Игоря «лепо» «старыми словесы».

Итак, первый певец предлагает исполнять песнь «старыми словами», в традиционной манере.

Второй певец возражает. Он предлагает петь по «былинам сего времени», то есть в согласии с тем, как события произошли: «Начати же ся тѣмъ гѣснѣ по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню!» Второй певец — сторонник фактического рассказа, «по былинам сего времени», а не в старомодной, пышной манере Бояна.

Первый певец, сторонник Бояна, объясняет: «Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше гѣснѣ творити, то растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Первый певец настаивает на пении в духе Бояна, и об этом свидетельствует частица «бо»: она может относиться только к первой фразе и напоминает далее, что Боян имел не только превыспреннюю манеру, но мог петь и по былинам своего времени: «Помняшетъ бо, рече, първыхъ временъ усобицѣ. Тогда пушашеть 10 соколовъ на стадо лебедѣй: который дотечаше, та преди гѣснѣ пояше — старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскими, красному Романови Святъславличю».

Тут второй певец снова спорит со своим напарником: не соколы налетали на лебедей, а Боян персты воскладал

на струны, и те рокотали славу: «Боянь же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пуцаше, нъ своя вѣщиа прѣсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху». Обычно это место толкуется так, что сами струны рокотали славу. Мне представляется более правильным толковать это в реальном духе: персты, а не лебеди рокотали славу князьям.

Первый певец продолжает спор: он снова предлагает петь в широкой манере — от старого Ярослава и старого Владимира до нынешнего Игоря — и демонстрирует эту старую манеру Бояна: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ; наплънися ратнаго духа, наведе своя храброя плѣкы на землю Половѣцкую за землю Рускую». Место это обычно понималось так, что рассказ будет идти начиная от старого Владимира I до нынешнего Игоря. И к тому есть некоторое основание, ибо «Слово» постоянно возвращается к глубокой истории. Но если понимать «Слово» как песнь, которую поют два певца, как бы поправляющие друг друга, то место это означает своего рода сближение времен автора и старых событий времен Владимира I.

Условный спор на этом не заканчивается, но только откладывается. Второй певец, певец-рассказчик (более реально настроенный), приступает петь «по былинам сего времени» про поход Игоря:

«Тогда Игорьъ възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорьъ къ дружинѣ своей: „Братие и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои брѣзья комони, да позримъ синего Дону“. Спала князю умь похоти и жалость ему знамение заступи искусити Дону великаго. „Хошу бо,— рече,— копие приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, русици, хошу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону“».

Певец, который хотел петь в манере Бояна, снова возвращается к Бояну и демонстрирует его выпретенную ма-

неру: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сия плъкы ущекоталь, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подь облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы. Пѣти было пѣснь Игоревѣ, того внуку (то есть так бы начал петь автор «Слова», если бы он был внуком, учеником Бояна): „Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому“. Чи ли въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесовъ внуче: „Комони ржуть за Сулоу — звенить слава въ Киевѣ; трубы трубають въ Новѣградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ!“».

Так начал бы петь про поход Игоря Боян. Певец, предлагавший петь «по былинам сего времени» (будем называть его «певец-рассказчик»), продолжает свой более простой рассказ, повторяя и разъясняя сказанное певцом-арханстом: «Игорь ждеть мила брата Всеволода. И рече ему буй туръ Всеволодъ: „Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый — ты, Игорю! оба есвѣ Святъславличя! Съдлай, брате, свои бръзыйи комони, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска напередѣ“».

Возможно, что следующие слова принадлежат снова первому певцу — стороннику превыспренней Бояновой манеры: «А мои ти куряни свѣдоми къмети: подь трубами повити, подь шеломы възлелѣяни, конецъ копия въскрѣмлени, пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изьострени; сами скачють, акы сѣрыи вльци въ полѣ, ищучи себѣ чти, а князю славѣ». Слова эти больше соответствуют манере певца-архаиста, сторонника Бояна. Характерно, что автор «Слова» создает воображаемый диалог между Игорем и Всеволодом, разделенными большим расстоянием: один говорит в Новгороде Северском, а другой отвечает ему у Курьска. Диалоги постоянно вплетаются в текст «Слова»: это диалогическая стихия «Слова».

Затем второй певец, певец-рассказчик, придерживающийся «былин сего времени», продолжает:

«Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремянь и поѣха по чистому полю. Солнце ему тъмою путь засту-

паше; ношь стонуши ему грозою птичь убуди; свистъ звѣринъ вѣста, збися Дивъ — кличетъ врѣху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ, Вльзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутороканьскыи блъванъ! А половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому: крычатъ тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди распужени». Где-то посередине приведенного пассажа второй певец передает исполнение первому — стороннику манеры Бояна. У этого первого певца, очевидно, появляется и Див, а кроме того — лебеди, о которых он пел уже раньше, изображая манеру Бояна. Второй певец спорит с ним (отсюда «рци», то есть ты бы сказал и о крипе телег, что это поют лебеди).

Певец-рассказчик снова возвращает повествование «на землю»:

«Игорь къ Дону вои ведеть! Уже бо бѣды его пасеть птиць по дубию; вльци грозу вѣсржати по яругамъ; орли клеткомъ на кости звѣри зовуть; лисици брешуть на чрѣленыя щиты».

То ли первому певцу одному, то ли двум певцам вместе принадлежит в дальнейшем лирический вздох: «О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!»

И опять вступает голос певца-рассказчика: «Длъго ночь мрѣкнетъ. Заря свѣтъ запала, мѣгла поля покрыла. Щекоть славий успе; говоръ галичь убуди».

Певец, верный пафосной манере Бояна, комментирует: «Русичи великая поля чрѣлеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю — славы».

Снова поет певец-рассказчик:

«Съ зарания въ пятокъ потопташа поганыя плѣкы половецкыя и рассушысь стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвки половецкыя, а съ ними золото, и паволокы, и драгыя оксамиты. Орьтѣмами и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи половецкыими».

В духе Бояна, близко к своему предшествующему «перечислительному» описанию достоинств «сведомых кметей» — курян и прославлению князя первый певец

подхватывает: «Чръленъ стягъ, бѣла хорюговъ, чрълена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю!»

Еще один отрывок начинается певец-архаист, а «разъясняет» певец-рассказчик. Певец-архаист поет: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии мльнии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго!» Эту аллегорическую картину певец-рассказчик разъясняет: «Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго!»

Затем следует повторение «лирического вздоха» обоих или одного певца: «О Руская землѣ! уже за шеломянемъ еси!»

Снова певец-архаист продолжает свою тему аллегорического изображения начинающейся битвы (похоже, что он ведет все пение): «Се вѣтри, Стрибожи внуди, вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя плѣкы Игоревы. Земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають».

Певец-рассказчик разъясняет: «Стязи глаголютъ: половци идутъ отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускыя плѣкы оступиша» и повторяет свой рефрен (каждый певец, как правило, повторяет свой текст и никогда не повторяет текст другого певца): «Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русичи преградиша чрълеными щиты» (ср. выше: «Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю — славы»).

Снова вступает второй певец — певец-рассказчик. Он поет «по былинам сего времени»: «Яръ туре Всеволодѣ! Стоиши на борони, прыщещи на вои стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными! Камо, туръ, поскочыше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежат поганыя головы половецкыя. Поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя отъ тебе, ярь туре Всеволоде!»

Поэт-архаист, склонный к широким природным, историческим или нравоучительным обобщениям, так раз-

вивает тему беззаветной смелости Всеволода: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милья хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая?»

Обобщение это, вернее, психологическое наблюдение встречается и в других памятниках литературы Киевской Руси. Это свидетельствует о том, что перед нами в лице поэта-архаиста и, может быть, его предшественника Бояна представлен не просто поэт-язычник. Он пользуется старой языческой образной системой не потому, что верит в нее, а потому, что она является системой художественного обобщения и помогает ему художественно познавать мир.

Поэт-архаист обращается к аналогиям из мира природы так же, как он обращается к аналогиям из области русской истории, при этом обнаруживая свои знания Начальной летописи в новгородской ее редакции¹.

Следующий большой отрывок опять-таки принадлежит поэту-архаисту, который ищет аналогии в русской истории (во времена Трояна, Ярослава, Олега Святославича). Отрывок начинается со слов «Были въ чти Трояни» и заканчивается описанием опустошения Русской земли при Олеге Гориславличе. В этом отрывке характерно постоянное напоминание о том, что речь идет о других князьях и о других событиях: «Тѣй бо Олегъ», «Съ тоя же Каялы», «Тогда, при Олѣ Гориславличи...», «Тогда по Руской земли...».

Поэт-рассказчик, собиравшийся петь «по былинам сего времени», как бы споря с первым певцом, возвращает повествование к нынешним событиям, к «былинам сего времени»: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сидей рати не слышано!» И далее не менее пространно, чем певец-архаист, певец-рассказчик повествует о битве Игоря.

В противоположность повторениям «тѣй», «тогда»,

¹ Об этом см. в моей работе «Летописный свод Игоря Святославича и „Слово о полку Игореве“» (с. 189—197 наст. изд.).

которые мы видели в предшествующем историческом отрывке, здесь певец-рассказчик повторяет: «ту», «ту», «ту». Впрочем, сравнение битвы с пиром, со свадебным пиром и поиски аналогий в природе: «ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» — могли принадлежать любому из двух певцов. Здесь поэт-рассказчик (если это, действительно, он) смыкается с певцом-арханстом, который в своем дальнейшем обращении к событиям современности, вслед за певцом-рассказчиком, уже плотно соединяет их с явлениями природы и язычества: «Уже бо, братие, не веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука».

Я не привожу дальнейшего текста вплоть до рассказа о сне Святослава. Этот текст может быть по-разному распределен между двумя певцами. Доля первого певца — сторонника Бояновой традиции — в этом тексте очень велика: здесь встречается много языческих представлений, образов в характерной для певца-арханста манере отвлеченно передавать события.

Последующее повествование продолжает парное построение, но различить, где первый певец и где второй, очень трудно. Парность построения выявляется тем, что отдельных смысловых единиц в повествовании всегда четное число: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине! Гзакъ бежитъ сѣрымъ влъкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому».

Следующий отрывок снова делится на четное число смысловых единиц, которые могли исполняться певцами как подтягивание голосом одного другому: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съ моря идуть, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии мльнии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами с Дону великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго».

Переход от одного певца к другому мог совершиться и по каждой из указанных единиц и один раз — со слов «Ту ся копиемъ приламати...». Один певец сообщает о движении половцев навстречу русским, а другой предрекает битву. В последних строках заметно, что певец-рассказчик как бы разъясняет, конкретизируя, поэтические образы певца-архаиста.

Не следует представлять себе певца-рассказчика как некоего прагматика, чуждого ощущениям высокой значимости происходящего. Именно он, по-видимому, рассказывает сон Святослава и при этом осознает значительность сна, его пророческий характер. Но все-таки истолкование сна принадлежит поэту-архаисту.

В «Золотом слове» Святослава в каждом из его обращений к русским князьям как бы по солнечному движению определяются две части: одна — описывающая военные возможности князей, а другая — содержащая предложение вступить за Русскую землю.

Мы уже отмечали, что в «Слове» имеются повторения образов и самого способа выражения, рефрены. Этими повторами певец заявляет о своем присутствии, о своей индивидуальности. Певец не повторяет образы или рефрены другого певца. Это было бы и антиэстетично. Он повторяет, как мы уже говорили, только свои образы. Поэтому повторы служат важным признаком для разделения текста «Слова» по певцам.

Напомню текст обращений к русским князьям; этот текст в «Золотом слове» начинается не сразу. Сперва Святослав говорит о себе. Поэтому неясно, относятся ли обращения к «Золотому слову» или это самостоятельная часть, ведущаяся от автора. Как бы то ни было, взглянемся в построение обращений.

Первое обращение: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти? Ты бо можеша Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти! Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ. Ты бо можеша посуху живыми шерешеры стрѣляти — удалыми сыны Глѣбовы».

Последняя фраза в этом обращении как бы «отскочила» от первой, где говорится о могуществе Всеволода. Что это — дефект текста или возвращение к первому певцу? Первый певец продолжает свою тему, не слушая товарища? «Ты бо можещи» — повторяет в третьей фразе то, что было в первой и более уместно сразу после нее.

Рассматриваем текст второго обращения: «Ты, буй Рюриче, и Давыде! Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкають, акы тури, ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?»

Снова первый певец как бы вопрошает, предполагает, описывая могущество и ярость, «обиду» тех князей, к которым обращается. И снова второй певец призывает выступить за Русскую землю. Запомним те образы и те выражения, в которые облекает свой призыв певец-рассказчик, — это будет важно в дальнейшем: «Вступита, господина, въ злата стремянь за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!»

Третье обращение также делится на две части: «Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! Высоко съдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперѣ горы Угорскыи своими желѣзными плѣки, заступивѣ королеви путь, затворивѣ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облакы, суды ряда до Дуная. Грозы твоя по землямъ текуть, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салтъани за землями».

Второй певец подхватывает тему стрельбы — куда-то далеко в противника, находящегося «за землями», и предлагает стрелять в более близкого врага, снова повторяя те выражения, которые употребил в заключении к предшествующему обращению: «Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!»

Напомню то, что я уже сказал: каждый певец повторяет только свои выражения и образы и не пользуется повторениями из другого.

Четвертое обращение также делится на две части: констатирующую могущество и личные основания князей выступить против половцев и вторую, содержащую призыв: «А ты, буй Романе, и Мстиславе! Храбрая мысль носить вашъ умъ на дѣло. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколь на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти. Суть бо у ваю желѣзнии папорзи подъ шеломы латиньскими. Тѣми тресну земля, и многы страны — Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и половци сулицы своя поврѣгоша, а главы своя подклониша подъ тьи мечи харалужнии». Второй певец от этой превыспренней картины успехов Романа и Мстислава обращается к «ранам» Игоря: «Нъ уже, княже Игорю, утрьпѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвие срони: по Рси и по Сули гради подѣлиша. А Игорева храброго плѣку не крѣсити! Донъ ти, княже, кличетъ и зоветь князи на побѣду. Олговичи, храбрыи князи, достигли на брань...»

О том, что не воскресить Игорева полка, говорится в «Слове» вторично: это тот же певец. Новость, однако, в том, что призыв исходит от самой природы, от Дона, зовущего князей на победу.

Пятый призыв также начинается с характеристики положения князей, к которым обращен призыв: «Иньгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилицы! Не побѣдными жребии собѣ власти расхытите! Кое ваши златыи шеломы и сулицы ляцкии и щиты?» Это описание положения князей содержит типичное сравнение князей с животным миром: зверями, а в данном случае — с птицами. Второй поэт, делающий выводы, повторяет себя из своего третьего заключения-обращения: «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича!»

Шестое обращение направлено к Полоцкому княжеству, но там нет князя, который мог бы стать на защиту Русской земли, на что первый певец может только сетовать с горечью.

Вот что говорит второй певец: «Уже бо Сула не

течеть сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подь кликомъ поганыхъ. Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подь чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовьскими мечи и с хотию на кров, а тѣ рек: „Дружину твою, княже, птиць крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша“.

По-видимому, именно первый певецъ с печалью признаетъ: «Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго — Всеволода. Единъ же изрони жемчужну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие. Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубять городеньскыи».

Изъ всехъ обращений — это наиболее необычное, такъ какъ, по существу, в немъ нетъ призыва. Потому, очевидно, в немъ труднее всего установить двуголосие. Оно все могло бы принадлежать и одному певцу. Мы делимъ его на два, потому что таковы все другіе обращения.

Седьмое, последнее обращение, наиболее широкое и какъ бы обобщающее, снова делится на два: «Ярослави вси внуце и Всеслави! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ». Это обращение ко всемъ русскимъ князьямъ, изъ которыхъ существовали только две ветви — потомки Ярослава Мудрого и потомки Всеслава Полоцкаго. Первый певецъ обращаетъ къ нимъ свой наиболее сильный призывъ и наиболее широкое осуждение одновременно, поминая и Русскую землю и «жизнь Всеслава», то есть все наследіе последнего, все его, условно говоря, богатство: «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Котороу бо бѣше насилие отъ земли Половецкыи!»

Если в прежныхъ своихъ призывахъ певецъ-рассказчикъ говорилъ о «ранахъ Игоревыхъ», то есть о недавнихъ событіяхъ, текущихъ, животрепещущихъ, то теперь онъ, обобщая вслѣд за первымъ певцомъ, говоритъ о длительномъ историческомъ сроке насилия отъ земли Половецкой. Со-

ответственно этому певец-рассказчик (таким он нам рисуется) обращается к историческим событиям вековой давности — к истории борьбы полоцкого князя Всеслава и его потомков с другими князьями — потомками Ярослава Мудрого, Ярославичами.

Всякая политическая рознь на Руси в XII в. рассматривалась как наследственная. Поэтому и князья приглашались на княжение и расценивались как представители той или иной наследственной политической линии. И междукняжеские усобицы считались наследственными. Поэтому естественно было, говоря о междоусобиях князей, выводить эти усобицы от их истоков и родоначальников.

Певец-рассказчик так ведет свой рассказ, несомненно фольклорного, легендарного характера: «На седьмомъ вѣщѣ Трояни врьже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу. Тѣй клюками подпрѣ ся о кони и скочи къ граду Киеву и дотчеса стружиемъ злата стола киевскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плѣночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мьглѣ утрѣже вазни, с три кусы отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ». Попутно отметим: это повествование певца-рассказчика сильно отличается по своему характеру от его же рассказов о событиях Игорева похода, и ясно почему: Игорев поход совершился только что, события же княжения Всеслава отделены веком. Поэтому рассказ о Всеславе ближе по своему типу к рассказу об Олеге Гориславиче — последний рассказ тоже о прошлом, хотя и чуть более близком. Это, между прочим, один из аргументов в пользу того, что «Слово» создано вскоре после похода и возвращения Игоря.

Певец-архаист, не сообщая новых фактов, толкует то, что рассказал второй: «На Немизѣ снопы стелють головами, молотять чепи харалужными, на тощѣ животь кладуть, вѣють душу от тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть постѣяни — постѣяни костьми рускихъ сыновъ».

Певец-рассказчик приводит о Всеславе новые данные: «Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому въ Полотьскѣ позво-ниша заутреню рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша». Информативность всего этого текста необыкновенно насыщенная. Тут за каждым словом кроются многочисленные и драматические факты.

Певец — архаист и интерпретатор, певец-философ, и если читатель помнит, споривший с певцом-рассказчиком относительно вѣщаго Бояна (он сторонник его манеры), подводит философский итог истории Всеслава Полоцкого: «Аще и вѣща душа въ дръзѣтѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и прѣвое пригѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути. О, стонати Руской земли, помянувше прѣвую годину и прѣвыхъ князей!“».

Певец — рассказчик и информатор, предлагавший петь от «старого Владимира до нынешнего Игоря», выполняя свое обещание, обращается от событий вековой давности к современности. Вот какие события он отмечает «нынѣ», то есть в момент создания «Слова»: «Того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевскимъ: сего бо нынть стаха стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашуть. Копиа поють»¹. Не будем комментировать, какой из Владимиров здесь упоминается — Владимир I Святославич или Владимир Мономах. Историческое комментирование не входит в нашу задачу. Отмечу только, что события, которые происходят «ныне», — размолвка Рюрика Ростиславича и Давида Ростиславича произошла в 1185 г., то есть в том же году, к которому относится и поход Игоря Святославича.

¹ По поводу фразы «Копия поют» интересные соображения в связи с диалогическим мелосом «Слова» высказаны в книге Л. В. Кулаковского (с. 59). Автор предполагает здесь повторение «цепочки».

Далее в «Слове» следует плач Ярославны. Он состоит из четырех обращений: к Каяле, к ветру, к Днепру и солнцу. Делить плач Ярославны по певцам нельзя. Он приписывается автором весь целиком одному певцу — самой Ярославне — и может быть воспроизведен только одним певцом. Делить его было бы, кроме того, просто антихудожественно и не соответствовало бы эстетической системе «Слова». Правда, каждое обращение Ярославны начинается с предваряющих его сходных слов: первое — «На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть», три остальных — «Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи». Можно было бы предположить, что эти вводные слова произносятся одним певцом, а за Ярославну поет другой певец, но такая «режиссерская аранжировка» была бы для своего времени, то есть для автора «Слова», чрезмерно изысканной, в духе нового времени. Поэтому оставляю плач Ярославны без деления по певцам. Напомню этот плач:

«На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть: „Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви, омочю бибрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоуѣмъ его гѣлѣ“.

Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: „О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣеши? Чему мычещи хиновскыя стрѣлки на своєю нетрудною крилицю на моя лады вои? Мало ли ти бяшеть горѣ подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ? Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?“

Ярославна рано плачеть Путивлю городу на забролѣ, аркучи: „О Днепре Словутицю! Ты пробиль еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую. Ты лелѣяль еси на себѣ Святослави насады до плѣку Кобякова. Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано“.

Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: „Свѣтлое и тресвѣтлое слънце! Всѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячую свою

лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безводнѣ жажду имъ
лучи съпряже, тугою имъ тули затче?»».

Заметим, что во втором и третьем обращении, как и в предшествующем обращении к русским князьям, последняя фраза заключает в себе конкретное предложение, а в первом и четвертом — некую конкретизацию ситуации. Поэтому если бы мы решились выделять в плаче Ярославны певцов, то последние фразы можно было бы приписать тому же певцу, который заключает и обращения автора к князьям.

Вслед за плачем Ярославны идет рассказ о бегстве Игоря из плена — бегстве, которое по существу своему является выполнением просьб Ярославны к ветру, реке и солнцу — с элементами той же последовательности. Принадлежит этот рассказ певцу-рассказчику:

«Прысну море полунощи, идутъ сморци мѣглами. Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зори. Игорь спить, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рѣкою; велить князю разумѣти: князю Игорю не быть! Кликну, стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся половецкии подвизашася. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и бѣлымъ гоголемъ на воду. Въврѣжеся на брѣзь комонь и скочи съ него бусымъ вълкомъ. И потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подъ мѣглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и ужинѣ».

Итак, ветер отвечает Ярославне тем, что посылает смерчи, которые, направляясь от моря на север, указывают путь Игорю. Солнце, которое жгло Игоревых воинов, посылает тьму, зори гаснут (напомню, что в описании затмения солнце также посылает тьму на Игоревых воинов)¹. Главная же русская река Днепр, что пробил каменные горы и нес на себе Святославовы

¹ О древнерусских представлениях о свете и солнце см. с. 283—287 наст. изд.

насады, предоставляет путь Игорю по Донцу: Игорь мысленно мерит свой путь на Русскую землю по рекам, за рекой свистнул ему и Овлур. В плаче Ярославны заключено обращение к двум рекам: в первом обращении Ярослава хочет омочить свой бибриный рукав в Каялереке и утереть Игорю кровавые его раны. И в рассказе о бегстве Игоря отмечено, что реки оказывают Игорю два раза услугу — вторую и последнюю, укрывая Игоря на своих берегах. Перед нами певец-рассказчик — тот, что в начале «Слова» собирался вести рассказ «по былинам сего времени».

Певец-философ, архаист, берет заключительное слово, вводя и развивая зооморфные мотивы, как он постоянно делал и перед тем. Он указывает на различие между бегством Игоря и Овлура: «Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влькомъ потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня». Игорь, русский князь, — сокол. Овлур, верный Игорю половец, половец-слуга, — волк, как волком был и Веслав-князь.

Удачное бегство Игоря вселяет веселие в обоих певцов. Дальнейший их диалог напоминает скоморошью сценку, такую же, какие есть в «Молении Даниила Заточника» и намеком на какую заканчивается «Задонщина».

Диалог разыгрывается между Донцом и Игорем. Певец-рассказчик говорит за Донца. «Донецъ рече: „Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа!“»

На эти слова Донца певец — архаист и «обобщатель» — отвечает за Игоря: «Игорь рече: „О Донче! Не мало ти величия, лелѣявшу князя на вльнахъ, ставшшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мѣглами подъ сѣнию зелену древу; стрежаше его гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ“». Впрочем, в данном разделении текста между двумя певцами я не очень уверен.

Надо думать, что «Слово» и не стремится точно передать ответ Игоря: это воображаемый диалог. Игорь говорит о себе в третьем лице, называя самого себя князем.

При этом певец, соответственно плачу Ярославны, пользуется теми же выражениями, что и Ярославна. Ярославна говорит, что Днепр «лелѣяль» на себе Святославовы насады. Игорь же благодарит Донец, который «лелѣял» князя на волнах. При этом Игорь употребляет прошедшее время — «лелѣявшу», что опять-таки указывает на то, что это не передача слов Игоря, а как бы рассказ о его словах, воспроизведение слов Игоря.

Поведение реки заставляет певца-рассказчика, певца-историка в последний раз обратиться к историческим воспоминаниям — к поведению другой реки и в другое время:

«Не тако ти, рече, рѣка Стугна: худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ устью, уношу князю Ростиславу затвори Днѣпръ темнѣ березѣ. Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ». Рассказ этот почти точно повторяет рассказ «Повести временных лет» (1093 г.), когда Ростислав утонул в Стугне, был привезен в Киев и там оплакан матерью. Певец-рассказчик здесь не в первый раз выступает в «Слове» знатоком летописи¹.

Обращает на себя внимание в этом тексте и глагол «рече». Кто «рече»? Вряд ли о смерти Ростислава вспоминает Игорь: исторические воспоминания — прерогатива певца-рассказчика. Не указывает ли это «рече» на переход от одного певца к другому?

Наступает очередь певца, поющего в манере Бояна, певца-обобщателя: «Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонилося».

Затем певцы снова обращаются к счастливому бегству Игоря из плена. Певец-рассказчик поет о бегстве, и рассказ его опять переходит в шуточный диалог: на этот раз двух половецких ханов Гзака и Кончака. Ясно, что здесь также нет попытки передать реальные слова

¹ Напомню, что совсем в иную, церковно-религиозную связь поставлена смерть Ростислава в «Киево-Печерском патерике», но это особая тема для размышлений.

Гзака и Кончака (разговор между ними, если бы он был, шел бы по-половецки и не мог быть подслушан).

Приведу полностью это место «Слова». Оно легко разбивается на речи одного певца и другого, особенно там, где они разыгрывают между собой скоморошью сценку.

Певец-рассказчик: «А не сорокы втроскоташа — на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ».

Певец — архаист и обобщатель, склонный к языческим реминисценциям и аналогиям с явлениями природы: «Тогда врани не граахуть, галици помлѣкоша, сорокы не троскоташа, полозие ползаша только. Дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажуть, соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ».

Певец-рассказчик приписывает своему персонажу, Гзаку, собственные свойства, собственную манеру рассуждать (прагматически). Певец-архаист влагает в своего персонажа — Кончака — свою манеру обобщать. Гзак и Кончак снова разыгрывают те же две роли, но в комических тонах.

Певец-рассказчик поет: «Млѣвить Гзакъ Кончакови: „Аже соколъ къ гнѣзду летить, соколича рострѣляевѣ своими злачеными стрѣлами“». Вспомним, как в зачине к «Слову» певец-рассказчик опровергал привычку сторонника Бояна называть пальцы певца лебедями.

Певец-архаист отвечает: «Рече Кончакъ ко Гзѣ: „Аже соколъ къ гнѣзду летить, а вѣ соколца опутаевѣ красною дѣвицею“».

Певец — рассказчик и прагматик — передает воображаемую речь Гзака: «И рече Гзакъ къ Кончакови: „Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ соколца, ни нама красны дѣвице, то почнуть наю птици бити въ полѣ Половецкомъ“».

Это чисто воображаемый диалог, в котором даже страна половцев названа так, как ее не называли бы сами половцы, а называли только русские — «Поле Половецкое».

На этом диалогическая форма «Слова» прерывается.

В дальнейшем оба певца поют вместе, как и полагается в патетической концовке. И они вспоминают двух своих предшественников — Бояна и Ходыну¹. «Рекъ Боянь и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы“ — Руской земли безъ Игоря».

Затем оба певца продолжают петь вместе уже славу князьям: «Солнце свѣтитя на небесѣ, — Игорь князь въ Руской земли; дѣвицы поють на Дунаи, — вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: „Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!“ Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганя пльки! Княземъ слава а дружинѣ! Аминь».

То, что оба певца поют вместе в конце «Слова», не может вызывать сомнения. Это оправдывается всем содержанием концовки: она посвящена прославлению русских князей и дружины. Невозможно себе представить, чтобы один певец пел славу, а другой молчал, тем более что в летописи есть свидетельства о хоровом пении славы, а в миниатюрах Радзивиловской летописи это хоровое пение девицами даже и изображено.

Итак, мы подошли к концу нашего построения. Конечно, оно не доказано. Если это только предположение, то почему все-таки оно нужно? Предлагаемый взгляд на «Слово» — это взгляд под особым углом зрения. Этот угол зрения позволяет выявить в «Слове» некоторые «рельефы», которые иначе были бы незаметны. В частности, даже если не принимать предположения об исполнении «Слова» двумя певцами, нельзя не обнаружить в «Слове»

¹ Эта версия темного места «Слова» кажется мне наиболее вероятной, ибо она подкреплена не только поэтикой «амебейного» пения, но и двойственным числом, которое здесь случайно появиться не могло: «пѣснотворца».

некоторого диалогизма: в «Слове» чередуются изложение с обобщением изложенного, повествовательность с «художественным приговором» совершившемуся. Две манеры, два взгляда на события. Предположение о «диалогическом» характере «Слова» многое объясняет и в структуре «Слова» — например, отдельные переходы; тема Бояна оказывается в известной мере более естественной и органичной для «Слова»: спор о том, как рассказывать о походе, не заканчивается в начале «Слова», а продолжается до конца произведения, имеет «практический» смысл, поскольку обе манеры представлены в «Слове» на всем его протяжении.

Спрашивается: мог ли один певец вести все повествование при оправданности наших наблюдений над диалогичностью «Слова»? Конечно, мог, хотя ему было бы трудно последовательно выдерживать одному это «маятниковое качание».

Диалогическое исполнение «Слова» объясняет и «поэтику повторов», которой я посвятил особую статью¹ и о которой говорил выше.

Сделанное мною предположение о диалогическом строении «Слова» литературоведчески подкрепляет музыковедческие выводы неоднократно мною уже упоминавшейся книги Л. В. Кулаковского. Если оба подхода совпадают в итоге, а мой вывод даже несколько шире вывода Л. В. Кулаковского, поскольку я вижу в двух певцах две разные поэтические позиции, то это значительно подкрепляет предположение, выдвинутое Л. В. Кулаковским.

Хоровое на два голоса исполнение произведений на древнейших стадиях развития поэзии хорошо исследовано А. Н. Веселовским в его «Трех главах из исторической поэтики»².

¹ Русская литература. 1983. № 4.

² Последнее издание: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 200—380.

Хоровое исполнение и авторский расчет на это хоровое, «амебейное», исполнение были присущи всей ранней европейской литературе. Не буду вдаваться в подробности. Предоставлю слово крупнейшему специалисту в этой области М. И. Стеблин-Каменскому. В своей книге «Древнескандинавская литература» (М., 1979) он писал: «Дротткветтные хвалебные песни¹ первоначально сочинялись для исполнения двумя певцами или хором на два голоса. Строфа могла распадаться на две партии. Было принято поэтому переплетать в строфе параллельные предложения. Исполнение на два голоса впоследствии вышло из употребления... Не сохранилось никаких свидетельств об исполнении хвалебных песен в Скандинавии в древнейшие времена. Однако сравнительный материал показывает, что обычай хорового, или амебейного, исполнения хвалебных песен широко распространен у племен земного шара. На ранних этапах культурного развития он был, по-видимому, общераспространенным. Есть свидетельства о его наличии и у германских племен. В заключительных строках древнеанглийской поэмы „Беовульф“ рассказывается о том, как двенадцать дружинников гарцуют вокруг могильного кургана героя и воспевают его доблести и подвиги; и это — точная параллель описания погребения Аттилы у готского историка Иордана. Ясное указание на амебейное исполнение есть в рассказе Приска, одного византийского автора, о том, как после пира у Аттилы два варвара (т. е., вероятно, гота) стали против него и „произнесли сложенные песни, воспевая победы и военные доблести“, а также в древнеанглийской поэме „Вид-

¹ Должен на всякий случай предупредить читателя, что «Слово о полку Игореве» никак не может быть сведено по другим признакам в их совокупности к жанру «дротткветтных хвалебных песен», насколько я об этом могу судить и поскольку его связи с русским, украинским и белорусским фольклором, а также с древней киевской литературой неоспоримы и многочисленны. Речь идет лишь о «типологической» (как сейчас принято говорить) близости в области хорового, на два голоса, исполнения в ранней европейской поэзии.

сид“, в которой певец говорит: „когда я со Скиллингом ясным голосом перед нашим победоносным князем песнь зачинали“. Гиральд Кембрийский — английский средневековый автор — упоминает исполнение песни в два голоса в Нортумбрии и высказывает предположение, что оно идет от скандинавских викингов. Следом древнего исполнения хвалебных песен в Скандинавии может быть и то, что согласно „Перечню скальдов“, памятнику XIII века, число скальдов у древнейших норвежских королей, как правило, было кратно двум (2, 4, 6 или 10), а также то, что в „Саге о Стурлунгах“ дважды рассказывается о том, что двое исполняют строфу, каждый свою строку (правда, в обоих случаях такое исполнение снится кому-то)»¹.

Приведенная цитата отнюдь не означает, что «Слово о полку Игореве» написано (я подчеркиваю — «написано») его автором по законам скандинавского или вообще какого-то нерусского принципа. Русский характер поэтики «Слова» доказывать не надо: «Слово» — памятник наполовину фольклорный и при этом явно русского фольклора. Диалогическое начало в русском мелосе блестяще раскрыто и в книге Л. В. Кулаковского. Я привел цитату из М. И. Стеблин-Каменского для того, чтобы показать свойственность диалогического начала многим древним песнопениям. Если предположение Л. В. Кулаковского и мои дополнительные соображения к предположению Л. В. Кулаковского в будущем оправдаются, это не только объяснит многое в строении «Слова», но и подкрепит и так уже не вызывающую сомнений мысль о древности «Слова», его связи с архаической стадией русского народного творчества.

Время, несомненно, «размыло» текст «Слова». Поэтому даже если согласиться с предположением об

¹ Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979. С. 67—68. Ср. также: Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. Л., 1978. С. 66—69.

изначальном диалогическом строении «Слова», то четкое разделение всего дошедшего текста «Слова» по двум певцам-исполнителям вряд ли возможно. Весьма вероятно, что и намеченные нами выше литературные позиции каждого из двух исполнителей не были в самом авторском тексте достаточно определенно выделены: в этом, в сущности, и не было достаточной необходимости — кроме самого начала «Слова» и некоторых «поддержек» их позиций в середине; в конце «Слова» обе позиции смыкаются. Однако сделанное нами предположение о диалогическом строении «Слова» и о различии в литературных позициях певцов может многое объяснить в поэтике «Слова», в толковании отдельных его мест и помочь в переводе «Слова» на современный русский язык. Первую фразу «Слова» не следует, например, считать вопросительной. Это предложение начать «Слово» в стилистической манере Бояна. Оправдывается и последующее двукратное возвращение к Бояну — к его манере и к его высказываниям. Вся вступительная часть «Слова» более ясна по смыслу. Это спор двух певцов, спор в известной мере условный, говорящий об актуальности обеих стилистических (или даже жанровых) систем во второй половине XII в.: «по былинам сего времени» или в манере славословий Бояна, причем манеру Бояна певец явно стилизует, ощущая ее архаичность. Пассаж «Крычать гѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспужени», благодаря сделанному нами предположению, можно переводить более точно: «Кричат телеги в полночи: ты бы (это обращение к певцу-архаизатору.— Д. Л.) сказал — это лебеди вспугнутые». Диалогическая форма «Слова» подкрепляет вероятность конъектуры о двух певцах — предшественниках нынешних тоже двух певцов — Бояне и Ходыне. Диалогическая форма «Слова» объясняет и следующее явление: персонажи «Слова» всегда говорят о себе в первом лице единственного числа (князь Святослав Киевский, Ярославна, Всеволод Буй Тур, Игорь), а певцы-исполнители — то в первом лице единственного числа, то в

первом лице множественного числа. Исчезновение диалогического строения в конце «Слова», исполнение концовки хором делают окончание «Слова» более пафосным. Объясняются в «Слове» повторы и переходы от одного ритма к другому.

Можно было бы наметить и еще другие аспекты более детализированного понимания поэтики и текста «Слова», если принять предположение о его диалогическом строении.

1984



«ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН» ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

На примере «Слова о полку Игореве»

В идеологической стороне каждого литературного произведения есть как бы два слоя. Один слой вполне сознательных утверждений, мыслей, идей, которые автор стремится внушить своим читателям и в чем он пытается убедить или переубедить их. Это слой активного воздействия на читателей. Второй слой — другого характера активности: он как бы подразумеваемый. Автор считает его само собой разумеющимся и общим для него и читателей. Этот второй слой в основном пассивен. Он начинает активно действовать и воздействовать на читателя только тогда, когда произведение переходит в другую эпоху, к другим читателям, где этот слой нов и необычен. Этот второй слой можно было бы назвать «идеологическим фоном».

В «Слове о полку Игореве» первый слой, слой действенный, заключен в призывах автора к единению, к защите Русской земли, в попытках автора истолковать всю русскую историю и отдельные исторические факты в духе своей исторической концепции и своих политических убеждений. К этому же слою может быть от-

несено «открытое язычество», выраженное, например, в поименном упоминании языческих богов.

Второй слой в «Слове о полку Игореве» скрыт и может быть изучен только путем анализа. К этому второму слою относятся, например, общие языческие представления — о своеобразных аспектах человеческой судьбы, о взаимоотношениях человека и природы, о культуре Земли, Воды, Рода, Солнца и Света¹. И т. д.

К составу «мировоззренческого фона» в «Слове о полку Игореве» принадлежат убеждения о действенной связи человека со стихиями природы, с животным и растительным миром, своеобразная «коллективность» этих связей (мы разъясним ниже, что мы имеем в виду под этой «коллективностью») и представления о родовой судьбе.

Обратимся прежде всего к тому, что у исследователей «Слова» рассматривается как вера в приметы. Исследователи не различают веру в приметы в новое время и «приметы» в «Слове о полку Игореве», а между тем различие есть и оно существенно. «Приметы» в «Слове» не являются приметами в нашем смысле этого слова; они имеют явно языческий характер и выражают веру в то, что природные явления неразрывно связаны с судьбой человека, причем природа через приметы и знамения предупреждает человека о грозящей опасности — предупреждает не только во времени, но и в пространстве, давая знать через огромные расстояния о том, что уже совершается или совершилось где-то на другом конце Русской земли. Принципиального различия между временным предупреждением и пространственным сообщением в

¹ О культуре света см. в работах Робинсона А. Н.: Солнечная символика в «Слове о полку Игореве»/В кн.: Слово о полку Игореве: Памятники литературы и искусства XI—XVII веков. М., 1978. С. 7—58; Закономерности развития средневекового героического эпоса и символика «Слова о полку Игореве»/В кн.: VIII Международный съезд славистов: Славянские литературы. М., 1978. С. 150—165; Литература Киевской Руси в мировом контексте/В кн.: IX Международный съезд славистов: Славянские литературы. М., 1983. С. 3—25.

«Слове», в сущности, нет. Это не приметы в нашем смысле слова — это конкретное участие природы в судьбе человека.

О грядущем поражении дважды предупреждает Игоря солнце своим затмением. Солнце «прикрывает» при начале похода воинов от Игоря тьмою, ибо им, а не Игорю грозит смерть. Сам Игорь называет эту насланную солнцем тьму «знамением». Знамя и знамение — это сигналы, указания, приказания. Вместе с солнцем предупреждают Игоря ночь, которая стонет ему грозою, и звери своим свистом. Разбуженный походом Игорева войска див, находящийся на стороне врагов Руси, извещает «незнаемую землю» (Половецкую степь), Волгу, Поморие, Посулие, Сурок и Тмутороканский болван. Похоже, что предсказание солнца всполошило всю природу, и природа уже не просто предсказывает поражение, а извещает о походе Игоря и о движении половцев ему навстречу. Природа передает сведения на большие расстояния: «Игорь къ Дону вои ведеть!» Предупреждение на большие расстояния и предсказания будущего в «Слове о полку Игореве», таким образом, не различаются. В этом своеобразии «примет» в «Слове о полку Игореве», очевидно связанное с особенностями древнерусского языческого мировоззрения.

Я не стану перечислять все случаи, в которых природа откликается на события Игорева похода и на большие расстояния, и на большие временные промежутки. Важно следующее: природа и люди живут единой жизнью, причем природе в целом, а также отдельным «представителям» природы известно больше, чем человеку. Следовательно, говорить о приметах в нашем смысле этого слова в «Слове о полку Игореве» нельзя. Это не приметы, а активное соучастие в жизни людей всей природы — «немой язык» природы. Причем обратите внимание: природа участвует в жизни не столько отдельных людей, сколько всего населения того или иного края или целого народа. Тоска, горе, печаль персонифицируются, они текут по всей земле, охватывают собой целые пространства. Они вы-

растают из земли, плещут на море, погружаются в море. Вода и земля со всеми ее зверями, птицами, деревьями, травой, реками — это места, на которые распространяются человеческие судьбы. Как ум и мысль могут по представлениям Древней Руси отделяться от человека и парить под облаками, так и горе, тоска, судьба отделены от человека и распространяются на целый княжеский род, на все войско, на города и по берегам рек.

И в связи с этим необходимо сказать о своеобразии в Древней Руси представлений о судьбе вообще. Судьба тоже в известной мере «коллективна». Она охватывает по большей части целый княжеский род и обычно переходит от деда к внукам. Судьба Всеслава Полоцкого называется на его потомках Всеславичах, судьба Олега Святославича — на всех Ольговичах, и прежде всего на его внуке — Игоре Святославиче. Именно поэтому и Всеслав, и Олег занимают в «Слове» столь существенное место. Судьба человека, если он ею обладает, обычно трагична. Дед Всеславичей Всеслав имел вещую душу «въ дръзѣ тѣлѣ» и оттого обладал способностью за одну ночь до петухов достигать Тмутороканя и слышать в Киеве звон в Полоцке. Несмотря на то что Всеслав «вещий», он сам имеет печальную судьбу, и эта судьба переходит к его предкам. Судьба приводит к «суду» над отдельными представителями рода, захваченного судьбой. «Суд» — это обычно смерть на земле или в воде. «Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла за обиду Ольгову храбра и млада князя».

Изяслав Василькович «притрепал» славу деду своему Всеславу Полоцкому, и за это «самъ подѣ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскыми мечи». Таким образом, история Всеслава рассказывается как объяснение судьбы его внуков. Сам он расшиб славу Ярославу, и с той поры воюют «Ярослави вси внуце и Всеслави!»¹.

Особое отношение у автора «Слова» к земле.

¹ В данном случае реконструкция текста этого места «Слова» моя. — Д. Л.

Земля предупреждает людей: она «тунет» и «стукает» (в эпизоде бегства Игоря), она трещит под закованными в доспехи воинами Романа и Мстислава. На ней расстилается «зеленая паполома» для умирающих, по земле течет «печаль жирна» и т. д.¹

Особое значение имеют реки в «Слове о полку Игореве». Они не только определяют судьбу городов и княжеств. Они в несчастии мутно текут к городам, текут к ним болотом и играют существенную роль в судьбе людей. На их берегах происходят гибельные битвы (Каяла, Немига, Сула и пр.). Реки обращаются к людям с призывами («Дон ти, княже, кличет»).

Игорь обращается к Донцу, а вслед за тем к Стугне, противопоставляя их отношение к русским князьям. Донца он величает «О Донче! не мало ти величия, лелѣявшу князя на вълнахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребренныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мѣглами подѣ стѣнию зелену древу; стрежаше его гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ». Донцу Игорь противопоставляет Стугну, виновную в смерти Ростислава. «Не тако ти, рече, рѣка Стугна: худу струю имѣя, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ устью, уношу князю Ростиславу затвори. Днѣпрѣ темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ. Уныша цвѣты жалобю, и древо с тугою къ земли прѣклонилося»².

В «Слове» явно другая оценка смерти Ростислава, чем в «Повести временных лет» и «Киево-Печерском патерике». В последнем смерть Ростислава не вызывает жалости и не является результатом враждебности реки. Христианское объяснение смерти Ростислава иное: не

¹ О языческом культе Рода и Земли в княжеской среде (безотносительно к «Слову о полку Игореве») см.: Комарович В. Л. Культ Рода и Земли в княжеской среде XI—XIII вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 84—104.

² Реконструкция текста моя. — Д. Л.

река Стугна, питающаяся «чужими», вражескими ручьями и источниками, виновница смерти, а приговор Божий. Юный Ростислав глумился над печерским иноком Григорием, который предрек ему смерть от воды. Оскорбленный этим предречением, Ростислав утопил Григория в Днепре. Однако предречение Григория сбылось: Ростислав утонул со своей дружиной у Треполя, спасаясь от половцев¹.

Полный анализ «идеологического фона» «Слова о полку Игореве» мог бы дать любопытные результаты особенно в истолковании русской истории, взаимоотношений природы и человека, значений «судьбы» и «суда», культа Рода, Земли и Воды, понимания времени и зверей и птиц как тотемов человека.

1986



КАКИМ БЫЛ АВТОР «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»?

Л. А. Дмитриев совершенно прав, когда считает, что все попытки найти среди упоминаемых в источниках людей XII в. автора «Слова» до сих пор не удавались и вряд ли удадутся в будущем. Нельзя ограничивать число возможных авторов только упомянутыми в источниках. Культура Руси XII в. была высокой и пишущих людей было много.

И еще одно соображение: памятников, подобных «Слову», до нас не дошло не потому, что их не было, а потому, что они не сохранились. Обратим внимание хотя бы на то, что очень многие жанры в древнерусской литературе в XI—XIII вв. представлены только по

¹ Абрамович Л. Киево-Печерський патерик. У Києві, 1931. С. 137—138.

одному памятнику («Слово» и «Моление» Даниила Заточника, «Слово о погибели Русской Земли», «Жизнеописание Даниила Галицкого», «Повесть о взятии Константинополя» крестоносцами в 1204 г., личный летописец Германа Вояты, «Вопрошания» Кирика, его же математический трактат и пр.).

Однако если нет реальных возможностей найти имя автора «Слова», то есть возможности для того, чтобы представить себе, каким был автор «Слова»: его профессионализм, его осведомленность, его убеждения (политические, религиозные и пр.), его отношение к отдельным князьям и исторические представления. Именно такого «реконструируемого» автора «Слова» на основании его же произведения мы и попытаемся представить в предлагаемой вниманию читателей статье.

Наши наблюдения будут делаться на основе дошедшего текста без всяких перестановок, но с общепринятыми поправками, и поправками бесспорными. Всякий документ, а текст «Слова» — это документ, хотя и поэтический, сохраняет свою документальность, поскольку он опирается на дошедшие тексты (первое издание «Слова» и Екатерининскую копию). В документ возможно вносить лишь минимальное количество поправок, и только те, которые обоснованы всесторонне — лингвистически, литературоведчески, палеографически, исторически или подкреплены расчетами числа букв в строке или на странице (как это делается при предположении о выпавших, перевернутых или переставленных в обветшавшей рукописи листах).

Мои соображения об индивидуальности автора «Слова» основываются исключительно на моих исследованиях: комментариях к тексту «Слова» в издании «Слова» в серии «Литературные памятники»¹, на исследованиях, собранных во втором издании книги «„Слово

¹ См.: Слово о полку Игореве. М.; Л., 1950. С. 375—466. (Сер. «Лит. памятники»).

о полку Игореве“ и культура его времени»¹ и на моих же статьях, затрагивающих вопросы о перестановках в тексте «Слова»² и о диалогическом его строении³.

На основании опыта этих работ можно утверждать следующее. Прежде всего автор «Слова» — профессиональный литератор, противопоставляющий себя Бояну именно потому, что он сходен с ним по своей деятельности. Боян же — певец, владевший игрой на десятиструнных гусях (музыкальный инструмент, требовавший профессионального владения им) и слагавший самостоятельно песни о событиях, связанных с различными князьями. Профессионал не обязательно должен был быть политическим сторонником того или иного князя. Он мог быть по-своему правдив и свободен и не зависеть от княжеского дара. Это право быть независимыми признавалось до середины XIII в., когда впервые отказ певца Митусы служить князю Даниилу был воспринят как измена⁴.

Право свободно говорить правду в глаза князю, отнятое в XIII в. у княжеских певцов, сохранилось за народными игроцами, к которым в домонгольский период принадлежал Даниил Заточник и которых в свою очередь стали преследовать, но уже в XVII в.

Говоря о типе княжеского певца, можно сказать, что он был сходен с тем, что господствовал по всей Европе: и в манере исполнять свои произведения, в жанрах, ими излюбленных, было много общего (работы Р. Абихта⁵,

¹ Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд. Л., 1985.

² Лихачев Д. С. В защиту «Слова о полку Игореве»//ВЛ. 1984. № 12. С. 80, 92—93.

³ Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве»//РЛ. 1984. № 3. С. 130—144.

⁴ См.: Ипатьевская летопись под 1241 г./ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 794.

⁵ Abicht R. Das südrussische Igorlied und sein Zusammenhang mit der nordgermanischen Dichtung. Breslau, 1906.

М. И. Стеблина-Каменского¹, Д. М. Шарыпкина²).

Княжеский певец был профессиональным певцом, владевшим сложным искусством слагать свои песни. Он исходил не только из традиции (знание традиций требовало своеобразной литературной образованности), но из самостоятельного творчества, обладая умением удерживать в памяти сказанное раньше, а также искусством свободной лирической композиции, при которой он не просто излагал события как летописец в хронологической последовательности, а, скорее, откликался на события, предполагая в своих слушателях и читателях знание русской истории. Все это требовало незаурядного дарования. Совершенно невероятно, чтобы такое сложное искусство могло быть «побочным занятием» при какой-нибудь высокой государственной должности (князя, боярина, дружинника, дипломата и т. п.). Иными словами: совершенно исключается возможность того, чтобы автором был сам князь Игорь или кто-то из высокого княжеского окружения Игоря, Святослава, Всеволода и т. п.

Как и всякий подлинный художник, автор «Слова» не делит своих персонажей на положительных и отрицательных. Этот примитивный, «школьный» вариант трактовки действующих лиц ему совершенно чужд. Он не делит княжеские линии на те, которым он сочувствует, и на те, которые он считает отрицательными. Он в равной степени свободно осуждает Ольговичей и Мономаховичей, Ярославичей и Всеславичей. Однако вместе с тем он сочувствует личным несчастьям тех и других. В его произведении нет злодеев или «положительных героев». Об этом я много писал, и нет необходимости это повто-

¹ Стеблин-Каменский М. И. Скальдическая поэзия// Поэзия скальдов. Л., 1979. С. 77—93. (Сер. «Лит. памятники»).

² Шарыпкин Д. М. 1) Скандинавская тема в русской романтической литературе (1825—1840)// Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1975. С. 161—177; 2) Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов// ТОДРА. Л., 1976. Т. 31. С. 14—22.

рять сейчас. Как нет необходимости приводить примеры осуждения автором Игоря, а вместе с тем и сочувственного к нему отношения — к его ранам, к его бедствиям, как и к несчастному положению его жены Ярославны, сумевшей все же вымолить у природы (ветра, солнца и рек) возвращение ее мужа из плена в своем плаче, который был бы художественно не оправдан, если бы автор относился к Игорю и его ошибкам примитивно отрицательно. Отклики в природе, стремление природы помочь и предупредить русских об опасности, помощь зверей и оплакивание павших даже в несправедливой борьбе (как, например, юноши Ростислава) свидетельствуют о широком человеческом сочувствии автора «Слова» любому человеческому горю. Особенно ясно это в отношении населения русских городов и сел, злосчастная судьба которого его постоянно беспокоит, а радости которого при возвращении Игоря на Русскую землю он явно сочувствует. В «Слове» вообще нет злобы, хотя есть осуждение многих и многого. Необходимо добавить к тому, что я уже писал на этот счет, что и к половцам автор относится как к врагам, но без попытки изобразить их в оскорбительной манере. Напротив, диалог гнавшихся за бежавшим Игорем ханов Гзы и Кончака свидетельствует о признании за ними «равноправной» стороны, рассуждающей о том, как удержать Игоря в своем лагере (с помощью девицы, т. е. предполагаемого супружества). При этом и вопроса не возникает, чтобы засадить Игоря в поруб или заковать.

Вместе с тем кого он больше всего жалеет, кому сочувствует во всех его несчастиях и ошибках, принесших много горя народу, — это, конечно, Игорь.

Каково было отношение автора «Слова» к летописи? «Повесть временных лет» он явно знает (у меня в работах приведены и примеры), но знает он и больше того, что есть в летописях. Это несомненно. М. Д. Приселковым было текстологически¹ обосновано и выделено самосто-

¹ Подчеркну, что русская филологическая и историческая наука выработала строгую методику анализа летописей и установления их

ятельное летописание Ольговичей (в первую очередь Святослава и его сына Игоря) в составе Ипатьевской летописи. Обоснования М. Д. Приселкова были мною учтены и развиты в книге «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (М.; Л., 1947), а затем в ряде специальных исследований (см., например, в книге «„Слово о полку Игореве“ и культура его времени». Л., 1985). Возникает вопрос: не является ли автор «Слова» летописцем Игоря, тем более что в обширном летописном повествовании о походе Игоря есть и сходное осуждение Игоря, и сочувствие ему, и ряд близких выражений и определений. Однако сходство летописного рассказа о походе касается таких фактов и таких словесных оборотов и лексических совпадений, которые по своему характеру ближе к «Слову», чем к летописному способу выражения. Поэтому, по всей видимости, не летопись влияла на «Слово», а «Слово» — на летопись. Иными словами, «Слово» было известно летописателю Игоря. Поскольку летопись Игоря отражала его мысли (ср. две исповеди Игоря в составе рассказа о походе 1185 г.), можно думать, что и «Слово» не было тайной от Игоря и, вероятнее всего, составлялось где-то в ближайших к Игорю кругах. Но судя по тому, что автор «Слова» знает обращение Святослава к русским князьям (см. его «золотое слово со слезами смешано») и эти обращения продолжает от себя, берет на себя смелость говорить за Святослава, автор бли-

истории на основе кропотливого сличения текстов всех дошедших до нас списков. Это грандиозное завоевание русской текстологии принадлежит А. А. Шахматову и его последователям (М. Д. Приселкову, А. Н. Насонову) и было распространено затем на изучение всех древнерусских текстов, дошедших до нас во многих списках. Текстологическая методика полностью исключает субъективный подход к летописям и субъективное же выделение в них летописей-протографов. Опровергнуть выводы текстологического анализа можно, только повторно исследовав и пересмотрев результаты сличения текстов. См. подробнее о текстологических методах современной науки: Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X—XVII веков. 2-е изд. Л., 1983. С. 49—57.

зок и к Святославу Киевскому. Т. е. можно предполагать переезды автора как странствующего профессионального певца из одного княжества в другое, что в свою очередь объясняет его хорошую ориентацию в княжеских делах своего времени, т. е., как я считаю, — времени самого похода. «Слово» носит характер живого, непосредственного отклика на события похода Игоря, его пленения и бегства. Высоким положением профессионального певца, а не только традиционными приемами певца, объясняется его свободное обращение ко всем современникам событий похода.

Положение певца в средневековой Европе, а очевидно и на Руси, было достаточно высоким, поэтому автор «Слова» говорит с князьями, обращается к ним как равный. У него нет униженного тона, как, скажем, у Даниила Заточника. Именно этим объясняется то, что мы не можем найти границу между «золотым словом» Святослава и его продолжением, принадлежащим автору «Слова». Автор «Слова» явственно ощущает свое высокое положение в обществе, как и Боян, который также судит князей как равный.

Все это объясняет, почему автор «Слова» не призывает к восстанию против князей или к победе одной линии княжеского рода над другой. У него нет политической озлобленности. Он судит своих современников с высоты своего положения певца-пророка, а не унижаемого и страдающего представителя низов. Он вообще ничей не «представитель». Он выше и он независим. Он над распрями Ольговичей и Мономаховичей, Ярославичей и Всеславичей.

Отличие автора «Слова» от летописца прослеживается еще в одном вопросе: вопросе о «язычестве» автора «Слова». Ни один летописец не говорит о языческих богах или поверьях с верой в них или в целях передачи каких-то художественных идей, мотивов, настроений. Между тем автор «Слова» постоянно прибегает к языческой мифологии. Спрашивается: делает ли он это, веря в языческих богов, или для него языческие боги и поверья лишь сред-

ство для передачи своих художественных представлений — художественные образы, аллегории, символы? В «Слове» есть немало языческих элементов, в реальную религиозную значимость которых автор «Слова» поверить не мог. Вряд ли автор «Слова» верил в реальность «Девы Обиды» или древа, склоняющегося до земли «съ тугою». Это не что иное, как художественные образы.

Между тем заключительный приезд Игоря к церкви Богоматери Пирогощей — это, конечно, «подразумеваемая реальность». Под «подразумеваемой реальностью» я разумею желание автора выдать изображенное не за аллерию, а за действительное событие. Это исключает возможность аллегорического смысла обращения Игоря к церкви (или иконе) Пирогощей. Игорь христианин, как и автор «Слова». Так же точно христианин и Боян, говорящий в своей «припевке» о «суде Божьем» («Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути»). Суд Божий предполагает существование единого Бога. Трудно представить себе посмертный «суд Божий» в языческом многобожии. Таким образом, и в данном случае автор «Слова» сходен с певцом, жившим за век до него. Одна деталь, однако, привлекает к себе внимание: обращаясь в своем плаче к солнцу, ветру и Днепру, Ярославна изображена как верящая в их силу. Это говорит о том, что автор «Слова» не отрицал существования языческой веры у других, и характерно — у Ярославны, что очень правдоподобно, учитывая известный религиозный консерватизм женщин.

Можно было бы еще многое говорить об особенностях мировосприятия автора. Однако в этом нет необходимости, так как любой вывод о «Слове» как о произведении является выводом и о его авторе.

Сказанного об авторе «Слова» в целом, как мне кажется, достаточно, чтобы отпали некоторые из гипотез, пытающиеся навязать «Слову» совсем неподходящих авторов, найти его имя и положение среди скудного числа случайно дошедших до нас в документах имен. Автор «Слова» принадлежал к многочисленному и, как

явствует из дошедших до нас памятников искусства, талантливому народу. Нельзя поэтому не согласиться с общими осторожными выводами статьи Л. А. Дмитриева «К вопросу об авторе „Слова о полку Игореве“»¹.

1993



«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ

«Слово о полку Игореве» представляет собой художественное целое. Ни одна часть в нем не может быть переставлена, исключена или объявлена чужеродной. У исследователей нет никаких серьезных оснований предполагать в «Слове» пропуски, незаконченность текста или разновременность написания его отдельных частей. Если предположения о чем-либо подобном и делались, то авторы такого рода предположений игнорировали стилистические связки и общность приемов, проходящие по всему тексту «Слова», единство композиции «Слова».

«Слово о полку Игореве» — произведение не только эпическое, но и лирическое. Поэтому оно не имеет строгой повествовательной линии. Его единство основано на других принципах.

«Слово» посвящено походу Игоря, но не рассказывает о нем, а как бы откликается на него. От этого в «Слове» закономерны часто неожиданные лирические переходы от одной темы к другой, от одного географического пункта к другому, из настоящего времени в прошлое, предчувствия будущего и т. д. И именно лирическая обоснованность этих переходов связывает «Слово» в единое целое, скрепляет текст «Слова».

Художественное единство «Слова» подкреплено множеством различных художественных «скреп». «Слово»

¹ См.: РЛ. 1986. № 4. С. 3—24.

вновь и вновь напоминает читателю, что оно едино: и переключками текста, и рефренами, и лейтмотивами, и повторениями, и ассоциативными связями далеко отстоящих друг от друга мест текста, и общностью настроения, и как бы сбывающимися предчувствиями. Тот или иной художественный образ встречает аналогию через какой-то промежуток текста, повторяется, развивается — гаснет или вспыхивает. Текст словно связан железными тягами.

Наиболее общая скрепа, которая связывает начало и конец «Слова», — это солнечный свет. В начале «Слова» солнце дважды предупреждает Игоря об опасности: «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты». Это при выступлении в поход. В самом походе: «Солнце ему тьмою путь заступаше»¹. В битве на Каяле: «На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла». После поражения: «Нѣ уже, княже, Игорю утрыпѣ солнцю свѣтъ». Затмение солнца напоминает

¹ Второе упоминание затмения солнца часто подставляется издателями к первому, и допускается при этом перестановка целого отрывка текста, где говорится о выступлении Игоря в поход, после того, как Всеволод Буй Тур выразил свое согласие присоединиться к Игорю. Однако второй отрывок вовсе не свидетельствует об ошибке переписчиков, создавших этой своей якобы ошибкой будто бы второе затмение. Автор «Слова» вторично говорит о затмении, чтобы подчеркнуть, что он им пренебрег, как он пренебрег и другими предзнаменованиями, дальше упоминаемыми. Игорь выступил в поход («поѣха по чистому полю»), хотя солнце (перед этим) «тьмою путь заступаше» (прикрывало воинов тьмою), а затем ночь «стонала грозою», «свистъ звѣринъ вста», «збися дивъ» и «кличеть врѣху древа» — это все предзнаменования, которыми пренебрег Игорь. И все остальные доводы в пользу перестановки также субъективны, включая и ошибочно произведенный В. Н. Перетцем расчет выпавшей страницы, в результате чего якобы и произошла перестановка (ошибочность этого расчета была впоследствии признана самим В. Н. Перетцем). Что касается предположения, что сближение двух «тогда» («тогда Игорь възрѣ» и «тогда вступи Игорь») соответствует ритмической организации текста «Слова», то в таком случае необходимо было бы допустить и еще одну перестановку: «Тогда Игорь вѣступи» вместо: «Тогда вѣступи Игорь», что соответствовало бы словам «тогда Игорь възрѣ».

В «Слове» не требуется ни этой, ни других перестановок.

читателю не единожды, не дважды, а четырежды в разные моменты похода. Зато в конце «Слова», где говорится о возвращении Игоря на Русскую землю, автор восклицает: «солнце свѣтитя на небесѣ, — Игорь князь въ Руской земли».

Художественные скрепы не всегда сразу замечаемы. Укажу, например, на такую. Когда Игорь попал в плен, «высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево», тогда «уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче». Этот образ унывающих городов («забрала» — городские стены, это места общественных собраний, где поют славу или плачут) и поникшего по всей стране веселия не забывается автором в дальнейшем, ибо, когда Игорь возвращается из плена, — «страны ради, гради весели». Опять-таки перед нами художественная переключка начала событий и их конца.

В «Слове» обнаруживаются скрепы очень частные, иногда крайне слабо обозначенные, но тем не менее вполне реальные и воздействующие на читателя «в малых дозах». Приведу примеры.

В начале произведения Всеволод Буй Тур, характеризуя своих воинов, говорит: «...луци у нихъ напряжени, тули отворени». Этому отвечают слова в плаче Ярославны, обращенные к солнцу: «...въ полѣ безводнѣ жаждею имѣ лучи съпряже, тугою имѣ тули затче». Почему «тули затче»? Потому, что раньше они были «отворени». Почему солнце «съпряже» луки, сделало их негодными? Потому, что раньше они были «напряжены». И тулы, и луки были готовы к битве, а теперь стали неспособны. Похвальба Всеволода и плач Ярославны — имеют переключку.

Все в «Слове» очень конкретно. Что значит, что солнце горем заткнуло колчаны русских воинов: «тугою имѣ тули затче»? Горе вошло в колчаны русских воинов потому, что они были пустые, — в них не стало больше стрел, все расстреляли. Если это так, то битва была безнадежно проиграна. Тулы (колчаны) русских оказались пустыми, то есть без стрел. Но в битве было и

еще одно обстоятельство, приведшее к решительному поражению, — это то, что полки некрещеных степных народов, союзников русских, дрогнули и побежали. Вот почему, рассказывая о своем сне, предвещавшем ему поражение войск Игоря, Святослав Киевский говорит: «сыпахуть ми тѣщими (пустыми от стрел) тули (колчанами) поганыхъ тльковинъ (побежавших в битве союзников русских — торков) великый женчюгъ на лоно и нѣгують мя».

Получается своеобразная цепь соответствий и противопоставлений. Если «тули», отворенные в начале похода, «заткнуты» горем в результате поражения, то в сне Святослава снова появляются эти тули: они пусты от стрел и из них сыплют на лоно Святослава символ слез — жемчуг «поганые тльковины», то есть языческие союзники, бегство которых предрешило печальный исход битвы и привело к пленению Игоря, отдалившегося от своего войска, чтобы повернуть толковин назад.

Художественная полнота образов «Слова» поддерживается их соответствием реальности. Несмотря на то что перед нами отнюдь не реалистическое искусство, связь с реальностью во многих случаях очевидна и обуславливает собой художественные образы.

Так, например, иссохшие в безводном поле на солнце луки и пустые от стрел колчаны, заткнутые «тугою», — это, конечно, определенные символы, но одновременно они объясняются характером сражения. Согласно рассказу Лаврентьевской летописи, русские воины были истощены безводием в результате того, что половцы не подпускали их к воде, действуя против них массированной стрельбою, стрелами, запас которых у окруженных половцами русских был, конечно, ограничен: «И сняшася с ними стрельци, и бишася 3 дни стрельци, а копы ся не снимали, а дружины ожидающе, а к воде не дадуще им ити; и приспе к ним (к половцам. — Д. Л.) дружина вся, многое множество. Наши же, видевшие их, ужасошася и величанья своего отпадоша... изнемогли бо ся бяху безводием, и кони, и сами, в знои, и тузе, и поступиша мало к воде, по 3 дни

бо не пустили бяху их к воде...» Вот почему не только воины, но и луки их были иссушены жаждою, пересохли на жаре. И вот почему Ярославна обращается с упреком к солнцу.

Возвращаясь к характеристике Всеволодом его воинов, мы замечаем, что его слова оказываются бахвальством и в другом отношении. В числе воинских добродетелей своих курян Всеволод называет и такое: «...пути имь вѣдоми, яругы имь знаеми...» Но яругы, как в дальнейшем оказывается, не только «знаемы», но и полны тревожной неизвестности: «...вълци грозу вѣсрожать по яругамь». Это снова ответ на бахвальство Всеволода, хотя он и проявляет себя как мужественный воин. В конце концов не только Всеволод, но и Игорь переоценивает свои возможности, выступая в поход, «не сдержав юности».

Характеристика Всеволодом курян переходит на всех воинов Игоревой рати. По словам Всеволода, куряне «сами скачють, акы сѣрыи вълци въ полѣ, ищучи себѣ чти, а князю славу». В походе все воины Игоревой рати перегородивают «поля чрълеными щиты», «ищучи себѣ чти, а князю славы». И дальше эта характеристика русских воинов противопоставляется характеристике половцев в смежной части: если русичи перегородили поля черлеными щитами, то «дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты».

Один из наиболее частых приемов объединения текста «Слова» в единую ткань — это повторения. Повторяемость встречается в «Слове» в различных видах. Каждый из этих видов имеет, помимо общего эстетического назначения повторяемости, еще и частные цели.

Один из наиболее частых видов повторений в «Слове» — это перечисления: «съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы».

Перечисления встречаются как способ усиления, как способ гиперболизации. Так, например, перечисление народов, поющих славу Святославу, служит показу широты распространения этой славы: «Ту нѣмци и вене-

дици, ту греци и морава поють славу Святъславлю»¹. После первой победы Игорю подносят трофеи — черлен стяг, белу хорюговь, черлену чолку и сребрено стружие. В связи с тем, что все это может быть частями одного предмета, у меня возникла мысль, не значит ли это, что Игорю подносится какой-то один пышный знак — символ власти, на стяге-древке которого могли быть и стружие, и чолка? Однако мне не удалось найти в древней литературе ни одного случая такого «описательного разделения» упоминаемого в произведении предмета. О каждом предмете говорится в древнерусских литературных произведениях как о некоей цельности — будь ли то бор, дом, церковь, человек или что-то другое. Только при описании построения храма или специально его драгоценных материалов, из которого он составлен, и предметов искусства, его наполняющих, можно было перечислять их отдельно. Подносимый же предмет мог быть изображен с соответствующими эпитетами, если они необходимы в рассказе только как объекты действия (в приведенном выше примере из «Слова» — как поднесение трофеев). Перечисление различных трофейных предметов встречается и в другом месте «Слова»: «...орьтъмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ». Это перечисление также показывает богатство трофеев.

Повторение тех или иных слов и выражений подчеркивает длительность действия: «бишася день, бишася другий; третяго дни къ полудню падоша стяги Игоревы». Аналогичным образом автор «Слова» пользуется и словом «уже»: «уже снесся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже врѣжеся дивь на землю».

Повторяемость этих «уже» связана еще с одной особенностью в «Слове» — наличием в нем рефренов. Рефрен не только важен для атмосферы оплакивания проис-

¹ Указательное местоимение «ту» встречается и в других перечислениях в «Слове»: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти». Прямая цель этого перечисления — подчеркнуть ожесточенность наступающей битвы.

ходящего, но и как «стук судьбы», явление частное в музыке и придающее «Слову» своеобразную музыкальную организованность. Собственно «чистых» рефрена в «Слове» два: «О Русская земле! Уже за шеломянемь еси!» и «А Игорева храброго плъку не крѣсити!». Мне уже приходилось писать по поводу последнего рефрена, что выражение «не кресити» несколько раз употребляется и в летописи как формула отказа от родовой земли.

Рефрены в «Слове» носят характер некоторого примирения с судьбой, констатации безвозвратности совершившегося или носят церемониальный характер.

Дважды в «Слове» говорится о дружине: «ищучи себѣ чти, а князю славъ». Это церемониальная фраза. Различие между честью и славой в том, что «слава», кроме чести, дает еще и известность — известность на Руси и за ее пределами. Славы может достигнуть только князь, чье имя становится известным и способно даже вызывать страх, как вызывали в других произведениях страх имя Владимира Мономаха или Александра Невского. Дружина не может стать далеко известной по имени, поэтому на ее долю приходится только честь, которую могут получать и князья¹. Поэтому рефрен — это своего рода церемониальное объяснение храброго поведения дружины.

Но, помимо явных рефренов, в «Слове» есть как бы и скрытые рефрены, заключающиеся в повторении образов, а иногда и отдельных слов: «Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославя; были плъци Олговы, Ольга Святъславличя». Повторения, сопряженные с разъяснениями, создают ощущение неторопливости рассказа, подчеркивают длительность происходящего. Как изобразительный способ длительности времени ожидания Игорем бегства может быть понято и следующее перечисление изменений в состоянии Игоря: «Погасоша вечеру зори.

¹ Иного мнения (более строгого разграничения и противопоставления чести и славы) придерживается Ю. М. Лотман. См.: Лотман Ю. М. Об оппозиции честь — слава в светских текстах Киевского периода // Учен. записки Тартуск. ун-та. Вып. 284. 1971. С. 464—466.

Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслию поля мѣрить отъ великаго Дону до малаго Донца». Повторение «Игорь» (трижды) создает то же впечатление сосредоточенности действия в Игоре, длительных переходов времени, сопряженного с ожиданием.

В качестве одного из видов повторений могут рассматриваться и идущие подряд одинаковые синтаксические конструкции — особенно короткие: «земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають»; «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море...»; «стрешаше е гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ»; «летятъ стрѣлы каленыя, гримлютъ сабли о шелома, трещать копиа харалужныя». Святослав «своими сильными плѣкы и харалужными мечи» «притопта хльми и яругы, взмути рѣкы и озеры, иссуши потоки и болота».

Постоянные эпитеты также являются элементом «поэтики повторения». Так, например, кони в «Слове» имеют эпитет «борзый», чем подчеркивается главное достоинство боевого коня — его быстрота. «...А всядемъ, братие, на свои бръзья комони», — говорит Игорь перед походом. К своему брату Всеволоду Игорь обращается: «Сѣдлай, брате, свои бръзьи комони». Когда Игорь бежит из плена, снова говорится о борзых конях: «А Игорь князь... въвржесе на бръзь комонь», Игорь с Овлуром загнали («претръгоста») «своя бръзая комоня». Этот эпитет коня постоянен и в других древнерусских произведениях: в русском переводе «Хроники Георгия Амартола», в Ипатьевской летописи, в «Девгениевом Деянии», «Хронике» Малаля, «Великих четых минеях» и пр.¹

Эпитет «злат» по отношению к княжескому стремени встречается в «Слове» трижды: «въступи Игорь князь въ златъ стремянь», «ступаетъ (Олег Святославич) въ златъ стремянь», «Вступита, господина, въ злата стремянь...».

¹ См.: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1. М.; Л., 1965. С. 60—61.

Трижды автор «Слова» называет Игоря Святославича «буим», и каждый раз в связи с упоминанием его ран: «Вступита, господина (Рюрик и Давид), въ злата стремь за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича»; «Стрѣляй, господине (Ярослав Осмомысл), Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича»; «Загородите (Ингварь и Всеволод и все трое Мстиславичей) полю ворота своими острыми стрѣлами за Землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича». Трижды повторяется одно и то же выражение. Не означает ли связь ран и буести, что раны Игоря, одна из которых, в левую руку, была получена им при попытке остановить бегство ковуев, — свидетельство его особой храбрости?

Примечательно то, что «постоянные» эпитеты в «Слове» употребляются вовсе не постоянно, а только в тех случаях, когда они осмыслены. «Борзый» конь только тогда «борзъ», когда быстрота его необходима — в выступлении в поход или в бегстве. Боян — «вещий» тогда, когда необходимо подчеркнуть его мудрость, прозорливость, умелость: «Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше гѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу...»; «Тому (Всеславу) вѣщей Боянъ и прѣвое пригѣвку, смысленый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути“», «чи ли вѣсгѣти было, вѣщей Бояне, Велесовъ внуче...» (далее пример того, как бы воспел Боян).

Как явление повторяемости можно рассматривать и отдельные случаи частого употребления отдельных слов.

«Слово» постоянно сопрягает и ассоциативно связывает различные явления. Это поэтический прием как бы игры. Связать разные явления помогает постпозитивный союз «бо» со значением «потому что», «так как», и то же слово как усилительно-выделительная частица со сходным значением — «же», «ведь». Ср. «Уже, княже, туга умь полонила, — се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата», «нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». В последнем случае создается впечатление,

что «нечестность одоления» Игорем и Всеволодом происходит оттого, что они «нечестно бо кровь поганую» пролили, то есть Игорь и Всеволод осуждаются за их первую победу над половцами.

Не случайно, думается, в «Слове» слово «бо» употреблено 25 раз¹ — это один из основных приемов слияния (скрепления) различных смысловых блоков в единое целое. Повторения есть и в диалогах, когда прославляемый отвечает прославляющему в тех же выражениях. Ср. диалог Донца с Игорем: «Донецъ рече: „Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа!“ Игорь рече: „О Донче! Не мало ти величия...“».

Можно отметить и следующую особенность «Слова»: если в современной художественной прозе «глаголы говорения» чрезвычайно разнообразны и, в сущности, любые глаголы человеческих действий могут быть обращены по своему значению в «глаголы говорения» (например, со словами прямой речи можно не только «обратиться», но также «обернуться», «прервать», «засмеяться», «улыбнуться» и т. д.), то в «Слове» и в Древней Руси даже ритуал плача, который во всех случаях требовал слов или пения, сопровождается обозначением «а ркучи» или «аркучи» (какая из этих форм правильнее, не установлено): «Жены руския въсплакашась, аркучи» (далее идут слова плача); «Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи» (далее слова плача). Последняя форма введения слов повторена в «Слове» трижды.

Наконец, следует упомянуть и о ситуационных повторениях. Эти ситуационные повторения вызваны, с одной стороны, тем, что только некоторые явления жизни считались эстетически ценными (война, охота, земледелие и пр.), а с другой — древнерусским ритуалом, которым сопровождалось то или иное событие.

Обращает на себя внимание в «Слове» и значение «берега» или «брега» как места ритуальных действий,

¹ См.: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1. М.; Л., 1965. С. 51—54.

оплакиваний, ритуальных пений. Ср.: «темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ»; «се бо готьскыя красныя дѣвы възспѣша на березѣ синему морю»; «Немизѣ кровави березѣ не бологомь бяхуть постѣяни, постѣяни костьми рускихъ сыновѣ». Возможно, что и место разлуки Игоря со Всеволодом, происходящей «на березѣ быстрой Каялы», тоже имеет ритуальное значение, в связи с чем повышается уровень возможности признать название реки Каялы символическим, как реки «каяния», «плача», горести¹.

Простое упоминание берега без связи с определенными значительными событиями и не как места поминаний и ритуалов имеется в рассказе о бегстве Игоря: «О Донче! не мало ти величия, лелѣявшу князя на влънахъ, ставшшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ березѣхъ». Возможно, что берег подразумевается в конце «Слова», где говорится о пении дев славы Игорю: «Дѣвици поють на Дунаи — выются голоси чрезъ море до Киева».

Знаменательно, что в летописи мне не встретилось употребление «берега» как места какого-то ритуала, очевидно, языческого и потому именно встречающегося в полуязыческом «Слове о полку Игореве».

В самом построении «Слова», в его композиции есть признаки повторений. Так, например, «Слово» постоянно переходит от темы к теме, от настоящего к прошлому, от общегосударственного к личному. Ритм этих переходов создает как бы задержки в повествовании. Автор как бы не может рассказать о поражении Игоря. Он переходит к прошлому — к событиям, близким по характеру, призванным объяснить печальное настоящее. Обращаясь к отдельным живущим князьям, автор «Слова» делает это по определенной схеме, напоминая им о прошлом и об их возможностях. Эти обращения кажутся от этого тоже как бы введенными

¹ См. именно такое толкование Каялы в работе: Дмитриев Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. IX. 1953. С. 36.

в определенный ритм повторений. Ярославна молит природу (ветер, Днепр, солнце) помочь Игорю, и в ответ Игорь возвращается на Русь. Ему помогают реки. Реки стерегут его «чрънядьми на ветрѣхъ». «Солнце свѣтитсѧ на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли». Возвращение Игоря — как бы ответ на мольбу Ярославны, на ее обращение к ветру, Днепру, к солнцу. Этот ответ не прямой — как бы завуалированный. Аналогичным образом повторы в «Слове» не всегда ясно различимы. Многие только ощутимы, даны в намеках. Тем сильнее их поэтическое воздействие.

Учитывать повторяемость образов и выражений в «Слове» необходимо постоянно, особенно когда дело идет о внесении в текст «Слова» поправок. Из всех предложенных исправлений следующего места «Слова» (цитирую по первому изданию): «...а самъ подѣ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанѣ Литовскими мечи. И схоти ю на кровать, и рекъ: дружину твою, княже, птиць крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша», как кажется, наиболее вероятно следующее исправление: «а самъ (Изяслав Василькович) подѣ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанѣ литовскими мечи и с хотию на кров, а тѣи рекъ: „Дружину твою, княже, птиць крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша“». «Хоть» — название любимого княжеского певца встречается еще раз ниже, где говорится о Бояне (а возможно, не только о Бояне, но и другом певце — предполагаемом Ходыне). Боян назван там «хотем» князя Олега: «Рекъ Боянѣ и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярослава, Ольгова коганя хоти: „Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы — Руской земли безѣ Игоря“». Тут снова песнотворец-«хоть» выступает в роли мудреца, произносящего свой суд над свершившимся. Еще одно повторение в этом месте «Слова» — это смерть на траве, на кровавой, на крови, смерть от ран — плавание в крови. Предлагаемое исправление выдержано в художественной системе «Слова»: Изяслав Василькович погибает, притрепанный мечами на кровавой траве, вместе со своим певцом, и тот

произносит умирающему князю свой приговор — в типичной для певцов афористической форме. Исправление заключает в себе элементы типичных для «Слова» повторений.

Обратимся к композиции «Слова». Сон Святослава — центральный эпизод «Слова» и тем существеннее, что он подготовлен уже заранее — первой, недоброй и «нечестной» победой Игоревой рати. В самом деле, победа имеет тревожный характер, и в тексте «Слова» она как бы обрамлена беспокойной ночью и сном войска, который потом как бы отражается и в сне Святослава.

Перед битвой «Дльго ночь мръкнетъ. Заря свѣтъ за- пала». А после: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло!» И дальше идут тяжелые предчувствия поражения: «Не было оно (гнездо.— Д. Л.) обиде порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине!» Наступает и само поражение, приводятся его исторические аналогии. После чего следует: «А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ въ Киевѣ на горахъ», весь состоящий из символов смерти и горя.

Таким образом, ночные предчувствия поражения предшествуют вещему сну Святослава, говорящему об этом поражении.

Это замечательная, очень тонкая поэтическая переключка в «Слове».

Сон Святослава вещей и весь пронизан тревогой за судьбу Игоря, оказавшегося в плену у моря. Мысли Святослава полны думой о смерти: уже снят кнес с терема Святослава, и «бусови врани» собираются нести его к морю, где в самом деле или только символически (море — символ враждебности и неизвестности; см. символические значения «моря» в Библии) находится Игорь. В связи с этим, как кажется, текст «Слова» — «...бусови врани възграяху у Пльсьнска... и несошася къ синему морю» следует читать: «...бусови врани възграяху у Пльсьнска... и несоша мя къ синему морю». В первом издании «Слова» стоит «несошася», но «ся» и «мя»

легко могли быть спутаны, ибо местоимение это («ся» или «мя») могло писаться под титлом.

Носился или не носился Всеслав Полоцкий к Тмуторокани (сведений об этом нет в летописях), — это, в конце концов, неважно. Автор не рассказывает подлинную историю Всеслава. Он дает ее художественное осмысление. Главное для автора «Слова» в том, что Игорь идет походом («летит» — Игоревое хороброе гнездо «далече залетело») к Тмуторокани, поставив ее дальнею целью своего похода, а в этом самонадеянном желании он уподобляется Всеславу, оборотнем носившемуся по Руси. При этом Всеслав несся к Тмуторокани именно ночью, до пения петухов, до восхода солнца. И в изображении первой победы Игоря, когда его мечты о Тмуторокани были, казалось бы, особенно реальны, тоже выступает бессонная ночь Игоря. Не случайно изображается ночное томление Игорева войска и оно ассоциируется с ночными передвижениями Всеслава.

Не случайно и Олег Гориславич «ступаетъ въ златъ стремянъ въ градъ Тмутороканѣ» и звон этот достигал до Ярослава в Киеве — он слышал его пророчески, а Владимир Всеволодович закладывал от него уши в Чернигове именно утром, то есть как бы просыпаясь от ночных тревог княжеских усобиц.

Первая, удачная для Игоря, битва обрамлена двумя тревожными ночами — ночью перед битвой и ночью после битвы. Вторая ночь особенно полна дурными предчувствиями, и они служат переходом к трагическим предзнаменованиям сна Святослава. Переходом к сну Святослава служит не только поражение Игоря со всеми его горестными последствиями для Русской земли, но и воспоминания о том, как Святослав перед тем «успиль» (усыпил) разбуженную теперь Игорем и Всеволодом «катору».

Сон Святослава заканчивается тем, что его несут «къ синему морю» — опять туда, к морю, достичь которого легкомысленно стремился Игорь.

Ночь и море, как и окружающее Русь поле незнае-

мое, — это все горькая неизвестность, несущая для Руси все несчастья.

Тринадцать раз упоминается море в «Слове». Море — это, как и поле незнаемое, страна незнаемая, стихия неизвестности, окружающая Русь. В неизвестность идет Игоревое войско; из неизвестности наступают на Игоревое войско половцы; оттуда идут черные тучи; там поют готские девы, лелея месть за Шарукана; в неизвестности находится в плену Игорь; из неизвестности встает и угрожает Руси Дева Обида; к неизвестности, к морю, шлет свои слезы Ярославна; из неизвестности указывает Бог путь Игорю на Русскую землю; преодолевая неизвестность, вьются до Киева голоса дев, поющих на Дунае. Главное символическое значение моря — неизвестность, чреватая несчастьями.

Русская земля предстает перед читателями как остров среди окружающей ее неизвестности, как нечто знаемое среди незнаемого, как организованное начало среди хаотической неизвестности — «поля незнаемого» — и в такой же мере незнаемого моря, откуда идут на Русь враги и тучи, дует враждебный ветер, неся на своих «нетрудных» крыльцах вражеские стрелы, на берегу которого заточен Игорь в плену и плещет лебедиными крылами Обида, через которое вьются голоса девиц с Дуная до Киева и т. д. Степь и море несут в себе начала хаоса и неизвестности.

Призыв «Слова» к единению — это не только военная мобилизация князей против степи, но в нем заключен еще и второй план — призыва к известности против неизвестности, мы бы сказали сейчас — культуры против антикультуры. Именно поэтому автор «Слова» мобилизует историческую память и политическую географию Руси, князей живущих и умерших, города и реки далекие и близкие, присутствующих и отсутствующих.

Вот почему форма напоминаний, воскрешения прошлого — это форма, наиболее близкая к задачам произведения: выводить из неизвестности, говорить об известном, обращаться к памяти, выводить из забывчи-

восте, напоминать князьям об их долге, поражениях и победах, силе и слабости.

Предчувствия — это тоже связка, скрепа. Эти предчувствия, как и полагается им, выражены очень неясно. Дважды повторенное восклицание «О Руская земле, уже за шеломянемъ еси!» — это, конечно, предчувствие. Прямое предчувствие — солнечное затмение еще более осязаемое предчувствие — размышление автора перед битвой: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо, далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине!» Еще более определенное предчувствие в словах автора: «Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломя половецкыя». Хотя ни прямо, ни косвенно о поражении здесь не говорится, но читатель понимает: так не говорят о будущей победе.

Когда о поражении уже сказано и приведены исторические аналогии, автор связывает настоящее с прошлым следующим восклицанием: «То было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицей рати не слышано!»

«Предчувствия» исторических событий играют роль своеобразных «ситуационных антиповторов» — перевернутых ситуационных повторений. Если в «Слове» события настоящего имеют как бы прототипы в прошлом, то прототипы будущих событий — это их предчувствия в настоящем. Это как бы тени, отбрасываемые событиями будущего в настоящем... Следует указать на большую роль, которую играют в «Слове» предчувствия — прямо или косвенно выраженные. Прямо выражены предчувствия событий в таких фразах, как: «быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго» (замечательно, кстати, это повторение слова «великий»: «грому великому» и «Дону великаго»).

Приметы неоднократно используются в «Слове» в художественных целях. Они создают напряженность ожидания. Мутное течение реки — очевидное предчув-

ствии несчастья. «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають, стязи глаголютъ: половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ рускыя плѣкы оступиша». Перед битвой реки мутно текутъ, и это не только потому, что они замутнены переходящими вброд вражескими конями или отдаленным ливнем, но потому, что представляют образ надвигающагося несчастья. Прямой угрозой полно мутное течение рек: «Сула не течеть сребренными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ под кликомъ поганыхъ».

Благодаря приметам события воспринимаются в «Слове» как сбывшиеся предчувствия, как нечто предвиденное и предсказанное, как нечто значительное. Эта значительность исторических событий выражена через разнообразные ряды повторов, которые создают впечатление какой-то предопределенности происходящего. Разнообразные повторы в «Слове о полку Игореве» образуют различные микроритмы, связывающие в единое целое все многообразие его тем. Повторы вторгаются в смысл произведения. События похода Игоря удивительно умело вплетены в ход всей истории Руси именно благодаря этим связующим нитям малых ритмов, повторений и, конечно, предчувствий.

В «Слове» очень часто повторяется наречие «уже»: «уже бо бѣды его пасеть птицъ по дубию»; «уже дѣскы безъ кнѣса»; «О Руская земле! уже за шеломянемъ еси» (дважды); «уже снесся...»; «уже, княже, туга умъ полонила»; «нѣ уже, княже Игорю»; «уже бо Сула», «уже понизите стязи свои» и т. п. Случайно ли это слово? Мне кажется, что в этом «уже» указывается на то, что событие предвиделось ранее, как бы созрело для своего осуществления. Произошло то, чего следовало ожидать. Все действие «Слова» втянуто в течение поэтической судьбы, поэтического предвидения, и тем создается особое настроение — «исторической лирики», русская история воспринимается лирически. Каждое из этих «уже» связано с какими-то печальными событиями,

возникает ощущение какой-то обреченности, неизбежности и значительности совершающегося.

Мы уже писали, что в «Слове» преобладают описания действий над описаниями неподвижных состояний. Добавим к этому, что если в «Слове» попадаются описания состояний, то как результатов действий. Святослав Киевский видит во сне свой «терем без кнеса». Что это: особый терем, построенный без кнеса, чудесным образом отсутствующий кнес в нерушимом тереме или терем поврежден? Думаю, что перед нами последнее. Свидетельством тому служит это «уже»; «Уже дьскы безъ кнѣса». Раньше он не был без кнеса. И это, согласно «Слову о князех» того же времени, служит знаком близящейся смерти: «единою рассѣдеся верхъ теремцю», и через этот расседшийся верх в терем влетает голубь за душою. Эта параллель к «Слову» обычно не указывалась исследователями, а привлекался фольклорный и этнографический материал. Однако показания «Слова о князех» особенно важны тем, что это произведение того же времени имеет и другие сходства со «Словом о полку Игореве» и подчинено той же идее единения русских князей перед лицом внешней опасности. Речь идет о смерти черниговского князя Давида Святославича, не ссорившегося с другими князьями, а потому удостоенного праведной смерти. Вот этот рассказ о смерти Давида Черниговского: «Въ велицѣ тишинѣ бысть княжение его. Егда же изволи Богъ пояти душу его отъ тѣла и болѣвшу ему недолго, позна епископъ Фектисть, яко уже князь преставитися хоцеть, повѣлѣ пѣти канунъ крѣсту, единою рассѣдеся верхъ теремцю, и вси ужасошася. И влетѣ голубь бѣлѣ, и сѣде ему на грудехъ. И князь душу испусти, голубь же невидимъ бысть»¹.

Итак, повторения в «Слове» (и в том числе предчувствия — своеобразные антиповторы, перевернутые повторения) имеют не только ритмическое значение. В «Слове» они играют и большую роль для создания особого

¹ Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 340.

настроения исторической значительности, неслучайности происходящего. Это в какой-то мере связывает прошлое, настоящее и будущее. В самом деле, когда по несколько раз повторяется с одинаковыми промежутками то или иное местоимение, этим указывается, что явления эти все соединены между собой, имеют роковой характер, предопределены.

Автор «Слова», говоря о событиях русской истории, неизменно ощущает их как роковые. Дважды он прямо говорит о «суде Божьем».

И это не просто покорность судьбе, року, вершащему человеческую историю. Через все «Слово» проходит идея борьбы людей с обрушивающимися на них несчастьями. Войско Игоря терпит поражение, но в конце концов он бежит из плена, появляется в Киеве, и люди ему рады.

Забегание вперед путем предчувствий в «Слове» — явление чисто художественное. Оно не может быть связано с сознательно выраженным мировоззрением. Если гибель Анны Карениной «предсказана» в сне, который она видит, то из этого одного никак нельзя вывести заключения, что Л. Толстой «верит в сны». Читатель, особенно читатель лирических произведений, должен получать в чтении ощущение, что будущее предопределено, настоящее — это свершение каких-то предшествующих ему событий и законов, а прошлое непосредственно связано с настоящим. Связать все три времени: прошлое, настоящее и будущее в единый поток — одна из художественных задач лирики «Слова».

У автора же отношение к предчувствиям почти такое же, как и к древнерусскому язычеству: язычество переведено у него в эстетический план. В эстетическом ракурсе предстает перед ним и его «лирика предчувствий».

Подобно тому как язычество перешло в «Слове» в аспект художественный, предчувствие поражения, тех или иных событий в «Слове» также выступает не как явление мистического мировосприятия, а как чисто художественное явление. Предчувствие в «Слове» соседствует с ощущением чего-то сбывшегося, с сознанием

неизбежности случившегося, предопределенности происшедшего.

Роковой характер событий подчеркивает и вещий сон Святослава.

Все «Слово» состоит либо из предчувствий, либо из осуществления этих предчувствий. Это создает в «Слове» поэтическое настроение, сознание значительности происходящего и взаимосвязанности как всех событий русской истории, так и отдельных моментов рассказа.

Своеобразным художественным центром «Слова» является сон Святослава, который пытаются разгадать его бояре и который говорит о поражении Игоря. Непосредственным результатом его является призыв Святослава к русским князьям выступить в поход — его «золотое слово». Сон, особенно сон вещий, — это одна из форм «предчувствия» — связи настоящего и будущего.

И вот тут характерно, что сама битва Игоря, особенно ее первая часть, дана в «Слове» как бы в обрамлении сна, дремы, ночного томления и предчувствия.

Если автор «Слова» употребляет образ засыпания, перехода ко сну для того, чтобы выразить значения прекращения чего-либо, то тут же рядом возникновение однородного явления передается словом, обозначающим переход от сна к бодрствованию: «Щекоть славий успе, говоръ галичь у буди».

Обратите внимание на образы одной и той же области в следующих пассажах «Слова»: «Тогда, при Олѣ Гориславличи, сѣяшеться и растяшеть усобицами...» (сперва посеянное потом растет); «рѣтко ратаевѣ кикахуть, но часто врани грахуть» (покликиванию пахарей противопоставляется каркание воронья на пустой ниве).

Образы битвы — пира, битвы — земледельческих работ не просто однозначно названы, а развиты в целые картины с двойным значением, значением противопоставления: битва противопоставляется радости и труду. Этим как бы выражается отрицательное отношение автора «Слова» к войне вообще.

В описании поражения Игоря, а затем усобиц Олега Гориславича преобладают звуковые образы (ср.: «ки-кахуть», «гряхуть», «говоряхуть» и пр.). И это под-держивает следующее восклицание автора: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!» Возвращаясь к поражению Игоря, автор снова прибегает к звуковым впечатлениям: «гримлють», «трещать» и снова восклицает: «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?»

Стремление к полноте образа необходимо учитывать при различных толкованиях текста «Слова» и его переводах. Так, например, Ярославна «зегзицею незнаема рано кычеть». Помимо оправданного разными говорами перевода «зегзица» как «кукушка», может быть выдвинут и следующий аргумент — Ярославна кукушкою «кычеть». Чайки и другие птицы, предлагавшиеся для перевода слова «зегзица», не «кычат». Только про кукушку можно было сказать, что она «кычеть». Но дело не только в этом. Необходимо подчеркнуть и другую очень значительную особенность сравнения Ярославны с кукушкой. Ярославна плачет тогда, когда Игорь и Владимир Игоревич, ее сын, находились в плену, в чужом «гнезде», и Кончак собирался женить Владимира на своей дочери. Ярославна ощущает себя кукушкой, выращаивающей птенцов в чужом гнезде или для чужого гнезда. Если же «зегзица» — чайка, то почему самой Ярославне нужно было себя с нею сравнивать. Сравнение же с горестной кукушкою в устах Ярославны вполне оправдано. В этом назывании себя кукушкою есть и доля обычного для народных плачей самоунижения, демонстрации своего несчастного положения.

Некоторая доля самоунижения, изображения своего несчастного положения есть и в том эпитете, который прилагается к Ярославне: «зегзицею незнаема». Прилагательное «незнаемый» несколько раз встречается в «Слове» в значении «неизвестный», «чужой», «покинутый»: «земли незнаемѣ», «полѣ незнаемѣ» (дважды). Мне представляется, что Ярославна хочет этим эпитетом

отметить свое сиротство. Оказавшись без мужа и сына, она «незнаемой» кукушкой летит к неизвестному Дунаю и там кукует, плачет по мужу и его воинам. Это цельная образная система, очень характерная для народных плачей. То, что русские воины идут походом в землю неизвестную, сражаются в поле неизвестном — это тоже подчеркивает одиночество русского войска, для которого Русская земля осталась уже «за шеломянем».

Полнота метафоры требует и определенного понимания того, что такое «уши» в следующем пассаже «Слова»: «...той же звонъ слыша давный великий Ярославъ, а сынъ Всеволожь, Владимиръ, по вся утра у ш и закладаше въ Черниговѣ». Предложение видеть в слове «уши» проушины ворот, которые якобы Владимир Мономах приказывал закладывать по утрам (почему, кстати утром, а не на ночь — вечером, когда обычно закрывались ворота?), явно не подходит, если иметь в виду стремление автора «Слова» к полноте художественного образа. Речь ведь идет о звоне, который слышал Ярослав. Ясно поэтому, что уши имеются в виду те, что слышат, а не те, в которые закладываются бревна для запора городских ворот (кстати, не упомянутых).

Есть в «Слове» темные места, но за ними все же угадывается какой-то определенный смысл. Место трудно или почти невозможно для точного перевода, но оно не мешает эстетическому восприятию произведения. Вот, например, известное место о Всеславе Полоцком, где говорится о его быстрых передвижениях: «скочи влькомъ до Немиги съ Дудутокъ». Можно предположить, что последняя часть слова «Дудутокъ» — «токъ» — относится к следующей фразе, которую можно читать и так: «Токъ на Немизѣ стелють головами, молотять чепа харалужными, на тоуѣ животъ кладуть» и так далее. Однако нельзя сомневаться, что в рассматриваемой фразе указываются первый и последний пункты передвижения Всеслава волком — «скочи влькомъ до Немиги съ ду...», ибо

так обозначаются и другие быстрые передвижения: «скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда», «изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя». Первый и конечный пункты быстрого передвижения указываются относительно Кобяка; Святополк «полелеял» отца своего «съ тоя же Каялы... ко святѣй Софии къ Киеву»; даже «чръныя тучя съ моря идуть», «дождь... съ Дону великаго», «вѣтри вѣють съ моря стрѣлами» и т. д. Поэтому, не понимая до конца, с какого места Всеслав Полоцкий скочил к Немиге, мы все же догадываемся, что откуда-то издалека. Так же и в других «темных местах» «Слова»: мы переносимся через них по инерции, догадываясь, что они что-то значили не только по прямому логическому смыслу, но и в эстетической системе целого. И надо обладать большим эстетическим чутьем, чтобы восстанавливать смысл темных мест «Слова» и их художественную динамику.

Это качество текста «Слова» (качество художественной полноты, развернутости образов) следует принимать во внимание при истолковании неясных мест, возможно имеющих иногда двойной смысл. Так, например, «мыслию» или «мысию» (белкою) растекался Боян по древу: «Боянь бо вѣщій, аще кому хотяше гѣснь творити, то растѣкашеться мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ под облакы». Учитывая, что дальше речь идет о волке и орле, естественно предположить, что в первом случае говорится о белке («мыслию» читается в первом издании). Однако далее снова идет речь о некоем древе и снова в связи с манерой Бояна, и там древо называется «мысленым», что как бы поддерживает понимание «мыслию». А может быть, это смешение допущено автором сознательно? В «Слове» имеются и другие переходы от одного образа к другому, вызванные тем или иным словом, частью образа, созвучием.

Два значения в «Слове» имеют и другие места. Всеслав Полоцкий «подперся о коней» и скакнул к городу Киеву. Он скакнул, ибо сидел на Подоле в порубе и к княжескому терему, находившемуся на горе, надо было действительно

«скакнуть» на коне, тем более что Киев сравнивается с девицей, с невестой, в сказках же жених скачет на коне, срывает кольцо у царевны и получает жену и царство. Но, с другой стороны, Всеслав дал киевлянам коней для войска, которое должно было оборонить Киев от половцев, и тем завоевал их поддержку. Тот же двойной смысл, возможно, имеет и слово «клюка» — посох и хитрость одновременно. Выдача коней киевлянам была его хитростью, но и посох странника был у него, вероятно, тоже.

Метонимия — основной художественный троп в «Слове».

Удивительна в «Слове» полнота метонимий. По самому своему существу метонимия есть подстановка части вместо целого. Целое присутствует только как бы намеком, и тем не менее этот намек влечет за собой однородные образы.

Метонимия характерна преимущественно для военного языка. На метонимии построено большинство военных терминов и военных образов. Это типично и для военного языка нового времени¹, но в средние века метонимичность военного языка — почти правило. Вот пример «воинских метонимий»: «*Хошу бо, — рече, — копие приломити (начать битву. — Д. Л.) конецъ поля половецкаго, с вами, русици, хошу главу свою приложити (погибнуть в битве. — Д. Л.), а любо испити шеломомъ Дону (с боем дойти до Дона. — Д. Л.)*».

Метонимиями представляются следующие детали в описании битвы и похода: «комони ржуть», «трубы трубять», «стоять стязи», «глаголють стязи», «рассушася стрѣлами по полю», «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти», «гремлеши о шеломы мечи хара-

¹ Метонимия и в новое время свойственна военной теме: переводаться с противником, «смело вденешь ногу в стремя». Почему метонимия свойственна военному языку всех времен — это решать психологам, но факт тот, что в «Слове» этот военный прием настолько широко представлен, что позволяет говорить о своеобразной «военной поэтике» этого произведения.

лужными», «поскепаны саблями калеными шеломи оварьския», «ступаетъ въ златъ стремя», «гремять сабли о шеломи, трещать копия харалужныя», «ту ся брата разлучиста», «ту Игорь князь выѣдѣ из сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево», и многое другое.

Серия метонимий присутствует в речи Всеволода Буй Тура, когда он описывает военные доблести своих воинов-курян. Причем в этой серии все метонимии нанизываются на одну тему — ратного воспитания: «А мои ти куряне свѣдоми кѣмети: подѣ трубами ПОВИТИ, подѣ шеломи ВЪЗЛѢЛѢЯНИ, конецъ копия ВЪСКРЪМЛЕНИ». Оба ряда образов полны: и ряд воинского «воспитания», и ряд того, под чем они воспитаны (трубы, шлемы и копья: оружие рядового ратника; меч отсутствует, так как это вооружение привилегированного ратника). Воспитанные так, они опытные: «пути имь вѣдоми, яругы имь знаеми».

Каждое из этих выражений значит нечто большее, чем дает его прямой смысл. Или это подход врагов, или сбор войска, или готовность к выступлению в поход и т. д. Всегда два смысла — прямой узкий и более широкий, общий. При этом снова обращаю внимание на то, что метонимия главным образом свойственна военной теме. И если мы с этой точки зрения подойдем к «Слову» как к художественному целому, то и самый поход Игоря выступит как метонимия происходящего в Русской земле, ее положения.

Чрезвычайная военная активность при полной несогласованности (поход Игоря). Плен в «стране незнаемой», в неизвестности, разлучение братьев (Игоря и Всеволода на поле битвы). История проступает через поступки князей современников: через них видится и Олег Гориславич, и Всеволод Полоцкий. Через поля на горы вьется тропа Трояня. На горах в старину сидел Владимир «Старый», ходивший с ним в походы («нельзѣ бѣ его пригвоздити к горамаъ киевскимъ»), а теперь на горах Святослав Великий видит сон, предрекающий ему гибель, смерть. А на других горах, вдали «высоко»

сидит могучий Осмомысл. В пространстве Руси и звон колоколов, доносящийся из далекого Полоцка, и звон стремени из Тмуторокани, и разговор Всеволода и Игоря из разных городов, но звучание всех этих знаков общего положения тонет в непонимании.

Перед нами своеобразная «карта» Руси: горы, на которых княжат могущественные, но неподвижные великие князья («въ Киевѣ на горахъ», «высоко сѣдиши», «подперь горы Угорскыи», «к горамаъ Киевскимъ», «пробил еси каменные горы сквозѣ землю Половецкую»), а кругом поле, затем «поле незнаемое», «земля незнаемая» и совсем вдали «море» — аллегория гибельной неизвестности.

Судьба русского войска Игоря сопоставляется с судьбой всей Русской земли. Про Игореву рать говорится: «...половци идуць отъ Дона и отъ моря и отъ всѣхъ странъ рускыя плъкы оступиша». Затем о всей Русской земле: «А погании съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на Землю Рускую». То, что случилось с полками Игоря, далее обобщается как нечто случившееся со всей Русской землей.

Важную роль в «Слове», на всем его протяжении, играет «чужое слово». Благодаря «чужому слову», мысли и чувства автора объективируются, получают «художественную доказательность». «Чужое слово» — это прием, известный и по другим произведениям XI—XIII вв.

Чтобы выразить мнение того или иного князя или целого народонаселения, летописец очень часто прибегает к прямой речи, к афоризмам, выраженным прямой речью. Новгородцы говорят: «Где София, ту и Новгород»; Святослав говорит: «да не посраим земле Руские, но ляжем костьми, мертвым бо срама не имам»; Вышата говорит дружине: «Аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною» и т. д.¹ Но это же самое характерно и для «Слова о полку Игореве»: «...рекоста бо брать брату: „се

¹ Все это было подробно показано мною в работах «Русский посольский обычай XI—XIII вв.» (1946) и «Устные истоки художественной системы „Слова о полку Игореве“» (1950).

мое, а то мое же“»; «И начыша князи про малое „се великое“ мльвити»; «нъ рекосте: „мужаймѣся сами. Преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ“» и т. д. Но, помимо таких кратких речений, текст «Слова» переполнен словами действующих лиц: Игоря, Святослава («золотое слово»), Ярославны, Всеволода, Дива и даже Кончака и Гзы... Говорят Донец и Дон. Дон «кличеть и зоветь князи на побѣду». Как речь воспринимаются поэтому граяние враней, текот дятлов, пение соловьев. Оно осмыслено: соловьи, например, «веселыми гѣсьными свѣтъ повѣдають». Все звуки в «Слове» осмыслены. «Кликну, стукну земля, вѣшумѣ трава». Большинство действий и событий в «Слове» указывают на участие природных явлений в происходящем: «...чръныя тучя съ моря идуть, хотять прикрыти 4 солнца». Донец «лелеет» Игоря, «стелет» ему зеленую траву. И т. д.

«Слово» — это грандиозный разговор между всеми и всем о судьбе Русской земли, толкование происходящего, участие в происходящем.

Художественные скрепы, которые делают «Слово» произведением единым во всех своих частях, отличаются большим разнообразием. К ним, в частности, относятся и те моменты в «Слове», которые обладают особой значительностью — иногда скрытой, иногда почти явной, связаны с концепцией «Слова».

Вот, например, диалог в «Слове» Кончака и Гзы: зачем он нужен? Смысл его довольно ясен: оправдать женитьбу сына Игоря Святославича Владимира на дочери Кончака. Заключительная речь Гзы выражает и точку зрения автора «Слова». Кончак полагает, что женитьба Владимира воспрепятствует Игорю бежать из плена. «Рече Кончак ко Гзѣ: „Аже соколь къ гнѣзду летить, а вѣ (двойственное число — оба, мы. — Д. Л.) соколца опутаевѣ красною дивцею“». На это Гза отвечает: «Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице, то почнугъ наю птици бити въ полѣ Половецкомъ». На этом кончается диалог, это заключи-

тельные слова, с которыми соглашается автор и которые оправдывают заключительную славу Владимира: «Слава Игорю Святъславличю, Буй Туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!» Возвращение Владимира с Кончаковною внушает надежду, что борьба со степью возобновится и начнут снова «птици бити въ полѣ Половецкомъ».

Диалог Кончака и Гзы как бы оправдывает не совсем морально ясное бегство Игоря из плена. Он для того и вставлен, чтобы показать необходимость именно бегства. Но и перед этим о возвращении Игоря плачет Ярославна, а после возвращения Боян и Ходына говорят свою заключительную припевку, опять-таки оправдывающую бегство Игоря: «„Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы“, „Руской земли безъ Игоря“».

Тема бегства Игоря из плена имеет, таким образом, и свою подготовку, и свой моральный приговор.

Помимо описанных художественных скреп, в «Слове» есть еще и скрепы эмоциональные, и наиболее сильные из них — скрепы сочувствия. Автор «Слова» сочувствует не только основным своим героям — Игорю и Всеволоду (хотя и упрекает их), но и персонажам, служащим как бы «теньями» основных тем в «Слове»: Олегу Святославичу (Гориславичу), Всеславу Полоцкому, а также эпизодическим лицам — Изяславу Васильковичу, Рюрику и Давиду, Владимиру Глебовичу и т. д., а также, и в наибольшей степени, жителям городов и сел.

Есть одна особенность эмоций в «Слове», которая помогает распространять это сочувствие на всю Русскую землю; чувства автора и его персонажей относительно самостоятельны. Подобно тому, как мысль, ум могут взлетать под облака, носиться по поднебесью, так и чувства — тоска, печаль — приобретают самостоятельную материализацию: печаль «жирная», нужда может «треснуть» на волю, хула «снести» на хвалу, тоска «разлиться» и пр.

Чувства текут, растекаются по земле, охватывают деревья, траву, забралы городов — всю Русскую землю.

Природа сочувствует русским не только потому, что

она живая, одухотворенная, но и потому еще, что само сочувствие автора способно в них переселиться. Автор как бы сливается с природой и общим настроением, господствующим в Русской земле, в ее истории. Автор свивает «оба полы сего времени» — прошедшее и настоящее, так как история для него не нечто ушедшее и невозвратимое, а продолжающее существовать сейчас, в событиях настоящего, живущее во внуках их дедов.

В какой-то мере «скрепами» прошлого и настоящего служат и языческие представления автора «Слова». Конечно, автор не язычник. Но вместе с тем язычество для него и нечто большее, чем эстетические символы и аллегории. Это живое ощущение старины, национального начала в русской действительности. Русский народ и русское войско — это силы Даждьбога. И это, конечно, не условное название, а национально-эмоциональное ощущение своего народа. Христианство не успело еще в XII в. приобрести национальную окраску. Это была на Руси мировая религия — равная для многих народов, неравенство которых на Руси признавалось, — прежде всего греков, которые в основном стояли на самых верхах церковной организации.

Особое значение имеет описание чужого сочувствия: сочувствия персонажей друг другу — Игоря Всеволоду, Святослава Игорю (сочувствие при одновременных упреках), Ярославны Игорю, матери сыну Ростиславу, русских жен, оплакивающих своих мужей-воинов, певцалюбимца («хоти») Изяславу Васильковичу, природы русским. Сочувствие переполняет собою «Слово».

В своей прекрасной и очень верной статье «Древний урок человечности», посвященной «Слову»¹, С. С. Аверинцев обращает внимание на стихию человеческой жалости, пронизывающей «Слово» и особенно плач Ярославны.

Но вот что следовало бы добавить к острым наблюдениям С. С. Аверинцева: Ярославна оплакивает не толь-

¹ Коммунист. 1985. № 10. С. 52—53.

ко мужа, его плен, но и воинов русской рати, их гибель. Мало этого: она вспоминает помощь, которую оказывали и ветер, и Днепр русским в борьбе со степью, а солнце упрекает за то, что испортило оружие русских воинов: «О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему мычещи хиновьскыя стрѣлки на своєю нетрудноу крилицю на моя лады вои?»

Обращаясь к Днепру, Ярославна говорит: «Ты пробишь еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую. Ты делѣяль еси на себѣ Святослави насади до плѣку Кобякова».

А солнце Ярославна упрекает: «Всѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячую свою лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче?»

В плаче Ярославны выражена не только личная скорбь о муже, не только обращена мольба к природе вернуть ей мужа, но проявлена поразительная государственная забота, забота о всех русских воинах, сражавшихся с половцами, а заодно отражены и военные познания: значение Днепра в корабельном походе до стана Кобяка и беда с оружием, испорченным жаром солнца.

Это не просто жалость по муже — это стратегическая оценка положения.

С. С. Аверинцев совершенно прав, подчеркивая значение простых человеческих чувств в «Слове о полку Игореве», разнообразие в нем чувств любви: материнской, братской, супружеской. С. С. Аверинцев мог бы указать еще на поразительные проявления жалости в отношении князей, легкомыслием своих навлекших несчастья на Русскую землю. Даже в отношении князей прошлого, таких как Олег и Всеслав, у автора «Слова» нет безжалостного осуждения.

Однако вместе с тем автор «Слова» с поразительной государственной мудростью оценивает положение всей страны в целом и ищет корни нынешних несчастий в истории.

С поразительной мудростью и тактом в «Слове» соединено личное чувство автора с государственной оцен-

кой положения, частности с большими историческими обобщениями, отдельные факты вплетены в общую картину положения Руси.

Художественный метод автора «Слова» гениально соответствует этому соединению строго личного с широко общественным. Для него нет противопоставления одного другому, как это часто бывает. Он видит всю Русскую землю в целом и вместе с тем слышит все звуки — птиц и зверей, видит движение облаков от моря и поникающую траву. Поражение для него всегда и личное несчастье, и несчастье всей страны. Оба начала гениально соединяются, и поэтому особенно действен его призыв к единению и миру.

Если в «Слове» говорится о родственных связях князей современников, то это позволяет теснее объединять все происходящее как некое «событийное единство». Ряды «деды — внуки» крепят историческое единство и позволяют воспринимать всю русскую историю «от Владимира старого до Игоря нынешнего» как своеобразную историю одной семьи.

Единство «Слова» определяется и сочувствием, с которым автор рассказывает о горестной судьбе того или иного князя — будь то Игорь или Всеволод, Святослав Киевский и даже их общий дед Олег Святославич, которого автор «Слова» зовет Гориславичем не оттого только, что он принес много горя Русской земле (хотя и это не исключается), но главным образом сочувствуя его горестной судьбе. Ведь прозвища «Гориславич», «Горислава», «Гореславль» встречаются и в Новгородской первой летописи, в «Молении» Даниила Заточника именно потому, что носители этих прозвищ претерпели много горя¹, а город Переяславль оказался связан с неблагоприятием для автора «Послания» Даниила Заточника.

Сочувствием в «Слове» пользуются не только Ольговичи, но и их противники — Мономашичи: это, во-

¹ См.: Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1. М.; Л., 1965. С. 169.

первых, утонувший в Стугне юноша князь Ростислав, по которому плачет его мать на берегу, хотя в «Киево-Печерском патерике» ему дана совсем не лестная характеристика. Во-вторых, это сам Владимир Мономах. Даже противник тех и других — Ольговичей и Мономашичей — родоначальник Всеславичей полоцкий князь Всеслав Полоцкий, который хоть и «людемъ судяше, княземъ грады рядяше», а все же принужден был волком рыскать по Русской земле, слушать в Киеве в заточении колокольный звон, доносившийся к нему из Софии в Полоцке, воспринимается с известной долей сочувствия.

Это удивительное сочувствие, уделяемое автором «Слова» самым разным персонажам, соучастие, смешанное иногда с осуждением, скрепляет «Слово» эмоционально.

Подобно тому, как мысль, носящаяся под облаками или растекающаяся по дереву, тоска и туга, «текущие» по Русской земле, радость и горе, распространяющиеся на города, становятся независимыми от человека объективными сущностями, так и то чувство, которое переполняет автора в отношении судьбы того или иного князя, становится фактом всей русской природы. Поэтому и «каяние» — это не проклятие того или иного князя, а плач о нем. Иноземцы «кают» князя Игоря, и это означает, что они скорбят о нем.

Не только «слово» Святослава Киевского, но и все «Слово о полку Игореве» — «со слезами смешено». И в том и в другом «туга ум полонила».

Автор «Слова» объективирует свое отношение к людям и событиям в чувстве жалости, которое становится самостоятельным, распространяется не только по всей Русской земле, но и пронизывает собой все произведение, сказывается в отношениях людей друг к другу и природы к человеку. Чувство жалости охватывает братьев (Игоря и Всеволода), мать (к сыну, к юноше Ростиславу), внуков и дедов, Святослава к Игорю. Сочувствие и жалость тянутся к городам и странам, охватывают деревья, травы, солнце и т. д.

«Слово» — это грандиозная по охватываемому его чувству поэма дружеских увещаний, скепсиса и печали о людях. Ее автор добр прежде всего. В нем нет чувства ненависти. Половцы «поганые», то есть язычники; они не вызывают в нем чувства презрения и ненависти — только страх и ужас внушают их победа и набеги. Кончак и Гза мирно и «лукаво» беседуют друг с другом по поводу бегства Игоря.

Полнота и развернутость художественных образов в «Слове о полку Игореве» — это одна из самых существенных «скреп» текста. При всех сюжетных перебросках текст «Слова» удивительно однороден — однороден художественно, однороден по настроению (переход от мрачного настроения в начале и середине к светлому в конце совершается постепенно и мотивированно), однороден, благодаря единой картине Русской земли, как бы увиденной из заоблачной высоты, однороден, благодаря своеобразной объективации человеческих чувств (тоски, печали, радости и их выражения в пении, которые простираются в природе, по всей Русской земле), однороден по своей единой идее — идее единства Руси (идея единства переходит из «географической сферы» в характер художественного текста). Именно благодаря идее единства в «Слове» нет пристрастия ни к одной из ветвей княжеского рода Рюриковичей, господствует тема любви (братьев, супругов, родных и т. д.), заботы, жалости, печали о положении страны, единения с природой. «Слово о полку Игореве» все «работает» как единое целое, в котором одна часть строго сцеплена с другой и ни одна часть не может быть изъята произвольно, переменена или переставлена по тем или иным собственным соображениям исследователя.

1984



СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СИМВОЛИЗМ В СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Средневековая книжность была пронизана стремлением к символическому толкованию явлений природы, истории и Писания. Уже поздние греки (эллинистического периода) были склонны символически толковать свою мифологию¹. Символическое толкование Ветхого и Нового Заветов имелось еще у апостолов² и приобрело под влиянием поздней греческой философии большое значение в Александрии, где стало системой в философии Оригена, истолковавшего символически все события Ветхого Завета³. Ориген подверг символическому осмыслению Пятикнижие, книги Иисуса Навина, Судей, первую книгу Царств, Иова, Псалмы, пророков и Новый Завет. Отлично выразил основу этого символического толкования Библии Августин: «Что называется Заветом Ветхим, как не прикровение Нового, и что — Новым, как не откровение Ветхого?»⁴. Так прообразами

¹ См.: Преображенский П. А. Сочинения древних христианских апологетов. Татиан. СПб., 1867. С. 38 (Татиан об иносказательном толковании античных богов); С. 93—101 (Афинянин о том же); *Audem. Histoire et théorie du symbolisme religieux avant et depuis le christianisme*, I—IV, P., 1884.

² См. символическое истолкование Ветхого и Нового заветов в Послании к Евреям (IX и VI, 3), в 1-м Послании к Коринфянам (X, 6), к Галатянам (IV, 24), в 1-м Послании Петра (III, 20—21) и др. В Евангелии сравнение трехдневной смерти Христа с пребыванием Ионы в чреве кита (Матфея, XII, 40), а распятия с медным змием, поднятым Моисеем (Иоанна, III, 14) и др.

³ Первым христианским писателем, изложившим символическое толкование двух заветов, был Иустин Мученик (II век). См.: Преображенский П. А. Сочинения древних христианских апологетов. Соч. св. Иустина. М., 1864.

⁴ «*Quid enim quod dicitur Testamentum Vetus nisi occultatio Novi? Et quid est aliud quod dicitur Novum nisi Veteris revelatio?*» (Civit. Dei. Lib. XVI. Cap. XXV); Творения бл. Августина еп. Иппонийского, ч. 5. Киев, 1907. С. 188.

Богоматери в Ветхом Завете были: неопалимая купина, жезл Гедеонов, Сусанна, Иудифь и т. д. Популярное на Руси «Слово на рождество Богородицы» Андрея Критского приводит семьдесят четыре символа Богоматери¹.

Вслед за символическим истолкованием Ветхого и Нового Заветов символизирующая мысль средневековья (и на Востоке Европы, и на Западе) тем же путем истолковывала и все явления природы. Факты истории и сама природа, по средневековым представлениям, — лишь письмена, которые необходимо прочесть. Природа — это второе Откровение, второе Писание. Цель человеческого познания состоит в раскрытии тайного, символического значения явлений природы. Все полно тайного смысла, тайных символических соотношений с Писанием. Видимая природа — «как бы книга, написанная перстом Божиим»². Весь мир полон символов, и каждое явление имеет двойной смысл.

Зима символизирует собою время, предшествующее крещению Христа; весна — это время крещения, обновляющего человека на пороге его жизни; кроме того, весна символизирует воскресение Христа. Лето — символ вечной жизни. Осень — символ последнего суда; это время жатвы, которую соберет Христос в последние дни мира, когда каждый человек пожнет то, что он посеял. В целом четыре времени года соответствуют четырем евангелистам, а двенадцать месяцев — двенадцати апостолам и т. д. Видимое осмысливается невидимым, невидимое — видимым. Мир видимый и мир невидимый объединены символическими отношениями, раскрываемыми через Писание. В раскрытии этих символических отношений и заключается якобы главная цель средневековой «науки» и средневекового искусства.

¹ Великие Минеи Четьи. Изд. Арх. ком. 1 (сент.), 1968. С. 389.

² Винцент из Бове. *Spec. natur. Lib. 29. S. 23.* Цит. по кн.: *Mâle E. L'art religieux du XIII-e s. en France. P., 1898. P. 33.*

Исключительный интерес с точки зрения раскрытия символики окружающего представляли Физиологи, Шестоднев, Азбуковники и другие сборники, распространенные по всей Европе.

По средневековым представлениям, природа — это собрание целесообразно устроенных объектов. Символика животных, в частности, давала обильный материал для средневековых моралистов. Олень устремляется к источнику не только для того, чтобы напиться воды, но и чтобы подать пример любви к Богу. Лев заматает свой след хвостом, не только чтобы уйти от охотника, но чтобы указать человеку на тайну воплощения¹. Физиологическая сага рассматривала всех животных и все их свойства — реальные и вымышленные — с точки зрения тайного нравоучительного смысла, в них заключенного. «Священная история животных» имела мало реальных наблюдений, направляла человеческую мысль в мир абстракций, на поиски «вечных» истин.

Таковыми же символами «вечных» и «вневременных» отношений были растения, драгоценные камни², численные соотношения³ и т. д. Средневековые пронизало мир сложной символикой, связывавшей все в единую априорную систему. На Западе и на Руси сущность средневекового символизма была в основном одинакова; одинаковы же были в огромном большинстве и самые символы, традиционно сохранявшиеся в течение веков и питавшие собой художественную образность литературы. Вот почему чтение огромных западных энцикло-

¹ *Mâle E.* L'art religieux du XIII-e s. en France. P. 161—162.

² Специальная статья Епифания Кипрского о символическом значении драгоценных камней была широко распространена в древней русской литературе (в Толковой Палее, в хронографах и хронографических частях летописи, в азбуковниках, в иконописных подлинниках и т. п.) и даже оказалась включенной еще в Изборник Святослава 1073 г.

³ См., например, в начале Рогожского летописца о числе 7, или в Житии Сергия, написанном Епифанием, о числе 3 и т. д.

педий, которыми так богат был в особенности XIII век (Винцента из Бове, Фомы из Кантимпре, Альберта Великого и др.), раскрывает очень многое в традиционных образах древнерусского искусства и древнерусской литературы¹. Вместе с тем в средневековой символике появляются и различия между западноевропейским и византийско-православным представлениями. Так, например, Максим Грек оспаривал применение к Богородице католического символа — розы. «Родон (роза) благоуханнейше есть и красен видением», но у «родона» — шипы, символизирующие собой грех. К Богородице, утверждает Максим, более подходит другой символ — «крин» (лилия), «имеющий три лепестка и белый цветок»².

Особенно велики местные отличия в средневековой символике в тех случаях, когда к ней косвенно примыкают символы, отражающие народные воззрения на мир³, в которых символические связи принимаются за реальные и на них основываются приметы, знамения, предсказания, а иногда строятся и лечебные приемы (например, лечебные свойства растений, драгоценных камней, выведенные из их символических значений)⁴. Местные отличия в средневековой символике появляются также в тех случаях, ког-

¹ Приведу лишь один пример: Христос и апостолы в иконографии (русской и западной) всегда изображались босыми. Объяснение этому читаем у Винцента де Бове: прообраз Христа — Моисей сложил с себя обувь, символически слагая тем самым суетность богатства (Винцент из Бове. *Spec. natur. Lib. 29. S. 23.* Цит. по кн.: *Mâle E. L'art religieux du XIII-e s. en France.*)

² Соч. преп. Максима Грека, изд. при Казанской духовной академии. Ч. 1. Казань, 1859—1860. С. 507—508.

³ См., например: Водарский В. А. Символика великорусских народных песен (материалы). Русский филологический вестник, 1916, № 3 и 4. Народная символика по своему существу резко отлична от древнерусской книжной, однако кое в чем поддерживает последнюю.

⁴ Ср. соответствующие разделы в лечебниках русского происхождения (Российская публичная библиотека. Румянц. собр., № 631, 635 и др.).

да символизирующая мысль охватывает собой и светскую область феодальных отношений¹.

Символизирующее мировоззрение средневековья имеет прямое отношение к средневековому искусству и литературе. Средневековый символизм «расшифровывает» не только многие мотивы и детали сюжетов, но он же позволяет понять многое и в самом стиле литературы средневековья. В частности, так называемые «общие места» средневековой литературы, столь в ней распространенные, во многих случаях являются проявлениями средневекового символизирующего мировоззрения.

Да и в тех случаях, когда они переходят из произведения в произведение в результате заимствования, — все равно они «поддержаны» приданным им символическим значением. Так, например, средневековой символикой объясняются многие из «литературных штампов» средневековой агиографии.

Сложение житийных схем происходит под влиянием представлений о символическом значении всех событий человеческой жизни: житие святого всегда имеет двойной смысл — само по себе и как моральный образ для остальных людей.

Агиографы избегают индивидуального, ищут общего, а общее является им в символическом. «Общие места» в изображении детства святого, его воспитания, борьбы с бесами в пустыне, смерти и посмертных чудес — прежде всего проникнуты символизмом. Агиографы стремятся воплотить в житии святых «вечные истины», символические отношения, которые в наше время во многих случаях воспринимаются только как «литературные шаблоны». Сама жизнь изображается иногда по

¹ См.: Арциховский А. В.: 1) Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. С. 29, 33, 35, 40; 2) О древнерусских гербах. Учен. зап. МГУ. История. Вып. 1. 1946; Рыбаков Б. А. Окна в исчезнувший мир. Доклады и сообщения Исторического факультета МГУ. Вып. 1. 1946; Павлов-Сильванский П. Символизм в древнем русском праве. ЖМНП, 1905, июнь.

религиозному шаблону, рожденному в значительной мере все тем же символизирующим мышлением.

Наконец, и это, может быть, самое важное для литературоведа, средневековый символизм часто подменяет метафору символом. То, что мы принимаем за метафору, во многих случаях оказывается скрытым символом, рожденным поисками тайных соответствий мира материального и «духовного». Опираясь по преимуществу на богословские учения или на донаучные системы представлений о мире, символы вносили в литературу сильную струю абстрактности.

По самому существу своему они прямо противоположны основным художественным тропам — метафоре, метонимии, сравнению и т. д., — основанным на уподоблении, на метко схваченном сходстве или четком выделении главного, на реально наблюдаемом, на живом и непосредственном восприятии мира. В противоположность метафоре, сравнению, метонимии символы были вызваны к жизни по преимуществу абстрагирующей, идеалистической богословской мыслью. Реальное миропонимание вытеснено в них богословской абстракцией, искусство — теологической ученостью. Когда в «Слове на Пасху» Кирилл Туровский говорит о главе ада и о жале ада, он подразумевает определенные средневековые представления об аде как о морском чудовище — звере Левиафане, — представления, нашедшие отчетливое отражение не только в литературе, но и в живописи¹.

В средневековых произведениях сама метафора очень часто оказывается одновременно и символом, имеет в виду то или иное богословское учение, богословское истолкование или соответствующую богословскую традицию, исходит из того «двойного» восприятия мира, которое характерно для символизирующего мировоззре-

¹ См. изображение ада на западной стороне Нередицы (Фрески Спаса Нередицы. Л., 1925); Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Под ред. А. И. Пономарева. Вып. 1. СПб. С. 132.

ния средневековья. Даже тогда, когда Кирилл Туровский в своем «Слове на собор Святых отцов» называет архиереев «высокопаривыми орлами», которые «не у трупa, но у живого тела Христова собирающиеся, его же ядше в бесконечныа веки живут»¹, — он имеет в виду строго теологические понятия, отразившиеся в самой архиерейской службе и в архиерейском облачении (так называемые «орлецы» — коврики с изображением парящего орла, подстилаемые под ноги архиерею во время богослужения). Ни одно из приводимых здесь Кириллом Туровским сравнений не является чисто метафорическим: каждое из них подразумевает богословское учение, отразившееся и в учении об евхаристии, и в тексте Физиолога об орле. Почти всегда приводимые Кириллом Туровским сравнения основываются не на реальных наблюдениях, а на символическом параллелизме; сравнения или метафоры, основанные на реальном сходстве, встречаются у него гораздо реже, хотя для современного читателя средневековый символизм произведений Кирилла не всегда ясен.

Само собой разумеется, что такая тесная связь образа и средневековых теологических учений приводила к тому, что одни и те же символы повторялись, были привычными и традиционными. Они черпались из одного и того же теологического фонда. Искание общего, «вечного», устранение индивидуального создавало однообразие в выборе образов. Поэтому писатели нередко компенсировали себя тем, что создавали из символов целые картины. Тот же Кирилл Туровский в «Слове на Фомину неделю» проводит сложную параллель между Пасхой и весенним временем года, сливая традиционный символ Пасхи и реальную картину расцветающей природы: «Ныне зима греховная покааниемъ престала есть, лед невериа благоразумиемъ растаяся: зима убо кумиролужения апостольским учением и христовою верою

¹ Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 1. С. 172.

растая. Днесь весна красуется, оживляющи земное естество, и горнии ветри, тихо поведающе (повевающе) плоды гобзують, и земля, семена питающи, зеленую траву ражаеть: весна убо красная вера Христова...»¹.

В такую же сложную картину земледелия развил летописец в «Повести временных лет» под 1037 г. средневековые символы хлеба как духовной пищи, хлебопашества как проповеди². Описав просветительную деятельность Ярослава, летописец замечает: «яко же бо се некто землю разорить (вспашет), другый же насеет, ини же пожинають и ядят пищу бескудну, тако и съ. Отець бо сего Володимер (землю) взора и умячи, рекше крещенъемъ просветив; съ же насея книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем ученье примлюще книжное»³.

Использование богословских символов для построения на их основе целой художественной картины не редкость в древнерусской литературе и позднее — вплоть до XVIII в.

Любопытный пример находим мы в цитате из Иоанна Златоуста в Первом послании Грозного к Курбскому: «Егда ся пенит море и бесится, — пишет Грозный, — но Исусова корабля не может потопити, на камени бо стоит; имамы бо вместо кормъчию Христа; вместо же гребца — апостоли, вместо же корабленик — пророки, вместо правителей — мученики и преподобныя; и сия убо вся имущи, аще и весь мир возмутится, не убоимся погрязновения»⁴.

Такое сложение привычных богословских символов в живую и «наглядную» картину требовало от писателя

¹ Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 1. С. 139.

² Символ посева — проповеди основывается на тексте притчи о сеятеле (Матфея, XIII, 3—23) и др. Ср.: Марка, IV, 14: «Сеятель слово сеет».

³ Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Вып. 1. Т. 1. Л., 1926. С. 152 (орфография упрощена).

⁴ Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 18.

чисто комбинаторных способностей. В этих комбинациях забывалось иногда символическое значение тех или иных явлений природы и выступали задачи иного характера.

Уже здесь мы можем заметить стремление к освобождению литературного творчества из-под власти теологии.

Другой путь освобождения из-под власти теологии заключался в том, что в символе из двух «со-бросаемых» (символ от $\sigma\upsilon\beta\rho\alpha\lambda\lambda\omega$) значений перевес оказывается на его «материальной» части.

Отсюда средневековый натурализм: стремление к натуралистическому восприятию символа. Насколько натуралистически понимали в средневековье многие символы, показывает, например, фреска Успенского собора XII в. во Владимире.

На арке центрального коробового свода западной части собора в композиции Страшного суда над ангелом, трубящим вниз и сзывающим живых и мертвых¹, изображена исполинская кисть руки, сжимающая души праведных в образе младенцев. Живописец, изобразивший эту руку, буквально понял библейское выражение «души праведных в руке Божией»². Обратный перевес «духовной» части символа приводил иногда к тому же «натурализму». Так, например, реальное отправление Стефана Пермского на проповедь приобретает в житии его, составленном Епифанием Премудрым, символический, «духовный» смысл. Отсюда и ноги Стефана «духовные», отсюда и дальнейшее абстрагирование ног Стефана и неожиданный эпитет: «по истине бо тех суть красны (т. е. *красивы*. — Д. Л.) ноги, благовествующих мира»³.

Этот средневековый натурализм вызывал иногда

¹ См.: Покровский Н. В. Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства. Одесса, 1887. С. 44; Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.

² См.: Грабарь И. Э. Андрей Рублев // Вопросы реставрации. Т. 1. 1925. С. 31.

³ Житие Стефана Пермского. СПб., 1897. С. 18.

своеобразное «мифотворчество». Материально понятый символ развивал новый миф. Уже рассмотренный нами выше символ «проповедь — учение — хлеб» породил в житии Сергия Радонежского миф, кстати сказать, отразившийся в известной картине Нестерова «Видение отроку Варфоломею». В житии Сергия рассказывается о его книжном учении следующее. Свои книжные знания Сергей-Варфоломей получил не от земных учителей, а непосредственно от Бога. Отроку Варфоломею — будущему Сергию — встретился старец, давший ему съесть «мал кус» пшеничного хлеба. С этим хлебцем вошло в отрока книжное знание: «и бысть сладость в усте его, акы мед сладяй, и рече: не се ли есть реченное: коль сладка грѣтани моему словеса твоя...». Отрок же «акы земля плодовитая и доброплодная семена приемиши в сердце еи, стоаше, радуясь»¹.

Борьба с теологической системой символов длилась в древнерусской литературе непрерывно вплоть до XVIII в. Она осложнялась господством богословия. Окончательное освобождение литературы от абстрагирующей богословской мысли смогло совершиться только после победы в литературе светского начала. Эта борьба была более успешной в демократической и прогрессивной литературе. Она имела различные формы и приводила к различным результатам в разные эпохи; отнюдь не одинаково протекала она в отдельных жанрах и даже в пределах одного и того же произведения (в различных его частях — более насыщенных церковной мыслью или более светских).

Наиболее четкое развитие средневековый символизм как система средневековой образности получил на Руси в XI—XIII вв. (так же, впрочем, и на Западе). Начиная с конца XIV в. наступает период ее интенсивной ломки. Стиль эпохи так называемого «второго югославянского влияния» был, безусловно, враждебен средневековому символизму как основе средневековых образов и мета-

¹ Житие Сергия Радонежского. СПб., 1885. С. 26.

фор»¹. Произведения этой поры характеризуются, в частности, новым отношением к слову и новыми выразительными средствами. В витийстве с его сложным и нечетким синтаксисом, в перифразах, в нагромождении однозначных или сходных по значению слов и тавтологических сочетаний, в составлении сложных многокоренных слов, в любви к неологизмам, в ритмической организации речи и т. д. — во всем этом нарушалась «двузначная» символика образа, на первый план выступали эмоциональные и вторичные значения.

Произведения новой школы стремятся не столько к логическому убеждению, сколько к эмоциональному воздействию. Эмоциональный характер придают произведениям восклицания, прерывающие изложение, и длинейшие тирады как бы не сумевшего сдержать своих чувств автора. В строгом соответствии с этим авторы пишут о внутренних переживаниях своих героев, обращаются непосредственно к читателю и т. д. Авторы как бы не находят точных слов для выражения своих мыслей: отсюда открыто демонстрируемые читателю поиски слов и неотвязно, из произведения в произведение переходящая мысль о бессилии человеческого языка. В итоге происходит постепенное освобождение литературы от теологичности предшествующих веков, подрывается «символизм», если не в содержании, то, во всяком случае, в стиле литературных произведений: новые образы создаются по впечатлению, по сходству.

Оживление интереса к церковному символизму наблюдается в разных областях искусства в XVI в. Он может быть особенно отмечен не только в литературе (в произведениях Макарьевской школы), но и в иконописи (обилие икон на сложные символические темы: «О тебе радуется», «Собор Богоматери», «Премудрость

¹ Прогрессивное значение стиля «второго югославянского влияния» явно недооценивается в современном литературоведении. В этом стиле видят только стремление к «извитию словес» — своеобразный ораторский формализм.

созда себе храм» и др.). Не теряет своего обаяния для некоторой части литературы символизм и в XVII в., главным образом для литературы барокко. Он сказывается у Симеона Полоцкого, Иоанникия Голятовского, Епифания Славинецкого, позднее — у Стефана Яворского и т. д. Однако каждый раз этот символизм имеет свои особенности, так же как свои особенности имеют в различные эпохи пути его преодоления.

Изучение путей постепенного преодоления символизма в различных стилях литературы Древней Руси представит исключительный интерес для выяснения постепенного развития реалистических элементов в стилистике.



СЛОВО И ИЗОБРАЖЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Слово и изображение были в Древней Руси связаны теснее, чем в новое время. И это накладывало свой отпечаток и на литературу, и на изобразительные искусства. Взаимопроникновение — факт их внутренней структуры. В литературоведении он должен рассматриваться не только в историко-литературном отношении, но и в теоретическом.

Изобразительное искусство в Древней Руси было острсюжетным, и эта сюжетность вплоть до начала XVIII в., когда произошли существенные структурные изменения в изобразительном искусстве, не только не ослабевала, но и неуклонно возрастала.

Сюжеты изобразительного искусства были по преимуществу литературными. Персонажи и отдельные сцены из Ветхого и Нового Заветов, святые и сцены из их житий, разнообразная христианская символика в той или иной мере основывались на литературе — церковной, разумеется, по преимуществу, но и не только церковной.

Сюжеты фресок были сюжетами письменных источников. С письменными источниками было связано содержание икон — особенно икон с клеймами. Миниатюры иллюстрировали жития святых, хронографическую палею, летописи, хронографы, физиоло́ги, космографии и шестодневы, отдельные исторические повести, сказания и т. д. Искусство иллюстрирования было столь высоким, что иллюстрироваться могли даже сочинения богословского и богословско-символического содержания. Создавались росписи на темы церковных песнопений (акафистов, например), псалмов, богословских сочинений.

«Если под словесностью разуметь всякое словесное выражение чувства, мысли и знания, в том числе науку о религии и ее вековечную основу — Св. Писание, ясно будет для всякого, что христианская иконопись почерпает все свое существенное содержание из памятников словесности, именно из Святого Писания и из отцов и учителей церкви: все памятники древнейшего христианского искусства в катакомбах суть орнаменты, которые еще нельзя считать иконописью, или символы, уже выработанные вероучением, или, наконец, изображения св. лиц и событий Ветхого и Нового Завета». Это писал еще А. Кирпичников в его известном труде «Взаимодействие иконописи и словесности народной и книжной»¹.

Художник был нередко начитанным эрудитом, комбинировавшим сведения из различных письменных источников в росписях и миниатюрах. Даже в основе портретных изображений святых, князей и государей, античных философов или ветхозаветных и новозаветных персонажей лежала не только живописная традиция, но и литературная. Словесный портрет был для художника не менее важен, чем изобразительный канон. Художник как бы восполнял в своих произведениях недостаток наглядности древней литературы. Он стремился увидеть то, что не могли увидеть по условиям своего художе-

¹ Труды Восьмого археологического съезда в Москве, 1890. Т. II. М., 1895. С. 213.

ственного метода древнерусские авторы письменных произведений. Слово лежало в основе многих произведений искусства, было его своеобразным «протографом» и «архетипом». Вот почему так важны показания изобразительного искусства (особенно лицевых списков и житийных клейм) для установления истории текста произведений, а история текста произведений — для датировки изображений.

Иллюстрации и житийные иконы (особенно с надписями в клеймах) могут указывать на существование тех или иных редакций и служить для установления их датировок и обнаружения не дошедших в рукописях текстов. Лицевые рукописи и клейма икон могут помочь в изучении древнерусского читателя, понимания им текста особенно переводных произведений. Миниатюрист как читатель иллюстрируемого им текста — эта тема исследования обещает многое. Она поможет нам понять древнерусского читателя, степень его осведомленности, точность проникновения в текст, тип историчности восприятия и многое другое. Это особенно важно, если учесть отсутствие в Древней Руси критики и литературоведения.

Иллюстрации служат своеобразным комментарием к произведению, причем комментарием, в котором использован весь арсенал толкований и объяснений¹. Сложны и «многослойны», как оказывается, древнерусские иллюстрации к Псалтири, в которых вскрывается несколько аспектов восприятия этого произведения миниатюристом: реально-исторический, символический, «прообразный» и др.

Реальное наблюдение очень часто сказывалось в произведениях изобразительного искусства не непосредственно, а через литературный источник, через сюжет, уже отразившийся в письменности. Оно подчинялось слову... В силу своей связи с письменностью изобра-

¹ См.: Розов Н. Н. Миниатюрист за чтением Псалтири// ТОДРЛ. Т. XXII. М.; Л., 1966.

зительное искусство Древней Руси во многом зависело от развития письменности. Чем больше появлялось произведений на темы русской истории, русских житий святых, русских бытовых повестей, тем чаще отражалась в живописи русская действительность.

В зависимости от словесных произведений находилось даже зодчество. Известны случаи построек по данным литературных источников. Борис Годунов задумал, например, построить храм, который «своим видом и устройством походил бы на храм Соломона... Мастера тотчас же принялись за работу, причем обращались к книгам священного писания, к сочинениям Иосифа Флавия и других писателей...»¹.

Однако связь с действительностью осуществлялась не только в области сюжетов и объектов изображения. Эта связь выражалась и в идеологии художника, а эта идеология, в свою очередь, оказывалась не только продиктованной положением художника в обществе и состоянием этого общества, но и обусловленной письменными источниками: публицистикой и литературой, еретическими движениями, которые не могли существовать без еретической литературы, без мысли, воплощенной в слове.

Трудно установить во всех случаях первооснову: слово ли предшествует изображению или изображение слову. Во всяком случае и последнее нередко. В самом деле, темы изобразительного искусства занимают необычно большое место в литературе Древней Руси. Я уже не говорю о многочисленных сказаниях об иконах (эти сказания сами по себе составляют целый литературный жанр, в свою очередь разделяемый на поджанры), о многочисленных сказаниях об основании храмов и монастырей, в которых содержатся описания и оценки произведений архитектуры и живописи. Само творчество художников или их произведения становились нередко

¹ Сказания Массы и Геркмана. СПб., 1874. С. 270; ср.: Массе Исаак. Известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 63.

объектом литературного рассказа (сказание о новгородской варяжской божнице, сказание о фреске Пантократора в куполе Софийского собора, повесть о посаднике Шиле, повесть «О чудном видении Спасова образа Мануила, царя греческого» и др.). Один из излюбленных мотивов древнерусской литературы — мотив оживающих изображений: изображения говорящего и самоизменяющегося, переносящегося в пространстве, «являющегося» и заявляющего о своем желании художнику, предъявляющего ему свои требования — как писать. Изображение Пантократора в куполе Софийского собора обращалось к писавшим его «писарям»: «Писари, писари, о писари! не пишите мя благословящею рукою, напишите мя сжатою рукою. Аз бо в сей руке моей сей Великий Новъград держу, а когда сия рука моя распространится, тогда граду сему скончание».

Много внимания уделяется памятникам искусства в произведениях новгородской литературы: в хождениях в Царьград, в новгородских летописях, в житиях новгородских святых, повестях и сказаниях. Искусство слова входит в контакт с изобразительным искусством Древней Руси не только через памятники письменности, но и через памятники фольклора. В изобразительное искусство проникают фольклорные трактовки событий (ярчайший пример: сцена убийства Андрея Боголюбского, изображенная в Радзивиловской летописи) ¹.

Всякое искусство, если оно развивается не только под воздействием внешних условий, но и в связи с законами внутренней необходимости, должно «видеть себя» в критике и литературной науке. Литература Древней Руси не имела своего «антагониста» в некоем зеркале. Литература нового времени «видит себя» в критике и литературоведении. Она отражалась в изобразительном искусстве и сама отражала этообрази-

¹ Воронин Н. Н. Рец. на кн.: Арциховский А. В. Древнерусская миниатюра как исторический источник // Вестн. АН СССР, 1945, № 9.

тельное искусство как в противопоставленных зеркалах. Литература проверяла и комментировала себя в живописи всех видов.

Особую и очень важную тему исследований представляет собой роль слова в произведениях искусства. Как известно, надписи, подписи и сопроводительные тексты постоянно вводятся в древнерусские станковые произведения, стенные росписи и миниатюры.

Искусство живописи как бы тяготилось своей молчаливостью, стремилось «заговорить». И оно «говорило», но говорило особым языком.

Те тексты, которыми сопровождаются клейма в житийных иконах, — это не тексты, механически взятые из тех или иных житий, а особым образом препарированные, обработанные. Житийные выдержки на иконе должны были восприниматься зрителем в иных условиях, чем читателями рукописей. Поэтому эти тексты сокращены или не закончены, они лаконичны, в них преобладают короткие фразы, в них порой исчезает «украшенность», ненужная в соседстве с красочным языком живописи. Многозначительна даже такая деталь: прошедшее время в этих надписях часто переправляется на настоящее. Надпись поясняет не прошлое, а настоящее — то, что воспроизведено на клейме иконы, а не то, что было когда-то. Икона изображает не случившееся, а происходящее сейчас на изображении; она утверждает существующее, то, что молящийся видит перед собой.

«Заговорить» стремятся не только житийные клейма, но и изображения святых в средниках икон и на стенах храмов. Изображения святых обращаются к молящимся, показывая им раскрытые книги, развернутые свитки. Свитки с текстами держат Кирилл Белозерский (икона Русского музея конца XV в., номер 2741), Александр Свирский (икона Русского музея 1592 г.). Никола держит обычно Евангелие — раскрытое или закрытое. Пророки держат свитки, на которых написаны их главнейшие пророчества о Христе.

Христос в композиции деисус держит Евангелие с

обращением к судьям и судимым: «Не судите на лица сынове человечестии, но праведный суд судите. Им же судом судите — судится вам. В ню же меру мерите — възмерится вам».

Христос сам судья на Страшном суде, и он подает пример судьям человеческим. Иногда такие традиционные надписи не заканчиваются, даются только их начальные слова: молящиеся знают их продолжение. Но все равно изображение Христа в деисусе неотделимо от слов: изображение и слово тесно связаны. Иоанн Креститель обычно держит свиток со словами: «Покайтесь, приближи бо ся царство небесное». На иконе «О тебе радуется» у подножия Богоматери обычно изображается стоящий Иоанн Дамаскин с развернутым свитком в руках. На нем начало песнопения: «О тебе радуется обрадованная всяк...». Святая Параскева Пятница держит в руках начало текста «Символа веры»: «Верую во единого Бога отца...». Параскева — исповедница. Этими словами она показывает молящемуся, за что отдала свою жизнь.

Тексты, написанные в раскрытых Евангелиях и развернутых свитках, могут меняться. Так, например, в композиции «Спас в силах» развернутое Евангелие обычно имеет тот же текст, что и в деисусе: «Не на лица судите...». Но у Андрея Рублева и Дионисия «Спас в силах» держит Евангелие с другим текстом: «Приидите ко мне вси тружajúщиися и обремененные»¹. И это знаменательно: Рублев мягче и человечнее своих предшественников. Он исполнен любви к людям, а не угрозы.

Иногда композиции имеют поясняющий текст, но текст этот написан не на свитке. Он помещен рядом с изображением, на золотом, охряном или киноварном фоне. Так, на новгородской иконе Покрова конца XIV — начала XV в., хранящейся в Третьяковской галерее, слева

¹ Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. I. М., 1963. № 227 и 276. Текст надписи у Рублева сокращен, у Дионисия — полный.

от Богоматери в композицию включена киноварная надпись: «Андрее каже Епифану свтлю Богородицю, моля се за хрестени на воздуси». Тексты, писавшиеся в свитках праотцев и пророков, очень часто заключают в себе обращения к Богу и самохарактеристики, в которых праотцы и пророки говорят о своих «вечных» признаках, главных деяниях. В свитке у Иакова стоит: «Бог мой явися мне. Се лествица утвержена на земли и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней». У Мелхиседека в свитке значатся слова: «Аз навыхох жертву бескровною приносити Богу во славу имени твоему святому». В свитке у Ионы обычно написано: «Возопих в скорби моей ко Господу Богу: Услыши мя ис чрева китова вопль мой. И услышах». И т. д.

В миниатюрах и клеймах икон из уст говорящих персонажей поднимаются легкие облачки, в которых написаны произносимые ими слова, но слова, лаконично препарированные, слова, которые становятся почти девизами этих персонажей, неразрывно связанными с их «владельцами». И здесь достойно быть отмеченным особое отношение к произнесенному слову вообще. Оно не мимолетно, оно не исчезает во времени. Сплошь да рядом представление о персонаже становится неотделимым от тех слов, которые были им произнесены в наиболее важный момент жизни. Это «речения», которые живут в памяти многих поколений и которые даже в живописи в изображении того или иного персонажа не могут быть от него отделены.

Слово редко вводится в изображение реалистических школ, но оно очень часто в условной живописи, изображающей не мимолетное мгновение, а «вечное». Слово в изображении как бы останавливает время. Его помещают в гербах в качестве девиза — как вечное напоминание о неизменяющейся сущности символизируемого объекта. Оно помещается в иконах для выражения сущности изображаемого — при этом сущности не меняющейся.

По своей природе произнесенное или прочитанное

слово возникает и исчезает во времени. Будучи «изображенным», слово само как бы останавливается и останавливает изображение¹.

Тесная связь слова и изображения породила в средневековые обилие легенд о заговоривших изображениях. Эта связь слова и изображения поддерживалась и самим смыслом иконы. В иконном изображении особое значение имел мистический контакт его с молящимся. Молящийся обращался к изображению со словами, он как бы требовал ответа себе, он ждал чуда, действия, совета, прощения или осуждения, он был готов поэтому услышать слова, обращенные к нему от изображения. И вместе с тем это иконное изображение было изображением святого или события вообще: святой писался не в какой-либо определенный, более или менее случайный момент его жизни, а в своей вневременной сущности. Поэтому связь его с надписью, которая указывала, кто он такой, была сильнее, чем это представляется нам, привыкшим к изображениям момента — пусть даже самого характерного и типичного. Память святого, память события его жизни была в гораздо большей мере, чем в новое время, фактом, не преходящим

¹ «Изображение» слова возрождается в XX в. во всех видах условного искусства. Ж. Брак первый обратился в 20-х гг. XX в. к аналитическому кубизму. В своей композиции «Le Portugais» он впервые применил печатные (типографского типа) буквы. С тех пор применение букв и коротких надписей вошло в художественную ткань произведений всех кубистов. Многие из картин Дж. Северини буквально испещрены надписями. Буквы и надписи служили напоминанием о предметно-идейном мире и уничтожали чисто декоративный характер произведений. Гри стал впервые применять вырезки из газет (в «Papiers collés»): прием, впоследствии широко распространившийся (особенно в поп-арте). Вырезки из календаря в композиции К. Швитерса «Deutschland» превращали картину в сувенир, стремящийся закрепить памятное мгновение. Ясно читаемые вывески широко применяет М. Шагал, а перед тем — Б. Кустодиев, М. Ларионов, И. Машков, Д. Бурлюк и др. Тема слова в «условной живописи» очень важна и многостороння. О текстах в средневековых фресках см.: *Рагојчић Св. Текстови и фреске. Матица Српска, 1966.*

во времени. Празднество повторялось ежегодно. В вечном своем аспекте события Рождества, Пасхи, Вознесения и т. д. существовали постоянно.

Икона, посвященная празднеству, не только его изображала, но была частицей самого этого празднества. Поэтому надпись не только поясняла изображение — она становилась частью самого изображения, частью канона этого изображения.

Надо проникнуть в психологию и идеологию средневековья, чтобы понять во всей глубине эстетическое значение надписей в изобразительном искусстве средневековья. Слово выступало не только в своей звуковой сущности, но и в зрительном образе.

И не только слово вообще, но и данное слово данного текста. Оно тоже было в какой-то мере «вневременно». Вот почему надписи так органически входили в композицию, становились элементом орнаментального украшения иконы. И вот почему так важно было украшать текст рукописи инициалами и заставками, создавать красивую страницу, даже писать красивым почерком.

Молитвы твердились, тексты повторялись, произведения читались по многу раз. Именно поэтому еще они должны были быть красиво написаны, как должны были красиво быть написаны любимые изречения, которые нужны всегда, с которыми не расстаются, которые направляют повседневное поведение человека. Это порождало особое отношение к слову как к чему-то драгоценному, священному. Разумеется, это касалось по преимуществу слова в возвышенном стиле, в стиле высокой церковной литературы. Слова эти — праздничные одежды, которые не следует надевать по будням. Не будем на этой теме задерживаться. К вопросу о возвышенном стиле и его особых связях с изображением и рукописной украшенностью мы еще вернемся в дальнейшем.

Изучение связей литературы и изобразительного искусства не следует ограничивать поисками и установлением общих сюжетов, тем, мотивов, философских и богословских понятий и т. д. Сюжеты, темы, мотивы в сред-

невековые по большей части традиционны. Важно, в какой стилиевой связи появляется тот или иной сюжет, мотив, тема — в литературе и живописи. Допустим, для определения характера живописи Феофана Грека не так важно, что в произведениях Феофана отразились те или иные темы исихастов, как то обстоятельство, что они находятся в общей стилистической системе. Для искусства важны не столько отдельные философские и богословские положения и убеждения, сколько тип, стиль этих положений и убеждений. Важно, что стиль живописи Феофана близок к стилю исихастского богословствования. Феофан мог и не читать исихастских сочинений, но тем не менее стиль его живописи и стиль исихастской идеологии подчиняются единым предвозрожденческим формирующим стиль принципам.

Многие явления в развитии искусства одновременны, однородны, аналогичны и имеют общие корни и общие формальные показатели. Литература и все виды других искусств управляются воздействием социальной действительности, находятся в тесной связи между собой и составляют в целом одну из наиболее показательных сторон развития культуры. Вот почему при построении истории литературы показания других искусств помогают отделить значительное от незначительного, характерное от нехарактерного, закономерное от случайного. Показания изобразительных искусств помогают охарактеризовать каждую эпоху в отдельности, вскрывают общие истоки, общую идейную и мировоззренческую основу литературных явлений. Сближения между искусствами и изучение их расхождений между собой позволяют вскрыть такие закономерности и такие факты, которые оставались бы для нас скрытыми, если бы мы изучали каждое искусство (и в том числе литературу) изолированно друг от друга. Отдельные явления могут быть выражены сильнее то в одном искусстве, то в другом.

Мы должны заботиться о расширении сферы наблюдений над аналогиями в различных искусствах. Поиски аналогий — один из основных приемов историко-

литературного и искусствоведческого анализа. Аналогии могут многое выявить и объяснить. Так, общим явлением для литературы, живописи и скульптуры Древней Руси на известных этапах их развития является подчиненность их своеобразному этикету: этикету в выборе тем, сюжетов, средств изображения, в построении образов и в характеристиках. Изобразительные искусства и литература в своих идеализирующих действительность построениях исходят из единых представлений о благообразии и церемониальности, необходимых в художественных произведениях. Эти этикетные представления претерпевают общие изменения, их судьбы связаны и взаимозависимы. Можно заметить общее по эпохам развития в формах и принципах сочетания традиционности и творческого начала, в формах проявления повторяемости тем и сюжетов, в канонах литературы и изобразительных искусств. Легко привести многие другие примеры синхронности развития литературы и других искусств. Не заботясь о полноте этих примеров и систематичности в их перечислении, упомянем лишь самые показательные. Так, например, в XVI в. усиление роли канонов и литературных образцов, литературного этикета совершается одновременно с введением иконописных подлинников и с попытками развить и упорядочить церковные обряды и систему росписей. Усиливается назидательность литературы и изобразительных искусств, делаются попытки создать энциклопедические системы в так называемых «обобщающих предприятиях» XVI в. («Великие четьи минеи», «Домострой», «Лицевой свод», «Степенная книга» и пр.) и в энциклопедических по своему характеру росписях Золотой палаты.

Эти энциклопедические системы стремятся замкнуть круг тем, мыслей, самих допускаемых для чтения и рассмотрения произведений в общей борьбе с нарастающим свободомыслием. В том же XVI в., возможно, в связи с тем же стремлением к ограничению духовной жизни грубой фактографией и нетворческими художественными методами, намечается возрастание пове-

ствовательности в литературе и изобразительных искусствах¹. Усиливается риторичность и этикетная официальная пышность, задача которых заключалась в том, чтобы заменить творчество и критическую мысль пустопорожними восторгами и бездумными априорными признаниями заслуг государства².

Внимательное изучение общих областных черт в литературе и других искусствах, общности их судеб и содержания областных, центробежных тенденций, их одновременного преодоления и сочетания с центростремительными силами способно прояснить процесс постепенного складывания единой литературы.

Местные оттенки начинают одновременно исчезать в XVI в. в различных областях художественного творчества: в литературе, в зодчестве и в живописи. На основе экономического и политического объединения отдельных русских земель происходит унификация всей русской культуры в той последовательности и с той степенью быстроты, которые подсказывались самой социально-политической действительностью.

Общие достижения в различных искусствах не всегда, однако, так показательны и «дисциплинированы». Самый обычный, ставший избитым пример общих для литературы и других искусств областных черт — пресловутый новгородский лаконизм, якобы одинаково сказывающийся в новгородском летописании, новгородском зодчестве и новгородском изобразительном искусстве, — может быть, окажется при более внимательном его изучении не таким уж показательным и простым, как он представляется за последние сто лет искусствоведам и литературоведам, занимавшимся Новгородом.

Иногда только одна область искусства быстро реа-

¹ О нарастании повествовательности в живописи XVI в. см. главу Н. Е. Мневой «Московская живопись XVI века» в кн.: История русского искусства. Т. III. Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева. М., 1955.

² См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Изд. 2-е. М., 1970. С. 97—103; *Idem.* Der Mensch in der altrussischen Literatur. Dresden, S. 145—152.

гирует на изменения в экономической и политической действительности, другие же области отстают или трансформируют это воздействие с такою степенью своеобразия, что заметить его становится возможным только при сопоставительном изучении всех искусств. Так, например, воздействие условно называемого движения восточноевропейского Предвозрождения выразительнее всего сказалось в живописи, и именно эта последняя помогает нам понять сущность так называемого второго южнославянского влияния в литературе и процесс отдельных изменений в архитектуре.

Появление и выявление национальных черт также идет неравномерно в отдельных искусствах и также требует своего сравнительного изучения в различных искусствах и литературе. В общем развитии художественной культуры народа то одна, то другая ее область оказывается ведущей. Можно заметить, что в XIV и XV вв. самое передовое положение занимает живопись. Затем наступает черед зодчества, которое вместе с живописью составляет в XV и XVI вв. вершину достижений русской культуры. Русское зодчество в XVII в., создав ряд всемирно известных ансамблей, ничуть не отстает от западноевропейского. В XVII же веке усиленно развиваются отдельные стороны литературы.

Сопоставительное изучение различных искусств, и в первую очередь литературы в ее отношениях к другим искусствам, имеет огромное значение и для характеристики сущности иностранных влияний, их смен, их обусловленности определенными общественными потребностями в том или ином случае.

Не будем останавливаться на других примерах необходимости изучения одинаковых явлений в различных искусствах. Отметим только, что это изучение не должно ограничиваться изучением сходств, но должно внимательно анализировать и все различия.

Следует различать два понятия стиля в литературе: стиль как явление языка литературы и стиль как определенная система формы и содержания.

Стиль — не только форма языка, но это объединяющий эстетический принцип структуры всего содержания и всей формы произведения. Стилеобразующая система может быть вскрыта во всех элементах произведения. Художественный стиль объединяет в себе общее восприятие действительности, свойственное писателю, и художественный метод писателя, обусловленный задачами, которые он себе ставит. В этом смысле понятие стиля может быть приложено к различным искусствам и между ними могут оказаться синхронные соответствия. Одни и те же приемы изображения могут сказаться в литературе и в живописи той или иной эпохи, им могут соответствовать некоторые общие формальные признаки зодчества того же времени или музыки. А поскольку эстетические принципы могут распространяться за пределы искусств, постольку мы можем говорить и о стиле той или иной философии или богословской системы. Мы знаем, например, что стиль барокко сказался не только в архитектуре, но захватил собой живопись, скульптуру, литературу (особенно поэзию и драматургию) и даже музыку и философию.

До XIX в. понятие «барокко» применялось только к архитектуре¹. Искусный анализ этого стиля в работах Г. Вёльфлина² помог выявить общие черты стиля барокко для архитектуры, живописи, прикладного искусства и скульптуры, а в работах его последователей — для литературы и музыки³. В настоящее время мы

¹ Термин «barocco» еще раньше в схоластической номенклатуре силлогизмов означал четвертый вид второй фигуры, т. е. силлогизм: «Каждый А есть Б; некоторые В не есть Б; следовательно, некоторые В не есть А».

² Wölflin H. Renaissance und Barock. München, 1888; *Idem*. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. München, 1915.

³ Термин «барокко» к литературе применялся уже Г. Вёльфлином (см. его книгу «Renaissance und Barock», S. 83—85), но более специально о литературе барокко стали говорить в 10-х и 20-х гг. XX в. К музыке термин «барокко» стал применяться еще до Г. Вёльфлина (см.: Ambros W. August. Geschichte der Musik. Bd. 4. Breslau, 1878. S. 85—86).

можем говорить о стиле барокко как о стиле эпохи, в той или иной степени сказывающемся во всех видах художественной деятельности в известных хронологических пределах и географических границах¹.

Во все ли времена существует то, что мы можем назвать «стилем эпохи»?² На этот вопрос отвечает венгерский исследователь Тибор Кланицай³. Т. Кланицай разграничивает стили, сказавшиеся во всех искусствах, и стили, ограниченные только некоторыми видами художественной деятельности человека. Так, например, с одной стороны, Т. Кланицай пишет, что романтизм охватывал собой литературу, живопись, скульптуру, музыку, парковое искусство (по преимуществу малые формы архитектуры) и прикладное искусство. С другой стороны, Т. Кланицай отмечает, что реализм XIX в. сказался только в литературе (по преимуществу в прозе и драме), живописи и скульптуре, но было бы натяжкой говорить о реализме в зодчестве, и он очень поверхностно проник в прикладное искусство и еще слабее в музыку, в ограниченном смысле его можно наблюдать в поэзии. Еще меньшее число искусств охватывают одновременно стили и направления начала XX в. (символизм, экспрессионизм, сюрреализм и пр.).

Создается впечатление, которое в будущем должно быть проверено на широком материале, о постепенном сужении и ограничении того явления, которое мы условно можем назвать «стилем эпохи». Возможно, что процесс

¹ См.: Wellek R. *Concepts of Criticism*. New Haven—L., 1963. P. 69—172 (*The Concept of Baroque in Literary Scholarship*).

² Признание «стиля эпохи» не отрицает идейной борьбы в каждую данную эпоху, как не отрицает этой борьбы и признание того факта, что идеи господствующего класса являются в каждую данную эпоху господствующими идеями. Но нельзя абсолютизировать понятие «стиля эпохи» и полагать, что стиль эпохи подавляет все другие стилистические возможности, исключает борьбу стилей, связь стилей с отдельными идейными движениями эпохи и пр.

³ Klaniczay Tibor. *Styles et histoire du style / Etudes de littérature comparée publiées par L'Académie des sciences de Hongrie*. Budapest, 1964.

в развитии искусств связан со все большей и большей спецификацией искусств и углублением внутренних закономерностей их роста.

Возвращаясь к Древней Руси, мы должны отметить, что то, что раньше воспринималось как «второе южнославянское влияние» в древнерусской литературе, теперь, благодаря привлечению внелитературного материала, предстает перед нами как проявление Предвозрождения на всем юге и востоке Европы. Все яснее становится, что так называемое восточноевропейское Предвозрождение охватывало еще более широкий круг культурной жизни, чем барокко. Оно выходило за пределы явлений искусства и распространяло свои «стилеобразующие» тенденции, пользуясь отсутствием четких границ художественной деятельности человека, на всю идейную жизнь эпохи. Как явление культуры восточноевропейское Предвозрождение было шире барокко. Оно охватывало, кроме всех видов искусства, богословие и философию, публицистику и научную жизнь, быт и нравы, жизнь городов и монастырей, хотя во всех этих областях оно ограничивалось по преимуществу интеллигенцией, высшими проявлениями культуры и городской, и церковной жизни.

Попутно отмечу, что не следует смешивать понятия Предвозрождение и Проторенессанс. Проторенессанс — это «Перворенессанс», наиболее раннее его проявление, ничем, в сущности, принципиально не отличающееся от самого Ренессанса, разве только своей «первородностью».

Проторенессанс в Италии был отделен от Ренессанса периодом поздней готики. Предвозрождение же предшествует Возрождению непосредственно, но еще не является Возрождением по самому своему характеру. Предвозрождение в Италии — это не столько Проторенессанс XIII в., сколько поздняя готика, которая стоит между Проторенессансом и Ренессансом. В России Предвозрождение ближе к поздней готике, заключающей в себе элементы Возрождения, но коренным образом от него отличающейся своим ярко выраженным религиозным характером.

Русское Предвозрождение не дало Возрождения. Этому воспрепятствовали обстоятельства. История знает немало случаев, когда начавшееся большое культурное движение было внешне заторможено неблагоприятной обстановкой.

Но вернемся к проблеме «стиля эпохи». Возникает вопрос: то, что мы называем «романским стилем» IX—XIII вв., не было ли также явлением стиля эпохи, в осуществлении которого сыграли свою роль не только Восточная и Южная Европа, но и вся Европа в целом? Мне кажется, что, когда будут произведены подробные и детальные исследования этого стиля, откроются широкие возможности для распространения этого стилистического понятия не только на архитектуру и скульптуру, но и на живопись, прикладное искусство, литературу, богословскую мысль¹.

Общие черты могут быть вскрыты в XI—XIII вв. в Древней Руси между «монументальным стилем» в изображении человека в летописи, скульптурным убранством владимиро-суздальских храмов, стилем живописи и стилем зодчества того же периода. Этот стиль, несомненно, охватил собою не только Западную Европу, но и Византию, южнославянские страны, Русь. Черты этого стиля отражены в покоряющем все виды духовной деятельности человека стремлении к монументальности, к четкости «архитектурных» членений и ясности соотношения главных частей при одновременной «неточности» и разнообразии деталей, в попытках охватить возможно шире мироздание в целом, видеть в каждой детали всю вселенную (своеобразный «универсализм видения»), в тенденции подчинить этому единому объяснению все явления, создавать внутренние символические связи между всеми формами существования. Это стиль, пронизанный пафосом универсализма, склонный

¹ Mâle E. L'art religieux du XII s. en France. 2-e éd. P., 1924. Э. Маль хорошо проследил связи между отдельными искусствами в недрах этого стиля.

к установлению связей между всеми формами существования, между всеми видами искусства.

Показателем этого искусства для меня является любой храм в Византии, во Франции, в Италии, у южных славян или на Руси XI—XII вв., части которого символизируют собой вселенную, церковное устройство и человеческую природу.

Росписи храма охватывали всю священную историю, были посвящены прошлому, настоящему и будущему (композиции Страшного суда, деисус). Совершаемое в этом храме богослужение, включавшее в себя литературные, театральные, музыкальные, изобразительные стороны, напоминало молящимся о всей священной и церковной истории. В этом храме крайняя обобщенность форм и «объяснений» сочетались с разнообразием проявлений этих форм, общая симметрия в крупном плане — с частной асимметрией деталей.

Задача будущих исследований — дать точный и детальный анализ этого стиля, как и подобрать ему более точное название. «Романским» этот стиль может быть назван только в том смысле, что он возник на бывших территориях двух Римов — Восточного и Западного. Это был стиль, общий для Византии (Второго Рима) и Италии, а отсюда распространившийся на всю территорию Европы и частично Малой Азии. Этот стиль имел не меньшее распространение, чем барокко. Он захватывал не только искусства. Он был наследником античности, сохранял с последней непосредственные, а не только «ученые» связи, как впоследствии Ренессанс. Поэтому в нем сильнее эллинизм, чем эллинство, неоплатонизм, чем платонизм, а античная религия осознается как крайне враждебная христианству. Нет и речи о ее «реабилитации» и эстетизации, как в Ренессансе.

От явлений «стиля эпохи» мы должны строго отличать отдельные умственные течения и идейные направления — какой бы широкий круг явлений они ни охватывали. Так, например, стремление к возрождению культурных традиций домонгольской Руси охватывает

в конце XIV и в XV в. зодчество, живопись, литературу, фольклор, общественно-политическую мысль, сказывается в исторической мысли, проникает в официальные теории и т. д.¹, но само по себе это явление не образует особого стиля, не образуют особого стиля и многочисленные проникновения на Русь ренессансной культуры. Ренессанс, который на Западе был и явлением стиля, в России оставался только умственным течением².

В определении того, что мы условно можем называть «стилем эпохи», огромную роль должны сыграть уточнения и самого этого понятия, и близких к нему эстетических представлений, а также совершенствование методических приемов анализа стиля, выявление его связей с идейным содержанием и, самое главное, исследование его социальной основы, его исторической обусловленности.

Литература и все другие искусства находятся между собой в определенных взаимодействиях, зависят друг от друга, составляют некоторое равновесие.



¹ См.: Дмитриев Ю. Н. К истории новгородской архитектуры // В кн.: Новгородский исторический сборник. Вып. 2. Новгород, 1937; Воронин Н. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве // Архитектура СССР, 1948, № 2; Лихачев Д. Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы XI—XVII вв. М.; Л., 1945.

² О проникновении на Русь элементов западноевропейского Ренессанса и античного наследия писали Ф. И. Буслаев, Д. В. Айналов, В. Н. Перетц, Н. К. Гудзий, П. Н. Сакулин, В. Ф. Ржига, А. И. Белецкий, Б. В. Михайловский, Б. И. Пурришев, Н. Г. Порфиридов, М. В. Алпатов, В. Н. Лазарев, И. И. Иоффе, А. Н. Свирин, А. Л. Якобсон, А. И. Некрасов, И. М. Снегирев, Н. А. Казакова, Я. С. Лурье, А. И. Клибанов, А. А. Зимин, М. П. Алексеев, А. Н. Егунов и др.

«ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» КАК ВЫРАЖЕНИЕ «ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

Когда мы говорим о связях, которые существовали между литературой и искусством в Древней Руси, мы должны иметь в виду не только то, что литература имела в Древней Руси чрезвычайно сильную зрительную изобразительность, и не только то, что изобразительное искусство постоянно имело своими сюжетами произведения письменности, но и то, что иллюстраторы Древней Руси выработали чрезвычайно искусные приемы для передачи литературного повествования. Хотя по природе своей изобразительное искусство статично, изображает всегда какой-то определенный момент, неподвижный, оно постоянно стремилось к преодолению этой неподвижности — либо к созданию иллюзии движения, либо к повествовательности, к рассказу. Стремление к рассказу было необходимо миниатюристам, и они пользовались чрезвычайно широким кругом приемов для того, чтобы превратить *пространство* изображения во *время* рассказа. И эти приемы сказывались и в самом литературном произведении, где очень часто повествователь как бы подготавливает материал для миниатюриста, создавая последовательность сцен — своеобразную «кольчугу рассказа». Но обратимся к повествовательным приемам древнерусских миниатюристов.

Повествовательные приемы миниатюристов, иллюстрировавших летописи, были выработаны ими применительно к содержанию летописей и хроник. Изображение сопровождали рассказы о походах, победах и поражениях, о вторжениях врагов, нашествиях, угонах пленных, плавании войска по морю, рекам и озерам, о вокняжении на столе, о крестных ходах, выступлениях князя в поход, об обмене послами, сдаче городов, посылке послов и прибытии послов, переговорах, выплатах дани, похоронах, свадебных пиршествах, убийствах, пении славы и т. д.

Работа миниатюриста была облегчена тем, что события чаще живописно «назывались», чем описывались, поэтому они могли быть переданы более или менее условно одинаковыми приемами, но усложнена тем, что часто события охватывали большое пространство действия, требовали изображения на одной миниатюре целого города или даже нескольких городов, рек, храмов.

Миниатюрист мог показать почти всякое действие, о котором говорилось в летописи. Не мог он изобразить только то, что не имело временного развития. Так, например, он не иллюстрировал тексты договоров русских с греками, тексты проповедей и поучений. В целом же круг сюжетов, которые миниатюрист брался передать, был необычайно велик и широко было пространство изображаемого — диапазон действия. Достигалось это благодаря чрезвычайно емкой системе, которая была выработана веками и благодаря которой миниатюрист мог охватить огромное количество повествовательных сюжетов в летописном изложении. По существу, миниатюрист создавал второй рассказ о мировой или русской истории, параллельный рассказу письменному. Можно было бы многое сказать о разнообразии и богатстве, с которым преломлялся письменный текст в изображениях средних веков¹.

Наша цель состоит, однако, только в том, чтобы рассмотреть способы, которыми древнерусские миниатюристы стремились преодолеть повествовательную статичность изобразительного искусства в передаче развивающегося действия, развить повествовательные возможности живописи и создать в живописи некоторое «преодоление времени». Удобнее всего показать это на

¹ Литература о миниатюрах русских исторических рукописей обильна. Наиболее обстоятельное исследование принадлежит О. И. Подобедовой — «Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания» (М., 1965; в сносках к этой книге указана предшествующая литература). Однако наша задача ограничивается указанной темой: миниатюры и текст, повествовательные приемы миниатюристов.

примерах двух знаменитых произведений иллюстративного искусства: Радзивилловской летописи XV в. и Лицевого свода Грозного середины XVI в.¹

Особенно интересны миниатюры Радзивилловской летописи. Сама Радзивилловская летопись относится к XV в., но в основе ее миниатюр лежат миниатюры более древние. А. А. Шахматов утверждает, что миниатюры Радзивилловской летописи копировали иллюстрированный оригинал XIII в.² М. Д. Приселков уточнял, считая, что миниатюры восходят к Владимирскому своду 1212 г.³

В Радзивилловской летописи нет роскошных инициалов и заставок. Она написана довольно небрежно, и ее миниатюры при всей их многочисленности составлены «быстро», в эскизной манере. Но этим обстоятельством отнюдь не отменяется художественная ценность Радзивилловской летописи. Она демонстрирует нам необыкновенное искусство живописного повествования. Почти каждая страница имеет одну или даже две и три миниатюры, а на большинстве миниатюр изображены два или три сюжета или какой-то значительный временной ряд событий; каждое изображение растянуто во времени, а не передает кратковременный момент. Иначе говоря, миниатюра стремится охватить более или менее длительное развертывание события. Миниатюрист стремится преодолеть ограниченность изображения во времени и передать длящееся время.

Как это достигается? Прежде всего укажу, что стремление изобразить возможно больший промежуток времени связано у миниатюриста со стремлением охва-

¹ Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись. I. Фотомеханическое воспроизведение рукописи. СПб., 1902. Лицевой свод Грозного, отдельные тома которого хранятся в разных библиотеках Москвы и Петербурга, фотомеханического воспроизведения не имеет.

² Шахматов А. А. Исследование о Радзивилловской, или Кенигсбергской, летописи // В кн.: Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись. II. Статьи о тексте и миниатюрах рукописи. СПб., 1902. С. 103.

³ Приселков М. Д. Лаврентьевская летопись // Учен. зап. Ленинград. гос. ун-та, 1940, № 32. С. 121.

тить и возможно большее пространство. Время и пространство для него в какой-то мере соединены. Допустим, миниатюристу необходимо показать переезд князя из одного города в другой. Он изображает на миниатюре оба города и князя в сопровождении войска между двумя городами. Тем самым ему удастся в миниатюре сообщить своему зрителю о походе в целом, а не о каком-то одном, отдельном моменте похода. Основной прием, который использует миниатюрист, — это «повествовательное уменьшение». Я называю это уменьшение «повествовательным», ибо есть разные причины уменьшения. Иногда уменьшение делается для того, чтобы выдержать иерархию значимости того или иного объекта изображения. На иконах, например, святой может быть больше по размерам, чем обыкновенные люди. Этим подчеркивается его значение. Но так делается в среднике, в житийных же клеймах святой будет одинакового размера с другими людьми. Там уменьшаются не люди, а архитектура, деревья, горы, чтобы подчеркнуть значимость людей вообще. В Радзивилловской летописи архитектура всегда уменьшена, чтобы обозначить место свершения событий: изображаются города, храмы, крепостные забрала — и все они приблизительно одинакового размера. Это своего рода обозначение, а не изображение. Это как бы слова некоего текста. В уменьшенных размерах даются реки, озера¹. Даже лошади и

¹ Насколько не развито и не разработано у нас понимание повествовательного языка живописи, может быть продемонстрировано на следующем примере. К иллюстрации, изображающей ктитора во фреске в церкви Спаса на Нередице, в «Истории русского искусства» (М., 1954. Т. II. С. 107) сделана следующая подпись: «Князь Ярослав Всеволодович, подносящий модель (так! — Д. Л.) храма Христу. Фреска западного нефа храма Спаса на Нередице близ Новгорода. Около 1246 г.» На самом же деле понятие «модель» не могло существовать в это время. Князь Ярослав Всеволодович (отец Александра Невского) подносит на фреске сам храм, самый храм дарит Спасу, а не его модель. То обстоятельство, что храм мал и князь легко держит его в руке, — это условности повествовательного языка живописца, не более.

рогатый скот показываються мелкими, и не потому, что коровы были меньше нынешних (хотя эта возможность не исключена), а потому, что они второстепенны, и правильное зрительное соотношение размеров отдельных объектов изображения не только не требуется, но и мешало бы повествованию, акцентировало бы в повествовании то, что не заслуживает этого акцентирования. В иконных изображениях важна иерархия, здесь же в миниатюрах важна не столько иерархия, сколько «повествовательная емкость». Именно поэтому в Радзивилловской летописи князь, греческий царь, святой одинаковых размеров с послами, воинами, рядовыми монахами.

Насколько сокращение размеров изображаемого позволяет расширить временной охват миниатюры, можно судить по миниатюре, рассказывающей о победе Владимира над печенегами в 992 г. (л. 69). На миниатюре изображены два войска: одно бежит, другое наступает. Посередине, между двумя войсками, — юноша-кожемяка с поднятыми в знак победы руками над поверженным печенежским богатырем. Миниатюра, как видно, показывает не один какой-то момент поединка и последующей победы, а весь эпизод в его длительности. Эпизод осады Белгорода печенегами (л. 72 об.) передается так: русские слева варят сыту, на той же миниатюре справа печенежские послы едят ее. Смерть и похороны Владимира I Святославича изображены следующим образом: на левой стороне миниатюры тело Владимира спускают веревками («ужищами»), а справа — оно же лежит в храме.

Изображение двух-трех эпизодов в одной миниатюре служило тому же «пространственному преодолению» «повествовательного времени» и помогало понять событие в его временной протяженности. Каждая из миниатюр может быть разбита на ряд повествовательных единиц, и в каждой композиции может быть изображен один, два или даже три эпизода. Эпизоды разделяются между собой архитектурным стаффажем (л. 33 об., 34) или просто

имеют некоторое композиционное разделение: действующие лица каждого эпизода обращены лицами к своему центру и спиной к участникам другого, соседнего эпизода. Каждый из эпизодов может иметь самостоятельный поём, свою линию горизонта и пр. В одной миниатюре согласно количеству эпизодов могут несколько раз повторяться одни и те же действующие лица. Так, на л. 28 об. показана месть Ольги древлянским послам, которых несут в ладьях (первый эпизод) и затем бросают в яму (второй эпизод). В каждом из эпизодов присутствует сама Ольга.

Действия в миниатюрах имеют однообразное изображение. Язык миниатюр, как и всякий язык, требует некоторой формализации и стабильности «знаковой системы». Так, например, уплата дани всегда передается сценой вручения связки с мехами. Это не значит, разумеется, что дань уплачивалась во всех случаях только мехами. Это просто условное обозначение уплаты дани. Но обозначение это в некоторой мере все же считается с реальностью, ибо когда речь идет об уплате дани греками Святославу, то греки платят ее не мехами, а слитками серебра — гривнами (л. 34 об.).

Имеются в миниатюрах и некие условные обозначения места действия. Так, например, князь, сидящий на столе, обычно изображается перед зданием, где князь находится, что, очевидно, означает, что он восседает на столе внутри этого здания. Интересно изображение Игоря Ольговича, стоящего у обедни (л. 178 об.): Игорь стоит у дверного проема храма и «прячет» голову в храм. Видна только его спина. Такая же фигура с головой в дверном проеме изображена на л. 204. Сходно изображены и убийцы, входящие в постельницу Андрея Боголюбского (л. 214 об.).

Миниатюрист находится в явном затруднении, когда в тексте передаются речи действующих лиц. Произнесение слов изображается обычно с помощью соответствующих жестов. Говорящие жестикулируют, изредка указывают пальцем. Жесты эти требуют своего изучения.

Можно различить жесты извещения, жесты указания, приказания. Выделяются позы послушания, согласия и пр. Можно различить позы, в которых стоят поющие женщины — обычно со сложенными на груди руками. В сценах оплакивания, пляски и пр. рукава обычно спущены. Горе женщин передается подпиранием щеку рукой. Пляска изображается поднятыми кверху обеими руками. В такой же позе, напоминающей дирижера, поднимающего оркестр, показано ликование князя, отвечающего на приветствия придворных и народа.

Обозначение мира — трубачи, трубящие в трубы (л. 207). Если трубят только один трубач — это символ сдачи города. Символом сдачи города может быть и меч, который побежденные дают победителям рукояткой вперед (л. 120 об.). Поднятый посох (возможно посадничий) означает созыв народа. Здесь мы узнаем и конкретность. Можно по знакам представить себе, что означало, например, в древнерусском «целование»; это не поцелуй в нашем смысле: две фигуры приветствуют друг друга, обнимая за плечи (л. 174 об.). «Игрище» изображено как пляски под музыку (л. 6 об.).

Зрительная конкретизация повествования летописца была в ряде случаев довольно развернутой. Так, уже в одной из первых миниатюр Радзивиловской летописи, иллюстрирующей текст «розные языки (народы.— Д. Л.) дань дают Руси», показан русский князь, сидящий на столе и принимающий от пяти иноземцев связку меховых шкур. Позади князя стоит молодой безбородый писец, записывающий дань.

Символы и аллегории для миниатюриста — это одновременно *отвлечение* повествования и *конкретизация* этих символов и аллегорий. Миниатюрист часто понимает их буквально. Так, например, воинскую формулу «взять град копием», означающую захват города приступом, миниатюрист изображает так: группа воинов подступает к башне, символизирующей город, из группы на башню направлено копье, упирающееся в стену (само по себе действие бессмысленное), а с башни два трубача

трубят в трубы, знаменуя сдачу (л. 129 об.). Символом победы служит воин на коне, пронзающий змея копьем (л. 155). Птица, сидящая на дереве, символизирует собой печаль или смерть (л. 42—смерть Олега, л. 43 об.— несчастья Ярополка). Иногда композиция миниатюры целиком состоит из различных символов. Так, например, сцена побоища под Киевом в 1151 г. (л. 191 об.) изображена следующим образом: лежит «отторгнутый» в битве щит и упавший шлем Андрея Боголюбского; лежит стяг — символ поражения; изображена птица — символ печали, из-за лещадной горки высовывается единорог — символ смерти по одной из притч «Повести о Варлааме и Иоасафе»¹.

Зрительно представленное повествование требовало некоторого однообразия в «обозначениях». Миниатюрист стремился, например, выработать свои «обозначения» для тех или иных народов — чаще всего это характерные шапки. В какой мере половецкие, фряжские, греческие и прочие головные уборы соответствуют реальным, сказать трудно.

А. В. Арциховский, исследовавший древнерусские миниатюры как исторический источник², мало считался с условностью повествовательного языка миниатюриста. Между тем, чтобы выявить реальное, следует прежде всего убрать нереальное — условное, увидеть столкновение реального с условным и точно знать язык миниатюриста.

Нельзя представить себе, что миниатюрист следует только за литературными символами и метафорами: порой он создает их сам. Так, например, для характеристики образного и пространственного мышления миниатюриста представляет интерес следующая деталь в изобра-

¹ Миниатюра впервые была истолкована Н. Н. Ворониным в рецензии на книгу А. В. Арциховского «Древнерусские миниатюры как исторический источник» (Вестн. АН СССР. 1943. № 9. С. 133).

² Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944.

жении приходящих к Владимиру I Святославичу послов (л. 48 об., 49, л. 58 об., л. 59): за спиной у каждого из послов некоторое пространство с лежачей горкой и деревьями. Очевидно, это символ того, что послы откуда-то явились, прошли путь, «принадлежат» другой стране.

Повествование в Радзивилловской летописи всегда развертывается по горизонтали. Несколько сюжетов объединяются только по горизонтали, по большей части эта горизонталь в отличие от миниатюр последующего времени — одна. Два четко определенных горизонтальных яруса видны только в композиции на л. 119 об., но при этом «чтение» этой миниатюры идет как чтение строк: слева направо с переходом от верхнего яруса к нижнему.

Большой интерес представляет собой направление повествовательного движения. Направление движения должно в какой-то мере соответствовать и географическим представлениям своего времени. Если современный художник станет изображать движущийся из С.-Петербурга в Москву поезд, то можно заранее сказать, что поезд будет двигаться слева направо. Обратное движение — из Москвы в С.-Петербург — будет показано справа налево. Это объясняется тем, что современный человек всегда представляет себе север как бы по географической карте — поезд, идущий в Москву из С.-Петербурга, обращен к зрителю правым боком, а из Москвы в С.-Петербург — левым. Иное в миниатюрах Радзивилловской летописи. Миниатюрист и его зритель «читают» миниатюры в том же направлении, что и текст, поэтому поступательное движение — это направление слева направо; временная последовательность в миниатюре, если она охватывает несколько событий, также слева направо, то есть более ранние события изображаются слева, более поздние — справа. Действие при этом, разумеется, разворачивается в плоскости книжного листа. Редко действие направляется в сторону зрителя или от зрителя. Поэтому профильные изображения людей (для фигур), коней, всего, что движется,

преобладают над фасными. Неподвижные же предметы (здания, деревья, горки) передаются преимущественно фасно, так как именно фасное изображение позволяет представить предмет наиболее репрезентативно как неподвижный.

Людские лица, особенно у главных действующих персонажей, повернуты к зрителю на три четверти. Происходит это потому, что движение требует профильного изображения, а цели «узнавания» — фасного. Главные действующие лица всегда как бы обернуты к зрителю целиком, если они неподвижны (князь, сидящий на столе), и в три четверти, если они движутся. Второстепенные же движущиеся персонажи всегда профильны (послы, направляющиеся к сидящему князю, слуги, воины, идущие или едущие группами, бесы).

Отсутствие точных географических представлений у миниатюристов при изображении движения может быть продемонстрировано и на следующем примере: посылая послов к Святославу, греческий царь сидит слева миниатюры (следовательно Царьград находится слева; л. 88 об. верх). Когда же Святослав идет походом на Царьград, он также движется слева направо (л. 38 верх), следовательно, в данном случае Царьград находится справа.

Повествовательное пространство доминирует в миниатюрах над географическим. Можно сказать больше — в миниатюрах господствует повествовательная последовательность над возможной реальной. Первая же миниатюра Радзивилловской летописи (л. 3), изображающая постройку Новгорода, ведет свое «повествование» слева направо. С левого края дровосец рубит лес для постройки, правее двое несут срубленное бревно, справа миниатюры двое «рубят» самый город. Сухие слова летописи о постройке Новгорода развернуты в изобразительное повествование слева направо. Процесс постройки разбит на несколько моментов.

Третья миниатюра Радзивилловской летописи (л. 4) буквально следует за повествованием летописи. Вот

текст, который она иллюстрирует: «И быша братья, единому имя Кий, другому Щек, а третьему Хорив. И сестра их Лыбедь. И седяше Кый на горе, где ныне Зборичев, а Щек сидяше на горе, идеже ныне Щеквица, а Хорив на 3-й горе, от него же прозвался Хоривица. И сотвориша городок въ имя брата их старшего и нарекоша Киев». Перечисление братьев передано миниатюристом в обычной «временной» последовательности, то есть слева направо. Все три брата в буквальном смысле сидят каждый на своей горке. Слева Кий, потом, посередине Щек, справа Хорив. Еще правее условно изображен город и написано «град Киев». Старший брат Кий, на миниатюре первый слева, сидит в церемониальной позе с поднятыми руками («жест дирижера, поднимающего оркестр»). Чтобы показать, что Киев построен для Кия, перед последним стоит человек, не упомянутый в тексте, пальцем указывающий Кию на Киев. Современный читатель, естественно, считал бы, что город Киев построен именно на той горе, на которой сел Кий, и возможно, что так считал и летописец, но для миниатюриста весь текст зрительно развернут слева направо, и поэтому Кий, с которого начинается текст, сидит слева, а город Киев, которым заканчивается повествование, изображен с правого края.

В тех редких случаях, когда миниатюрист не может определить направление движения или движения нет, он изображает всадника в ракурсе, анфас (л. 187; этим выражено колебание Изяслава — куда ему ехать; и л. 158 об.). Характерно, что и иконописцы, и миниатюристы изображали статую Юстиниана Великого в Константинополе обычно анфас¹, обозначая этим, что статуя недвижима.

¹ Такое изображение см. в левом верхнем углу на иконе «Покров» Русского музея бывш. собрания Н. П. Лихачева; Некрасов А. И. О явлении ракурса в древнерусской живописи // Труды Отделения искусства РАНИОН. Т. I. М., 1926.

Еще более развитой характер носят повествовательные приемы миниатюр Лицевого свода XVI в. «Лицевая» (т. е. иллюстрированная) редакция Никоновского летописного свода была составлена в 70-х годах XVI в. как завершение летописной работы (название это позднейшее — по имени патриарха Никона, владевшего ее томами). Почти каждая страница Лицевого свода была снабжена миниатюрами. В основу текста Лицевого свода был положен текст Оболенского списка Никоновской летописи. Первая часть Лицевого свода посвящена всемирной истории и обнимает собой три тома. Русская история представлена в шести огромных томах: Лаптевском (когда-то принадлежавшем купцу Лаптеву) в Публичной библиотеке в С.-Петербурге, два Остермановских тома в Библиотеке Академии наук СССР в С.-Петербурге (когда-то принадлежали сподвижнику Петра I — графу Остерману), Шумиловский том, пожертвованный в начале XIX в. купцом Шумиловым в Публичную библиотеку в С.-Петербурге, Голицынский (находился в имении Архангельском князя Голицына под Москвой) ныне в Публичной библиотеке в С.-Петербурге и Синодальный в Историческом музее в Москве (из Синодальной библиотеки)¹.

Общее количество миниатюр в одних только этих шести томах, посвященных русской истории, достигает огромной цифры — свыше 10 тысяч. Если считать число тем миниатюр, то их, по всей вероятности, до 40 тысяч. Лицевой свод в его дошедшей до нас части обнимает события русской истории с 1114 по 1567 г. Первая часть русской истории этого свода до 1114 г. не сохранилась.

¹ Миниатюры Лицевого свода с археологической точки зрения наиболее полно исследованы А. В. Арциховским в кн.: Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. С. 41—154. Искусствоведческие исследования миниатюр см.: Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. М., 1965. С. 102—314.

В Лицевом своде в начале второго Остермановского тома находится одна из версий «Сказания о Мамаевом побоище».

В 1366 г. (по другим сведениям — в 1367) началось строительство нового каменного московского кремля на месте деревянных укреплений, возведенных Иваном Калитой. Московская летопись так рассказывает об этом событии: «тое же зимы (1366 г.— Д. Л.) князь великий Дмитрий Иванович, погадав (обсудив.— Д. Л.) с братом своим, с князем Володимером Андреевичем, и с всеми бояры старейшими, и здумаши ставити город камен Москву, да еже умылиши, то и сътвориши, тое же зимы повезоша камень к городу»¹. Каменный кремль был значительно больше деревянного: его расширили почти до пределов существующего сейчас. Как выглядел новый кремль — представить себе трудно. Ясно одно — стены были не ниже теперешних, так как до введения огнестрельного оружия высота стен служила защитой.

Возведение каменного московского кремля сказалось на внешней политике великого князя Дмитрия Ивановича, и это заметили современники. Тверской летописец под 1367 г. записал об этом событии: «Того же лета князь велики Дмитрей Ивановичъ заложи град Москву камен начаша делати безпрестани. И всех князей русских привожаще под свою волю, а которые не повиновахуся воле его, а на тех нача посегати»², Москва становилась неприступной для врагов. Нашествия литовского князя Ольгерда на Москву и в 1368, и в 1370 гг. были безуспешными. Авторитет Москвы возрос чрезвычайно, поэтому, когда в 1375 г. Дмитрий Иванович двинулся к Твери, к его полкам примкнули девятнадцать русских князей.

¹ Симеоновская летопись // Полное собрание русских летописей. СПб., 1913. Т. 186. С. 106.

² Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. СПб., 1897. Т. 2. С. 8.

Строительство, которое вел накануне Куликовской битвы князь Дмитрий Иванович, имело определенную идеологическую направленность. Готовясь к решительному сопротивлению монголо-татарам, он возводил монастыри и храмы на южных рубежах своего княжества — как бы навстречу врагу. Грандиозные храмы на границах Руси должны были знаменовать уверенность русского народа в своей силе и его готовность к борьбе. Н. Н. Воронин пишет: «В ту пору строительство храмов перешло в ближайший тыл будущей битвы, в города на Оке. В Серпухове был выстроен большой дубовый собор во имя Троицы — символа дружбы, единения и готовности к жертве. Под городом выросли его «сторожи» — монастыри. Под Коломной Сергей основал также два монастыря, а в самом городе московские мастера, снятые для этого дела с начатой постройки Симоновского монастырского собора в Москве, с необычайной быстротой воздвигли новый белокаменный Успенский собор. Великий византиец Феофан Грек в 1392 г. написал для нового собора храмовую икону Донской Богоматери... Творения зодчих — храмы, — как бы опережая воинов, выходили на передний край грозного фронта, освящая освободительную борьбу, напоминая языком камня, что настало время решительной схватки «за землю Русскую, за веру христианскую» против «безбожных агарян»¹.

Вторая половина XIV — начало XV в. характеризуются повышенным интересом к культуре домонгольской Руси, к старому Киеву, к старым Владимиру и Суздалью, к старому Новгороду. К Киеву и киевскому князю Владимиру в это время обращается былинный эпос, продолжается создание киевского цикла былин.

¹ Воронин Н. Н. Андрей Рублев и его время (к 600-летию со дня рождения художника) // История СССР. 1960. № 4. С. 55—56. Подробнее см.: Воронин Н. Н. К характеристике архитектурных памятников Коломны времени Дмитрия Донского // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 12.

Народная мысль видит в Киеве и князе Владимире символ независимости и единства Руси¹.

В сфере политической мысли Москва претендует на все наследие Киева и Владимира-Залесского. Тверь, Москва, Нижний Новгород и Ростов продолжают традиции киевского летописания: в начало их летописей кладется киевская «Повесть временных лет», монголо-татары отождествляются с половцами, призывы киевской летописи к объединению Руси и борьбе с кочевниками воспринимаются как призывы к борьбе с монголо-татарским игом («Повесть об Едигее», 1404). В подражание «Слову о полку Игореве» и как своеобразный ответ на него создается «Задонщина». Литературными реминисценциями произведений домонгольской поры пользуются авторы и других произведений («Слово инок Фомы», московские летописи и т. д.). Составляются новые редакции таких крупных домонгольских произведений, как «Киево-Печерский патерик» (Арсениевская редакция, созданная в Твери в 1406 году), «Еллинский и римский летописец» (редакция 1392 года).

Усиление Московского княжества, его влияние среди населения русских земель позволили московскому князю Дмитрию Ивановичу перейти от политики покорности Золотой Орде к сопротивлению. Этому же способствовали непрерывные распри и в самой Орде, где за два десятилетия (1360—1380) сменились четырнадцать ханов.

Золотоордынскому темнику Мамаю удалось сосредоточить в своих руках власть. В 1378 году он организовал поход на Русь, но был разбит на реке Воже. Сразу после поражения Мамай начал готовить новый большой поход. Он заключил союз с другим сильным врагом Москвы — литовским князем Ягайлом и вступил в сговор с рязанским князем Олегом, чьи владения находились в пограничной со степью области и который стремился не разрывать отношения с Ордой.

¹ См.: Лихачев Д. С. Национальное самосознание Древней Руси. М.; Л., 1945. С. 78—81.

Москва, готовясь к обороне, собирает войска всех остальных русских княжеств. Их, по-видимому, набралось около 100—150 тысяч — столько же, сколько вел на Русь Мамай, хотя в летописях говорится о гораздо большем числе войск. Князь Дмитрий Иванович повел войска навстречу Мамаю. Битва произошла 8 сентября 1380 года на правом берегу Дона при впадении в него речки Непрядвы, на так называемом Куликовом поле. Русские воины расположились к битве, перейдя реку, чтобы некуда было отступать. Этим Дмитрий Иванович показал решимость биться до последнего.

Битва на Куликовом поле была одной из самых кровопролитных в русской истории. С обеих сторон пало огромное количество воинов, и не случайно в народе она получила название «Мамаево побоище». Битва велась так ожесточенно, что в рукопашных схватках воины гибли не только от оружия, но и «задыхались от великой тесноты». Исход битвы решило выступление засадного полка под предводительством серпуховского князя Владимира Андреевича. Поле битвы осталось за русскими, войско Мамаю бежало, но победа досталась очень тяжело.

Через два года хан Тохтамыш, преемник Мамаю, предпринял поход на Москву, но взять город удалось только «изгоном» (внезапно) — поход был организован в глубокой тайне и осуществлен с необычайной быстротой. Москва была разграблена, и прежняя зависимость от Орды восстановлена.

В 1395 году на Москву идет Тамерлан, знаменитый завоеватель Передней Азии. Московский князь Василий Дмитриевич готовится к отпору и собирает войско. В Москву переносится главная святыня Владимирского княжества — икона Владимирской Богоматери. Тамерлан не решился напасть на русское войско и от города Ельца повернул обратно. Тогда московский князь прекратил уплату дани. В 1408 году хан Золотой Орды Едигей снова втайне подготовленным и внезапным набегом вторгся на Русь и осадил Москву. Взяв «окуп» (выкуп), он

удалился. Но неизбежность освобождения Руси от Золотой Орды стала ясна для обеих сторон. Куликовская победа была подготовлена ростом культуры и патриотического самосознания и, в свою очередь, усилила и то, и другое.

Подъем русской культуры в последней четверти XIV — начале XV в. сказался во всех областях. Оживляются культурные связи Руси с Балканским полуостровом — Константинополем, Болгарией, Сербией. Получают распространение южнославянские произведения и переводы, делаются новые переводы с греческого, приезжают живописцы и писатели. Этот период отмечен работами Феофана Грека, Андрея Рублева и Даниила Черного.

В Москве, Новгороде, Звенигороде, Серпухове и других городах возводятся храмы, украшенные фресками и иконами, являющимися гордостью русского искусства. В области исторической мысли следует отметить создание обширных московских летописных сводов. В литературе — это расцвет сложного панегирического стиля в произведениях Епифания Премудрого и приезжего книжника Пахомия Серба. В это время возникает замечательный цикл произведений, посвященных Куликовской битве: «Задонщина», летописные повести, «Сказание о Мамаевом побоище».

Мысль русских людей постоянно обращалась и ко временам своей «античности» — Киевской Руси. Заметен интерес к литературе домонгольского периода, к таким памятникам, как «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Слово о полку Игореве», к первым откликам в литературе на события Батыева нашествия — «Слову о гибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем», «Житию Александра Невского». В фольклоре в конце XIV—XV вв. формируется цикл былин, посвященных киевскому князю Владимиру Красное Солнышко, ставшему как бы символом Руси. В архитектуре и живописи заметно тяготение к традициям эпохи на-

циональной независимости¹. В произведениях, повествующих о Куликовской битве, также ощущается интерес к эпохе национальной независимости. Создается «Задонщина», которую следует рассматривать не только как подражание «Слову о полку Игореве», но как своеобразный ответ на это произведение. «Задонщина» исполнена идеи возмездия за поражение Игоря Святославича на Каяле. Поэтому многие образы «Слова» имеют в «Задонщине» обратный смысл: то, что относилось в «Слове» к поражению русских, в «Задонщине» отнесено к поражению монголо-татар, то, что относилось к победе половцев, — связано с победой русских. Солнечное затмение, ознаменовавшее выступление в поход русских войск в 1185 г., сменилось ярким сиянием солнца, сопровождавшим выступление русских войск в 1380 г., и т. д. «Задонщина», в свою очередь, повлияла своей образностью на «Сказание о Мамаевом побоище» и осветила его поэтическим блеском. Но отдельные фрагменты поэтической системы «Слова о полку Игореве» сказываются и на том произведении, которое с очевидностью предшествовало и «Задонщине», и «Сказанию о Мамаевом побоище» — летописной повести о Донской битве².

Куликовская битва никогда не теряла своего значения в последующие века. Каждая победа над монголо-татарами вызывала интерес к этому первому акту свержения чужеземного ига. Такой интерес заметен в конце XV века в связи со знаменитым «стоянием на Угре» в

¹ Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Елифания Премудрого. М.; Л., 1962; Lichatschow Dmitri S. Die Kultur Russlands während der osteuropäischen Frührenaissance vom 14. zum Beginn des 15. Jahrhunderts. Dresden, 1962; Lichaciov Dmitri S. Prerenasterea rusa. Cultura Rusiei în vremea lui Rubliov si a lui Epifanie Preaînt eleptul (Sfîrşitul sec. al XIV-lea — începutul sec. al XV-lea). Bucureşti, 1975.

² Салмина М. А. «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина» // В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966. С. 344—384.

1480 году, когда золотоордынский хан Ахмат не решился напасть на войско Ивана III, и перестала выплачиваться «вековечная» дань Золотой Орде. Иван III бросил на землю и топтал ногами ханскую «басму» — знак, вручаемый ханом своим послам для удостоверения их полномочий.

Новую волну интереса и к Куликовской битве, и к русской истории в целом вызвало в середине XVI в. присоединение к русскому государству Казанского и Астраханского царств. Лицевые списки «Сказания о Мамаевом побоище» изучены в исследованиях С. К. Шамбинаго¹, Е. Ф. Хилл² и Л. А. Дмитриева³. Иллюстрации к тексту «Сказания», включенного в лицевой свод XVI в., занимают особое место и должны быть охарактеризованы прежде всего в связи с миниатюрами всего Лицевого свода, с принципами миниатюристов Лицевого свода и в соответствии с той художественной системой, которой они придерживались.

Над миниатюрами Лицевого свода трудилось несколько миниатюристов, но в целом их работа была подчинена одному стилю и выполнялась в общих чертах одинаковыми приемами. Композиции рисовались первоначально свинцовым карандашом. Они проверялись редакторами, вносившими свои изменения, причем редакторы следили главным образом за содержательной частью миниатюр. После рисунки обводились тушью и

¹ Сказание о Мамаевом побоище. (Предисловие С. К. Шамбинаго). Издание Общества любителей древней письменности. Вып. 125. СПб., 1906.

² Hill Elizabeth. A British Museum Illuminated Manuscript of an Early Russian Literary Work. An Encomium to the Grand Prince Dimitri Ivanovich and to His Brother Prince Vladimir Andreyevich. The Tale of the Battle of the Don in the Year 6889 (Сообщение на IV Международном съезде славистов в Москве Е. Ф. Хилл /Англия/. Один вновь обнаруженный лицевой список древнерусского памятника). L., 1958.

³ Дмитриев Л. А. Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1966. Т. 22. С. 239—263.

раскрашивались. Краски разводились для нескольких рисунков сразу, мы можем проследить, как акварель постепенно загрязнялась и сменялась свежеразведенной. В некоторых своих частях рисунки не были закончены раскраской. Главную роль, однако, играет в Лицевом своде не раскраска, не цвет, а рисунок, композиция и линия. Перед нами не столько живописное, сколько графическое решение своей задачи художниками, хотя владение цветом, согласованность цветных плоскостей, эмоциональное воздействие цвета на зрителя достигает иногда большой виртуозности.

Так же точно, как миниатюры Радзивилловской летописи, миниатюры Лицевого свода не столько изображают тот или иной момент русской истории, сколько *рассказывают* русскую историю изобразительными средствами. Это параллельный изобразительный рассказ к словесному рассказу летописи. При этом каждая миниатюра, как многие в Радзивилловской летописи, представляет собой не одно изображение, а сразу несколько. Миниатюры как бы стремятся перебороть статичность изображения, развернуть его во времени, показать как можно больше отдельных элементов того или иного события, а самые элементы дать в охвате нескольких разновременных моментов. Например, воины посекают побежденных: мечи еще только занесены над головами врагов, но враги уже лежат мертвыми. С нашей точки зрения, изображение непоследовательно, но для миниатюриста оно изображено последовательно — согласно его принципам: для нападающего воина характерно поднятие оружия, оружие в действии, о врагах же говорится в тексте летописи, что их посекали, поэтому они лежат посеченные, с закрытыми глазами и с отрубленными головами. Миниатюрист не останавливает действия, чтобы его изобразить, он изображает именно действие, поэтому охватывает движение за целый промежуток времени. Но и этот промежуток времени кажется ему слишком малым, поэтому каждая миниатюра, в свою очередь, делится на несколько меньших. В одной миниатюре он соединяет несколько эле-

ментов сюжета, не останавливаясь перед тем, чтобы показать несколько раз одних и тех же действующих лиц.

Чтобы сжать свой рассказ, сделать его возможно более лаконичным и не опустить ни один из важнейших элементов повествования — дать изображение рассказа, сведенное до минимума, почти до простого обозначения, у миниатюриста существует несколько излюбленных способов. Миниатюры Лицевого свода «читаются», они расшифровываются в своей повествовательной манере, как и миниатюры Радзивилловской летописи. При этом, однако, Лицевой свод идет еще дальше Радзивилловской летописи в разнообразии своих повествовательных приемов.

Прежде всего необходимо указать на то, что назначение так называемых лещадных горок и архитектурного окружения — «палатного письма» в Лицевом своде усложнилось. Действие вне города обычно разворачивается в гористой местности — среди скал и обрывов. Однако лещадные горки — символ природы, их функция в миниатюре не изображать, а исключительно «обозначать», что действие происходит вне города, «на природе». Если в тексте летописи говорится, что событие произошло в поле (на Куликовом поле или на Кучковом поле), то лещадные горки объединяются сверху одной плавной линией. В остальных же случаях лещадные горки служат кулисами, из-за которых выступают группы людей или отдельные люди, с помощью которых лаконично изображены те или иные события. Лещадные горки позволяют сократить число фигур, служат своего рода «многоточием», чтобы оставить только часть группы или даже часть фигуры, иногда даже одни головы. Они — средство разделения миниатюры на отдельные изображения и средство сокращения многолюдных сцен или отдельных человеческих фигур. С помощью лещадных горок можно изобразить только «знак» события, спрятав за них то, что показалось миниатюристу лишним.

Если сцена происходит в городе, то этим же целям служит палатное письмо. Миниатюрист не ставит себе

целью изобразить реальную архитектуру или даже просто возможную. Столп может упираться в крышу нижестоящего здания. Одна архитектурная форма может переходить в другую или просто входить в нее. Например, крепостная стена неожиданно входит в проем здания. Очень часто изображаются ворота, чтобы указать, что войско, те или иные лица, гонимцы уезжают или приезжают в Москву, но ворота эти совершенно условны, малообъемны, и фигуры людей, которые в них въезжают или из них выезжают, как бы обрезаны ими: они не видны с противоположной стороны ворот, хотя по размерам и ворот, и людей, и лошадей они должны были бы быть видны. Крепостные стены были основным признаком города. Изображались они чаще всего в нижней части миниатюры. Их линии обычно не совпадали с горизонтальным нижним краем миниатюры. Они слегка приподнимались к правому и левому краю миниатюры, обозначая этим, что стены окружают город, и придавая всей композиции некую компактность и замкнутость.

В передаче отдельных сцен на миниатюре следует отметить стремление изобразить в происходящем самое главное и не скрывать это главное за пределами изображения. Ни толпы людей, ни группы войска или архитектурные детали никогда не закрывают или не обрезают главного действия. Лестадные горки или архитектурные детали всегда только ограничивают внимание зрителей, направляют его, но никогда не заслоняют самого содержания. Все на виду и вместе с тем нет ничего, что бы было за пределами существования! Художник аскетически воздерживается от сообщения зрителю чего-то такого, чего нет в тексте летописи. Все подчинено рассказу. Действующие лица слегка позируют художнику. От этого их жесты, их движения кажутся как бы повисшими в воздухе. Каждый жест «остановлен» художником именно в тот момент, который наиболее выразителен для события: занесена сабля, рука поднята для благословения или для указания, указующий перст

четко вырисовывается над группой людей. Руки в миниатюрах играют первостепенную роль. Их положения символичны. Когда персонажи обращаются друг к другу с какими-нибудь словами, об этом мы узнаем не по раскрытому рту и не по выражению лица, а по жестам рук. Жест благословения — это еще античный ораторский жест, и в миниатюре он часто является знаком говорения. Менее всего подвижны князь, епископ, митрополит: им не пристало суетиться. К ним обращаются, но их собственные ответы всегда скупы. Они держатся с достоинством.

Когда ноги персонажей видны зрителям, они всегда изображены условно и в них не чувствуется реальной опоры на почву, на пол. Фигуры людей не стоят, а как бы парят в воздухе. Во всей композиции миниатюр чувствуется некоторая «невесомость». Эта «невесомость» нужна потому, что сцены располагаются одна над другой и верхние не должны давить на нижние. Вместе с тем «невесомость» придает некую геральдическую замкнутость изображению.

В каком же порядке располагаются отдельные сцены в миниатюре? Обычная последовательность рассказа в европейских миниатюрах — снизу вверх. Наиболее ранние события располагаются внизу; над ними изображается то, что совершается позднее. Вместе с тем верхний план — задний план. Отчасти поэтому в Лицевом своде миниатюры имеют обрамление снизу и с боков, а кверху они открыты, открыты потому, что рассказ еще продолжается, действие русской истории не завершено. «Продолжение следует» — как бы говорит этим миниатюрист. Эту последовательность рассказа в миниатюрах снизу вверх непременно надо иметь в виду зрителю. Но нередко она нарушается. Дело в том, что в миниатюрах низ имеет еще значение главного места действия — своеобразного «просцениума». Поэтому основной эпизод изображаемого рассказа летописи может быть помещен внизу даже тогда, когда он завершает рассказ. Кроме того, наверху может изображаться мо-

тивировка, историческая параллель, различные видения. Миниатюрист объединяет в единой композиции знамение и события, им предвещенные, действие и его интерпретацию летописцем, изображает сюжеты, о которых упоминают в своих речах действующие лица, и т. д. Сцены, в которых совершаются небесные знамения, также изображаются только наверху. Низ миниатюры соответствует ближайшему к зрителю плану, ближайшему — и во временном, и в пространственном отношении. От миниатюриста зависит, что признать преобладающим. Так, например, на миниатюре 15 первого Остермановского тома наверху изображены предшествующие события в Пскове, а внизу — последующие события в Москве. Хотя по временному признаку надо было бы изобразить внизу более ранние события в Пскове, миниатюрист предпочел тем не менее изобразить внизу Москву — она ближе и значительнее.

Однако отдельные исключения не меняют общего направления движения в миниатюрах — снизу вверх. Кроме этого основного направления есть более слабое движение повествования — горизонтальное. Обычно приезд, поход врагов, возвращение войска совершается, как и в Радзивилловской летописи, слева направо. Выступление в поход русского войска, отправление послов, отъезд — справа налево. Но есть, конечно, и исключения, особенно тогда, когда отъезжающие едут в Царьград.

Расположение отдельных сцен в миниатюре привлекает внимание и еще одной своей любопытной стороной. В целом последовательность летописного рассказа и исторических событий совпадает, но когда летописец обращается к старым, уже ранее происшедшим событиям, то миниатюрист соблюдает не историческую последовательность, а последовательность летописного рассказа.

Все исторические события всегда изображаются снаружи зданий. Долгое время считалось, что древнерусские художники просто «не умели» изображать интерьеры. Это не так. Изобразить событие внутри зданий было бы даже легче, чем снаружи, избавив при этом художника от не-

обходимости разными знаками показывать, что действие происходит именно внутри того здания, перед которым оно изображено. Это происходит от особого видения художником всего происходящего в мире. Он видит все события в большом масштабе, как бы панорамным зрением. Охват живописцем пространства так велик, что изображать интерьеры было, конечно, невозможно. Миниатюрист должен был ясно показать, где происходит событие, обозначить здание, а это можно было сделать только изображением наружного вида здания. Это соответствовало повествовательности его творчества. Художника вполне устраивало обозначить то, что действие происходит внутри здания, раскрыв в нем темный проем, и показать действие на фоне этого проема. Это определенная система изображения, а не просто «неумение». Если действие происходит в соборе, он должен изобразить и этот собор, с его знаками и признаками. Интерьер для древнерусского художника всегда имеет один устойчивый признак — темноту. Если действие происходит в лоджии князя, миниатюрист показывает его палаты, делает большой темный проем со сводчатым верхом и ложе князя как бы прислоняет к этому темному проему; этого достаточно. Показывать, что действие происходит внутри зданий, с помощью сводчатых темных проемов — одно из немногих правил, которым миниатюрист следует неукоснительно. Такие темные проемы изображаются в миниатюрах довольно часто. Они служат к тому же хорошим фоном для поднятой руки с указующим или благословляющим жестом.

Миниатюры каждого тома и в известной мере всех томов выдержаны в едином художественном типе. Это миниатюры одного характера, одного знакового кода, одного, я бы даже сказал, ритма.

Миниатюры эти связаны с текстом страницы. На каждой странице помимо миниатюры есть и куски текста. Слегка наклонный каллиграфический полуустав этого текста создает ощущение движения, которое присутствует в каждой миниатюре, поскольку миниатюрист рассказы-

вает, изображает по преимуществу действие. Каждая миниатюра, хотя и является в известной мере «сводом» различных сцен, едина по композиции, по одному охватывающему эту композицию ритму. Фигуры людей, всадников, группы воинов ритмично падают, ритмично мчатся. Ритм подчеркивается одинаковостью одежд, сходством лиц и их расположением на одном уровне (сходны не только лица, но и фигуры людей, одинаковые по росту).

Известную ритмичность придает изображениям и общий ритм одежд, шишаков, шапок.

Ритм создается прямыми линиями на одеждах воинов, напоминающими стежки в древнерусском шитье, параллельностью летящих стрел, несомых копий, занесенных над головами мечей и сабель. Этот ритм совпадает с ритмом фантастического и очень разнообразного палатного письма или лещадных горок.

Не все композиции выдержаны, однако, в одном ритме. Есть композиции, в которых преобладают горизонтальные линии, в других случаях композиции строятся по диагонали, тяготеют к восьмиугольности. В некоторых случаях округлые линии сочетаются и контрастируют с прямыми. Люди противостоят ритму палатного письма или подчиняются тому же ритму (наклоненные спины людей могут вторить кривым линиям сводов).

Наконец, следует отметить эмоциональную выразительность композиций. Эмоциональное содержание композиций передано обилием равномерно располагающихся темных проемов в сценах смертей, застылостью, известной статичностью всей композиции в сценах грозных предзнаменований. Отмечу, что гибель войска в битве никогда не производит угнетающего впечатления. Битвы, даже неудачные для русских, выдержаны в мажорных тонах и темпах. Напротив того, известия о гибели русского войска, сцены оплакивания погибших или отпевания покойных всегда скорбны по композиции, по цветам раскраски. Четкий горизонтальный ритм создает впечатление волевого усилия. Вертикальное построение миниатюры говорит о стремлении миниатюриста внушить

мысль о провиденциальном значении событий, создать у зрителя «возвышение духовное». Графическое начало преобладает в миниатюрах над живописным. Это и понятно, так как стиль миниатюр связан с характером текста, с каллиграфическим полууставом. Линия преобладает и подчиняет себе цвет. Но цвет, так же как композиция и линия, передает настроение, хотя настроение миниатюр условно и этикетно.

Оттенки эмоций не передаются, передаются только основные — настроение торжества, скорбь, страх перед грозными предзнаменованиями, смятение и т. д.

Если бы мы попытались в нескольких словах определить главную художественную суть миниатюр Лицевого свода, то можно было бы сказать так: это церемониальное обряжение и изображение русской истории, своеобразный «парад истории».

Этой церемониальности соответствует и стремление не пропустить ни одного события, изобразить как бы геральдические символы всего происходящего, создать последовательное «изобразительное повествование», сохранив весь подобающий событиям повествовательный этикет. Это своеобразная историческая риторика в лицах.

Однако это не значит, что в миниатюрах нет богатого материала, дающего представление о различных реалиях быта XV—XVI вв. Достоверные детали вторгались в фантастическое палатное письмо. Среди условной архитектуры нет-нет и попадутся детали, свидетельствующие о том, что миниатюрист видел то или иное здание собственными глазами. Так, например, на миниатюре 105 второго Остермановского тома (здесь и далее примеры из этого тома) изображен московский Архангельский собор с наиболее характерной его особенностью, которую придал ему итальянский строитель Алевиз Новый, — раковинами в закомарах. Деревянная церковь, которую распорядился построить Сергей в монастыре на Стромыне на Дубенке, показана на миниатюре 14 шатровой с одной главой, в сходных формах ее изображение повторено на миниатюре 19. Наряду с условно

изображаемыми воротами есть ворота с реальными особенностями (на миниатюре 19 изображены деревянные ворота с верями, кровлями, вбитыми в доски гвоздями и пр.; на миниатюре 110 показаны каменные ворота с герсами, подъемный мост и пр.). По изображению деревянных стен монастырей можно до известной степени судить об их устройстве в XVI в. Это ряды горизонтальных плах, заведенных в пазы вертикально стоящих столбов.

Следует, впрочем, всегда помнить, что миниатюрист изображает не само здание, а лишь его символ, знак, поэтому воспроизводит его в целом, но ограничивается двумя-тремя характерными для него деталями. Даже когда говорится о разрушении здания, оно все-таки показывается в целом, неповрежденном состоянии, а вместе с тем тут же изображается и его разрушение. Так, в рассказе о падении церкви в Коломне церковь показана целой, но от нее непосредственно с высоты свода сыплется на землю огромная груда камней, неизвестно откуда взявшихся (миниатюра 31): изображен как бы знак Коломенской церкви вместе со знаком ее разрушения.

Русские изображаются в шляпах с косыми отворотами, литовцы — в шляпах с прямыми отворотами (миниатюры 46—48), князья — в круглых шапках с меховой опушкой, и миниатюрист не делает особого различия при изображении татар и русских. Так, Мамай до той поры, пока не становится самодержцем в Золотой Орде, носит такую же круглую шапку с меховой опушкой, какую носят и русские князья, и получает от миниатюриста царский венец с пятью лепестками, только став золотоордынским царем.

Есть хорошие бытовые изображения: писцов, пишущих под диктовку (миниатюра 51), переправы через реки в ладьях (при этом лошади плывут рядом с ладьями, миниатюра 41, 124), по наскоро сделанным мостам (это мосты без перил, на вбитых в дно кольях, с поперечными плахами, миниатюры 145 и 146). Можно

заметить и такую деталь: когда татары ведут пленников, то все мужчины идут со связанными сзади руками, а женщины не связаны.

Показано, как в ларях везут кольчуги, которые затем перед боем надевают воины (миниатюра 145). Хорошо изображены седла, сбруя, оружие, одежда, некоторые орудия труда (топоры, мастерки каменщиков), трубы трубачей. Труднее вопрос о том, насколько точно стремится миниатюрист передать реальные черты того или иного исторического лица.

Можно сказать с уверенностью только одно: миниатюрист тщательно следит за тем, чтобы главные особенности исторических персонажей передать во всех миниатюрах одинаково, особенно в том, что касается формы бороды. По форме бороды легко узнать Маая, Дмитрия Ивановича, митрополита Киприана и мн. др. Лица простых воинов (всегда безбородых), крестьян толпы, малозначительных персонажей всегда передаются одинаково. Довольно хорошо передан иконографический тип Владимирской Богоматери и ряда других икон¹.

Было бы интересно сравнить, хотя бы в самой предварительной форме, повествовательные приемы древнерусских иллюстраторов летописей с повествовательными приемами других средневековых летописей, например латинской Иллюстрированной хроникой венгерской истории и Хроникой Константина Манассии в болгарском иллюстрированном ватиканском списке. Обе хроники изданы фототипически², а поэтому сравнение их с русскими лицевыми летописями вполне удобно. Прежде всего следует отметить, что обе хроники по своей насыщенности

¹ Реалии миниатюр лицевых сводов довольно хорошо, но, конечно, не исчерпывающе выяснены в двух указанных выше работах А. В. Арциховского и О. И. Подобедовой.

² *Keres Kronika*. Hasonmas Kiadas. Magyar Helikon Konyvkiado, Budapest, 1964, т. I—II; *Die Ungarische Bilde Chronik*. Budapest 1961; Летописца на Константин Манаси. Фототипно издание на Ватиканския препис на среднобългарския превод. Увод и бележки от Иван Дуйчев. София, 1963.

иллюстрациями значительно уступают русским. Это, очевидно, объясняется другим назначением иллюстраций: они в первую очередь служат украшению рукописей и только во вторую — предназначены для того, чтобы зрительно конкретизировать их текст. Особенно это следует сказать о роскошной рукописи Иллюстрированной венгерской хроники. В ней широко применяется золото, миниатюры выполнены с особенной тщательностью и изысканностью. Иллюстрации в ней соединены с роскошными инициалами и частично переходят внутрь этих инициалов. Почерк необыкновенно изящен и тщателен. Приемы «сокращения пространства» частично те же, что и в русских рукописях: изображения городов условны и невелики, деревья уменьшены, встречаются условные горки, аналогичные русским лещадным горкам, но миниатюра не включает нескольких сюжетов и «одномоментность» изображенного выступает довольно определенно. Повествовательные приемы и способы изобразительного преодоления времени в Иллюстрированной венгерской хронике гораздо менее разнообразны.

Подбор сюжетов для иллюстрирования почти тот же: коронации, смерти, битвы, встречи, переговоры и пр. Та же система жестов, поз, но выражения лиц, их реалистическая типичность гораздо более разнообразна, чем в русских миниатюрах.

Почти нет соединения в одной композиции нескольких сюжетов по горизонтали, как это имеет место в Радзивилловской летописи. Миниатюры обычно поэтому коротки и, поскольку текст писан в ней в две колонки, не выступают за пределы той колонки, текст которой иллюстрируют.

Среднеболгарский список XIV в. Хроники Манассии гораздо слабее насыщен иллюстрациями, чем русские иллюстрированные летописи: всего 69 миниатюр со 109 отдельными сценами. На первый взгляд система иллюстрирования близка к той, которая представлена в русских летописях, но это не так. Все-таки перед нами не столько рассказ о событиях, сколько украшение рукописи и рас-

крытие зрительного содержания отдельных сцен. Монархи изображены крупнее, чем рядовые действующие лица (л. 137 об. и др.), и в этом отражается знакомый нам по иконам иерархический принцип уменьшения второстепенных объектов изображения. Архитектурный стаффаж не только облегчает рассказ, но и явно употребляется для разрешения композиционных проблем: архитектура обрамляет миниатюру, очерчивает ее границы, велумы обрамляют изображение сверху (л. 145 об.) и т. д. Расположение различных сюжетов в миниатюре идет по тем же принципам, что и в Радзивилловской летописи, но есть также двухъярусные и трехъярусные миниатюры с таким же направлением их «чтения», что и в тексте. В целом миниатюры Ватиканского списка производят впечатление написанных опытным иконописным мастером, тогда как миниатюры обеих рассмотренных нами русских летописей сделаны специалистами именно в области миниатюры, причем миниатюры повествовательной.

Миниатюры обеих русских летописей (однотомной Радзивилловской и десяти томной Лицевой XVI в.) свидетельствуют о большом опыте повествовательного (назовем именно так эту технику) иллюстрирования. Миниатюрист Радзивилловского списка работал быстро и явно не стремился создать парадную рукопись. Миниатюры Лицевого свода XVI в. написаны на высоком профессиональном уровне, они церемониальны, но они также явно не парадны.

Может возникнуть вопрос: не служили ли Радзивилловская летопись или тома Лицевого свода XVI в. своего рода учебным пособием для не знавших грамоты, не рассказывалась ли по миниатюрам история для детей? В свое время было высказано предположение, почему часть томов Лицевого свода оказалась в Потешном дворце: учитель малолетнего Петра, будущего императора, Зотов обучал его русской истории «по картинкам»¹. Лицевой свод мог

¹ Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук. М.; Л., 1956. С. 20.

служить наглядным пособием по русской истории не для одного Петра, и ту же роль могла выполнять для чьих-то детей и Радзивилловская летопись. По этим миниатюрам рассказывалась и должна была запоминаться русская история. Вот почему их так много и почему в них так сильна повествовательность.

Зримое рассказывает — рассказываемое зримо.



РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ И ДРЕВНЯЯ РУСЬ¹

История культуры движется и развивается не только путем изменений внутри этой культуры, но и путем накопления культурных ценностей. Ценности культуры не столько меняются, — сколько создаются, собираются или утрачиваются.

Особенное значение имеет отношение одной культуры к другой, формы и типы усвоения предшествующих или иностранных культур.

Великий и классический пример жизни культуры в других культурах представляет собой античность.

Ценности античности пережили различные трансформации в европейской культуре и постоянно обогащали ее собой. Первый этап усвоения античности — это период «варварской культуры», варварского стиля VI—X вв., приведший к «Каролингскому ренессансу». Второй этап — обращение античности в недрах романского стиля. Новой стороной античность вошла в готическое искусство, которое отнюдь не было ей чуждо. Ренессанс представляет собой, по существу, «четвертое открытие античности». Пятое открытие античности наступило в конце XVIII в.

¹ Глава написана Д. С. Лихачевым в соавторстве с В. Д. Лихачевой.

и было особенно интенсивным в начале XIX в. В этом новом открытии античности, как и во всех предшествовавших, играли роль не только ученые, но и философы, писатели, архитекторы, скульпторы, живописцы и т. д. Сочинения Винкельмана, Гете и Шиллера, живопись Давида и Менгса, а в России — Гнедич, Ф. Толстой, Мартос — были теми ступенями, с помощью которых поднималось наше усвоение античности, а вместе с тем и наша собственная, европейская культура. Для каждого культурного единства характерно свое, своеобразное обращение к прошлому и свой выбор питающих его культур. Для России XVIII—XX вв. одним из основных вопросов ее культурного своеобразия был вопрос об отношении русской культуры нового времени к культуре Древней Руси.

Это отношение новой России к древней также прошло несколько этапов, каждый из которых оставил свой след в развитии поэзии, литературы, живописи, архитектуры и философии, в общественной мысли нового времени.

Первым этапом отношения к Древней Руси была сама Петровская эпоха. Всем своим существом Петровская эпоха была выражением отношения новой России к древней. И современники Петра, и последующие поколения ясно ощущали, что политические успехи Петра создали из старой Руси европейское государство. Это уже было высказано канцлером Петра графом Головкиным и И. И. Неплюевым, и другими. Петр воспринимался как творец современной России, которая казалась полной противоположностью древней.

Однако те представления о Древней Руси, которыми в основном живет XIX в. и которые до сих пор чрезвычайно распространены, в основном сложились в первой половине XIX в. (вернее, в первой четверти XIX в.).

Это было время начала научной разработки русской истории. Но только начало. Искусство, письменность, быт Древней Руси еще не были изучены. Петровские реформы оставались злобой дня еще и в первой половине XIX в., и оценка Древней Руси в начале XIX в. была неразрывно связана с оценкой Петровских реформ.

Древняя Русь воспринималась через Петровские реформы. Больше того, Петровские реформы заслоняли собою Древнюю Русь.

Люди XIX в. повсюду видели вокруг себя то, что было реформировано Петром, и то, что оставалось нетронутым его преобразованиями. Нетронутыми Петровскими реформами оказались по преимуществу низшие слои общества — крестьяне. И вот отсюда у людей XIX в. сложилось впечатление, что быт крестьян и вообще быт низших слоев населения — это и есть быт Древней Руси; культурный уровень крестьян — это культурный уровень Древней Руси.

Далее. Петр был действенным, активным началом в русской жизни; поэтому по контрасту с его деятельностью вся допетровская Русь представлялась неподвижной, косной, замшелой.

Далее. Петр обратил Русь к Западной Европе, поэтому допетровская Русь представлялась отгороженной от Европы китайской стеной.

Далее. Русь конца XVII в., т. е. непосредственно предпетровская, отождествлялась со всей Русью. Как будто бы забывалось, что Древняя Русь имеет семи-вековое развитие. Так возникло частично сохраняющееся еще и сейчас в обывательской среде отождествление быта, нравов, искусства конца XVII в. с культурой всей Древней Руси на всем протяжении ее развития. О чем бы и о какой бы эпохе Древней Руси ни писалось (о Киевской Руси, о Москве, о Пскове, о XII, о XIII, о XV вв.) — всюду Древняя Русь изображалась предпетровской — XVII века.

В развитии этих представлений о Древней Руси существенное значение имела записка Н. М. Карамзина «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Она была написана им в 1811 г., но стала широко известной с 30-х гг. XIX в., после опубликования ее в заграничной печати. Именно в этой записке Н. М. Карамзина было высказано то ошибочное положение, которое стало затем избитым местом во всех суж-

дениях о Древней Руси, — о едином, неизменном и крестьянском характере культуры Древней Руси. Крестьянин XIX в. был полностью отождествлен со всеми людьми Древней Руси от верху и до низу. «Петр ограничил свое преобразование дворянством, — писал Карамзин. — Дотоле, от сохи до престола, россияне сходились между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях. Со времен Петровых высшие степени (т. е. высшие слои населения. — Д. Л.) отделялись от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах».

Суждения Карамзина отразились и во взглядах славянофилов, и во взглядах их противников. И западники, и славянофилы одинаково выделяли основные признаки культуры Древней Руси, но только у одних эти признаки стояли со знаком минус, а у других — со знаком плюс.

Именно такие представления о Древней Руси мы встретим и у Белинского¹, и у славянофилов. Славянофилы видели в Руси «земское», т. е. в их понимании «мужицкое» царство, земледельческое по преимуществу. Ведь не случайно представитель древнего русского рода — Рюрикович по происхождению, ценивший в себе эту древность рода, — К. С. Аксаков ходил в крестьянской поддевке и по-крестьянски стригся в кружок, полагая, что так делали все в Древней Руси.

На основании наблюдений современного славянофилам крестьянства они создали знаменитую теорию общинного землепользования, объявленную «нравственным союзом людей»². Идеализировались верования, быт и нравы крестьянства, подражать которым стремились славянофилы. Крестьянский, замкнутый, неподвижный и «бессознательный» характер культуры Древней Руси подчеркивался в их статьях.

Ив. Киреевский писал: «...до сих пор национальность

¹ См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XII. М.; Л. С. 261.

² Аксаков К. С. Сочинения исторические. М., 1889. С. 58.

наша была национальность необразованная, грубая, китайски-неподвижная»¹. Он отрицал существование искусства в Древней Руси². Существование искусства в Древней Руси отрицали и Григорович, и другие славянофилы. Ив. Киреевский почти не расходится с Белинским, говорившим об «азиатской созерцательности» Древней Руси, но только высказывает это другими словами. Он пишет о «естественных, простых и единокордных отношениях», о законах, вылившихся «из бытового предания и из внутренних убеждений»³. Он говорит о «простоте жизненных потребностей» в Древней Руси⁴, о «тяжелом закоснении», об «оцепенении духовной деятельности», которое было следствием татаро-монгольского ига⁵. Он отмечает простонародный, крестьянский характер народности: «...у нас искать национального, значит искать необразованного»⁶.

То же повторяет Киреевский и в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». По мнению Киреевского, просвещение России следует искать «в нравах, обычаях и образе мыслей простого народа»⁷. «Русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел, почти неизменно, в низших классах народа»⁸. Ив. Киреевский в статье «Девятнадцатый век» писал: «Какая-то китайская стена стоит между Россией и Европою и только

¹ Киреевский И. В. Горе от ума — на Московском театре (1832) // В кн.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1911. С. 60—61.

² Киреевский И. В. Письмо А. И. Кошелеву (1828). Там же. С. 215.

³ Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (1852). Там же. Т. 1. С. 207.

⁴ Там же. С. 218.

⁵ Киреевский И. В. Девятнадцатый век (1832). Там же. С. 102.

⁶ Там же. С. 105.

⁷ Там же. С. 174.

⁸ Там же. С. 203.

сквозь некоторые отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада; стена, в которой Великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери»¹.

Знаменательно, что это написано Киреевским в 1832 г., а в 1833 г. Пушкин создавал «Медного всадника», где писал об окне в Европу, ссылаясь, впрочем, в примечании не на Киреевского, а на Альгаротти². «У нас также были Новгород и Псков; но внутреннее устройство их (занятое по большей части из сношений с иностранцами) тогда только могло бы содействовать к просвещению нашему, когда бы ему не противоречило все состояние остальной России. Но при том порядке вещей, который существовал тогда в нашем отечестве, не только Новгород и Псков должны были быть задавлены сильнейшими соседями, но даже их просвещение, процветавшее столь долгое время, не оставило почти никаких следов в нашей Истории, — так несогласно оно было с целою совокупностью нашего быта»³.

Мысли Чаадаева о Древней Руси и о России в целом обнаруживают черты сходства с мыслями славянофилов: «...мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной, презираемой всеми народами Византии»⁴. Он подчеркивает крестьянский, деревенский характер Древней Руси: «Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и гнили»⁵. Он отмечает азиатскую созерцательность: «Всегда поражала меня эта немота наших лиц»⁶. В письме к А. И. Тургеневу он подчеркивает стихийность, бессознательность русской истории:

¹ Киреевский И. В. Деятнадцатый век (1832). Там же. С. 95.

² Альгаротти где-то сказал: «Petersbourg est la fenêtrе par laquelle la Russie regarde l'Europe» (примечание Пушкина к «Медному всаднику»).

³ Киреевский И. В. Деятнадцатый век (1832).

⁴ Письмо I// В кн.: Чаадаев П. Я. Философические письма. Казань, 1906. С. 12.

⁵ Там же. С. 13.

⁶ Там же. С. 10.

«Мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать»¹. Он подчеркивает отъединенность русской истории: «Уединившись в своих пустынях, мы не видали ничего, происходившего в Европе. Мы не вмешиваемся в великое дело мира»².

Чаадаев перенес распространенную в его время характеристику Руси на всю Россию, в том числе и на современную ему, и придал ей резко отрицательное значение. В этом было одно из существенных отличий его взглядов на Древнюю Русь от взглядов славянофилов.

Мы не обсуждаем сейчас интереснейшей, важной и далеко еще не оцененной по достоинству философской позиции славянофилов и их общественных воззрений, однако в своих воззрениях на Древнюю Русь они были малооригинальны. Более того, они мешали открытию ценностей искусства и литературы Древней Руси и их подлинному пониманию.

Неудивительно, что представления о Древней Руси как о крестьянском царстве, в котором и верхи, и низы общества жили одной и той же малоподвижной и в общем низкой культурой, были широко распространены и за пределами славянофильства. В частности, они проникли и в немецкие истории всеобщих искусств: Куглера, Э. Ферстера, Шназе. Эти истории искусств переводились затем на русский язык, и здесь эти ограниченные представления возвращались на родную почву — в Россию, но уже с ярко выраженной враждебной к русской культуре окраской. С этими взглядами боролся еще Буслаев, но отрицательное отношение к древнерусскому искусству и непонимание древнерусской культуры продолжало чувствоваться долго.

Стоит ли говорить о том, что от Загоскина и до Мордовцева русская историческая беллетристика, разрабатывавшая тему Древней Руси (в иных случаях сильнее, а в иных — слабее) находилась под влиянием

¹ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. Т. I. М., 1913. С. 216.

² Письмо первое // В кн.: Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 13.

тех же, выработавшихся еще в начале XIX в. представлений об уравнительном, одинаковом для всех сословий характере культуры Древней Руси. Ни по языку, нарочито грубому, мужицкому (*пушай, пошто, дюже, не замай, таперича*), ни по платью (только более богатому), ни по своим привычкам представители высших сословий не отличались в этой дореволюционной беллетристике от крестьян, ремесленников, купцов. Князь и крестьянин, боярин и крестьянин жили одинаково: разница заключалась в обилии яств, в ценности платья, словом, в важности и количестве издержек, и только.

Следует сказать, однако, что эти ошибочные концепции наших философов и публицистов XIX в. оказали только некоторое влияние на исследователей, исторических романистов, поэтов, художников и музыкантов. Подлинное освоение культуры Древней Руси проходило мимо господствующих концепций, поэтому огромное значение имеет пристальное исследование того, как памятники культуры Древней Руси конкретно отражались в новой русской культуре.

Подлинное отношение новой русской культуры к Древней Руси лежит в продолжении тем, сюжетов, мотивов Древней Руси, в освоении ее художественных достижений, в художественном проникновении в древнерусскую жизнь, историю и культуру.

Как это ни странно, Древняя Русь жила рядом с той господствующей культурой, которая считала ее как бы несуществующей. Русь жила в огромной массе старообрядчества, создавшей свою письменность, продолжавшую бережно хранимую старую, свое зодчество, свою живопись и прикладное искусство. Оно было близко фольклору, словесному и материальному, но отнюдь им не ограничивалось. Существовали лубочные издания, среди них особенно важные для изобразительных вкусов народа лубочные картинки, лубочные настенные листы с текстами и рисунками, продолжалось иконописание, создавалась и жила, воспитывала детские вкусы народная игрушка, глиняная и деревянная.

С конца XIX в. наметилось стремление ввести древнерусское искусство в «большое» искусство России. Это стремление шло двумя путями. С одной стороны это было возвращение к древнему искусству иконописи в творчестве Врубеля, Васнецова, Нестерова, Рериха, а с другой — стремление присоединиться к тому потоку русского искусства, которое прямым образом продолжало традиционное русское искусство. Рябушкин, Кустодиев, Петров-Водкин испытывают на себе влияние парсунного письма и провинциальных вывесок, глиняной игрушки — их цвета и их «первозданности». Особенно отчетливо возвращение к народной вывеске у Шагала. Но был и третий путь воссоединения с традиционным искусством, — путь, открытый авангардом начала XX века. Авангардисты стремятся продолжить непосредственность лубочных изданий в своих изданиях, перенести в свои произведения экспрессию крестьянской и древнерусской иконы, фресок, лубочных картинок, чистоту и яркость красок, отчетливую ясность композиций, выразительность образов.

Наметилась и еще одна тенденция — соединения живой традиции и обращения к древнерусской классике в произведениях Петрова-Водкина. Его «Богоматерь — Умиление злых сердец» не только по форме, но и по содержанию становится своего рода классикой русской иконописи.

Его отношение к Богоматери благоговейно, как у настоящего иконописца, стремящегося не стилизовать, а продолжать традицию, следовать идеалам, а не просто их воспроизводить, выражать себя в стиле, а не стилизовать свои произведения. Впрочем нельзя сказать, что этого же стремления к идеалам, созданным в древнерусском искусстве и искусстве народном, не было и у всех других так называемых «авангардистов», в большинстве своем пытавшихся выразить в своих произведениях крепкую, хотя порой и наивную веру как в Божество, так и в человека.

Развитие культуры не есть только движение вперед, простое «перемещение в пространстве» — переход куль-

туры на новые, вынесенные вперед позиции. Развитие культуры есть в основном отбор в мировом масштабе всего лучшего, что было создано человечеством.

Формы, в которых культура прошлого участвует в культуре современности, очень разнообразны. Сейчас я хотел бы обратить внимание на одну из сторон этого участия, которая представляется мне особенно важной и интересной.

Не только культура прошлого влияет на культуру современности, вливается в нее, участвует в «культурном строительстве», но и современность, в свою очередь, в известной мере «влияет» на прошлое... на его понимание.

Остановлюсь только на одном вопросе, имеющем общее и принципиальное значение. В истории культуры постоянно наблюдается одно любопытное и очень важное явление, которое может быть определено как своего рода астрономическое «противостояние» культур — старой, авторитетной, с одной стороны, и молодой — с другой, ощущающей либо свое превосходство над старой, либо свою недостаточность. Обе культуры — древняя и новая — при этом вступают между собой в своеобразный диалог. Новая культура очень часто развивается в этих противопоставлениях и сопоставлениях со второй.

Так, в европейских культурах очень многих эпох огромное значение имела культура античности, по-разному понимаемая и по-разному воспринимаемая. Главное такое «противостояние» совершилось в эпоху Ренессанса. Новая европейская культура оказалась в этот период, как некое небесное тело, на наиболее коротком расстоянии от античности. Это «короткое расстояние» позволило новой европейской культуре лучше познать античность и многое усвоить из старого, классического наследия. В сопоставлениях с античностью совершился один из самых важных культурных переворотов в Европе.

Однако и до этого наиболее классического противостояния европейской культуры античности в эпоху итальянского Ренессанса было несколько меньших про-

тивостояний, из которых наиболее очевидное — так называемый Каролингский ренессанс VII—IX вв.¹

Византия также знает в своей истории несколько попыток возрождения культуры античной Греции. Известный византолог П. Лемерль насчитывает в истории византийской культуры пять обращений к античности, которые он называет, как и итальянский Ренессанс, — ренессансами.

Для истории новой русской культуры одно из ее наиболее характеристических состояний — это ее противостояние древней русской культуре, в котором, однако, силы отталкивания значительно преобладали на первых порах над силами освоения, над попытками к возрождению некоторых старых сторон русской культуры.

История русской культуры XVIII—XX столетий — это, по существу, постоянный и чрезвычайно интересный диалог русской современности с Древней Русью, диалог иногда далеко не мирный. В ходе этого диалога культура Древней Руси как бы росла, становилась все значительнее и значительнее. Древняя Русь приобретала все большее значение благодаря тому, что росла культура новой России, для которой она становилась все нужнее. Необходимость культуры Древней Руси для современности выростала вместе с ростом мирового значения новой русской культуры и увеличением ее весомости в современной мировой цивилизации. Схематически представим себе этот своеобразный диалог двух культур, длившийся и длящийся почти три века.

Противопоставление старой, традиционной культуры новой началось еще в XVII в., до Петра и его реформ. Оно выразилось в обращениях к польской и голландской эстетической культуре, в приглашениях голландских мастеров «перспективного письма» и парсунного дела, в новых эстетических принципах и в живописи, и в архитектуре,

¹ Отшлю прежде всего к наиболее обстоятельному исследованию: Hubert J., Parcher J., Volbach W. E. The Carolingian Renaissance. N. Y., 1970; Panofsky E. Renaissance and Renascences in Western Art. L., 1970.

в новых принципах церковности и т. д. Аввакум живо подхватил этот вызов, брошенный старой традиционной культуре, хотя и не заметил всех сфер, к которым этот вызов был обращен.

Таким образом, Петр I не был первым, кто поднял спор новой России со старой Русью. Но Петр всячески пытался этот спор сделать демонстративным. Он стремился не только к тому, чтобы расширить разрыв между Русью и Россией, но и утвердить в сознании современников глубину совершающегося переворота. Петр упорно создавал решительную смену всей «знаковой системы»: изобретение нового русского знамени (перевернутого голландского флага), перенос столицы, вынос ее за пределы исконно русских земель, демонстративное название ее по-голландски — Санкт-Питербургом, создание новых и, кстати, неудобных в русском климате мундиров для войска, насильственное изменение облика высших классов, их одежды, обычаев, внесение в язык иностранной терминологии для всей системы государственной и социальной жизни, изменение характера увеселений, различных «символов и эмблем» и т. д. и т. п.

Все перемены облекались в демонстративные формы. Петр сам первый заботился о создании своего нового образа царя. Вместо малоподвижного, церемониально недоступного государя всея Руси с его пышными титулованиями и пышным образом жизни Петр творил образ царя-труженика, царя-плотника, царя — простого бомбардира, царя — учителя и ученика, просветителя и исследователя. Однако многие из идей Петра зрели еще в царских хоробах Алексея Михайловича. Петр получил свое воспитание еще в XVII в. Петр был типичным представителем барокко XVII в. — «человеком барокко». Он преобразовывал то, что в силу внутренних закономерностей всего длительного предшествующего развития Руси нуждалось в его преобразованиях. Его реформы и ломки всего старого были теми грозowymi разрядами, энергия которых копилась в течение длительного времени. В иных случаях государственный

корабль, управляемый Петром, шел галсами под косым углом к ветру истории, но он все же набирал силу от этого ветра — и никакого другого.

В свете быстрых и «гневных» Петровских реформ Древняя Русь стала по контрасту казаться малоподвижной и косной. Так как Петровские реформы не коснулись крестьянства и купечества, то быт Древней Руси стал представляться в облики того, что оставалось от нее нетронутым, — крестьянско-купеческим, своего рода «Замоскворечьем» русской культуры, и Замоскворечьем по преимуществу XVII в. — последнего века Древней Руси. В формах этого XVII в. постоянно изображалась вся Русь от X и до XVII в.: в горлатных высоких шапках и неудобных долгополых одеждах, с затворничеством для женщин и с нелепым местничеством для мужчин на пирах и приемах, с недоверием ко всему иностранному и «домостроевскими» нравами в тяжелом семейном быте.

Так представляли себе Русь в течение всего XVIII и XIX вв. и славянофилы, и так называемые «западники». Одни только в положительном аспекте, другие — в отрицательном, но те и другие, в сущности, сходно. Основа и того и другого направления была заложена Н. М. Карамзиным в «Записке о древней и новой России».

Диалог с древней русской культурой в XIX в. приобрел, таким образом, сложную и ложную форму: в нем была изрядная доля непонимания Древней Руси, непонимания — и у тех, кто были «славянофилами», и у их противников.

Русские художники, русские архитекторы, писатели и просто культурные люди XIX в., ездившие за границу, чтобы приобщиться к эстетическим ценностям западноевропейского средневековья, десятилетиями не замечали у себя на родине те древнерусские памятники зодчества, живописи, прикладного искусства, которыми восхищаемся сейчас мы и которые кажутся нам такими «несомненными» в своей красоте.

Мимо этой «своей красоты» проходили Тургенев, Чехов, Толстой и многие другие. Чехов жил в Звени-

городе, жил на Истре, но ни разу не упомянул в письмах о тех памятниках древнерусского зодчества, которые его окружали.

Достоевский восхищался красотой церкви Успения на Покровке (той самой, которой восхищался и Наполеон, приставив к ней особый караул во время пожара Москвы), но никак не определил — в чем же эта красота состоит. И было бы крайне интересно исследовать досконально: кто же открыл древнерусское зодчество для современников?

Во второй половине XIX в. целый ряд архитекторов вносили элементы старомосковской архитектуры в свои безвкусовые строения: Ропет, Парланд и прочие. Они создали мрачный и тяжелый стиль «Александра III». Они хотели угодить националистическим вкусам своих заказчиков, а заказчикам хотелось увидеть в Древней Руси то, чего в ней было как раз очень мало: великодержавную помпезность. Неудивительно, что попытки архитекторов времени Александра III резко отталкивали эстетически тонких людей от Древней Руси, а вовсе не привлекали к ней.

Древнерусская архитектура — это целый огромный и чрезвычайно разнообразный мир, но то, что объединяет все памятники, — это их человеческий и даже интимный характер. Я бы назвал древнерусские постройки «подарками» окружающему ландшафту. Украсить строением высокий холм, крутой берег реки на ее изгибе, повторить свой облик в зеркальной поверхности воды, радостно возвыситься над рядовой застройкой и завершить уличную перспективу — в этом нет, казалось бы, ничего необычного для любой национальной архитектуры. Однако делалось это в Древней Руси с какой-то особой легкостью и беззаботностью, «просто так». Словно бабушка дарит игрушку любимому внуку: поярче раскрасила, позолотила маковки, внесла затейливость в узоры и поставила повиднее: смотри-любуйся! Приласкала горюшку или берег реки. Так выглядят и новгородские церкви, в которых напрасно ищут иногда и

старики архитекторы особую суровость и тяжеловесность, так выглядят и церквушки XVII в., да и целые ансамбли, особенно кремли, не предназначавшиеся для войны, — как Ростовский или Вологодский. Существовала такая народная игрушка: из чистеньких деревяшечек собрать все строения Троице-Сергиева монастыря.

На таких игрушках воспитывалось особое чувство архитектуры, «игрушечности» архитектуры. Не случайно также, что излюбленным материалом русской народной архитектуры было всегда дерево, хотя камня на Севере не меньше, чем лесов. Дерево обладает особой «совместимостью» с человеческим телом, оно «встречает» руку не холодом, а теплом. О дерево не ушибешься так, как о камень. Дерево приветливо, по-своему регулирует температуру в жилище, роднит избу с окружающей природой. Оно «живое» даже срубленное и обструганное, и вовсе не случайно, что жить в деревянных домах в Древней Руси считалось здоровее, чем в каменных. А деревянная резьба, которой каждый русский человек так разнообразно украшал свое жилище, делала дом похожим на принарядившуюся в кружево хозяйку. Я думаю, что открытие древнерусского зодчества было сделано великолепными фотографиями в «Истории русского искусства» Игоря Грабаря. Фотографии эти были переворотом в фотографировании памятников архитектуры в целом. Фотографы «взглянули» на памятники не с далеких и очень «официальных» точек съемки, которые были приняты в XIX в., а с более коротких и, я бы сказал, «интимных» расстояний, — с тех, с которых смотрит прохожий.

Вот это-то и оказалось чрезвычайно важным. Именно этого настоятельно требовала древнерусская архитектура. Подобно тому как древнерусская архитектура была открыта фотографами «Истории русского искусства» И. Грабаря с помощью «укорочения расстояния», так и древняя русская литература, и живопись открыты сейчас нам в своих «интимных ракурсах».

Как было открыто древнерусское искусство слова?

История этого открытия, если им заняться внимательно, чрезвычайно интересна и дает кое-что важное для понимания эстетических ценностей Древней Руси.

Древнерусская письменность изучалась и читалась всегда. Еще Петр указывал собирать летописи. По его приказанию была снята копия с Радзивилловской летописи. Интерес к памятникам древнерусской письменности существовал в течение всего XVIII в., когда было издано множество памятников. Но ими интересовались как историческими источниками и в книговедческом аспекте по преимуществу.

Открыло древнерусскую литературу как искусство только «Слово о полку Игореве». И это произошло настолько рано сравнительно с другими видами искусства, что хотя изучавшие и переводившие «Слово о полку Игореве» и понимали, что перед ними прежде всего памятник искусства, но многие эстетические стороны «Слова» не были еще оценены в полной мере. Красота «Слова» во всей своей многогранности оставалась долгое время нераскрытой (например, фольклорность «Слова» стала ясной только благодаря работам М. А. Максимовича).

Эстетическое открытие древнерусской литературы, как это ни странно, стало возможным благодаря появлению в XIX в. литературного направления, казалось бы, прямо противоположного эстетическим принципам древнерусской литературы, — реализма. Первостепенная заслуга в этом принадлежала Ф. И. Буслаеву: по своим эстетическим представлениям Ф. И. Буслаев был реалистом. И все же он только приоткрыл дверь в древнерусское искусство.

Реализм обострил личностное начало в литературном творчестве. Индивидуальные стили получили полную свободу выражения в реализме. Это сделало понятными различные стили древнерусской литературы. Умение воспринимать индивидуальные стили облегчило понимание отнюдь не индивидуальных, но все же очень разнообразных исторических стилей древней русской литературы.

Реализм был тесно связан с появлением исторической восприимчивости, с сознанием изменяемости мира и, следовательно, изменяемости эстетических принципов. Развитие исторической науки в России середины и второй половины XIX в. не случайно совпало с развитием реализма. Все это облегчило понимание древней русской литературы не только как «письменности», но и как искусства.

Другая черта реализма — это появление в искусстве коротких расстояний¹, близость автора к изображаемым им персонажам, гуманизм в самом широком и глубоком смысле этого слова, взгляд на мир почти вплотную, взгляд на мир не со стороны, а изнутри человека — пусть даже воображаемого, но близкого читателю и автору. Точка зрения автора из холодно-внешней стала теплой, конкретно-человеческой, индивидуальной.

Автор пишет как бы в интерьере своего произведения, не с позиций всезнающего судьи, а с позиций участника. Благодаря этому своему удивительному свойству реализм второй половины XIX и первой половины XX в. «впустил» современного ему читателя в древнерусскую литературу. Читатель привык «вживаться» в авторскую точку зрения — он смог легче понимать и точку зрения древнерусского автора...

Гуманизм и реалистичность — вечная сущность искусства. Во всяком большом направлении искусства получают развитие какие-то исконно присущие искусству стороны. Все великие направления в искусстве не изобретали все заново, а развивали отдельные или многие черты, присущие искусству как таковому. И это прежде всего касается реализма. Реализм — направление, начавшееся в XIX в., но реализм — и вечно присущее искусству свойство. Открытие этой реалистической сущности искусства в древней русской литературе

¹ Отсюда понятно, почему эстетическое открытие древнерусского водчества было связано с появлением «короткой» реалистической точки зрения в фотографии (см. об этом выше).

было характерно для многих работ А. С. Орлова, И. П. Еремина, В. П. Адриановой-Перетц.

В писателе всегда трогают проявления заботы о других, близких, проявления преданности — преданности людям и идеям, родной стране. Именно это — наиболее действенное нравственное начало в древнерусской литературе. Не прямые проповеднические наставления, поучения и обличения, на которые так щедры были древнерусские авторы, а бесхитростные примеры, конкретные деяния, невольные выражения чувств, когда автор как бы «проговаривается», — именно они производят наиболее сильное впечатление.

А. С. Орлов «открыл» приписки на псковских рукописях, где авторы их проявляют свою заботу о других, жалуются на мелкие тяготы жизни, шутят с читателем. И. П. Еремин «открыл» в «Житии Бориса и Глеба» место, которое благодаря ему стало уже «знаменитым»: юноша Глеб по-детски просит убийц не убивать его: «не деите мене, братия моя милая и драгая! Не деите мене. Не брезете мене, братие и господье, не брезете!.. Помилуйте уности моее, помилуйте, господье мои!.. Не пожьнете мене, от жития не съзьрела! Не пожьнете класа, не уже съзьревъша, нъ млеко безълобиа носяща!..» И т. д.

Когда внимательно вчитываешься в письмо Владимира Мономаха к его постоянному противнику Олегу Святославичу (Олегу Гориславичу — так он назван в «Слове о полку Игореве»), испытываешь почти что чувство удивления перед силой выраженного в нем нравственного начала. Мономах прощает убийцу своего сына Изяслава, — прощает после того, как он его победил и изгнал из Русской земли. Мономах просит его вернуться на Русь и занять по праву наследования принадлежащий ему удел. И одновременно он просит вернуть ему молодую вдову Изяслава: «...потому что нет в ней ни зла, ни добра, — чтобы я, обняв ее, оплакал мужа ее и свадьбу их, вместо песен: ибо не видел я их первой радости, ни венчания их, по грехам моим. Так, ради Бога, отпусти ее ко мне поскорее с

первым послом, чтобы, поплакав с нею, я поселил ее у себя, и она села бы, как горлица, на сухом дереве, горюя...». Такие места, раз открытые, не забываются.

В Ипатьевской летописи под 1287 г. сохранились замечательные слова, обращенные князем Владимиром Васильевичем Волынским перед смертью к его жене. Он называет ее «княгиня моя милая Олго», а в завещании пишет о ней: «А княгини моя, по моемъ животе, оже восхочеть в чернице пойти, поидеть; аже не восхочеть ити, а како ей любо,— мне не воставши (из гроба.— *Д. Л.*) смотреть что кто иметь чинити по моемъ животе» (т. е. после моей смерти.— *Д. Л.*). В «Истории о Казанском царстве» поражает уважение к врагам русского войска и даже восхищение мужеством татар — защитников Казани. В произведениях Аввакума трогает не только его самозабвенная идейная борьба, но и добрый юмор, которым, в частности, он порой смягчает и «возвышает» свое отношение к своим мучителям. Он их жалеет, над ними подшучивает, называет «горюнами», «дурачками», «бедными».

Благодаря нравственному началу, которое заключено в древней русской литературе, ее значение чрезвычайно велико именно сейчас. Любовь к родине, патриотизм также воспитывается на этом «укорочении расстояний», на представлениях о конкретных живых людях, конкретном родном пейзаже, близком ощущении прошлого.

История «открытия» художественных ценностей древнерусской культуры должна стать предметом особого исследования. Задача данного — обратить внимание только на некоторые аспекты этого «диалога» с Древней Русью, который является своеобразной чертой русской культуры нового времени и который так важен сейчас, когда с особой силой проявляется стремление к изучению самых корней родной нам всем культуры Древней Руси.



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
-----------------------	---

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И КУЛЬТУРА ЕГО ВРЕМЕНИ

Предисловие	9
«Слово о полку Игоре» и особенности русской средневековой литературы	12
«Слово» и художественный стиль эпохи	47
Исторические и политические представления автора «Слова о полку Игоре»	82
Летописный свод Игоря Святославича и «Слово о полку Игоре»	164
К вопросу о «Слове о полку Игоре» как историческом источнике	201
Устные истоки художественной системы «Слова»	206
Княжеские певцы по свидетельству «Слова о полку Игоре»	262
Поэтика «Слова о полку Игоре»	267
Художественное время в «Слове»	279
«Свет» и «тьма» в «Слове о полку Игоре»	283
Катарсис в «Слове о полку Игоре»	287
«Пирогощая» «Слова о полку Игоре»	292
Сон князя Святослава	311
История подготовки текста «Слова о полку Игоре» к печати в конце XVIII в.	316

РАБОТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Новгородские черты в «Слове о полку Игоре»	365
Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игоре»	373
Идеологический фон литературного произведения. <i>На примере «Слова о полку Игоре»</i>	401
Каким был автор «Слова о полку Игоре»?	406
«Слово о полку Игоре» как художественное целое (1986)	414
Средневековый символизм в стилистических системах Древней Руси	447
Слово и изображение в Древней Руси	458
«Повествовательное пространство» как выражение «повествовательного времени»	478
Русская культура нового времени и Древняя Русь	509